4.1976

Иностранная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

4 АПРЕЛЬ
1976

Содержание

ВИРДЖИЛ ТЕОДОРЕСКУ — Стихи *(Перевод с румынского Л. Беринского и Кирилла Ковальджи. Вступление Кирилла Ковальджи)* 3

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ — Загадка Прометея *(Роман. Перевод с венгерского Е. Малыхиной)* 10

КАРЛ РЭКОЗИ — Стихи *(Перевод с английского и вступление В. Британишского)* 110

ПАТРИК УАЙТ — На свалке *(Рассказ. Перевод с английского Н. Волжиной)* 118

А. КВЕИ АРМА — Осколки *(Роман. Окончание. Перевод с английского М. Лорие и А. Кистяковского)* 140

Критика

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО — Опыт ценный и многообещающий 209

Литературные портреты

И. МЛЕЧИНА — Вольфганг Кёппен и его «злые книги» 214

Интервью

Теодор Солотарофф: «Требования времени обязывают нас обратиться к реальности» *(Перевод с английского Т. Ротенберг)* 223

Культура и современность

Заметки на полях

В. Волжанин — Древность на службе современности («Критическое обсуждение» романа «Речные заводи» в КНР) 229

Публицистика

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ — Колючая роза *(Перевод с болгарского Лидии Баша)* 234

Наши гости

Лилиана Бреверн — Урбану Тавариш Родригиш (Португалия). М. Федоров — Вильгельм Гирнус (ГДР) 255

Среди книг

Издано в СССР

Алексей Чанцев — Право называться человеком... Борис Анашенков — И встанут новые бойцы... Игорь Можейко — Писатель и эпоха 259

Издано за рубежом

Владимир Стеженский — Новые горизонты. ◇ Народный роман о Парижской коммуне. Виктор Балашов — «Светлые голоса братства...». Пьер Гамарра — Познать и воскресить прошлое. ◇ Николай Ерофеев — В поисках Джона Буля. ◇ Эта горькая правда Африки. Константин Чугунов — Творческая биография Нгуги Ва Тхионго. Алексей Хамадан — «Нежелательные элементы» 263

Из месяца в месяц 275

Авторы этого номера 287

На 1-й странице обложки: картина художника КАМАЛЯ АМИНА «Египет».
На 2-й странице обложки: фрагмент скифской ткани.
На 3-й странице обложки: танцевальная маска из Заира.

© «Иностранная литература», 1976.

ВИРДЖИЛ ТЕОДОРЕСКУ

С румынского

Несколько лет назад на Пушкинском празднике поэзии Вирджил Теодореску проникновенно говорил о гении русской литературы, о его безвременной гибели, о том, что в те душные годы поэта, по словам Блока, убило отсутствие воздуха, что Пушкин, будучи в сущности еще молодым человеком, написал трагические строки: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит». А в наше время свободное развитие народных сил дарует вторую молодость художникам старшего поколения, способствует расцвету творчества. И Теодореску, уже перешагнувший рубеж своего шестидесятилетия, прочитал стихотворение «Еще умею...»:

...Я еще не растратил уменье
узелками сплетать хрустали —
этот звон мастерства
все поет тонкой дрожью в ушах,
сообщая мне тайно и точно
непредумышленность,
непредначертанность.

Представить впервые поэта в журнальной рубрике — задача не из легких. Однако трудность непомерно возрастает, когда речь идет о поэте, у которого за спиной более чем сорокалетний творческий путь, к тому же сложный, противоречивый и все-таки внутренне единый. В поэзии Вирджила Теодореску наблюдается по меньшей мере три важных этапа: приверженность к «левому» искусству в 30—40-х годах, поворот к классической ясности и строгости в 50-х и, наконец, синтез новаторства и традиции в 60—70-х годах. Отражение этого «рельефа» в нашей публикации неизбежно получится прерывистым, зато оно может остаться в памяти как надежда на продолжение знакомства.

Вирджил Теодореску (родился в 1909 году в Констанце), нынешний председатель Союза писателей Румынии, член ЦК РКП, начал свой путь в поэзии с вызывающего протеста против респектабельного искусства сытых. «Я решил... писать так, как я пишу, с той самой минуты, когда понял, что поэт должен, как и пролетариат, восставать против эксплуатации, из страстного желания служить интересам наступающего класса не только в сфере политического действия, но и в сфере искусства»,— вспоминает он в статье «Снаружи внутрь, с поверхности вглубь» (журнал «Румынская литература» № 3, 1969).

Есть поэты, стремящиеся расширить границы поэзии, включить в нее (разумеется, в преображенном сплаве) разговорную речь, техницизмы, публицистику, лозунги, ораторский пафос. Но есть и поэты, подчеркивающие «разделение труда» между поэзией и другими видами «коммуникативного» действия, поэты общественно весьма активные, которые предоставляют логику мыслей своим статьям, докладам, речам, а стихам — сугубо образный способ выражения. Одно и не исключает другое, а, напротив, дополняет, если речь идет о двух естественных формах проявления творческой личности. Таков Вирджил Теодореску.

Начав с сюрреалистических поисков, Вирджил Теодореску впоследствии обогатил свою поэзию утверждающей сутью новой действительности, не отказавшись при этом от своего способа видения мира, выражающегося в том, что в поэзии, по его словам, «образ поистине становится конкретно-чувственной формой идеи».

В ранних стихотворениях, в дерзких наплывах фантастической образности вырисовывался эмоциональный бунт против холодного рационализма собственников и ме-

щан, которому противопоставлялся романтизм отверженности («Абраба́»). Однако поэт и в те годы не ограничивался эстетическим неприятием буржуазности, он видел в ее самоупоенности угрозу соглашательства с фашизмом и сам был причастен к непосредственной социальной борьбе, о чем свидетельствуют такие, например, стихи, как «Трамвай увозящий меня...».

Теперь, добиваясь все более и более широкого контакта с аудиторией, поэт не прекращает поисков обновления своего поэтического «арсенала», отстаивает право на язык вдохновенной интуиции, в которой «выражение обладает большей скоростью, чем мышление, и где ответ может вырваться еще до того, как сформулирован вопрос». Отстаивает ради всесторонне развитого духовного мира современника, не утрачивающего в условиях НТР счастливого дара фантазии, удивления, открытия прекрасного.

Говоря о выходе однотомника избранных своих стихотворений «Меха океанов» (1969), поэт подчеркнул: «Прослеживая развитие образности... внимательный читатель сумеет проследить и всю историю этой книги, ее злоключений, а в конечном счете и саму жизненную повесть автора, которая сливается с биографией общества...» Индивидуальность поэта и биография общества — вот живой сплав, обеспечивающий непреходящую ценность творчества. К этому и стремится Вирджил Теодореску.

Читатели «Иностранной литературы» уже имели возможность ознакомиться с эстетическими взглядами Вирджила Теодореску, отрывками из его стихотворений и теми явлениями в молодой румынской поэзии, в которых прослеживается влияние его творчества (статьи «Обновление и поиски» — № 3, 1971, «Черты родства» — № 6, 1973). В этом номере публикуются стихотворения Вирджила Теодореску, написанные в разные годы, взятые из упомянутого однотомника «Меха океанов», из сборников «Меловой возраст» (1970), «Страж воздуха» (1972), «Символика движения» (1973) и из журналов последних лет.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

Все тот же звездный знак

Я различаю торопливый шаг.
Пенёк. Пальто внакидку. Ленин пишет.
Страницы шелестят в тиши. Итак,
Все это человечество услышит.

Все тот же звездный горделивый знак.
Все та же мысль. Как перед взлётом, дышит.
Грядущий день! А день вчерашний выжат,
И старый мир — как стершийся пятак.

Не размышленьем мысль его была —
А вдохновенным синтезом иль кодом,
Что жизнь шифрует, слово торопя,

Иль руслом — чтобы в нем река текла,
Все дальше вырываясь год за годом
Из времени, избывшего себя.

Трамвай увозящий меня

Трамвай увозящий меня
по вечерам
подбирает на остановках
облетевших как ветки людей
с которыми я никогда не встречаюсь
слоняясь
по галереям теплого светлого дня.

Трамвай
прерывает свое скольжение вдоль города
и подбирает озябшие трепетные глаза
обескровленную руку
промасленную шапку

женскую бригаду ночной смены
и сквозь серый вечерний туман
снова спокойно скользит
трамвай
увозящий моих товарищей.

Трамвай
спокойно скользит
мимо котлов смоляных
мимо ада с растопленным мускусом
мимо черной туманности
что на руку патрулям
безмолвным
с глазами как длинные палки из темных орбит
заставляющими нас вздрогнуть —
меня и моих товарищей —
вздрогнуть
задумчиво глядя на них с едва уловимой усмешкой
за которой у нас припрятано
оружие потяжелей

1934 г.

Абраба́

Абраба похож на лисицу
которую двинули ломом по морде
Абраба — соленые слезы в стакане он похож на лисицу
на оленя и на буйволенка
и на подъемный кран
и на все что угодно что сто́ит
в день базарный
ломаный грош
Абраба милый мой Абраба мог бы быть капитаном
остролицым
со скулами точно две тыквенных дольки
подвешенных к солнцу
над булочной
капитаном
перевозящим сокровища через Персидский залив
Абраба — законченный алкоголик
Напиваясь он ищет свою неподвижную
нижнюю челюсть
вернее сказать пропавшую нижнюю челюсть
что канула в черную вечность
А ведь будь Абраба ты морским капитаном с горячечной кровью
все сокровища мира
сквозь туманы и бури
могли бы спокойно пересекать Персидский залив

1933 г.

Образ

Среди всех метафор и сравнений я хотел бы найти
такой образ
могучий спокойный образ
способный выразить всю безмерность ниспроверженья
все величие утвержденья
открывшиеся нам

в день августа 1944
когда смысл истории
преодолевая преграды
выбрался на дорогу
и законы природы стали на службу
идеям революции
и слова человека и слово человек наполнились содержанием —
я хотел бы найти этот центральный образ
сверкающий как антрацит
добытый в земных глубинах
я думаю это образ со многими гранями —
огромнейший многогранник
омытый в сиянье лучей

Бессонница

Дверь заперта для мыслей, когда уснул и спишь.
Но до тех пор снаружи, во тьме ветвей и крыш,
не затихают птицы в ночной своей гоньбе.
И вот они умолкли и спрятались в тебе —
как будто листья в гнездах иль гнезда меж ветвей,
рассыпались по венам, чтоб ты уснул скорей,
повисли вверх ногами... Часов полночный ход.
Волна о пристань бьется, ночные всплески вод.
В замках гремят ключами. А в баре «Моабит»
спят женщины, усталость на бледных лицах спит.
В тебе притихли мысли — но бодрствует одна
с людьми, на полушарье, не ведающем сна,
в стоп-кранах, в «неотложках», сбирающих посев,
в полночных ухищреньях надменных старых дев,
в зловещих шлейфах крови, протянутых в ночи
по улицам; в лебедках, несущих кирпичи,
в пыли возов бумажных и в клавишах чумных
фортепиано черных — едва закроют их,
как словно что-то булькнет, и кажется тогда:
там над самоубийцей пробулькала вода.

Ах, поезда в долинах вдали летят без сна,
брезентом накрывает их белая луна.
Полны боеприпасов вагоны и людей,
свинца, и суеверий, и угля, и идей.
И поезда мычанье, как страшный бычий рев,
тебя из сна — из чана смолы — рывком берет
за шиворот, на стрелки швыряет нагишом,
и ты летишь, одним лишь нагружен багажом:
пылающего сердца дрожит фонарь, светясь,
чтоб эта связь земная вовек не прервалась.

Перевод Л. БЕРИНСКОГО

Еще умею...

Еще умею выбрасывать в воду ключи от сокровищ
всякий раз, когда кумушка их предлагает,
еще умею выбрасывать шифры из памяти
всякий раз, когда их разгадаю,

заодно — расписанье открытий, наперед установленных
некой комиссией сверху,
еще и сегодня умею минировать
все мосты за спиною
и разъярять дельфинов,
чтобы, их оседлав, пересечь океан,
еще умею, как дерево,
выбранное молнией для удара,
хранить беззащитность извечных грез;
и задушить их умею, и еще я умею
их в себе возродить когда надо,
и эхо могу раздробить, заупрямясь
и зубы ломая,
и умею цветами обкладывать бережно
сокрушительный след запустений.
Я еще не растратил уменье
узелками сплетать хрустали —
этот звон мастерства
все поет тонкой дрожью в ушах,
сообщая мне тайно и точно
непредумышленность,
непредначертанность.

Перевод КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

Послушайтесь меня

Послушайтесь меня и вы скоро достигнете цели
Поступайте как я говорю и откроется вам
источник
с целебной водой
И не долго раздумывая разувайтесь
потому что ступня — это самый чувствительный инструмент
самый чистый
и самый точный
а теплые вены тревожные синие вены на наших ногах —
антенны
И подобно тому как круглое колесо — это средство передвиженья
на земле и на прочих планетах
и никакие изобретенья не затмят его прошлой
и будущей славы —
точно так же голая наша ступня с тревожными синими венами
потрясает природу
как поезд товарный
груженный лесами и бурями

■ ■ ■

На траву не ложитесь ведь после нее вырастают
деревья
Лес не рубите ведь после него вырастает
стеклянный город
Окна спят на стволах

Повесть о любви

Когда я узнал тебя
ты была вагоновожатой
И я поначалу приметил тонкие руки
включавшие скорость и ритм городского движенья
а позже увидел глаза их зеленое пламя
иль мне померещилось пламя —
на перекрестках
они напрягались меняя свой цвет и свеченье
как травы меняли расцветку под взглядом Ван Гога
Узнал как ты водишь трамвай вдоль длиннющих бульваров
смеясь как индийский божок с литографии старой
смеясь как смеется тростник когда люди уходят
В руках твоих точность была
хирургических инструментов
насквозь проспиртованных перед слепым погруженьем
в подземную тьму где включается сердцебиенье
Весь месяц я только 15-м ездил трамваем
едва успевал на конечной его остановке
купить папиросы «Плугарь» и коробочку спичек
И месяц за месяцем
в три часа дня
в этой давке
в час пик несусветный ты строго по расписанию
являлась на смену — и кто б тогда мог догадаться
что в три в этой давке стою я у синего моря
и вижу тебя в ослепительном блеске полдневном
и вижу как мокрые волосы пляшут на волнах
и вижу далекое судно в чарующей качке
безбрежной
Никто не узнал что ходил я к блестящему морю
что был твой трамвай лоскутком голубого пространства
и были глаза твои две перелетные птицы
которые нежно поддерживая друг дружку
домой возвращаются
чинят гнездо родовое —
чердак нежилой простертый над синим простором
Никто не узнал что трамвай был дворцом новобрачных
в котором бродил я надеясь — как гладиатор
надеется сдавшись на милость противника
бросив доспехи
еще перед боем
Никто не узнал что на той остановке конечной
был храм моего молчаливого обожанья

Волшебство

Я начинаю нынче ночью свою поэму в полумгле,
склонясь над белою страницей, вперед в сиянье перевесясь
луны, встающей над горами, как встарь турецкий полумесяц,
пока за мною тень густеет, вся распростерта на земле.

Я начинаю запоздало поэму эту — и окрест
белеет ночь, висок белеет, и я склонился в озаренье,
пока сверкает белый воздух в окне овальным ожерельем,
и тихий бормот побережья как будто лютневый оркестр.

А Хунедóра [1] не из моря взошла, где сказочный коралл
ее поднял бы из легенды, цветною пеною играя,—
в порыве страсти поисковой воздета вышка буровая,
и море темное мазута рождает город, как корабль.

И начинаю я поэму, пока рука еще сильна
и в белизне луга, как будто в геометрической фигуре,
мне ясно виден день вчерашний, и штиль сегодняшний, и бури,
и образы идут, как будто кочующие племена.

Я начинаю, но поэму не завершит полет смычка,
ни дух, бредущий по просторам ее страниц, лишенный взора,
ни обращенная в комочек земли усталая рука —
конца не будет, Хунедора.

Звездная земля

Земля моя, невзгоды и лишенья
Тебе придали силы неизбывной,
Земля светлей, чем факел в час призывный,
Черней, чем солнце в черный день затменья.

Обитель грез моих и мыслей поздних
И сущности, искомой неустанно,
Земля — лоскут земли обетованной
С мерцаньем пыли и вкраплений звездных.

[1] Город в Румынии.

Перевод Л. БЕРИНСКОГО

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ

Загадка Прометея

РОМАН

Перевод с венгерского Е. МАЛЫХИНОЙ

Слово к советским читателям

Для венгерского писателя быть переведенным на русский язык — большое событие. Вы это поймете, если вспомните, что во всем огромном мире венгерским языком владеет лишь около пятнадцати миллионов человек. Наш язык — прекрасный, но, увы, доступный очень немногим — крайне ограничивает радиус действия нашей литературы. Окном в мировую литературу с тех пор, как существует венгерская литература, был для нас перевод: мы переводили на родной язык все самое ценное, от античности до наших дней. Сами же, чтобы выйти к миру, располагали вместо двери разве что узенькой щелкой. Дверь перед венгерской литературой распахнуло социалистическое содружество, точнее — русский язык. Язык международный. Один из официальных языков межнационального общения и в то же время — что в данном случае еще важнее — литературный международный язык, поколениями великих русских поэтов и прозаиков отшлифованный до совершенства. Поэтому перевод на русский язык произведения венгерского автора означает не только тираж, многократно превышающий тиражи, возможные у нас,— благодаря русскому языку это произведение становится фактом литературы в любом уголке земного шара.

Нужно ли после всего сказанного подчеркивать мою благодарность переводчику и редактору, которые обратили внимание на моего «Прометея»?

И нужны ли слова, чтобы объяснить, с каким волнением выхожу я к этой поистине необъятной аудитории?

Мое волнение тем больше, что из всех моих произведений я люблю этот роман особенно. В каком-то смысле он стал квинтэссенцией всех моих раздумий и творческих устремлений. И, помимо прочего, присущая мне склонность к иронии нашла в нем естественный выход: «рационалистический» анализ мифов и легенд как реально существовавшей действительности предоставлял к этому неограниченные возможности. В стране Гоголя, думается мне, эта ирония полюбится читателям. Что же до меня, то я пользуюсь ею не только ради вящей «занимательности» (которая, впрочем, тоже важный фактор) — я убежден, что ироническая интонация способна придать особенную значимость и действенную силу серьезному содержанию произведения. А в «Прометее», по замыслу моему, сказка повествует о вещах весьма серьезных.

На моей родине меня знают как писателя современной, злободневной тематики. Поэтому мое обращение к событиям далекой древности поначалу было встречено с некоторым недоумением. Микены бронзового века, да еще бог в главной роли! (Или полубог? Ведь очень возможно, что на самом-то деле главный герой здесь Геракл, а не Прометей...) Но вскоре критика — к искренней моей радости — единодушно заговорила об актуальности, о сегодняшности романа. И, надеюсь, не только из-за шутливых моих отступлений и ссылок — но прежде всего потому, что актуальны и сегодняшни те моральные и философские проблемы, которые я исследую. Добавлю только, что не один злободневный вопрос прояснил для себя, работая над «Загадкой Прометея». (Очевидно, я не рожден «чистым теоретиком»: явления, доступные воображению и чувству, говорят мне больше, чем отвлеченные категории. Но это свойственно, пожалуй, многим, очень многим.)

Я — писатель и потому не стану отпираться: конечно, я жажду успеха. И тоже хочу, насколько возможно, доступными мне средствами внести свою скромную лепту в улучшение, совершенствование жизни на земле. Достигнуть же этого я смогу лишь

© Mesterházi Lajos, 1973.

в том случае, если читателю по душе придется то, что написано мной, если он «пойдет со мной рука об руку». Да послужит это оправданием моему тщеславию!

Итак, мой «Прометей» входит сейчас в ту дверь, что открывает перед ним русский язык. Что мне остается? Я закрываю глаза и затаив дыхание жду, как-то он будет принят. Поручаю себя доброжелательности читателей.

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ

Загадка Прометея

Она занимает меня издавна, можно сказать с самого детства, а в последнее время не дает мне покоя ни днем, как говорится, ни ночью. Я начинаю понимать изобретателей, их маниакальную борьбу с равнодушием и недомыслием, их отчаянные вопли «эврика!».

Так же и я: со всеми друзьями и знакомыми говорю теперь только о Прометее, да что говорю — пишу!

А между тем, право же, никто с таким почтением, как я, не относится к предубежденности. Если меня, скажем, числят писателем, «ангажированным на темы дня», значит, мне следует писать только и исключительно на темы дня. И поберечь для снов, одиноких раздумий или, на крайний случай, для узкого семейного круга то, что еще теплится во мне от взращенного некогда филолога. Ибо негоже быть иным — не тем, за кого тебя принимают, даже если ты в чем-то иной. Короче говоря, я сопротивлялся долго, не хотел писать того, за что сейчас принимаюсь, сказать по правде, вообще ничего не хотел писать — в конце концов, я же не дилетант, чтобы находить радость в этой работе без крайней необходимости в ней. И вот — после стольких обоснований и доводов — все же пишу.

Ибо я открыл загадку Прометея.

Нет, не разгадку ее, об этом пока еще нет речи. Только загадку. И какую волнующую загадку! Впрочем, вы сами в том убедитесь. Просто непостижимо: как это никто никогда не замечал ее, а если заметил — как мог о ней промолчать?!

Кто такой Прометей, знает каждый школьник. Герой из греческой мифологии, укравший для людей огонь с неба и в наказание, по велению Зевса, прикованный Гефестом к скале на Кавказе, куда ежедневно прилетал орел (по некоторым источникам — гриф), дабы вновь и вновь раздирать не успевавшие затянуться раны героя и клевать ему печень. Так продолжалось очень долго, пока оказавшийся в тех краях Геракл не сразил орла, разбил оковы и освободил Прометея.

До сих пор все ясно. А вот дальше — загадка! Что произошло с Прометеем потом? Ведь что-то с ним происходило, это очевидно. Но как, почему мог потонуть в тумане, исчезнуть из памяти его образ и все, что случилось с ним в дальнейшем?! Мы знаем, а если кто и не знает, то я еще вернусь к этому: Прометей был величайшим благодетелем человечества. Так почему же в античном мире не назвали по нему ни единой звезды (орел, что клевал ему печень, заслужил эту честь!), почему нет ни храма, ни хотя бы жертвенника или источника, рощи, посвященных его памяти? А между тем огромное звездное небо полным-полно совсем незначительными подчас персонажами мифологии и легенд, некоторым же звездам и вовсе достались названия тех или иных предметов обихода.

Возьмем общеизвестный пример. Он показывает, сколь скрупулезно точной могла быть общая память человечества! Венец, полученный Ариадной от Диониса, и поныне одно из самых характерных и привлекающих взоры созвездий. А теперь вспомним — ну кто такая, собственно говоря, была Ариадна? Какой совершила подвиг? Дочь Миноса, подросток, она по-детски влюбилась в Тесея. Да и почему бы ей не влюбиться? Тесей был пригожий молодой человек, герой, обречен-

ный на смерть, к тому же — иностранец. Он немного приударил за Ариадной. То ли за неимением лучшего, поскольку Федра была в то время еще совсем дитя; то ли — и мы можем считать это наиболее вероятным — он знал, что в его распоряжении времени в обрез, поэтому умной, гордой, прекрасной Федре (да ведь кем и был-то еще в те времена сам Тесей, его даже в Афинах не называли иначе как «перекати-поле»!) предпочел иной объект — Ариадну, которая быстро воспламенилась (вот уж истинно вся в матушку!) и чувства свои выражала весьма откровенно, попросту говоря, навязывалась. Нам следует знать также, коль скоро уж мы решили присмотреться к этой истории поближе, что пресловутый моток ниток вовсе не изобретение Ариадны. Отнюдь нет! Это был самый что ни на есть привычный предмет обихода в доме, простейшая, банальнейшая уловка, ну, как в наши дни — ключ, подсунутый под половичок у двери. Сейчас поясню для тех, кто, может быть, не сразу понял мою мысль (очень уж привычно звучит, не правда ли,— «нить Ариадны»!). Итак: для нас и вообще для всех посторонних Минотавр — чудовище. Но для родных, как ни верти, он все-таки член семьи. Коль скоро Пасифаю не прикончили сразу после ее скотства с быком. Ибо с каким бы пониманием, с каким бы либерализмом (все же недопустимым!) ни относились мы к сексуальной свободе, к различным в этой области аберрациям — и особенно когда речь идет о женщинах, да притом о деле столь давнем,— но то, что сотворила Пасифая, все-таки есть скотство. С любой точки зрения. Скотство по отношению к Миносу, который слыл исключительно порядочным, умным и справедливым правителем. Скотство по отношению к семье: мать двух прелестных детей, к тому же девочек! Скотство даже по отношению к быку: как мы знаем, ненасытная тварь (просто не могу охарактеризовать эту даму иначе) спряталась в выдолбленной из дерева корове, иными словами, надула также беднягу быка, этого хотя и дурного нравом, но по сути дела чистого помыслами исполина! Повторяю: если Пасифаю все же не забили насмерть, если, напротив, позволили произвести на свет плод отвратительного союза — получеловека с бычьей головой,— тогда уж, верно, уразумели и то, что сам-то этот несчастный в деле сем неповинен; он тем не менее — член семьи, сводный брат царских дочерей; одним словом, за ним надо присматривать, обихаживать, кормить его, наконец. Что же до семи афинских юношей и семи афинских девушек, то весьма сомнительно, чтобы это была вся пища Минотавра за девять лет,— да этого просто быть не может! Следовательно, в течение девяти «пустых» лет приходилось регулярно поставлять ему пропитание, а также — говорить об этом неловко, но да простят меня, дело-то ведь житейское — время от времени менять ему подстилку. Иными словами, члены семьи и, разумеется, доверенные слуги постоянно посещали лабиринт, а значит, постоянно пользовались пресловутым клубком ниток. Его прихватывали и те из них, кто очень хорошо знал дорогу,— лабиринт все-таки лабиринт! Так в наши дни даже самый опытный электромонтер пристегивает предохранительный пояс, работая на высоте. Иначе говоря, моток ниток — не изобретение Ариадны, пользование им было строжайше предписано в доме Миноса во избежание несчастных случаев. Ариадна всего лишь влюбилась в Тесея и посвятила возлюбленного в домашнюю хитрость. Тесей тоже не захотел раз и навсегда связать себя с Ариадной. И молод он был для женитьбы, а тут еще квартирный вопрос (жил-то он вместе с мачехой, особой ядовитой в самом прямом смысле слова). Итак, герой поблагодарил Ариадну за приятное приключение и вернулся на корабль. Вернее сказать, даже не поблагодарил, а просто вернулся на корабль и уплыл восвояси. Что и как там было после того с Ариадной, бог весть — нам известно только, что она предалась питию, как то нередко случается с подобного рода женщинами,— иными

словами (воспользуемся утонченной формулировкой легенды), «стала возлюбленной Диониса».

Возможно, я несколько заострил всю историю, несколько кощунственно пошутил над трагедией несчастной девочки, но что же делать — ведь такие трагедии случаются буквально на каждом шагу. Девочку эту я от души жалею, однако особого почтения к ней не испытываю, да и с чего бы? А рассказал о ней лишь для примера: вон какое прекрасное созвездие — Плеяды — досталось Ариадне! А какие празднества устраивали в ее честь кое-где в Греции и на островах, поклонялись ей, словно богине!

Прометею же не досталось ничего. Ничего!

Или припомним другое: из дюжины главных богов греко-римской мифологии кое-кто здравствует и поныне, причем не только на небе, но здесь, на земле, в нашей повседневной жизни. На целом ряде языков, которыми пользуются сотни миллионов людей в Европе и Америке, понедельник это день Луны или Дианы, вторник — Марса, среда — Меркурия, четверг — Юпитера, пятница — Венеры. До сих пор! А сколько античных богов живет в наших пословицах, поговорках! («Что дозволено Юпитеру...», «Фигура Юноны», «Прекрасен, как Аполлон» — и так далее.)

Прометей? Прометея нет.

Наиобразованнейший классик-филолог не в состоянии был бы с ходу перечислить армию богов рангом поменьше, полубогов и богов отчасти, затем — местных божков, обитающих в пещерах, горах, лесах, водах, словом, повсюду в известном тогда мире; наконец, семейных богов, богов домашнего очага... всем им, всем без исключения, поклонялись — временно либо постоянно — бóльшие или меньшие группы людей, городов, стран, их воплощали в скульптурах, совершали в их честь культовые обряды и жертвоприношения. Сказать, что их было миллион, мало. (В *одном только* Риме *одних только* домашних божков насчитывалось несколько миллионов.)

Но в честь Прометея, величайшего благодетеля человечества — это не я его так называю, это признают решительно все на протяжении многих тысячелетий! — в честь Прометея памятников не сооружали и не совершали ему жертвоприношений.

Вернее, так: если его все-таки изображали, то лишь затем, чтобы показать, сколь могущественны боги и сколь ужасно их мщение. И даже просто путали, как ни чудовищно это звучит, с записными, отъявленными мерзавцами. Правда, одно скульптурное изображение — одно-единственное — мы все же могли бы отнести на его счет, но тотчас выясняется: нет, оно посвящено не ему, а снова все тому же Зевсу: чтобы высечь огонь, он прибегает к молнии!

Эпоха романтизма словно бы притронулась слегка к этой загадке. Я имею в виду, например, Гёте, Байрона, Бетховена — а также и молодого Маркса, который первую свою работу посвятил Прометею. Преклоняюсь перед этими гениями. Однако проблему Прометея — да не прозвучат мои слова непочтительно! — и они трактовали несколько своеобразно. Как и все те, кто письменно, устно либо средствами искусства изображает Прометея человеком — символом Человека, восстающего против богов и самой природы.

Нет, Прометей был не человек, он был бог.

И среди богов не последний. Ибо род свой вел от самой старшей линии. Позвольте воспроизвести эту историю для тех, кто, может быть, подзабыл ее: вначале была Гея, Мать-Земля, и Уран, Свод Небесный. От их брака явились к жизни различные чудища — сторукие великаны, одноглазые великаны — и, наконец, первые человеку подобные существа — титаны и титанши. Самый старший был Яфет, самый младший — Крон. Гея и Крон, мы знаем, обошлись с Ураном весьма

круто. Как вскоре и с самим Кроном — его сын Зевс. А перворожденным сыном первого титана Яфета был Прометей. Конечно, по логике матриархата — и сказки — нет ничего особенного в том, что наследником становится самый младший отпрыск. Но при этом, во-первых, наследницей должна бы стать девочка. Во-вторых, Зевс сам же боролся за установление патриархата, сам утвердил власть Отца на Олимпе. Иначе говоря, по его собственной логике, богоначальником должен был стать двоюродный брат его, Прометей. (Иное дело, что Прометей — как мы еще увидим — вовсе не жаждал властвовать.)

Короче говоря, сколь ни прекрасно, сколь ни вдохновляюще изображение Прометея Человеком, упорным, стремящимся к небу, восстающим против самой природы Человеком,— оно ошибочно в самой своей основе.

Как ошибочно и отождествление Прометея с Люцифером. Я понимаю, аналогия напрашивается сама собой: этот — «принесший огонь», тот — «принесший свет». Однако хочу сразу оговориться и в ходе дальнейшего исследования буду напоминать неоднократно, что есть в филологии важное правило: к слишком напрашивающимся параллелям следует относиться особенно недоверчиво. В самом деле! Люцифер — восставший ангел. Прометей — напротив, совершенно лоялен и хотя без подобострастия, но самым действенным образом поддерживает Зевса. Далее, Люцифер, принеся свет, желал человеку зла: плод Древа познания — это пот лица нашего, родовые муки, тысячи болезней, смерть. Прометей спрятал болезни и беды в закрытом наглухо ящике, когда же — не по его вине — они были высвобождены и обрушились на нас, даровал нам огонь и ремесла, чтобы спасти наш беззащитный род, затерянный среди более приспособленных к самообороне обитателей Земли. Любопытно, однако, насколько больше повезло с людской благодарностью даже Люциферу, нежели Прометею! Черт-то он черт, но ведь были даже религии, последователи которых поклонялись Люциферу, одни — как главному божеству, другие — как дурному, но равноместному сотоварищу всеблагого бога. Почитал Люцифера Заратустра, поклонялся ему в молодости святой Августин, поклонялись ему альбигойцы, богумилы — словом, христиане!

...При таком опоздании выразить благодарность и преклонение невозможно. (Спешу оговориться: я-то вовсе не реабилитировать хочу Прометея! Я просто веду исследование, объективное исследование в связи с некоей загадкой.) Да, благодарность и преклонение следовало выражать тогда и там, где и когда происходили самые события. Так почему же все-таки нет святилища Прометея, почему не он — бог из богов, почему он и не был никогда объектом религиозного поклонения? И еще вопрос, с виду сюда не относящийся: что, собственно, случилось с Прометеем после того, как Геракл освободил его? На первый взгляд это вопрос самостоятельный, однако можно не сомневаться: он связан с предыдущим и даже в каком-то смысле тождествен ему.

Что-то особенное совершил Прометей в ту пору — или, напротив, чего-то не совершил! Попробуем рассмотреть по порядку, как и что было с ним после его освобождения,— тогда, быть может, нам удастся напасть на след и отыскать ответ полностью, то есть разгадать загадку.

Призыв к Читателю

После того как я рассказал, о чем, в сущности, пойдет здесь речь и в какой путь, полный неизведанного, я пускаюсь, позвольте мне воззвать — за неимением соответствующего божества — к Читателю, к его, Читателя, проницательности. Не к разуму, а именно к проницательности я взываю.

За последнее время я много, видите ли, раздумывал об этих вещах... Как знать, не кроется ли в трагедии Прометея, где-то на самой ее глубине, именно то, что не сумел он (будучи недостаточно сведущ в делах человеческих) должным образом разграничить разум и проницательность. Нельзя и нам с помощью разума — ratio — подходить к этому, в относительной целостности сохранившемуся, волнующему куску нашей древней истории. Ибо, приближаясь к нему лишь с помощью разума, мы будем отдаляться от него! У нас немного данных для раскрытия загадки Прометея. Хотя, как мы увидим, их все-таки больше, чем это кажется на первый взгляд. Изучив предварительно материал, я нашел достаточно опорных точек для того, чтобы рискнуть взяться за разгадку этой таинственной истории строго филологическими методами. Более того, и я и Читатель, пожелавший вместе со мною отправиться в путь, должны будем придерживаться этих методов исследования неукоснительно.

Традиция, именуемая «мифологией», неоднородна. Одна ее часть — сказка. Явления природы, обычаи, происхождение которых терялось в тумане времен, тревожили воображение, рождали выдумки.

Другая часть мифологических сказов — аллегория. Здесь, но только здесь, уместен рационалистический подход: в конце концов, аллегория есть творение разума. Для объяснения того или иного явления, для иллюстрации нравственной истины изобреталась определенная система символов. Это нетрудно проследить и по некоторым напластованиям мифа о Прометее. (А также по историям о Прометее, созданным уже в новое время.)

Ну, например: существует версия, утверждающая, что человека сотворил Прометей; тело будто бы слепил из земли, потом украл с неба огонь, и стал огонь душой человека. Здесь перемешано многое: шумеро-аккадская легенда о сотворении человека, огонь как символ души, наконец, раннее осознание того, что Энгельс сформулировал в словах: «человека создал труд». Более поздним напластованием надо признать и сказание о том, что Прометей якобы украл огонь у Аполлона, вернее у Гелиоса, да еще с помощью Афины. Аллегория очевидна: богиня Разума поддерживает предприятие, в результате коего Человек становится обладателем частицы Солнечной стихии — огня...

История Прометея — традиция очень-очень древняя. И, если мы хотим в ней разобраться, надо отсеять все более поздние, рационалистические привески, принять ее такой, какой рассказывалась она нашими предками. Теми предками, для которых огонь действительно означал огонь и ремесло было ремеслом в самом прямом смысле слова; предками, которые с помощью одних лишь органов чувств, без какого-либо процеживания сквозь разум, не угадывали-подразумевали, но *видели* в яростно клубящейся грозовой туче взлохмаченного гневного Зевса...

Относительно же сотворения мира они без всяких ухищрений угадали то, что выразила некогда, у начал нашего летосчисления, философия: боги, олицетворяющие явления природы, сами суть эти явления...

Если мы хотим отыскать путь к разгадке тайны, окружающей Прометея, необходимо разобрать этот миф буквально, притом в самом древнем его варианте. Итак:

Был среди богов некий бог, который увидел, что один род населивших Землю живых существ не имеет — то ли по изначальному недосмотру Эпиметея, то ли по иной причине — ни когтей, хоть чего-то стоивших в борьбе за существование, ни клыков, ни силы особенной, ни достаточно быстрых ног, ни защитного панциря, ни способности к мимикрии, так что существо это беспомощно и совершенно беззащит-

но; у него остается единственный способ выжить — овладеть огнем. (То есть он должен научиться пользоваться инородным и могучим орудием, а для этого его необходимо одарить еще и сноровкой, способностями к различным ремеслам.) И бог сотворил это диво, ни раньше, ни позже ни одному другому животному недоступное: нашелся человек, самый первый, кто не побежал с паническими воплями прочь от зажженного молнией леса, а сумел взять огонь в руки, собрать, раздуть, сумел приспособить к своим нуждам эту ужасную стихию опустошения.

Давайте же попробуем именно так рассмотреть, исследовать историю Прометея! Буквально, слово за слово, без каких-либо аллегорий и сомнительных параллелей. Ведь аллегории дали бы нам лишь весьма доступные, но в действительности касающиеся самой поверхности вещей, общие места. А ложные параллели повели бы ложным путем, и не только в осмыслении загадки Прометея, но в понимании сущности человека и мира вообще. Даже если бы с помощью какой-то параллели мы по видимости перевели миф на «язык разума». Ибо на сей раз в мифе больше подлинности, чем в любых выкладках разума.

Вот почему я обращаюсь к *проницательности* Читателя и покорнейше прошу забыть о том, что он обладает еще и разумом. Уверяю, что благодаря проницательности — Читатель убедится в том сам — ему откроется на этот раз гораздо-гораздо больше.

Когда?

Время освобождения Прометея мы можем установить с точностью буквально до одного года. В самом деле, ведь фигура Геракла возникла не из тонущих в тумане предвечных времен, он жил в четко определяемый исторический период и принадлежал к поколению, предшествовавшему Троянской войне.

По свидетельству «Илиады» — которая, если сбросить со счетов естественные для ее иронической манеры гиперболы, содержит поразительной точности исторические сведения,— в войске ахейцев сражался один сын Геракла, Тлеполем, и два его внука — Антиф и Фидипп. Тлеполем явился под Трою с родосцами. Убив родича, он бежал в Родос от мести остальных сыновей Геракла. (Важный для дальнейшего изложения факт; остальные Гераклиды, а было их великое множество, в Троянской войне участия не принимали!)

Геракл на костре сделал завещание в пользу Филоктета. Согласно некоторым летописцам более позднего времени, Филоктет был просто «мальчик-пастух», который «случайно проходил мимо и внял просьбам зажечь костер под живым еще Гераклом, поскольку друзья героя на это не соглашались». Другая традиция называет Филоктета боевым товарищем Геракла. Такая версия достоверна. Во-первых, право поджечь костер — особая честь, принадлежащая самому любимому и близкому человеку. Во-вторых, Геракл, сын бога-отца, должен был собственными ногами взойти на костер — эта мучительная смерть была непременным условием причисления к сонму богов. Отравленный кровью Несса, умирающий герой исполнил древний священный обряд и воспользовался при этом помощью, конечно же, не первого случайного прохожего. Среди прочего добра Геракл завещал Филоктету знаменитые свои стрелы, смоченные в крови Лернейской гидры. Далее: Филоктету принадлежит ключевая роль в цикле легенд, связанных с Троей. Согласно предсказанию богов, без стрел Геракла Троя не могла быть взята. Ахейцы сделали все возможное, чтобы втянуть Филоктета в свой поход, а потом, когда он заболел на Лемносе, доставить его к

стенам осажденной крепости. Болезнь, по одной версии, приключилась от укуса змеи, по другой — от стрелы Геракла, коей он ненароком поцарапал себе ногу; впрочем, обе версии сходятся в одном — Филоктет был наказан за то, что предал Геракла. (Тоже важный мотив; позднее мы выясним, в чем именно состояло это предательство!) Во всяком случае, Гомер с помощью целого ряда фактов доказывает, что Филоктет был если не богатый царь, то, уж конечно, и не случайный «мимо проходивший» пастушонок. Он явился под Трою на семи кораблях; его помощником был брат Аякса-младшего; наконец, Парис гибнет от его руки. Да и отец Филоктета не кто иной, как Пеант, убивший критского медного человека, аргонавт, участник нескольких походов Геракла.

Образ Геракла связан с троянским циклом и непосредственно. Крепость была разрушена землетрясением. Для восстановления ее царь Лаомедонт заключает соглашение с впавшими в это время в немилость Аполлоном и Посейдоном. Оба бога добросовестно выполняют договор: они возводят пышный город, окружают его неодолимыми стенами. (Точнее: чтобы город не был совсем уж неодолимым, то есть не мог бы противиться богам, они привлекли к работе святого царя мирмидонцев, Аякса эгинского,— он-то и возводит западный участок стены, слабое место Трои.) Однако Лаомедонт отказывается выплатить богам то, что причиталось с него по соглашению. Тут разъяренный Аполлон выпустил стрелу, и город охватила тяжкая повальная болезнь, а Посейдон послал на берег морское чудище, которое потребовало в виде выкупа дочь (или внучку) Лаомедонта, малолетнюю еще Гесиону. (Последнее, возможно, чужеродный мотив; он встречается на восемь столетий ранее в легенде о Персее, а также позднее, в целом ряде других сказаний.) Во всяком случае, освободил город — от чудища ли, от иной ли какой напасти — именно Геракл, причем опять за оговоренную заранее плату. Геракл отправился с аргонавтами в Колхиду. Путешествие это — после распада международного мореходного союза, в период разгула пиратства — было предприятием весьма серьезным, активно послужившим политике мира. Однако молодые мореходы очень уж безобразничали, хулиганили, огорчая тем почти сорокалетнего Геракла, который и вообще был поборником строгих нравов. У Босфора он с ними расстался. По правде сказать, только до сих пор и был ему интересен этот путь: удастся ли мирно миновать тесный пролив? Возвращаясь домой, он как раз вовремя подоспел к Трое, чтобы помочь городу. Но Лаомедонт обманул и его. Не заплатил за подмогу. Тогда Геракл атаковал город, Лаомедонта прикончил, а престолонаследника, юного Приама, захватил и увел в свой шатер; вернул он его троянцам на этот раз лишь за повышенный выкуп. Тогда-то и началось царствование Приама, окончившееся, как мы знаем, с падением Трои, когда был он уже глубоким старцем.

Я мог бы и продолжать, ведь мы располагаем множеством сведений об этой не столь уж отдаленной от нас эпохе. (По сути дела, вся мифология разыгрывается в XIII веке до нашей эры.) Но, полагаю, и всего выше сказанного довольно, чтобы убедиться: Геракл принадлежал к поколению, предшествовавшему Троянской войне.

В таком случае, посмотрим, когда же, собственно, случилась Троянская война?

С тех пор как Шлиман успешно раскопал у Дарданелл скрытые под Гиссарлыкским холмом руины и целая армия ученых исследовала после того эти раскопки, мы знаем, что Троя — это древний город, девять раз отстраивавшийся заново на собственных развалинах. В течение третьего тысячелетия он был разрушен четырежды; в четвертый раз его, надо полагать, подожгли и покорили уже хетты. Одна из более поздних его формаций, так называемая «Троя VI» — самый бога-

тый и неприступный по тем временам город в Малой Азии, как это можно установить по развалинам,— была разрушена, несомненно, землетрясением. Это и могла быть Троя Лаомедонта. Вновь выстроенная так называемая «Троя VII/A» стала жертвой осады и пожара, по Шлиману, около 1200 года до нашей эры. Эта дата совпадает со временем гибели Хеттского царства, а также с данными, которые сохранили для нас архивные материалы Египта о вторжении в Азию Ахейского союза — о «походе народов моря». Таким образом, «Троя VII/A», без сомнения, тождественна Приамовой Трое, Трое Гомера.

А вот еще одна веха — греческая традиция, так называемое «локрово проклятье». Когда греки овладели Троей, Аякс, сын Оилея, Аякс-младший, опозорил Кассандру в храме, перед статуей богини. Дабы умилостивить богов за поругание святыни, локры дали обет ежегодно на протяжении тысячи лет совершать жертвоприношения в Трое. (Поначалу то были кровавые человеческие жертвы, позднее все свелось к веселому обряду вроде храмового праздника.) По их расчетам срок должен был истечь в 264 году до нашей эры. Но уже Эратосфен вычислил, что локры сплутовали, «замотали» целую сотню лет. И значит, Троя пала в 1164 году до нашей эры. Самые последние научные изыскания почти в точности подтверждают данные Эратосфена. Методом, основанным на анализе распада радиоактивного углерода, установлено, что осада Трои имела место между 1195 и 1185 годом до нашей эры. Примем это за основу. Тем более что такая датировка ближе всего соотносится и с египетскими данными.

Еще одно уточнение. Геракл играет важную роль также и в дорическом цикле легенд. Дорийцы доказывали свое древнее право на Пелопоннес, ссылаясь на него. Геракл во главе набранного в Аркадии войска помог их царю Эгимию в войне против лапифов. В благодарность Эгимий, как мы знаем, пожелал наградить героя, отдав ему треть своих владений. Геракл передал этот дар одному из сыновей своих, Гиллу, рожденному дорийской женщиной. Позднее Эгимий усыновил Гилла и назначил своим наследником. Именно он возглавлял первые выступления дорийцев против пелопоннесских ахейцев. Дельфийский оракул предсказал, что после «третьего плода» Гераклиды победоносно вступят во владение отцовым наследством. Сперва они истолковали пророчество неправильно и по прошествии трех лет попытались перейти через Истм, но потерпели поражение. Более того, пал в единоборстве и Гилл. «Третий плод» означал в предсказании третье поколение. То есть овладеть Пелопоннесом удалось лишь правнукам Геракла. И здесь даты совпадают. Греческая традиция относит «завоевание родины» дорийцами к восьмидесятому году после падения Трои. (Дата подозрительно круглая, но приблизительно подтверждается также археологическими данными.) Таким образом, первые попытки Гилла могут относиться к годам, непосредственно предшествовавшим Троянской войне, то есть к самому концу XIII века до нашей эры. Что одновременно с достоверностью указывает и на дату смерти Геракла. Гилл и его дорийцы, надо думать, не медлили, во всяком случае, тотчас явились к Пифии за предсказанием, чтобы утвердить свои права!

После всего вышеизложенного мы должны ответить лишь на два вопроса, чтобы точно установить время освобождения Прометея, а именно:

С каким подвигом Геракла может быть соотнесено это событие?

И в каком порядке подвиги эти совершались?

На первый вопрос мифологи не дают ответа, а если и дают, то весьма разноречивый. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться: правы те, кто считает, что Геракл обнаружил прикованного к ска-

ле Прометея, возвращаясь домой после войны с амазонками. Я полагаю излишним в данном случае ссылаться на Плутарха и его источники. Достаточно сказать: это было единственное путешествие Геракла в район Кавказа. В каких только краях он ни побывал, сколько земель ни исходил от Северной Европы до Египта, но в эти места ни раньше, ни позже не забредал ни разу.

Что же касается порядка совершения подвигов, то тут я старался черпать из самых древних и самых солидных источников. Поэтому оставил заведомо без внимания те из них, например, которые устанавливают связь между подвигами Геракла и знаками Зодиака: не спорю, весьма привлекательная «игра ума», но, право же,— глупость. Точно так же пришлось мне освободить сюжет от явно вторичных элементов «хождения в Аид». «...И сошел он в ад, на третий же день восстал из мертвых...» — это ведь очень древний мотив в Средиземноморье, который непременно включали в легенду о любом герое, от Адониса, каким бы именем он ни назывался, до Иисуса. Итак, я полагаю, вдохновляемый также суждениями весьма респектабельных античных авторов, что при описании этого подвига речь идет не о Кербере, страже Преисподней (что с любой точки зрения абсурдно, не так ли?), но об ужасных кровожадных тварях мира эллинского — о знаменитых молосских собаках. Свору этих-то собак и должен был привести Геракл в Микены из города Кикира, принадлежавшего известному своей псарней царю Эдонею. Заодно герой освободил незадачливого Тесея. (Собаки действительно выдрали у него кусок из заднего места, но я не потому называю его незадачливым, а потому, что это было последнее приключение, в которое его втравил друг — отчаянный забияка, бешеный Пиритой. Тесей без всякой охоты, просто по-приятельски решил помочь ему украсть жену Эдонея: зачем, мол, старому хрычу такая красотка? Что ж, он крепко за это поплатился. А Пиритой и того пуще: в клочья растерзали его кровожадные царские псы.) В Кербере нет никакой необходимости: Эврисфею много ли было нужно? Конечно же, он насмерть перепугался этих молосских чудищ, когда Геракл явился с ними в Микены.

Теперь нам, кстати, открывается возможность отнести этот подвиг на соответствующее место. Вполне очевидно, что не он был последним по счету. Это подтверждается и историей с Тесеем: ведь Пиритой был другом его юности; став же почтенным мужем и правителем, Тесей не мог более участвовать в подобных бесчинствах.

Выяснив все это, мы должны ради установления правильного хронологического порядка событий принять во внимание — помимо свидетельств представляющихся достоверными источников — еще две вещи.

Во-первых, технические условия — то есть какая требовалась подготовка и какое войско для осуществления каждой отдельной задачи. (Очевидно, например, что герой, уже пользующийся широкой популярностью, мог легче набрать себе сподвижников, чем мало кому известный новичок.)

Во-вторых, общественные отношения — то есть истинные причины, исходя из которых Эврисфей назначал Гераклу задания. Не наобум же посылал он героя то сюда, то туда, не затем же, чтобы просто свершилась воля богов и чтоб в легенде концы сошлись с концами.

Итак, среди подвигов мы видим прежде всего несколько таких акций, которые служили укреплению Микен, утверждению их ведущей роли среди других городов. Вот они:

освобождение немейских медных копей и дороги, ведущей оттуда в Микены, от уничтожавшего все и вся льва (по иным толкованиям — от банды грабителей);

уничтожение Лернейской гидры и Стимфалийских птиц. (Согласно надежным античным комментаторам, и гидра, «голова коей всякий раз вырастает наново», и птицы — это скрывавшиеся в болотах и беспокоившие окрестности «староверы», а также их ведьмы — жрицы, принимавшие человеческие жертвы);

расчистка Авгиевых конюшен и, заодно, усмирение царя пилосского, который нападал на Эгея. Для этой акции потребовались уже более значительные военные силы. Геракл одним ударом убил двух зайцев: укрепил внутреннюю и внешнюю безопасность союзной Элиды, а также сломил сопротивление Пилоса, убил в бою враждебно настроенного Нелея и одиннадцать его сыновей; пощадив же младшего Нелеева сына Нестора и посадив его на трон, он тем самым заручился верностью города Пилоса, что было для Микен весьма важно, как ввиду богатства его, так и ввиду исключительно сильного флота.

Однако после этого случилось что-то непонятное. Эврисфей объявляет недействительными сразу два подвига Геракла, Авгий не выплачивает его наемникам заранее оговоренной платы — Геракла провоцируют сразу с двух сторон. Быть может, в нем уже нет нужды? Оскорбленный Геракл отправляется в Олен, вскоре присоединяется к аргонавтам. В Малой Азии он их покидает, освобождает Трою и царевну Гесиону, побеждает Лаомедонта, сажает на трон Приама. На обратном пути терпит кораблекрушение («Гера усыпила Зевса, чтобы не мог он присматривать за своим сыном»), высаживается на острове Кос, после горестных злоключений добирается, наконец, домой, в Фивы. Между тем аргонавты уже вернулись из похода, а Медея успела даже покончить с Ясоном. Страстная и, судя по всему, обворожительная ведьма обхаживает Геракла, и, кажется, небезуспешно, однако наш герой не теряет головы: не требует для Медеи разрешения поселиться в Фивах. (Такое случается и в наши дни: «Ночевать — пожалуйста, но только без прописки».) Медея едет в Афины, опутывает Эгея (она давно уже имеет на него виды, но сперва делает попытку с Гераклом). А наш герой возвращается в Микены — чтобы продолжить исполнение своего обета.

Тем временем Эврисфею не до Геракла, он занят совсем другим. Чем именно? Ответ на это нам опять дают египетские папирусы.

Ливийцы с суши, пиратские «народы моря» (ахейцы и несколько малоазийских племен) со своих кораблей обрушились на Египет. (Это первое нападение «народов моря», 1229 год до нашей эры.) В кровавой битве фараон Меренптах разбил их, греческий лагерь и вся флотилия в дельте Нила были уничтожены. Любопытно, что мировая история почти не занималась этим эпизодом. Что касается греков, оно и понятно: им хотелось забыть свой позор. Однако факты есть факты. (Если же в чьих-то глазах слова «акайвата» и «дануна» недостаточно убедительно говорят о том, кто же были эти «народы моря», пусть осмотрит рельефы храма Мединет Абу: он увидит там ни на какие другие не похожие *греческие* шлемы с гребешками, круглые щиты, короткие обоюдоострые *греческие* бронзовые мечи — против египетских стрел.)

Итак, вот ради чего важно было создать Ахейский союз, усмирить непокорный Пилос...

А Геракл прибыл в Микены в самое неудачное время, чуть ли не в тот момент, когда пришло известие о поражении. И к тому же, надо полагать, был восторженно встречен простым микенским людом.

Теперь он был уже не слуга, но опасный противник, возможный — и законный! — претендент на престол вместо основательно подмочившего свой авторитет Эврисфея, вообще Пелопидов.

Нужно было как-то отделаться от него!

Вот тут-то и последовали бессмысленные, но опасные для жизни задания. Критский бык. Кобылицы Диомеда. И именно здесь — молосские собаки. Трудно установить время свершения лишь двух подвигов: сюда ли относятся поимка Керинейской лани и охота на Эриманфского вепря или же их место в первой группе. Однако для нашего исследования это не столь уж существенно.

Геракл остался в живых. Но между тем минуло около десяти лет, время достаточное, чтобы авторитет Пелопидов был восстановлен и Ахейский союз кое-как возобновлен. А поскольку Геракл не погиб, напротив, его слава после каждого успешного деяния лишь возрастала, Эврисфею ничего не оставалось, как — под предлогом новых заданий — удалить героя из Микен на возможно больший срок.

Иными словами: война с амазонками, Коровы Гериона, Яблоки Гесперид.

К концу столетия события очень сгущаются. Когда я составил их хронологию, показалось, будто до отказу набил книгами длинную-длинную полку. Война с амозонками пришлась на 1219—1218 годы до нашей эры.

Гераклу было тогда, по моим расчетам, пятьдесят один — пятьдесят два года.

Переход — с войском — в Скифию, землю амазонок, через царство Хеттское, пребывавшее тогда в крайне анархическом состоянии, был весьма сложным предприятием, требующим больших организаторских данных, зрелости, житейского опыта. Оно требовало также, как мы увидим, незаурядных дипломатических способностей.

Мы можем, повторю здесь еще раз, принять за верное, что освобождение Прометея случилось не по дороге в Скифию, а уже после победоносной войны, на обратном пути к дому. Ведь освободить кого-то от цепей после стольких мучений — это еще не так уж много. Нужно как-то наладить дальнейшую жизнь освобожденного. Если бы Прометей был освобожден по дороге в Скифию, он, очевидно, двинулся бы вместе с воинами и так или иначе принял участие в войне с амазонками. Что, несомненно, оставило бы какой-то след. (Помнят же люди, как он помог Гераклу перехитрить Гесперид!) А кроме того, Геракл, спеша на войну, выбрал, надо полагать, путь более привычный — то есть подошел к южной равнине нынешнего Советского Союза, которая и была страной амазонок, по берегу Черного моря либо приплыл на кораблях. Зато на обратном пути, после победы, они скорей могли позволить себе некоторый крюк и добираться через Кавказский хребет.

На основании этих данных мы можем с наибольшей степенью вероятности отнести освобождение Прометея к 1218 году до нашей эры. И вряд ли ошибемся на год-другой в ту или иную сторону!

С каких пор?

Итак, одну дату мы знаем, можно сказать, точно — тем более что речь идет о событиях столь далеких. Теперь встает другой вопрос: когда началась Прометеева пытка?

. . . . . .

Мы должны задать науке вопрос:

Было ли в древней истории Человека такое мгновение, «когда Зевс не хотел, чтоб Человек — был», когда всей цепи развития угрожало окончательное истребление? Была ли какая-то связь между огнем и тем фактом, что человечество выжило?

Ответ на оба эти вопроса — безусловное «да».

В самом деле, посмотрим!

Древнейший известный нам предок наш — дриопитек; это общий наш прародитель с гориллой, шимпанзе, орангутангом. В середине третичного периода, двадцать-тридцать миллионов лет назад, он уже пользовался некоторыми орудиями — камнями, палицами. Как и многие породы обезьян. Это не привилегия Человека! Он как будто даже хранил свои орудия.

Пять-шесть миллионов лет назад мы встречаемся с австралопитеком. Одна из ветвей его на заре четвертичного периода, то есть между двумя с половиной миллионами и одним миллионом семьюстами тысяч лет,— Homo habilis. Я беру научное наименование в кавычки: в сущности, это еще не человек, а обезьяна. Правда, он уже приспосабливает орудия к своим нуждам, иначе говоря, хотя и на очень примитивной ступени, но пользуется инструментом.

Все эти наши предки обитали в Юго-Западной Африке. И нигде больше.

И вдруг они исчезают из наших глаз на целый миллион лет. Мы ищем, исследуем каждый возможный след. Их нет. Ни в прежнем районе обитания, ни в другом месте.

Но вот семьсот тысяч лет тому назад они неожиданно, словно карстовый ручей, возникают вновь. Причем в самых разных местах, от Чжоукоулянь, что недалеко от Пекина, до Вертешсёллёша [1] — в Азии, Африке, Европе, по всей территории древнего мира. И несмотря на принятое ранее (неправильное) наименование — питекантроп, это уже не «обезьяночеловек», а человек. Правильное научное его наименование: Homo erectus.

Загадочная история. Однако таинственный миллион лет весьма убедительно раскрывается следующей научной гипотезой:

Homo habilis с его черепом в семьсот кубических сантиметров еще и сегодня занял бы весьма почетное место в животном мире; несомненно, что в духовном смысле он был самым развитым существом своего времени. И в то же время самым несовершенным. Цикл полного развития в соотношении со средней продолжительностью жизни был слишком затяжной, ритм размножения замедленный. В наиболее удачные периоды численность его могла достигнуть сотни тысяч, но во времена стихийных бедствий, эпидемий, голода она снижалась до двух-трех тысяч. Иными словами, этот род жил под постоянной угрозой полного вымирания; точно так же, как в наше время — человекообразные обезьяны.

Вот так и шел наш предок навстречу бесчисленным невзгодам, в том числе четырем мучительно долгим периодам оледенения! Да еще по каким-то причинам — хищники, болезни, стихийные бедствия — ему пришлось покинуть исконные места расселения со сравнительно приемлемым климатом!

Совершенно ясно: это существо было обречено на вымирание.

И все-таки не вымерло! Напротив! Миллион лет спустя оно возникает перед нами опять. Что же произошло за этот миллион лет, какое фатальное — можно сказать, «высшего порядка» — вмешательство, какое чудо?

Ответ может быть только один: Homo erectus уже пользовался огнем!

Прометей в самом прямом смысле слова дал Человеку огонь, ибо пожалел это несчастное, обреченное на погибель существо, оказавшееся без малого бионегативной мутацией. И с помощью огня спас ему жизнь.

---

[1] Селение на территории Венгрии. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

За это и покарал его Зевс столь ужасно. Повелел приковать к скале, повелел, чтоб орел день за днем терзал ему печень. На протяжении семисот-восьмисот тысячелетий по меньшей мере. А еще вернее будет сказать: на протяжении миллиона лет.

Ибо Зевс хотел погубить Человека. Он хотел предоставить его собственной судьбе, а это и значит: хотел погубить.

Почему? Может быть, Человек тотчас стал устраивать лесные пожары, бездушно расхищать живую природу Зевсову? Возможно. Может быть, Зевс был особенно дальновиден (более дальновиден, чем сам «прозорливец» Прометей) и боялся, что в конечном итоге Человек погубит весь мир, если мир когда-нибудь попадет ему в руки? Возможно. Быть может, и вовсе нет никакой другой причины — кроме той, что делает Человека отвратительным для всех прочих живых существ: невыносимая вонь от него? Возможно.

Лучше уж нам удовлетвориться объяснением самого мифа: просто так! Зевс это Зевс. И причинной связи нет.

Но Прометей спас Человека, подарив ему огонь. Почему? Потому что пожалел его. И только.

Прометей спас Человека, дав ему огонь, и заплатил за это чудовищными страданиями, растянувшимися на семьсот-восемьсот тысячелетий, вернее — на миллион лет (а что еще выпало на его долю после освобождения!).

Спас не наукой металлургии, не наукой добывать огонь, а просто самим огнем, одно лишь пользование которым означает уже и овладение ремеслами.

Человек — и антропология подтверждает это, не оставляя ни малейших сомнений,— стал Человеком не тогда, когда овладел умением плавить металлы или хотя бы разводить огонь. Человек стал Человеком, когда попросту научился использовать для чего бы то ни было огонь, встречавшийся в природе. Для защиты от холода, для защиты от нападения хищников. Он оказался на Земле единственным живым существом, которое не боится огня, не бежит от огня с паническими воплями. Напротив, идет к нему! И как ни ужасен чудовищный саблезубый тигр, как ни кровожаден и силен пещерный медведь — пятилетний человеческий детеныш берет в ручонки дымящуюся, рассыпающую искры головешку и тем обороняет себя от врагов. Гонит прочь и саблезубого тигра, и пещерного медведя. Не случайно самый древний, самый первый наш предок, в ученом наименовании которого уже нет и намека на обезьяну, тот предок, который вне всяких сомнений Homo, что подтверждает каждая деталь его скелета,— этот предок во всех раскопках неизменно обнаруживается вместе со следами огня. Со следами огня и орудиями, изготовленными сознательно. К слову сказать, только с каменными орудиями. Его деревянные инструменты истлели: ведь рукоятки орудий труда, палицы, рычаги, копья изготовлялись из дерева и закалял, заострял их наш предок также с помощью огня; истлели и кожи, звериные шкуры, для упрочения, дубления которых нашему предку также служил огонь, вернее, продукт огня — дым. Все это исчезло, но оно было там, где остались следы огня; это с уверенностью можно сказать по другим находкам.

Итак, Прометей был прикован к скале, где провел круглым счетом миллион лет ради нас, просто ради того, чтобы мы существовали, выжили, превратились в человека. Это звучит абсурдно, и все-таки более разумного толкования нет.

Слишком много? Много.

Тридцать тысяч лет или три тысячи вероятнее?

Повторяю, лично я — с орлом, рвущим мою печень,— вряд ли выдержал бы и три дня.

Так какой же смысл проводить различие между невероятным и невозможным?

Кстати сказать, даже просто ratio заставляет нас верить только и именно этому!

В самом деле, вряд ли можно себе представить более рациональную систему, чем теология святого Фомы. Так вот это и есть тот самый случай, когда святой Фома заявляет: «Credo quia absurdum» [1]. Не будем забывать: Прометей — бог, и не какой-нибудь второразрядный бог. Он принадлежит, причем по старшей линии, к тому же поколению, что и Зевс. Быть прикованным к скале, выносить это в течение миллиона лет (а тут еще орел!) — нет, на это не было бы способно ни одно человечьими мерками измеримое существо! Следовательно, факты блистательно подтверждают божественность Прометея, причем весьма высокой пробы.

Теперь любезный Читатель, разумеется, понимает, сколь умопомрачительна глубина этой загадки, понимает, почему она не дает мне покоя уже много лет, тревожит даже по ночам.

Отчего люди никогда, никак, нисколько не поклонялись Прометею?!

Оттого, что это просто миф, сказка?

Но я говорю здесь о греках, точнее — о микенских ахейцах, о людях позднеэлладского периода. О тех, для кого эта сказка была действительностью, ибо они верили в нее!

Верили в Прометея точно так же, как в Зевса!

Почему же они не поклонялись Прометею? А Зевсу — поклонялись?!

В самом начале я уже выражал недоумение свое и удивление: ведь какое репрезентативное — иного слова не подберешь — созвездие досталось на небе Ариадне! Да и орлу, что клевал печень Прометея,— тоже. Могу добавить: нашлось созвездие, и опять не какое-нибудь захудалое, даже для стрелы, что в конце концов погубила этого орла! Прометею же не посвятили ничего. Хотя бы самой пустяковой планетишки. Сейчас, продумав вновь, что же все-таки сделал ради нас Прометей, я потрясен еще больше.

А ведь при этом —

было святилище, посвященное Атланту, восставшему титану, а величественная горная цепь и поныне носит его имя;

было святилище — пойдем еще дальше — и у Пандоры, этого прообраза глупых и зловредных красоток, у Пандоры, напустившей на Человека всевозможные несчастья (те, что именно Прометей запрятал в ящик, накрепко заперев его); да, святилища Пандоры были, и не в одном месте, во многих!

А святилища Прометея не было.

Мы обязаны в этом разобраться. Уйти от этого мы не можем!

Неужели Человек столь забывчив? Тот Человек, который (благодаря Прометею!) вступил в нынешнюю эпоху, оставив далеко позади всевозможные прокреативные опасности, и ко времени нашей истории, к XII веку до нашей эры — блистательному великому Веку Мифологии,— размножился на Земле почти до двадцати миллионов. Иначе говоря, уже полностью был подготовлен к тому, чтобы впредь, на протяжении долгих миллионов лет, ему оставалось бояться разве что себя самого.

Неужели Человек столь забывчив? Но почему?!

---

[1] Верую, ибо объяснения не имеет *(лат.)*.

Война с амазонками

После путешествия на «Арго», то есть впервые за минувшие двадцать лет, война с амазонками была для Геракла заданием действительно по душе.

Не только потому, что наконец-то опять настоящая заграничная, к тому же длительная, командировка. Мы еще увидим, насколько он был бескорыстен. Ведь ему, можно сказать, достаточно было пошевельнуть пальцем, чтобы получить микенский трон, завладеть, причем по праву, и дворцом с его бесценными сокровищами, и вообще всей Арголидой. Ему могла бы принадлежать солидная часть Северной и Средней Греции, если бы он принял подношение дорийцев. Но нет, даже из военной добычи его интересовало только оружие. Да еще лошади. Словом, военная экипировка. Геракл был воин. Можем не сомневаться: он лишь затем избрал по окончании войны трудный путь через Кавказ, чтобы обменять часть трофеев на лошадей. К югу и юго-западу от Кавказа жили народы — остатки могущественного некогда Митанни,— занимавшиеся коневодством. Их великолепные лошади (предки нынешних арабских) были крупнее, породистее обычных на Балканах славных, но мелких лошадок.

Геракл был воин и к тому же — воин Зевса. В те времена, особенно для него, это означало высокое беззаветное служение вере. В том столетии подобным ему истинным приверженцем дела Зевса был, пожалуй, один только Аполлон. Даже Дионис, увы, поступался иной раз принципами, в его установлениях явственно проступает некоторая ревизионистская расхлябанность: так, он разрешает женщинам — правда, с оговорками и только в специально назначенное для того время — раздирать мужчин в клочья. Короче говоря, новое задание Эврисфея было для него прежде всего подлинным и исключительным служением собственным идеям: он получил возможность воевать против «свежевательниц мужчин», против женского варварства, и на этот раз речь шла не о жалких отребьях — ведьмах, скрывающихся в болотах,— а о могущественных, наводящих ужас амазонках.

Наконец — Геракл радовался этому, вероятно, более всего,— поход против амазонок был в то же время и дипломатической миссией, служением делу мира (по крайней мере того хотел и так мыслил наш герой), обеспечением мира на берегах Эгейского моря. Нам известно, что он разрешил целый ряд династических и пограничных споров в Малой Азии. Главное же состояло в том, что эта война под водительством эллинов и при участии всех — или, во всяком случае, большинства — народов Малой Азии была великой международной акцией. Причем — и это всего важнее — акцией, предпринятой совместно с Троей.

Ибо Геракл, который, можно сказать, всю свою жизнь провел в суровых схватках и не выпускал из рук оружия,— Геракл был воином мира...

В те времена не существовало быстрых средств сообщения, не было бюро путешествий, не было гостиниц, не было travelling cheque [1], потому к дальней поездке — даже если речь шла просто о поездке — приходилось основательно готовиться. Для путешествия посуху требовались вьючные животные, соответственно провиант и фураж, нужны были также палатки, орудия и инструменты, употребляемые в повседневной жизни, и, следовательно, слуги в необходимом количестве. Даже простые торговцы нанимали вооруженную охрану. Грабителей вдоль дорог было несметное множество, от обыкновенных разбойни-

[1] Аккредитив *(англ.)*.

ков до убийц-садистов вроде Прокруста. Да и дикого зверья попадалось немало. В одиночестве можно было отправиться на прогулку самое большее за несколько километров от города. Земледелец хаживал один разве что из усадьбы своей в село, из села в город, но уже на ярмарку, с товаром, земледельцы пускались только караваном. Да и какие основания думать, будто организация общественной безопасности три-две тысячи лет назад была лучше, чем ныне?! Никуда не годилась тогда общественная безопасность. В разных странах существовали притом различные обычаи. Были, правда, города, главным образом в цивилизованном Средиземноморье, где путник находился под особым покровительством высшего местного божества; были и такие народы (те, что оставались в стороне от международного общения или лишь недавно в него включились), которые впадали даже в крайности: у них полагалось принять путника в первом же доме, куда он постучится, искупать его, накормить, а на ночь положить с ним самое хозяйку, или дочь, или какую-либо другую особу из женского населения дома, которая еще могла бы сойти за подарок — причем иноземцу! Но были и другие города, были фанатически религиозные отсталые народы, у которых иноземного путника по велению их бога полагалось приносить в жертву,— как, например, в Таврии.

Вот теперь и представим себе более или менее многолюдные, более или менее дальние походы Геракла. И помножим на то, что называется «войско». Итак — пешие воины, воины на боевых колесницах, телеги, обслуга (конюхи, колесных дел мастера, оружейники, повара, медперсонал и так далее, вплоть до маркитанток или чего-то в этом роде).

Боевых колесниц брали немного, только для вождей. Амазонки сражались верхом на лошадях — как утверждают, они были первым «конным» народом,— эллины же употребляли лошадей только как тягловую силу; против пешего войска боевая колесница — преимущество, но против конницы — весьма невыгодна. Главным оружием амазонок были стрелы. Они первыми научились натягивать тетиву, заводя руку за плечо — по-парфянски; даже римляне натягивали ее только до груди, да и вообще не часто пользовались луком. (Эллины же своими дротиками «стреляли» дальше, чем стрелами: на пятьдесят пять — шестьдесят пять метров.) Возница и воин, обслуживавшие боевую колесницу, а на колесницах большего размера еще и третий, оруженосец, были бы попросту мишенью для стрел конников.

Не могло у них быть много колесниц еще из-за необходимости морской переправы. Существует версия, будто они весь путь прошли на кораблях. Мы вправе отбросить эту версию: каких-нибудь десять лет спустя после катастрофы в дельте Нила Микены еще не могли иметь достаточно большой флот. А тех кораблей, что имелись, Эврисфей не дал. По всей вероятности, они шли пешком, через Дарданеллы же переправились на судах троянцев или иных пропонтидских владык. Пеший поход важен был и потому, что по пути к ним присоединялись окрестные жители и армия все росла.

По тем временам для войны против амазонок требовалось по крайней мере десяти-, пятнадцатитысячное войско. Однако Геракл мог вывести с Пелопоннеса лишь малую часть необходимого. С одной стороны, Эврисфей ни за что не позволил бы такому множеству воинов собраться под знамена Геракла в самой Греции. С другой стороны, и Геракл не желал этого: пусть поход станет делом в первую очередь тех, кто заинтересован в нем непосредственно,— Приама и народов Малой Азии. Да и неблагоразумно было переправляться через Геллеспонт, самую чувствительную тогда точку мира, со столь грозными полчищами. Пребывавшие в крайнем упадке и именно поэтому чрез-

вычайно ранимые в самолюбии своем, хетты могли, чего доброго, выступить против них. (А ведь кто тогда думал, что и Микены переживают период окончательного упадка?!)

Все сопоставив, я полагаю, что Геракл выступил из Микен с двумястами — двумястами пятьюдесятью спутниками: скорее посланцы «доброй воли», чем войско. В Аттике к нему примкнули Тесей и Теламон, затем, севернее, Пелей с мирмидонцами. Очевидно, массами присоединялись фригийцы и фракийцы: у них были свои, и крупные, счеты с амазонками. (Возможно, впрочем, они шли в Малую Азию, чтобы немного «осмотреться». Припомним: после падения Трои и распада войска ахейцев — то есть всего одним поколением позже — именно они окажутся наследниками огромного Хеттского царства.) Итак, Геракл переправился через Геллеспонт во главе тысячи двухсот — тысячи пятисот воинов: армия не слишком устрашающая для местных жителей, но «для почина» вполне приличная.

Из тысячи двухсот — тысячи пятисот воинов семь-восемь сотен было, вероятно, греков. Я выделяю их потому, что это и будет тот отряд, с каким Геракл переваливал через Кавказ, когда повстречался с Прометеем; остальные после победоносной войны — каждый отряд со своим вождем во главе — кратчайшими путями устремились по домам. Не считаю я и людей Теламона. Их не могло набраться много: авторитета у этого авантюриста еще не было, его репутация да и положение оставались сомнительны. Люди его скорее походили на дебоширов, чем на закаленных битвами воинов. Они либо отстали под каким-нибудь предлогом еще в Трое, либо — что вероятнее — Геракл сам отправил их назад во время перехода за недисциплинированность, грабежи, насилия и, не в последнюю очередь, из-за политической ненадежности их предводителя. Ему хватало забот и с такими необузданными племенами, как сарды, филистимляне, этруски, которые пылали жаждой мести и добычи и которых к тому же сопровождала на войну многочисленная, как саранча, армия женщин и детей; их-то он не мог отправить домой, поскольку Малая Азия и была их домом.

Участие Приама было важно для успеха этого похода с двух точек зрения. С одной стороны, его авторитет привел в лагерь Геракла — причем быстро и в большом количестве — вождей малоазийских племен и владык других городов. С другой стороны, у Приама были деньги. А на земле хеттов деньги были совершенно необходимы.

Да, именно деньги! Ведь в Микенах, по сути дела, преобладал натуральный обмен, здешняя мера ценностей талант (лист меди двадцати девяти килограммов весом, по форме напоминающий бычью шкуру) — это еще не деньги, а требующий обработки полуфабрикат. Тогда как у хеттов мина (приблизительно полкилограмма серебра) и ее шестидесятая доля — шекель (сикль) были действительно деньги, с помощью которых можно было получить все что угодно и все на свете уладить.

Хетты были народом воинов, они властвовали над несколькими дюжинами разных племен и городов, как в свое время римляне. Они были воины, да эпоха-то была не для воинов — эпоха Великого перемирия, о котором мы еще поговорим подробнее. Итак, войны больше нет, но с солдатами — «солью государства и его опорой» — нужно же было что-то делать! И сделали их государственными служащими. Все административные посты — начиная с деревенского старосты — заполнили исключительно ветеранами. А ветераны эти, к слову сказать, имели все что угодно: шрамы (правда, далеко не все), многочисленные воинские награды, в последнее время, впрочем, сомнительные (Рамсеса-то II они упустили буквально из рук!), кое-какие трофеи (с некоторых пор совсем незавидные, да и те растранжирили-растеряли),— но чтоб

у них были деньги, состояние?.. Не было их уже и у самого царя в Хаттусе. Деньги, состояния имелись у нескольких крупных землевладельцев, занимавшихся военными поставками, да еще у царьков, правителей городов. Что там говорить, даже у свободных землеробов, исхитрявшихся по-всякому, добра было больше, чем у прежде столь блистательного, а теперь лишь «морально окруженного почетом» воина.

По случайности мы хорошо знаем хеттские законы. И, сравнивая со стелой Хаммурапи, должны признать: они гуманны. Собственно говоря, хетты знают лишь штрафы. Иными словами, любое наказание можно заменить деньгами. В соответствии с таксой. Только возмущение против государственной власти неукоснительно карается смертью. Вот он, девиз: «Если же кто усомнится в судие своем...» Словом, законы, пожалуй, и гуманные, да только очень уж запутанные, с бесчисленными разъяснениями и дополнениями по каждому поводу, сам-черт-ногу-сломит — вот какие законы.

В довершение всего, ветераны путались в своих административных функциях и законов не знали. Что-то они постепенно зазубривали, до какой-то степени усваивали. Не знаю, существовали ли когда-либо в действительности глупые полицейские, но если да, то имелись в виду, наверное, «слуги порядка» у хеттов: кичливые, заносчивые... А уж если кто-нибудь попробует «усомниться в судие своем»!..

На эту тему распространяться более не стоит.

Иноземец, разумеется, и вовсе не может знать бесчисленных установлений. Не на месте паркуется со своей боевой колесницей — плати. В городе собачий карантин, а он желает проследовать через город — плати, даже если нет собак. «По этому маршруту передвижение с оружием запрещено» — плати. Где бы ни столкнулся со «слугами порядка» и пока чуют они, что путник при деньгах,— плати, плати, плати. Зато деньгами все тут же и улаживается: паркуйся на самом выезде из царского дворца, прогони через весь город стаю бешеных собак, продефилируй по упомянутой дороге хоть с пушкой — деньги все уладят. Не знаю, право, было ли когда-либо, есть ли где на свете такое престранное государство, как Хеттское в минус тысяча двухсотых годах.

Итак, Гераклу, во всяком случае, необходимы были деньги (а значит — Приам, а значит — участие троянцев), чтобы победить амазонок и раздобыть пояс царицы их Ипполиты для Адметы, дочери Эврисфея. Ибо Адмете понадобился именно этот пояс — вынь да положь!..

«Амазонки» в греческом употреблении этого слова — термин собирательный. Так называли в элладскую эпоху племена и союзы племен, которые все еще жили в матриархате. Говорили, например, и об африканских амазонках. Наши амазонки, как я уже упоминал, жили в степях Южной Украины и России, в Этелькезе [1] (где позднее обосновались наши венгерские предки), только на гораздо большей территории. Раньше им принадлежала чуть ли не вся Азия, потом хетты оттеснили их за Кавказ. Они занимались кочевым скотоводством, а в интересующие нас времена начали понемногу обрабатывать землю, используя для этой цели мужчин и даже, возможно, рабов, поскольку было замечено: захватив город или селение, они убивали теперь только мужчин, а женщин и детей угоняли с собой. Утверждают, что они даже строили города; речь здесь идет, вероятно, о зимних их квартирах — то есть поселениях, обнесенных оградой. (Россказни вроде того, что — среди прочих малоазийских городов — они основали Эфес, мы не можем принять всерьез.) Однако главным источником их национального дохода еще и в это время оставались набеги. Женщины-вои-

[1] Популярное в Венгрии наименование междуречья Днепра и нижнего Дуная.

ны налетали, например, на большую портовую ярмарку на берегу Скамандра, где регулярно и в невероятном многообразии встречались товары трех миров. Они появлялись словно ураган, градом стрел разгоняли толпу, хватали, что могли, грузили добычу на запасных лошадей и к тому времени, как из Трои выкатывались по тревоге колесницы блюстителей порядка, исчезали в облаке пыли. Догнать же их на тяжелых, окованных бронзой колесницах было немыслимо! И блюстители порядка делали то, что всегда делается в подобных случаях: посылали донесение об «имевшем место происшествии». Если же отступление замедлялось из-за того, что приходилось гнать скот и пленников, и преследователи их настигали — тогда амазонки стрелами убивали и людей и животных и вихрем исчезали из глаз. (Уже и предки наши знали: без риска, без потерь и на даровщинку не проживешь.) Поистине поразительно, какие колоссальные территории держали они в страхе: совершали набеги на коневодческие народы Кавказа, врывались в города на побережье Мраморного моря, переправлялись через заболоченные леса в дельте Дуная, грабили фракийские поселения. Против них организовывали одну за другой карательные экспедиции, особенно усердствовали хетты, впрочем, без значительных успехов. В большинстве случаев каратели обнаруживали перед собой лишь бескрайнюю пустынную степь.

Доступные мне античные источники свидетельствуют, что амазонки отрубали младенцам-мальчикам руки и ноги. Не верю. Мужчины все-таки как-то работали, хотя и не приносили существенных доходов. Вероятно, мальчикам отрезали лишь один-два пальца на правой руке, чтобы они не могли пользоваться луком. Разумеется, излишки мужчин они оскопляли, а также щедро приносили мужчин в жертву своим богам, но тут уж ничего не скажешь: исполнять веления веры — похвальное и богоугодное дело. Даже мужчины признавали это!

Человечество поразительно долго, миллионы лет, полагало, что дитя происходит исключительно от женщины, мужчина же не имеет к этому никакого, ни малейшего отношения. Научные гипотезы относительно причин беременности то и дело сменяли друг друга. Объясняли беременность купанием в открытых водах — в реке, в море. (Что же, бывает.) Тем, что надуло ветром. (По-моему, чушь. Но как же долго в нее верили!) Тем, что женщина проглотила целиком бобовое зернышко. (Теперь-то мы уже знаем: от этого бывают колики.) А если так, зачем тогда нужен мужчина?

Зачем? Ну, во-первых, иногда, в определенный период жизни амазонке и дочери амазонки весьма приятно с ним поразвлечься — приятно и даже необходимо. Мужчина, особенно же красивый и сильный мужчина, покоритель диких зверей, победитель в спортивных соревнованиях, временный муж женщины из хорошего круга — это как бы символическая штатная единица! Кроме того, коль скоро мужчина существует, да еще имеется в избытке, этого, наверное, желают боги, а значит, он своего рода культовый предмет. И наконец, рассуждая здраво, хотя мужчина по большей части лишь пожиратель пищи, но в то же время он и сам — вполне приличная пища. А коли так, принесем его в жертву — и съедим за милую душу. Богу богово, кесарю кесарево! Кухня, как видно, изначально женская территория. Ибо — в те-то примитивные времена! — какое великое множество разнообразнейших рецептов:

Мужчину следует торжественно — в сопровождении обрядовых церемоний — разорвать заживо на части и съесть по кусочкам.

Разодрать, привязав к лошадям,— так вкуснее.

Сбросить со скалы — так он мягче.

Растоптать лошадьми и повозкой — так еще мягче...

Я не садист, иначе перечень этот продолжил бы; рассказал бы, например, целый ряд случаев, когда члены той или иной женской общины заманивали, сговорясь, в свои постели всех мужчин и убивали их. (Женщина же, отказавшаяся выполнить этот приказ, становилась предметом всеобщего презрения, а то и платилась жизнью.) Нет, не я садист, все эти, в том числе и другие, даже не названные, уже почти неописуемые для нас ужасы, придумали наши дражайшие праматери, выносили в любящей своей праматеринской груди. (Впрочем, будем справедливы: быть может, даже не всегда с удовольствием.)

И ведь что поразительно: уже в начале мезолита, добрых четырнадцать тысячелетий тому назад, человечество знало — это можно доказать,— что дитя зарождается от мужчины, и все-таки продолжало верить, что причиной тому — ветер, вода, бобовое зернышко. Жрицы — уже вполне научно проводившие случку своего скота ради улучшения породы — по-прежнему приносили и заставляли других приносить в жертву мужчин, проливали на землю реки мужской крови и чем верней знали правду, тем более сурово отпугивали женщин от моногамии: требовали, чтобы женщина постоянно меняла своих любовных партнеров, выдавая это за волю богов,— лишь бы она не полюбила кого-нибудь! Любовь может стать препятствием для приношения мужчин в жертву, любовь способна толкнуть женщину на чудовищное прегрешение: спрятать предназначенного в жертву мужчину, помочь ему бежать.

(Я сказал: «поразительно». О небо! Как легко меня поразить!)

...Четырнадцать тысячелетий человечество знает, что мужчина нужен не только как игрушка или пища, что он исполняет почти незаменимую роль в поддержании человеческого рода. И все-таки лишь работа, специфически мужская работа — пахота, выплавка металла — и утверждение рабовладельческого строя изменили его положение.

Конечно, не сразу. Главное же — не сразу изменились обычаи и верования!

В Элладе образование патриархата связывают с Персеем, то есть относят примерно к двухтысячному году до нашей эры. В сущности, это похоже на истину. И все-таки что же мы видим, причем восемь столетий спустя?! В Фивах кастрируют и прогоняют на все четыре стороны Эдипа, супруга царицы фиванской (она же — главная жрица), ибо по истечении года — или года в собирательном смысле — он не принес себя в жертву, а пожелал сохранить свое положение навсегда и по-прежнему спал с Иокастой. Которая между тем, по истечении года, в полном согласии с верованиями стала матерью! (Те же верования превратят вскоре бывшего царя в кровного родича избранного вместо него нового мужа-наследника.) Достаточно эпидемии, которые были так часты в те времена, достаточно, чтобы Тиресий, оскопленный прорицатель, женщина и мужчина в одном лице (во время определенных празднеств он нацеплял на себя искусственные груди и имел право совершать женские обряды), провозгласил: «Зараза губит город из-за пролитой крови». И суеверный люд восстает против своего царя — столь желанного и любимого царя!

Всю свою жизнь Геракл, куда бы ни забросила его судьба, борется с отвратительным обычаем принесения в жертву мужчин, особенно же мальчиков. Даже на Востоке, где, между прочим, матриархат исчез раньше на две тысячи лет! Он является Аврааму — по греческой мифологии Атаму — в виде ангела господня. (Что, кстати, очень понятно. Ведь Геракл везде, и по праву, выступал как сын бога-отца. «Моему небесному отцу не угодны человеческие жертвы. Сердцу его всего милее жертвоприношения в виде хлеба и вина. Впрочем, можете прино-

сить в жертву животных!» И в большинстве случаев сам успевал позаботиться о жертвенном овне.)

Верования — великая сила. И Гераклу пришлось бы совсем туго, если бы не одно обстоятельство: в результате Великого перемирия во второй половине XIII века до нашей эры цены на рабов на международном рынке высоко подскочили. Центнер свинца, шесть гектаров земли, килограммовые золотые либо серебряные слитки — вот известная нам стоимость рабов в то время! А ведь жрицы любили приносить в жертву мальчиков не только потому, что их мясо нежнее, но и потому, что мальчиков ведь нужно было так долго кормить, пока они станут полноценным товаром! (Вот и во владениях прижимистого Нестора, как свидетельствуют пилосские записи об имущественном положении, рабов было множество, но они совершенно не размножались. Вероятно, младенцев убивали сразу же, даже не вносили в реестр.)

И все это во второй половине просвещенного XIII века до нашей эры.

Я долго изучал этот вопрос, знаю, что представители нового мира — зевсисты — и сами совершили много ошибок. Они провозглашали новые идеи с сектантской нетерпимостью. Приведу только один пример. Мне вспомнился Аполлон, один из самых одержимых сторонников партии Зевса: как страстно — и как наивно — будет он защищать в свое время Ореста перед афинским судом: «Предок — только отец! Мать всего-навсего борозда, в которую высевают зерно!» Иными словами, убийство матери — не преступление. Вот до чего он доходил в беспощадной войне с матриархатом. (Вспоминается в связи с этим и один мой покойный знакомец, его, мягко выражаясь, романтический антикапитализм. В сорок пятом он подал заявление в партию и в автобиографии писал так: «...во времена Хорти я сидел в тюрьме, правда, по обвинению в хищениях, но ведь расхищал-то я имущество крупного капиталиста, известного эксплуататора, выжимавшего из рабочих соки».)

Однако Геракл — это важно отметить с самого начала — сектантом не был. Он был безмерно предан идее, но не сектант. Зато и твердым бывал как скала. Как-то убил одного кулака — точнее слова не подберешь — за то, что тот не желал заменить человеческую жертву волом. Жертву надо было принести незамедлительно, а под рукой ничего, кроме этого вола, не оказалось.

Впрочем, подобные вещи случались весьма редко. Обычно же Геракл действовал убеждением — приводил в пример Ликаона или рассказывал о потопе, который был обрушен на людей Зевсом в наказание за принесение детей в жертву. (Этот потоп — не Великий Потоп. Извержение вулкана Санторин на острове Фера около 1500 года до нашей эры было величайшей известной нам геологической катастрофой Нового времени. Пепел от этого извержения находили в районе Средиземного моря повсюду, вплоть до Северной Африки. А шестидесяти-, семидесятиметровый сизигийный прилив пронесся по Средиземноморью со скоростью трехсот пятидесяти километров в час и начисто смыл все побережье. Тогда-то и был разрушен Крит Миноса, вскоре затем с легкостью завоеванный ахейцами.)

Итак, Геракл повсюду проповедовал и разъяснял учение Зевса. Куда бы он ни забредал, везде оставлял свои столбцы со знаками новой письменности. Конечное поражение варварства и победа новых идей — вопрос культуры, рассуждал он. Значит, необходима *единая* культура, *единая* письменность, чтобы народы сошлись воедино, чтобы установилось всенародное братство, чтобы — мир, мир, мир под эгидой объединяющих Зевсовых идей. Таков был Геракл, таковы его

принципы. Случайно ли повсюду в тогдашнем мире, от Египта и Испании до Малой Азии, мы видим жертвенники и святилища в его честь? Случайно ли, что всюду, где он бывал, даже неверные язычники с любовью приносят в его память жертвы на протяжении чуть ли не полутора тысяч лет?! Геракл не был нетерпимым сектантом, он представлял гуманный зевсизм. (А как характерно и красноречиво само имя, которое он принял в Дельфах или в Додоне! Ведь «Геракл» означает «Слава Геры». То есть: «Я сражаюсь за равенство мужчин, а не против женщин и не желаю ни малейшего ущерба никакому божеству, хотя бы и женского рода; я веду бой против варварства, против кровавой тирании, против несправедливости, как повелел мой небесный отец».) Люди представляют Геракла этаким забиякой-воякой. Какое заблуждение! Геракл — крупнейший представитель педагогического оптимизма в европейской истории: обучение, воспитание было главным оружием, с помощью которого он хотел добиться победы своих идей.

Этим оружием победил он и теперь — в войне с амазонками!

Ход этой войны мы можем реконструировать достаточно точно. Геракл начал — без войска, во главе небольшой делегации — с переговоров. Постарался распропагандировать Ипполиту. И делал это с такой горячей убежденностью, так умно, что Ипполита заколебалась. Она уже почти готова была склониться перед Зевсом и отдать в ознаменование этого свой золотой пояс, символ царского достоинства. То есть готова была сменить веру, перейти на оседлый образ жизни, мирно заниматься хозяйством и торговлей. (А если когда-нибудь в дальнейшем доведется и воевать, от чего, конечно, храни Зевес,— то уж воевать *по правилам.)* Но тут вмешалась Гера и, «приняв облик амазонки, подняла среди женщин бунт». Иначе говоря: некая одержимая Герой амазонка стала подстрекать своих товарок: «Горе, горе! Этот чужеземец околдовал царицу. Стыд и позор нам, амазонкам, стыд и позор нашему знамени, украшенному священным муравьем и священной пчелой!» Неправда, будто бы царица Ипполита влюбилась в Геракла, это выдумка «Геры-амазонки». Ипполита почитала и уважала Геракла, но в конце концов разборчивая, хотя и на свой лад, амазонка должна была влюбиться все-таки не в пятидесятидвухлетнего вождя; конечно же, ей с первого взгляда приглянулся молодой и статный Тесей. Губа не дура!

Итак, впервые карательная экспедиция против амазонок обнаружила не пустынную бескрайнюю степь. Гераклу не пришлось до полного изнеможения гоняться за ускользающим противником. Противник явился сам. Явился, пылая яростью, сомкнутыми рядами, и первым бросился в атаку.

Войско Геракла расположилось так: в первых рядах — копьеносцы, за ними — воины, вооруженные палицами, позади малоазийских отрядов пращников — воины с дубинками. Приказ гласил: сразу устремиться к всадникам, вмешаться в их ряды и продолжать пробиваться вперед; метательное оружие употреблять только против лошадей — упавших с раненых лошадей амазонок добьют на земле те, кто вооружен палицами и дубинками.

Вот то, что мы знаем. Остальное пусть домысливают военные историки!

С таким методом ведения войны амазонки до сих пор не встречались. Можно догадаться, что битва — или несколько сражений подряд — была кровавой. Стрелы амазонок тоже не знали отдыха. Впрочем, не так-то легко было пользоваться стрелами против затесавшихся в их ряды, подсекающих лошадей греков. В конце концов одна часть

женского войска осталась лежать на поле, другая, и с нею Ипполита, сдалась в плен, третья спаслась бегством.

В виде трофея Ипполита отдала Гераклу свой золотой пояс. Себя же отдала Тесею...

После этих событий мы еще кое-что слышим об амазонках, но совсем немного. Однажды они переправились через Дунай, пересекли земли фракийцев и напали на Афины: «месть за царицу Ипполиту». Экспедиция терпит неудачу, да и вообще напоминает скорей попытку «поддержать престиж», и только. Классическая эллинская эпоха уже лишь понаслышке знает народ, где оружием владели женщины; таким образом, матриархат как «государственное устройство» просуществовал до XIII века до нашей эры. Поражение и исчезновение амазонок красноречиво и поучительно: с помощью террористических методов на какое-то время, до какого-то часа можно и продержаться, создать впечатление — ложное впечатление! — силы, но остановить историю невозможно.

О языке их, об их роде-племени нам известно немного. Судя по методу ведения войны, они, скорее всего, предки скифов или парфян. Мы можем говорить это смело, ибо опровержений нет. Особенно красивыми они, вероятно, не были; вообще, насколько могу судить по своему опыту, женщина в мундире, с оружием в руках — бог ее знает, право...

Но и безобразными их, пожалуй, не назовешь, во всяком случае, обобщать не стоит. Тесей был разборчивый молодой человек. Однако Ипполиту любил довольно долго. Во всяком случае, если мерить его, Тесеевой, меркой.

День освобождения

Геракл, верный своему обычаю, разрешил пленным воительницам похоронить подобающим образом своих мертвецов. (Без человеческих жертвоприношений, разумеется.) Покончили с похоронами и греки, принесли жертвы душам своих героев. Потом разделили добычу — и примкнувшие к войску иноплеменные воины во главе с царями разбрелись вдоль берега моря по домам. Кое с кем — например с ликийским царем Гипполохом или с Приамом — Геракл прощался лишь временно, собираясь на обратном пути посетить их города. А греки, еще раз принеся жертвы Зевсу Победоносному, двинулись через труднопроходимый, дикий Кавказ.

В то летнее утро, когда был освобожден Прометей, форпосты Гераклова войска и основные его силы, вероятно, давно уже шли и шли через седловину Арарата, когда на место действия прибыл, наконец, сам Геракл. Было утро, ведь мы знаем: Геракл подстрелил орла в воздухе еще до того, как тот совершил свою ежедневную трапезу.

Прометей, вероятно, видел греков из своей высокогорной тюрьмы. Воины двигались неторопким шагом, как ходят обычно по горным тропам, шагали совсем не по-военному: дело ведь было после победы, и дорога все-таки вела домой. Растянувшись длинной вереницей, шли вьючные лошади, ведомые под уздцы, за ними — пешие воины, далее — телеги, колесницы и опять пешие. Прометей, разумеется, видел их, да и не впервые открывалась ему внизу, на перевале, подобная картина; за миллион лет его глаза уже так привыкли к этому зрелищу, что он не обратил на него особенного внимания.

Прометей следил за орлом. С такой примерно мыслью: «Ну, а сегодня что он придумает?» Мы можем сказать это наверное, если вспом-

ним, что орел клевал печень не пропитания ради, а затем, чтобы длилось наказание Прометея. Если на протяжении миллиона лет — ну, пусть даже меньше, пусть только тысячи лет — орел каждый день выклевывает кому-то печень, а она каждый день отрастает снова, то, как бы ни было больно, это в конце концов обращается в рутину, привычку, становится буднями. Чтобы наказание оставалось наказанием, орлу приходилось его как-то варьировать. Не из садизма, просто по долгу службы. Я тоже не хочу прослыть садистом (и на этот раз опять совершенно безвинно), к тому же моя фантазия истощилась бы уже на сотый день, а ведь этих дней минуло — только представим себе! — около трехсот шестидесяти миллионов. Так что оставим это занятие орлу! Уж что-нибудь он, верно, придумывал. И тем вносил, вероятно, хоть какое-то разнообразие в жизнь Прометея на протяжении миллиона лет. А поскольку «разнообразие услаждает», орлу приходилось иногда терзать Прометея как раз однообразием. Одним словом, можно было предположить различные комбинации, и об этом-то раздумывал Прометей, без особого любопытства приняв к сведению шум проходившего внизу войска, злые и веселые человеческие голоса. Он лишь тогда присмотрелся внимательнее, когда там, внизу, одна разукрашенная боевая колесница вдруг остановилась и на ней приподнялся довольно седой уже, но, впрочем, весьма крепко скроенный мужчина. Этот мужчина — то ли заметив сам, то ли по чьей-то подсказке — следил глазами за парящим в вышине орлом. Орел, как известно, был не простой, а Зевсов, предназначенный для особых поручений, и это, конечно, можно было заметить по его внешнему виду, размерам, особой стати в полете. Однако, хотя и Зевсов, он был все-таки орел — неразумная тварь, существо с ограниченными умственными способностями. Он заметил, что за ним наблюдают, но не придал этому никакого значения; случалось такое и прежде, кто знает, может, он даже радовался, что вызывает к себе интерес. По-моему, радовался. Посыльные, секретарши, конюхи исключительных людей, равно как жены их и все прочие, обычно гордятся этой исключительностью больше, чем сами исключительные люди. Отчего же именно орлам исключительных людей не подходить под общее правило? Бывают же случаи, когда они могут выступать от лица своих хозяев — вот тут-то, в отраженном свете, они и сияют куда больше, чем сами хозяева. Итак, орел видел, что простые земные смертные смотрят на него, и думал о них, а может быть, и делал то, что зачастую думают о простых смертных и делают над простыми смертными такого рода важничающие и купающиеся в отраженном свете персоны. Геракл, однако же, и внимания не обратил, посылает ли птица ему свою визитную карточку и в каком именно виде; его гораздо больше интересовало, что за добычу наметил себе орел, в честь чего кружится там, готовясь ринуться вниз, эта на редкость большая птица? Могло, конечно, ему прийти в голову попросту сбить орла. Но это была разве что мимолетная мысль. Человек, который после стольких трудов спокойно передает царицу амазонок мальчишке Тесею, у которого за спиной каких только подвигов нет,— такой человек уже перевалил через тот возраст и то душевное состояние, чтобы на каждом шагу и по любому поводу демонстрировать свою ловкость, верный глаз и твердую руку. Зато добыча орла его весьма интересовала, что верно, то верно.

Не будем забывать: какие бы запасы ни везли с собой воины, они всюду, где только могли, должны были освежать и пополнять их. Хотя бы из санитарных соображений: не пробавляться же им все время одним только вяленым мясом, сухим молоком да твердыми как камень хлебными лепешками! Такова была по тем временам консервная продукция. А так как дичь обходила стороной их шумное шествие, то орел,

указывающий, где можно было бы поживиться, пришелся очень кстати. Большая птица — крупная дичь!

Так-то и обнаружил Геракл высоко в горах прикованную к скале человеческую фигуру.

Разумеется, он знал, кого видит. Да и кто тут ошибся бы? И вот Геракл, словно уже заранее готовился к этой задаче, лишь на краткий миг призадумался, а потом сделал знак, и Иолай — а может быть Филоктет — тотчас протянул ему лук и стрелу. Но Геракл покачал кудрявой седеющей головой. «Не эту... из тех, что от Гидры!» — выговорил он сквозь зубы. Ибо смоченные в опасном яде и, конечно, имевшиеся в ограниченном количестве стрелы держали, само собой разумеется, в особом чехле и пользовались ими лишь в самых исключительных случаях. Но для орла Зевса Геракл, естественно, не пожалел драгоценной стрелы. Мне хотелось бы здесь еще раз подчеркнуть: то был орел, а не гриф! И не только потому, что парящий в вышине гриф не заинтересовал бы мечтавшее о свежей дичи войско. То есть и потому — но не только. Дело в том, что в грифа Геракл не стал бы стрелять! Известно же, что он избрал грифа своей священной птицей. Почему именно это отвратительное голошеее существо? «Потому,— отвечал он обычно,— что гриф не убивает даже мыши!»

Между тем орел уже сложил крылья, чтобы камнем ринуться вниз. Прометей, как изо дня в день, и на этот раз решил, что выдержит муку без стона, но и на этот раз, как изо дня в день, должен был закрыть глаза и стиснуть зубы: ничего не поделаешь, первый миг мучительнее всего!

Однако этот миг все не наступал. «Что он медлит там, подлая тварь?!» Прометей открыл глаза. И в самое время — он увидел, как проклятый мучитель, болтаясь, словно тряпка, падает с вышины вниз. Пронзенный насквозь стрелой.

А к началу колонны уже спешил скороход с командою «стой!». И Геракл уже соскочил с колесницы. И не нужно было ни слов, ни долгих объяснений, боевые товарищи стягивались и вскоре окружили своего вождя, а многоопытные приближенные слуги героя, прихватив секиры, начали прорубать дорогу через кустарник, карабкаясь по девственным кручам.

Немало времени прошло, пока они взобрались на скалу; будем считать, что на освобождение Прометея этот день ушел полностью. А уж там, наверху, Геракла ждал в полном смысле слова геркулесов труд: вырвать цепь из скалы, сбить с рук и с ног Прометея толстые стальные оковы.

Приостановимся на мгновение! Такой массы железа наши герои не только никогда не видели, но даже не могли себе представить, не говоря уж о том, что они сразу заметили, какая невероятная разница между известными им железными изделиями и нержавеющей сталью Гефеста! Вероятно, они испытывали примерно то же, что и Али-Баба, когда увидел в пещере разбойников переливающиеся всеми цветами радуги, сверкающие тысячью оттенков несметные сокровища... (Правда, это уже самый конец бронзового века, но, как ни странно, именно в просвещенном мире железо знали тогда все еще главным образом в виде метеоритного железа и ценили превыше всего. Золотые драгоценности вставляли в железную оправу! То есть, если можно так выразиться, «наносили позолоту» железом!)

Как принял Прометей освобождение? Надо полагать, без видимых эмоций. Это понятно — даже с формальной, так сказать, стороны. Кто провел прикованным к скале миллион лет,— не будем на этот раз вспоминать об орле, терзающем печень,— тот речей произносить не станет, да, может, и чего-нибудь вроде «спасибо» не выговорит. Самое

большее — несколько междометий или стон сорвется с его губ. Он учится дышать, учится свободно двигаться, разминает запястья и лодыжки, и — бог-то он бог, но ведь миллион лет! — первые неуверенные шаги почти наверное не слишком ему удаются (особенно по неровной горной местности!); он падает, а то и теряет сознание, потом в каком-то подобии забытья обнаруживает, что его с двух сторон поддерживают под руки, помогают встать или же — мне это кажется всего вероятнее — несут его на переплетенных руках вниз, сквозь заросли кустарников, миллион раз увядавших и миллион раз распускавшихся на его глазах, таких знакомых и таких недоступных, далеких...

Что же касается вопроса по существу, то освобождение не могло застать Прометея врасплох. Он знал, что так будет, знал: так должно быть. Но уповал не на помощь богов, их он давно уже не принимал в расчет. Надеюсь, мой любезный Читатель позволит мне время от времени ссылаться и на общеизвестные вещи. (Тот, кто хоть сколько-нибудь интересовался моей особой, знает, наверное: с присущим мне болезненным, можно сказать, чувством неполноценности, страстной жаждой учиться, искренним уважением к ближним моим, со всем моим обликом, мягко выражаясь, вечного студента совершенно несовместимо предположение, будто я делаю это, красуясь, как говорится, перед «теми, кто послабее»! Нет я просто хочу сам достойно выдержать экзамен перед Читателем и ни в коем случае не экзаменовать его!) Итак, мне хотелось бы упомянуть здесь тот широкоизвестный факт, что и всемогущество богов понятие относительное. Даже когда мы имеем в виду абсолютного, единого бога. Обычный пример: и абсолютный, единый бог, коль скоро уж он есть, не властен сделать так, чтобы его не было. Всемогущество античных богов ограничивала, во-первых, Ананка, Фатум. Во-вторых, вето любого из двенадцати главных богов. Действительно, в совете безопасности главных богов не четыре, а все двенадцать членов располагали в пределах относительного всемогущества правом абсолютного вето. Если Зевс, например, однажды повелел,— и подчеркнул свое повеление кивком головы, это важно! — чтобы Прометея приковали к скале и орел клевал ему печень, ни один бог, в том числе и сам Зевс, уже не мог бы это отменить. Но вот тут-то и начинается самое интересное: каждый бог имел возможность с помощью какого-нибудь дополнительного решения изменить — и даже самым коренным образом — исполнение первого приказания. Олимп и в этом отношении был живым прообразом Лейк-Саксесс [1], ведь и здесь исполнение тоже зависит от стран-членов, и мы уже не раз были свидетелями весьма своеобразных модификаций. Таким образом, каждый бог имел право, хотя бы тут же, не сходя с места, прибавить к повелению Зевса что угодно: чтобы Прометея устроили на приятной, мягкой скале, приковав легкой, как пух, цепью в несколько километров длиной; чтобы рядом с ним приковали Афродиту; чтобы ему было не больно, а, наоборот, приятно, когда орел станет клевать его печень. Право, лишь богам хватило бы фантазии на все те смягчения и послабления, которые можно было бы внести с помощью дополнений и которых они не внесли. Почему? Это уж их секрет, божественная тайна, и нам не пристало слишком допытываться. Ясно одно: Прометею не приходилось особенно рассчитывать на заступников среди олимпийцев, тем более — даже неловко повторять! — тем более миллион лет спустя. Если б хотели, помогли бы давно. Пусть никто другой, пусть хотя бы божественная чета владык Подземного царства. Но до сих пор Прометею не помогла даже смерть. По воле Зевса он должен был жить — жить, чтобы страдать.

[1] В Лейк-Саксесс, пригороде Нью-Йорка, работали учреждения ООН (1946—1951).

Но, уж если он жил, значит — надеялся. И, поскольку на богов надеяться не мог, надеялся на Человека...

Прометей знал, что̀ он дает Человеку, вручая ему огонь, а с ним и ремесла. И, не будем наивны, Зевс тоже так или иначе знал, за что он карает Прометея столь жестоко. Теперь, прикованный к скале, Прометей, конечно же, думал — должен был думать, не мог не думать — о том, о чем, вероятно, и не помышлял, совершая свой акт: владея огнем и ремеслами, Человек станет подобен богам. Прошу прощения за избитую формулировку! Я трактую ее так: не уподобится им качественно, но станет таким же могущественным. «А если так, пусть прилетает орел, пусть клюет мою печень,— думал Прометей,— долго это не продлится. Огонь уже в руках у людей, и боги не властны тут что-либо изменить. Близится время, когда человек станет могущественным с помощью огня и ремесел, которыми одарил его я, станет могущественным, как боги. И тогда он придет и освободит меня».

Даже мало-мальски логически мыслящий человек в силах проследить до этого момента рассуждения Прометея, а также понять, что за ними не таилось никакой задней мысли, вроде такой, например: «А когда придет время и Человек освободит меня, тогда уж я стану его, Человека, богом». Будь такое честолюбие свойственно Прометею, он сумел бы настоять хотя бы просто на своем праве первородства, кстати, провозглашаемом и защищаемом Зевсом. Будь такое честолюбие свойственно Прометею, он принял бы участие в восстании против Олимпа. И, между прочим, восстание в этом случае могло бы окончиться совершенно иначе! Но он не принял в нем участия, напротив, сражался на стороне Зевса, сражался изо всех сил, с полной самоотдачей. И всегда помогал Зевсу добрым советом, какого никто иной не осмелился бы подать Громовержцу, ибо были ему эти советы — например, в некоторых его делишках с женщинами — совсем не по вкусу. Хотя на поверку всякий раз оказывались истинно добрыми советами. (Зевс, разумеется, это ценит, высоко ценит, в принципе даже просит советовать ему, но — не любит.)

Странное это явление. В ком затаенно, по необходимости подспудно, дремлет жажда власти (а таких — подавляющее большинство), тот вообще этому не поверит. А между тем можно привести немало примеров подобного равнодушия к власти, причем со стороны людей, которым достаточно было протянуть руку, чтобы ее получить. Взять хотя бы Исава: продал свое первородство за миску чечевичной похлебки — и даже ухом не повел! (Разве что не понравилась ему при этом — стильно выражаясь — «настырность».) А тот же Геракл!.. Нет, стремление властвовать над людьми не есть отличительная особенность, природное свойство человека. Да и бога, кажется, тоже. Так что стоит над этим поразмыслить.

Итак, Прометей не сомневался, что однажды явится человек, который освободит его. Но не затем, чтобы тут же вознести на вершину власти. Более того, зная этот независимый нрав, мы можем быть уверены, что Прометей не лелеял в груди и жажды мести. Он не собирался мстить Зевсу. Такое намерение в корне противоречило бы внутренней логике этого психологического типа. Иначе он оказался бы ничем не лучше тех буржуа, которые помогали освободить крестьян только для того, чтобы сразу же превратить их в пролетариев. Нет. Прометей был такой освободитель, который и богов не собирался ввергнуть в неволю, и Человека хотел освободить ради самой свободы. Бывают такие.

Впрочем, это может быть доказано также и с помощью филологических методов. Если бы Прометей сделал *малейший* шаг ради обретения верховной власти и мести Зевсу, тому остался бы след в анна-

лах. Во всяком случае, *остался бы след в анналах* неграмотных сказителей — в памяти людской, в мифологии. Но такого следа нет, нет даже намека на него. Значит, ничего подобного не было.

Собственно говоря, в дальнейших наших исследованиях мы должны будем держаться именно логической нити, она поможет нам сориентироваться в темном лабиринте незнаемого: что же все-таки могло произойти, чтобы не осталось и следа того, что произошло? Ибо известно: все, что человеческая память сохранила,— это несомненно происходившие, безусловно имевшие место события; но, право же, не менее безусловно и несомненно то, чего память не сохранила. Если мы приметили где-то могилу, а над нею — совсем неизвестное имя, нам достаточно самого места захоронения и дат, достаточно того, что никто, решительно никто не знает о покоящемся в этой могиле ничего, достойного упоминания, чтобы мы поняли: вот прах человека, который от рождения до смерти жил, соблюдая законы и обычаи того места, где он жил, и того времени, о котором сообщают даты на могильной плите. Если же вам доводилось когда-либо читать своды законов, затем — приложенные к ним инструкции, далее — горы относящихся к ним указаний, своды всяческих нарушений, обращения властей, правила распорядка в домах и распоряжения управляющих домами, то вы знаете: покойный незнакомец шел путями не более широкими, чем сосед его по кладбищу, о котором вы только что прочитали хоть какие-то слова хулы или похвалы.

Итак, Прометей без особого потрясения принял к сведению: исполнилось. Ощущение, очень для человека естественное и общедоступное, настолько естественное, что и у богов это вряд ли иначе. И общедоступное — хотя правда и то, что большинство из нас испытывает его лишь в минуту смерти, в свой последний сознательный миг. Именно так: не «Хорошо!», не «Плохо!», не «Потрясающе!» либо «Неслыханно!» — а просто: «Исполнилось». Или еще проще: «Ну вот...»

Теперь, миллион лет спустя, Прометею нужно было привыкать к новым картинам; вернее, что еще труднее, к новому углу зрения на прежде виденные картины, к близко звучащим человеческим голосам, к движениям людей вблизи, в новых соотношениях. И не в последнюю очередь — к собственным движениям. Сейчас это целиком поглощало его внимание, к чему все окружающие, и суровые простые воины и рабы, отнеслись с редким тактом и пониманием. Мы ведь прекрасно знаем, если даже не из жизни, то, по крайней мере, из бесчисленных романов о войне, как трогательно гуманным может быть такое воинство, каким ласковым и миролюбивым, если представляется подходящий случай: и хлеба дадут ребенку, и «Stille Nacht» [1] споют со слезами на глазах, и так далее.

Прометея бережно несли на руках, когда же почувствовали по какому-то движению — уже внизу, в долине,— что он пытается встать на ноги, предупредительно поддержали его. Не дожидаясь приказа и не сговариваясь, люди поняли, что надо сделать привал...

К этому времени караван прошел уже без малого четыре тысячи километров. То есть провел только на марше около ста дней. Прибавим сюда также привалы, прибавим и дни сражений, и особенно трудные участки пути, и томительные ожидания еще в начале похода, когда идти приходилось по владениям хеттов: бесконечные таможенные досмотры, хлопоты о всякого рода разрешениях (например, заключение ветеринара, что лошади не чесоточные), наконец, просто упрямство какого-нибудь дурака солдафона. Прибавим сюда обязательные дружеские визиты, уже упоминавшиеся дипломатические переговоры, доброхотную помощь Геракла в разрешении разнообразных династи-

[1] «Тихая ночь» *(нем.)* — рождественская песня.

ческих споров на местах, что иногда не обходилось без более или менее серьезных вооруженных стычек и уж вовсе никогда — без богоугодных возлияний и спортивных игрищ. (Бывало, и Геракл принимал участие в какой-нибудь товарищеской встрече по боксу и потом, конечно, щедро платил противнику за выбитые зубы.) Если сложить все, то в одном только этом походе они провели вместе больше года, а ведь для многих воинов, несомненно, это был не первый поход с Гераклом. Так что все необходимое они делали, как говорится, почти машинально, без раздумий и понуканий, те же, кому не нашлось работы, опускались наземь и терпеливо ждали, коротая время в тихой беседе. Когда же они увидели, что Прометей приходит в себя, собственными силами встает на ноги, хотя от пищи еще отказывается, все-таки выпил уже родниковой водицы и омылся немного,— тогда устроили его на обозной телеге, на мягком ложе из листьев и кое-какой одежды...

Так кто же сопровождал Прометея, сидя на передке его телеги? С полной определенностью мы знаем только, что это был не Геракл; у него, предводителя, хватало тревог в этом походе по диким краям, по опасным дорогам — а какая дорога была не опасна? Он должен был позаботиться о том, чтобы грандиозное событие не подействовало слишком возбуждающе на воинов, не ослабило их внимания, чтобы все они были настороже, а если что и не так, то чтобы сам-то он, во всяком случае, был на своем месте.

Несомненно, при таком войске имелся врач, может быть, даже несколько. И среди них, конечно, был самый главный, выделяющийся своими познаниями или, по крайней мере, рангом. (Поскольку речь идет не о кадровой армии, то и другое могло даже совмещаться в одном лице.) Мы знаем четырех знаменитых врачей того времени. Это, прежде всего, Аполлон, однако в описываемый период он уже не практиковал на земле. Затем Хирон; он, надо думать, одобрял войну с амазонками, но из-за возраста, а также из-за постоянных осложнений внутриполитического порядка не мог оставить на такой долгий срок своих кентавров. Немногие это знают, но известным врачевателем был и сам Геракл. Он первым стал применять дюжины полторы целебных трав, некоторые из них и ныне являются важным элементом в фармацевтике. Свои медицинские познания — как утверждают некоторые источники — он получил от самого Аполлона, однако практиковал лишь от случая к случаю; очевидно, что не он был войсковым врачом.

Четвертым остается самый знаменитый из всех, тот, для кого медицина была главным занятием: Асклепий, сын Аполлона.

Кто только не занимался в те времена, причем регулярно, врачеванием! Можно сказать, все цари, все жрецы, все прорицатели, не говоря уж о ведьмах, ворожеях, ядосмесительницах вроде Медеи и о сельских знахарях. Но четверо вышеупомянутых были, во всяком случае, самые известные и самые признанные. Нередко эта четверка — в том числе и Аполлон — проводила консилиум.

Мы знаем, Асклепий был в дружбе с Тесеем. И в очень тесной дружбе. Вспомним хотя бы то, что лет через семнадцать после войны с амазонками Асклепий, как известно, взялся ради Тесея за весьма и весьма тяжелую и ответственную операцию — воскресил Ипполита. Поплатившись собственной жизнью! Кто, кроме давнишнего и близкого друга семьи, способен оказать такую услугу? Ведь любой другой врач попросту отправил бы Ипполита в Центральную больницу Верховных афинских учреждений. Где в это время находились при последнем издыхании многочисленные представители афинской аристократии. (Я говорю это не ради красного словца! В самом деле, припомним: усиленная подрывная работа Диоскуров, безумие, а потом и самоубийство царицы... Кризисные времена.) Нет, никто

не взялся бы воскресить Ипполита. Правда, зато и в беду никто не попал бы!

Итак, нет никаких сомнений в том, что Тесея и Асклепия связывала самая прочная дружба. Подобные дружбы завязываются в молодые годы. В период войны с амазонками их обоим было около тридцати.

Тесей не мог не принять участие в этой войне!

А если так, то участвовал в ней и Асклепий.

Если же участвовал, то, конечно, он, а никто другой, сидел на передке телеги, которая везла Прометея.

Итак, будем строго придерживаться научной истины и воспроизведем еще раз все то, что сумели до сих пор с очевидностью установить.

Ясно, что после освобождения Прометей не сказал своим спасителям: «Благодарю вас, господа, а теперь я удаляюсь на Олимп»; если бы он так сказал или сделал, в мифе *остался бы какой-то след*. Ясно, что Прометей после освобождения не умер, не исчез из жизни (как из людской памяти), ибо в мифе *и этому остался бы след*. Ясно, что, разбив цепи, Геракл не сказал ему: «Ну-с, милостивый государь, вы свободны, скатертью вам дорожка, делайте что хотите!» — то есть не покинул его на Кавказе, ибо *и этому остался бы след*. Единственное, что не могло оставить след, это наиболее естественный поступок. А именно: освободив Прометея, Геракл предложил ему сопутствовать каравану. Не пешком, конечно,— легко ли шагать по горам, провисев на скале миллион лет! — и не на тряской боевой колеснице, а на специально приспособленной для такого случая спокойной обозной телеге. Да еще с врачом под боком. Скорее всего, Асклепием — не наверняка, но скорее всего.

Конечно же, Прометею было пока не до разговоров. Все окружающее очень его занимало. И в первую очередь — Человек. Наконец-то он видит вблизи того, кого помнил совершенно беспомощным и нагим, у кого только и было что голые руки да совсем небольшой череп; и вот он видит этого Человека во всей его торжествующей красе и множестве, веселого, энергичного. А как разнообразна его одежда! На некоторых, ввиду жары, только набедренная повязка; но и она — это видно при первом же взгляде — сотворена не богом, а выделана самим человеком, из шкуры животных или из растительного волокна, во всяком случае, какими-то сложными и целесообразными способами: вымачиванием, валянием, прядением, тканьем, окраской. На одних надет лишь простой хитон с круглым вырезом, у других он красиво подрублен, украшен нарядным поясом. Видел Прометей — в такой колонне их не могло не быть — и телохранителей в полном боевом снаряжении. На головах — шлем с гребешком, на ногах, на руках — защитные пластины; на каждом — толстый кожаный панцирь с металлическими бляшками. Покроем эта кожаная амуниция напоминала католическое облачение для богослужения, но, конечно, была гораздо тяжелее. (Зато и несколько просторнее: эллинский воин мог двигаться даже внутри своего панциря-плаща, уклоняясь от вражеского копья.) И у каждого в руках, на боку, за плечом — самое разнообразное чеканное оружие, ловко и разумно выточенное, обструганное и выкованное, все это искусно задумано и искусно выполнено в помощь столь ненадежной мускулатуре человека, рукам-ногам его, вообще физическим его способностям. И еще — лошади. Они были тогда гораздо меньше наших, но все-таки много быстрее, сильнее и выносливее, чем сам человек. Однако же служили ему! А телеги, повозки — и какие разные, как различно украшены!.. Словом, у Прометея разбегались глаза: подумать только, чего достиг человек, его Человек...

Конечно же, Прометей недолго оставался лежать на движущемся своем ложе. Он приподнялся на локте, огляделся, потом сел, и, кто бы

ни был его сопровождающий, теперь они понемногу начали обмениваться кое-какими репликами. Предположительно сопровождающим был Асклепий, и разговор начался с типично докторских вопросов, касавшихся анамнеза и общего самочувствия. Впрочем, кто бы ни сидел на облучке телеги, рано или поздно ему пришлось бы ответить на вопрос Прометея, кто же, собственно, был его освободителем; и рассказать, как того требовал обычай, впрочем и поныне оставшийся в силе, какого он роду-племени, кто его отец и мать, что за семья, чем известна...

Когда, наконец, все расположились, вознесли жертвы богам (то есть поужинали) и Прометей, уже полный сил и готовый к разговору, встретился с Гераклом, то к этому времени не только Геракл знал, кого он освободил,— он знал это с первой минуты,— но знал и Прометей, кто его освободитель. Теперь, хорошо представляя действующих лиц, мы можем реконструировать этот разговор с более или менее научной достоверностью. Не язык, конечно, тот древнедревнегреческий язык, бывший в употреблении пятью столетиями раньше Гомера,— за это мы не беремся, да и другой кто-либо вряд ли возьмется. Дело даже не в формулах, не в языковых оборотах того времени — это можно было бы попытаться воспроизвести, да только ничего, кроме фальши, все равно бы не получилось. Они ведь говорили не на каком-нибудь архаическом языке, для них это был язык современный. Следовательно, если я хочу быть точным и достоверным, то должен воспроизвести их беседу на нынешнем нашем языке, который три тысячи сто девяносто лет спустя, очевидно, прозвучит столь же архаично. Судя по сохранившимся документам, стиль в XIII столетии до нашей эры был весьма витиеватый — по крайней мере, стиль, каким изъяснялись верхние десять тысяч: «Семь и семь раз припадаю перед тобою на землю — на живот и на спину...» Не пугайтесь, любезный Читатель, это всего-навсего зачин официального письма. Но, впрочем, и потешаться не следует! В самом деле, вспомним: ведь наше «сервус» означает, собственно говоря, «я раб твой», то же значение имеет и «чао». Наше еще столь привычное «милостивая государыня» — а тем самым и фамильярный вариант «милс'дарыня» — означает «королева», «царица». «Нижайшее почтение» и просто «мое почтение» означает именно «нижайшее почтение» и «мое почтение»... Я уж не говорю об океане других наших словечек и выражений, которыми мы, при определенной степени их износа, пользуемся и как-то понимаем, о метафорах и других образных выражениях, которые для нас давным-давно не означают того, что будут означать для какого-нибудь дотошного ученого мужа три тысячи сто девяносто лет спустя. Так что не будем слишком уж высмеивать обороты устной и письменной речи, бытовавшие в XIII столетии до нашей эры, хотя бы и среди верхних десяти тысяч. Лишь постольку-поскольку...

Впрочем, Геракл, Тесей и их сотоварищи не принадлежали, в сущности, к этой верхушке. Они были для своей эпохи демократами, весьма образованными людьми, притом воинами. Прометей же был бог, хотя и опальный, хотя и всячески им обязанный. Потому я, желая быть действительно, а не формально верным описываемой эпохе, должен представить себе современного демократичного и высокообразованного офицера — в конечном счете, такое можно представить,— беседующего с богом, пусть опальным и многим ему, офицеру, обязанным, но все-таки богом. Обоим им есть что сказать друг другу. Памятуя обо всем этом, я и реконструировал нижеизложенную беседу с максимальным приближением к оригиналу; полагаю, что моя реконструкция способна устоять и под огнем научной критики.

Итак:

— Позвольте мне, сударь, поблагодарить вас, я никогда не забуду того, что вы для меня сделали.

— Ну что вы, право, да тут и говорить не о чем! Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, превосходно. Благодаря вам. Вот уж миллион лет, как не чувствовал себя так хорошо.

— Миллион лет? Все же это невероятно!

— Прошу прощения, но невероятным я нахожу другое. То, что именно меня — именно вы, сын Зевса... Не сердитесь, но я все же спрошу вас... Вы знали, кто я? Понимали, что делаете? А если так, то превыше моей благодарности может быть лишь изумление.

На это Геракл сказал ему то, что не раз говорил своим друзьям:

— Всеми силами своими и способностями я служу Зевсу. Это значит: служу Идее. Наказание, постигшее вас, было несправедливо. Исправить несправедливость, независимо от личности того, кто ее совершил,— долг каждого сторонника Зевса. Только это и пойдет Зевсу на пользу. Ведь что такое идея зевсизма, как не сама истина и справедливость!

На эти слова любой ответил бы не задумываясь, но как раз Прометею сделать это вот так, сразу, было, как мы понимаем, нелегко.

Наступила долгая пауза. Геракл предложил гостю опуститься на разостланную перед его шатром шкуру. Лагерь расположился на большой высокогорной поляне. Отсюда было далеко видно, и в случае ночного нападения вполне хватало места, чтобы развернуться. Это диктовалось необходимостью, и так они поступали всегда. Посередине стоял шатер предводителя, окруженный шатрами знати; далее шли палатки воинов попроще; вокруг лагеря, словно крепостная стена, выстраивались колесницы и обозные телеги. Там, где между телегами оставался проход, рабы уже складывали костры для ночной стражи. Между тем Геракл заметил, что пауза неловко затянулась, и понял причину этого. Он обежал взглядом подходивших со всех сторон друзей, подумал: «В конце концов мы все здесь свои» — и решил исправить невольную оплошность, а потому шутливым тоном продолжал:

— Вообще-то, чтобы совсем уж быть точным, я не только сын Зевса, но, по материнской линии, через Персея, еще и праправнук его. Притом дважды! Ведь Зевс соблазнил мою прапрабабушку Данаю, явившись ей в виде золотого дождя. У них родился сын Персей. Старшим сыном Персея был мой дед Электрион, а его дочь Алкмена, моя матушка, вышла замуж за другого внука Персея, Амфитриона. Ее (кстати сказать, собственную правнучку) Зевс соблазнил в образе другого своего правнука, Амфитриона. Словом, сударь мой, скажу откровенно, мы же тут все мужчины,— я и сам не монах, но то, что творит иной раз Зевс...

— Уж мне, сударь, можно про это не рассказывать.

— Выходит, что по отцовской линии я сын Зевса, по материнской же — его праправнук, так что иногда сам не знаю, кто я таков. В самом деле: ежели я сын Зевсу и ему же праправнук, значит, я это я, а притом еще и собственный прадед. А если с другой стороны посмотреть, так я это я, и я — собственный правнук.

Тут друзья Геракла стали подталкивать друг друга локтями: «Ну, теперь старик не слезет со своего конька, пока не выговорится!»

— Я уж не говорю про то,— продолжал Геракл,— что еще усложняет все дело: ведь и сама Даная происходит от Зевса. По материнской линии она в пятом поколении восходит к бедняжке Ио, одной из первых возлюбленных Зевса. Той самой, кого Гера превратила в корову и преследовала повсюду. К слову сказать, Ио, одна из правнучек вашей почтенной бабушки Геи, сейчас пребывает на небе. Так что мы

с вами через пень колоду, а все же родственники. Да еще и так и эдак. Так что считайте нынешнюю историю просто родственной услугой.

Стоявшие вокруг смеялись. Однако Прометей оставался серьезен.

— Прошу вас,— продолжал Геракл,— ничего мне не говорите, божественный гость мой, я же знаю, что вы хотите сказать! Да, я, сын, освободил того, кого осудил мой отец, ну и что же! Ведь будучи сыном Зевса, я через Данаю — оставим уж в стороне Ио! — являюсь самому себе прадедом, ipso facto [1] дедом отца моего Зевса.

Но Прометей никак не желал перевести разговор на шутку; глубоко встревоженный — не за себя, за Геракла,— он возразил:

— Но все же подумайте: освободив меня, вы тем самым выступили против Зевса. Против верховного божества, высшей власти, отца богов. И вы не боитесь, что...

— Еще раз скажу вам, сударь: коль скоро я сам себе прадед, то отец мой, выходит, мне внук, так что, если уж слишком расшумится, я отшлепаю его, постреленка, да и дело с концом!

И он громко расхохотался; однако сотоварищи его, хотя и улыбались из приличия, но уже поглядывали на небо с опаской. Это не ускользнуло от внимания Геракла.

Прометей ничего не сказал, лишь принял к сведению его рассуждения, и они пришлись ему по душе.

— А вы чего так перепугались? — повернулся Геракл к своим соратникам.— Неужто представляете себе Зевса таким мелочным, способным из-за подобных пустяков запустить в нас молнией? А по-моему, лучшие анекдоты про Зевса выдумывает он сам.— Герой опять повернулся к Прометею.— Я его знаю, не со вчерашнего дня служу ему. И, освобождая вас, в его духе действовал, хотя и не по приказу. Посудите сами: приказа отдать он не мог, ведь когда-то — как вы сказали? миллион лет назад? всеблагое небо! — когда-то он кивнул, утверждая ваше наказание. Так что — вопрос престижа. А для него вопрос престижа есть вопрос власти. И тут уж играть он не может. Не может — ради нас, ради мира, ради самой жизни! Власть Зевса — это мир и справедливое устройство жизни. Вы не знаете людей, не знаете, что здесь было раньше, да и сейчас, вообще, что было бы, если б не Зевс. И не только на Земле, на Олимпе тоже.

— Знаю. Иначе почему — как вы думаете? — встал я на его сторону, и против моего отца, и против Атланта, моего брата?

— У него есть концепция и есть сила, чтобы править.

— Есть желание взять на себя бремя правления.

— Я служу Зевсу не потому, что он мой отец. И уж конечно не из страха! Я служу ему по убеждению. Я люблю Зевса.

— Я тоже. И он отлично знал это. Поэтому, мучась родовыми схватками, в самый тяжкий час своей жизни, он позвал меня, и никого другого. Я помог появиться на свет Афине.

— Но ведь тогда... Не сердитесь, что я спрашиваю... Но все-таки — миллион лет!

— У нас были разногласия относительно Человека.

— Любопытно... И, видите, все же сумел завоевать Человека, сделать своей опорой!

— На то он Зевс!

— Что верно, то верно. На то он Зевс!.. Одним словом, сударь, вы тоже — да еще как! — на себе испытали: служение ему не праздник на лужайке!

— Это даже мягко сказано.

— Обо мне многие рассуждают так: сын Зевса, ого-го!.. Сын Зев-

[1] Тем самым *(лат.)*.

са! А скажите, сударь, мне-то чем слаще от этого? И до сих пор, и теперь? Не знаю, насколько вам известна моя жизнь. Что получил я от Зевса? Я же не о привилегиях каких-то мечтаю — и на своих ногах крепко держусь, подпорки мне не нужны. Только бы во зло не оборачивалось отцовство его! А я получил от Зевса Геру. Еще в колыбели наслала на меня двух змей. Как, мол, это так: она, сестра и супруга Зевса, и вдруг — какая-то смертная, до нее или после нее... Словом, дело известное! И с тех пор все не может успокоиться! Она же навела меня и на прегрешение, которое всю жизнь искупаю. И ведь чем бьет! Тем, что хуже всего. Кто ж не знает, что люди вроде меня по натуре миролюбивы, уравновешенны. Оно и правильно: сколько бед, сколько ужасов способен натворить такой вот бегемот, как я, если он к тому же вспыльчив. А меня, увы,— как ни оберегает меня Афина Паллада, которой вы помогли явиться на свет,— Гера покарала приступами ярости, бешенства. Тем и до греха довела, еще в молодые годы дело было, в Фивах. Это единственное мое прегрешение против Зевса. До сих пор искупаю его, потому и в этих краях оказался — десятое задание выполнял. Осталось еще два. Легким не было ни одно, а уж напоследок Эврисфей наверняка приберег самое трудное. Ведь какой расчет в его игре? Чтобы меня извести... В приступе ярости я убил Ифита. Хотя он один был на моей стороне, когда я соревновался с другими за руку сестры его. Ох и вредная была семейка... Не хотел я убить его, только стукнул. И убил. А ведь знал, всегда помнил, что мне стукнуть «просто так» нельзя. Приступ ярости... Поверил он, несчастный, сплетням, в краже меня заподозрил... Хорошо еще, приняли во внимание, что в гневе я был великом, поэтому не за преднамеренное убийство судили, а за нанесение сильных телесных повреждений, которые повлекли за собою смерть. Штраф — одна мина. Заплатить я не мог. Тогда засудили на три года к Омфале. Не знаете ее? Ваше счастье. У нее ткацкие мастерские в Лидии. Я и слугой ее был, и наложником. Три года продержала меня в женском платье. Я должен был сидеть у ткацкого станка и распевать вместе с ее рабынями. Взгляните на меня, сударь, взгляните на мои руки и представьте, как это я сижу там, тку и пою! А вы еще браков моих не знаете... Как-нибудь расскажу. Гера! Вот что получил я от отца своего!

Но тут Иолай встал на защиту Зевса:

— Зевс все же любит тебя, Геракл. Уже одно то, в какую семью он тебя поместил...

С этим и Гераклу пришлось согласиться. Его мать Алкмену Зевс соблазнил в образе ее супруга — иначе это не удалось бы даже ему; проведя же с ней ночь, поклялся никогда больше не иметь дела с земными женщинами, так как лучшей ему все равно не найти. Амфитрион знал, что Геракл не его сын, но и собственного сына не мог бы любить больше, по крайней мере, воспитать лучше, чем его. Чуть ли не в младенчестве научил управлять колесницей, бросать в цель копье; нанял ему лучших учителей по астрономии, математике, праву, науке прорицания; Аполлон учил юношу фехтованию, кулачному бою, стрельбе из лука, врачеванию, пению и игре на лютне; Геракл изучал также языки, всемирную литературу и историю, до восемнадцати лет посещал политехнический практикум в образцовом учебном хозяйстве, где познакомился с зоологией и ботаникой. Все это сопровождалось занятиями по философии, освоением и применением Зевсовой идеологии, в коей наставлял Геракла сам Амфитрион, безмерно преданный Зевсу. Лучшего воспитания царственный юноша не мог получить не только в суеверных Фивах, но и в городах Арголиды. Геракл остался в памяти людей как сильнейший человек в мире; те, кто интересовался им несколько больше, считают его к тому же деятельным, храбрым

и добрым человеком. Однако более основательное ознакомление с его жизнью показывает: возможно, он и не был так уж невероятно силен, скорее хорошо натренирован, умен и выдержан; но одно очевидно — это был самый образованный человек своего времени. Обладавший к тому же совершенно исключительным обаянием.

Боже мой, как вспомню только — ведь ему не было еще и двадцати лет, когда одной лишь повадкой своей, лучезарной чистотой и редкой интеллигентностью он так пленил царя Теспий, что последний буквально умолял юношу дать наследников пятидесяти его дочерям. Геракл с присущей ему любезностью согласился провести в Теспиях пятьдесят суток (правда, некоторые источники утверждают, будто все произошло в одну ночь, но это уж, я думаю, глупости — излишества культа Геракла!), и девять месяцев спустя пятьдесят царевен произвели на свет пятьдесят одного младенца: у одной из них родилась двойня.

— Против семьи моей и данного мне воспитания я в самом деле ничего сказать не могу. А все же иной раз, знаете, приходит в голову: не будь я сторонником Зевса, ну хоть не таким истинным его сторонником,— кем бы я мог стать со своими знаниями и подготовкой! Уж во всяком случае не слугой Эврисфея! Разве я не прав?

— Конечно, прав,— отозвался Асклепий,— но что же тогда говорить моему отцу?

Да, все они знали: никому из богов не доставалось от Зевса так часто и так несправедливо, как самому преданному его сыну.

— Разве он решился бы так поступать с кем-либо другим?

(А ведь самое злое дело бога-отца по отношению к Аполлону было еще впереди — убиение его любимейшего сына Асклепия. И за что? «Еще чего! Они уже и мертвых воскрешают?!» Одним словом — «просто так»! Правда, на этот раз даже слепо повиновавшийся ему Аполлон вышел из себя!)

— Итак, видите сами, господин мой! — повернулся Геракл к Прометею.— Вам незачем за меня бояться — мол, что еще будет мне за мой проступок? Я и прежде не ходил у небожителей в любимчиках. Ни я, ни мои сотоварищи. Вот вся эта ватага, что вы видите перед собой. Мы могли бы порассказать вам немало всякого... Так что и не о чем тут толковать: освободил я вас — ну, значит, освободил. Да я в глаза бы себе плюнул, если б не сделал этого. А уж там понравится это Зевсу, нет ли... Что ж, гневом своим он навредит мне не больше, чем отеческой любовью.

Тут он опять оборотился к тем, кто только что, слыша богохульные слова его, так испуганно поглядывал на небо:

— А вы вот что послушайте! Если бы Зевс пожелал, он сразил бы меня огненной стрелой своей сразу же, как только я выстрелил в его возлюбленную птицу и личного посланца — орла. А вообще-то я рассуждаю так: если Зевсу не нравится то, что я сделал, значит, мы принципиально не понимаем друг друга. А если так — что ж, пусть хоть и убивает. Зачем я и живу, коли так?

Знаете, господин мой,— опять обратился он к Прометею,— иной раз ведь и не выдержишь, сорвешься, как вот я сейчас. В самом деле! Тот, кто служит Зевсу с оглядкой и деньги ждет за это и все прочее — как, например, Нестор,— тот все получает. Кто одним глазом и врагам Зевсовым подмигивает, как Пелопиды, кто за любую малость большой власти себе просит — тот ее получает. А для самых верных — только работа да терпение. Вот и бывает, взбунтуешься иной раз — хотя в глубине души я все понимаю! Так тому и должно быть.

Я служу Зевсу,— продолжал он,— умом и сердцем, пока жив, и в этом служении — моя гордость. Я за большее благодарен Зевсу, нежели просто за деньги или власть: я благодарен ему за то, что я таков,

каков есть. За спокойную свою совесть. И за то,— с лаской огляделся он вокруг,— что у меня такие друзья.

Это было сказано с такой детской чистотой и истинно мужским достоинством, что Прометей не нашелся, как ответить.

Он-то не верил, что «так и должно быть». И своей спокойной совестью был обязан тому, что спас Человека.

Между тем Геракл достал лютню и настроил ее. Пели все хором, некоторые танцевали. В свете сторожевых огней танец «лабиринт» отбрасывал в ночь фантастические тени.

Время шло, и вскоре Геракл заметил, что воины постарше уже дремлют. Да и бог, должно быть, притомился, даже если не показывал виду. Завтра предстоял трудный день, и хотя двигаться им теперь вниз, но не так-то легко вести телеги и колесницы по горному склону. Геракл скомандовал лагерю «отбой»...

Если меня спросят — уверен ли я, что именно так протекал первый разговор Прометея и Геракла, отвечу: уверен, что изложил его не «дословно». Однако в том, что он был именно таким по сути, что это альфа его и омега, я уверен. Они *не могли не говорить* об этом, это были самые главные для обоих вопросы.

И в конце концов нам достоверно известны ответы, которые они дали на эти главные вопросы собственными жизнями.

Ватага

. . . . . .

Дорога вела теперь большей частью под уклон. Часто приходилось подвязывать колеса, некоторые телеги ставили на полозья. Ведь место пребывания Прометея, без сомнения, должно было находиться где-то в районе самого высокого кавказского перевала. Восточные сказания в один голос утверждают, что во время Потопа над водою подымалась лишь одна вершина Арарата. Следовательно, прикованный к скале Прометей не пережил бы Потопа и орел не мог бы день за днем исполнять волю Зевса, если бы место, назначенное для казни, надолго скрылось под водой.

Они держали путь к югу, вернее к юго-востоку, потом повернули на запад и двигались дальше по караванной дороге ассирийских торговцев. Путь этот шел вдоль черноморского побережья нынешней Турции. Теперь Геракл и его соратники предпочитали обходить стороной хеттские города, зато охотно сворачивали к любому ахейскому или вообще греческому поселению, где их всегда принимали гостеприимно и дружественно.

Итак, после двухдневного перехода они повстречали у подножья Кавказского хребта упоминавшиеся уже коневодческие племена и здесь надолго остановились лагерем. Лошадиный торг не терпит спешки. Геракл затем и избрал неторопливый обходный путь, чтобы собственные их тягловые лошадки немного отдохнули и освежились, то есть стали пригодны для мены. А дальше дело могло сложиться по-разному. Можно было, чин по чину, выменять у местного населения знаменитых их лошадей на своих заезженных, загнанных, дав к ним в придачу бронзовую посуду, полотняные и шерстяные ткани из военных трофеев. И самое для кочевников главное — оружие. А еще можно было просто напасть на них — и отобрать лошадей. Мы должны понять дух времени: это отнюдь не считалось действием предосудительным, напротив! И если Гераклово войско не нападало и не грабило, а покупало лошадей, это объяснялось лишь тем, что и кочевникам известен был дух эпохи, а потому табуны свои они со-

держали в хорошо защищенных укрытиях и заключали сделки под бдительной охраной, в подходящих для того, оберегаемых оружием и богами местах.

Едва ли можно было достойнее и удачнее реализовать трофеи, приобретенные в войне с амазонками, чем сделали это воины Геракла. Конечно, лошадей приобрели больше, чем было действительно нужно: дома их можно продать в пятьдесят, в сто раз дороже! Правда, до тех пор реальная их стоимость возрастет намного — тут и падеж, и пошлина, и переправа через Геллеспонт,— но все равно овчинка стоила выделки. Поэтому нет сомнения, что приобрел здесь лошадей даже Пелей, хотя уж кто-кто, а он-то запрягал в свою колесницу двух лучших — «бессмертных»! — коней Эллады.

Не стану расписывать во всех деталях дальнейшие их остановки, приятные или вынужденные привалы. Я только хотел пояснить, что путь наших героев до Трои занял, по крайней мере, несколько недель, а точнее — добрых два месяца. Таким образом, у Прометея было вдоволь времени, чтобы познакомиться со своими спутниками и разобраться в делах мира.

Воспользуемся случаем и мы.

Моим читателям, наверное, бросилось в глаза, что в ходе реконструированной беседы у костра Геракл, Асклепий и другие высказывались иной раз о небожителях без особенной почтительности. Возможно, кое-кто уже склонен считать эту реконструкцию «атеистической отсебятиной». Другие, может быть, рассуждают так: что же, ведь Прометей бог, хотя и опальный; Геракл — сын, да к тому же и правнук бога; Тесей — сын бога Посейдона, Асклепий — Аполлона; хотя о других присутствовавших сведений нет, вполне вероятно, что и они из той же среды. А ведь всем известно, что в кругу семьи даже королям не говорят «ваше величество»; вообще те, кто приближен к сильным мира сего, частенько тешатся фамильярностью, полагая, что это свидетельствует об их собственной избранности; то же и с небожителями — достаточно вспомнить нынешних наших ризничих и звонарей, которые, прошу прощения, зевают или почесывают зад, а то и плюнуть не постыдятся там, где простой смертный преклоняет колена. Должно быть, и это приходит в голову некоторым моим читателям, но они ошибаются.

Чтобы понять всю ситуацию и убедиться в максимальной достоверности моей реконструкции, стоит поразмыслить о том, что за *ватага,* пользуясь выражением самого Геракла, сошлась под его началом. Как жили эти люди и в каком они жили мире?

Удивительный был этот век — тринадцатый век до нашей эры. Ценнейшим ядром известного тогда мира (от Босфора примерно до нынешней Ливии) владели три великие военные державы. Вот уже восемьдесят лет в почти неизменных границах.

Самая значительная и богатая из них — Египет. С трудом верится, сколько всего знал, сколькими науками и ремеслами владел народ Египта к концу XIX и началу XX династий, одним словом, к концу эпохи Нового царства. Не только архитектура, скульптура, живопись заслуживают восхищения нынешнего человека, но и — о чем говорят реже — их наука врачевания. Египтяне знали систему кровообращения, проводили сложные операции, в том числе и черепные. Поразительны их успехи в астрономии, геометрии, математике. Они достигли высокого уровня в технике, имели большие достижения как в тяжелой промышленности — доменное, оружейное дело, так и в легкой — горизонтальные ткацкие станки, гончарные изделия со сложным рисунком, предметы из стекла небывалой расцветки. Да вспомним хотя бы созданный ими судоходный канал между Нилом и Красным морем,

этот искусственный водный путь, копию которого Лессепс осмелился вновь осуществить лишь три тысячелетия спустя! По уровню производства, техники и производительности труда Египет башней высился над всем тогдашним миром; по пальцам можно было перечесть те продукты и изделия, которые где-то, кому-то удавались лучше, чем в Египте, на его землях и в его мастерских. Так, в описываемое время, да и раньше в течение многих столетий, по-настоящему добротные корабли строились в финикийских доках; из Финикии же попадали на мировой рынок пурпурные краски самых различных оттенков и тончайшее стекло; поставляли финикийцы также ливанский кедр, драгоценнейший строительный материал, и ливанскую кожу, почитавшуюся в те времена царицей среди кож. Однако не будем забывать, что и Финикия — которая тогда находилась под властью города Сидона — принадлежала к сфере влияния Египта. И платила ему двойную дань.

Платила дань Египту и сказочно богатая Эфиопия. Данниками Египта были народы Палестины, большая часть сирийцев.

Благодаря этим сверхдоходам средний уровень жизни в Египте был по сравнению с другими странами очень высок. На этот счет мы располагаем обширнейшими источниками — от школьных сочинений, самой скромной, зато и самой рельефной опоры историка, до государственного архива. Рабов мог держать горожанин среднего сословия, мелкий торговец, мелкий ремесленник, государственный и культовый служащий весьма невысоких рангов — то есть такой слой населения, который в любом другом государстве, несомненно, трудился от зари и до зари только ради пропитания. Между тем с установлением Великого перемирия цены на рабов и в Египте поднялись крайне высоко. Обогащение средних слоев привело к формированию своего рода «потребительского общества»: потребности, несколько поколений назад характерные только для богатых из богатых, стали теперь массовыми. Обеспечить рабочую силу для удовлетворения этих потребностей — вспомним хотя бы дошедшие до нас в руинах грандиозные строительные сооружения египтян! — было трудно. Не говоря уж о том, что требовалась не просто рабочая сила, а обученная и квалифицированная!

То ли было еще сотню лет назад, когда после очередного военного похода или набега рабов гнали десятками тысяч, поставляли их в храмовые и государственные имения, в бесчисленные мастерские. Но этому старому доброму миру пришел конец. Затевать грабительские войны против богатых и цивилизованных государств — иначе зачем и нападать! — уже невозможно. При последней попытке Египет и сам едва устоял. В 1312 году до нашей эры под Кадешем из-за серьезного организационного просчета просто случайность избавила самого фараона от хеттского плена.

В 1296 году до нашей эры две главные военные супердержавы эпохи заключили первый, насколько нам известно, в мировой истории длительный договор о ненападении, к тому же, в общих чертах, на основе действующих и ныне «пяти принципов» мирного сосуществования. «Treuga Dei»[1] было закреплено и браком: Хаттусили III отдал в жены Рамсесу II свою дочь. К слову сказать, договор, главное же, его длительность подкреплялись тем, что хетты и египтяне в равной мере опасались угрожающего усиления Ассирии.

Не мог Египет вести успешные войны, имеющие целью приобретение рабов, и в Африке: мешали этому, с одной стороны, трудности преодоления пустыни, с другой же — партизанская тактика местных народов. Еще недавно мирные племена вдруг вооружились и время

[1] «Божеское перемирие» *(средневек. лат.)*.

от времени находили таких вождей, что отваживались даже совершать набеги против Египта. Да, иной раз они «оказывали любезность» Египту — попадали в плен и становились рабами. Так, в уже упоминавшейся битве 1229 года до нашей эры, где участвовал и микенский флот, захвачено было около десяти тысяч рабов. Не богато, что правда, то правда. Да и какие то были рабы! Сопровождавшие войско женщины, дети, ни в чем не знающие толка варвары. В такой войне Египет терял больше, чем приобретал.

И, в довершение всего, минули те времена, когда рабов поставляли моряки-пунийцы. Повышенный спрос быстро привел к истощению все окрестные медные и оловянные рудники. Теперь сидонцам, предпринимая дальние экспедиции, приходилось выбирать: либо они снабжают рынок металлами — и тогда им следует жить в дружбе с прибрежными народами, а значит, принимать на свои корабли лишь столько рабов, сколько продадут им по сходной цене сами аборигены; либо отправляются на охоту за рабами, но тогда уж нечего и рассчитывать в этих краях еще на какие-нибудь товары. Итак, финикияне уже не привозили рабов; зато поставляли иной человеческий материал. Иными словами, в Египте воцарился период brain drain[1]. Мне и самому странно употреблять это бытующее сейчас выражение, но древнеегипетского языка я, увы, не знаю, а сущность явления этот гермин выражает вполне. Создавая лучшие условия жизни, обеспечивая более высокую оплату, Египет старался переманить к себе каменщиков, плотников, дерево- и металлообработчиков, судостроителей, стеклодувов и солдат, солдат, солдат. Справиться с убийственной нехваткой рабочей силы иным путем они не умели.

Ведь как было до сих пор? Каждая сельская община, поселок арендаторов, крупное поместье, каждый храм попросту уведомлялись, когда и сколько воинов они должны выставить. Однако теперь вдруг повсюду выяснилось, что те, кто предназначен к воинской службе, способны принести гораздо больше пользы государству, если оставить их мирно делать свое дело. Даже фараон, желая привлечь на свою сторону какого-нибудь вельможу или верховного жреца — а надобность в этом все возрастала,— не мог одарить его больше, чем, освободив от повинности, выставить столько-то воинов. Поэтому фараон где только мог, от Испании до Черного моря, набирал чужеземцев: «Одет-обут будешь и сыт всегда будешь, плата хорошая — так что поступай, браток, в солдаты, наша армия — самая могучая, лучше всех вооруженная армия!» Для поддержания внутреннего порядка и теперь уже только оборонительных в основном сражений сойдет и армия наемников, рассуждали в Египте. Однако расчеты эти не оправдались. Нищие и совсем необразованные варвары, набранные из дальних захолустий, плохо вживались в цивилизованный мир. Да и нам еще памятно по старым, разумеется, временам, как самодурствовали над городскими штафирками наши смертельно им завидовавшие «фараоны» — выходцы из крестьян! Еще бы. У наемника ничего нет. Только оружие. Зато у этакого прыща есть все. Что же, отнимем! И пусть бежит жаловаться. Ведь кого пошлют для разбирательства? Такого же наемника, да еще, может, земляка-соотечественника — во всяком случае, того, кто «дорожит честью оружия», а проще сказать: ненавидит весь этот «цивильный сброд». И понятно, что ненавидит: ему-то никогда не стать богатым и полноправным египтянином!

Итак, между воинами и гражданским населением Египта создалась напряженность. При этом среди пришельцев — и чем дальше,

[1] Перекачка мозгов *(англ.)*.

тем больше — попадались люди незаурядные, выделявшиеся своими познаниями, военными заслугами; некоторые из них, обладавшие особой приспособляемостью, становились более египтянами, чем сами египтяне, за что и получали от фараона высокие воинские или административные назначения. Следовательно, назревали противоречия между исконными высшими сословиями — крупными землевладельцами, верховной кастой жрецов, то есть теми, кто использовал государство в своих интересах, и новой аристократией, которая постепенно становилась действительно реальной силой в руководстве государством. Все это накладывалось к тому же на многовековые противоречия между Севером и Югом из-за религиозных конфликтов, иначе говоря — из-за привилегий. Нелегко было править Египтом!

Кроме того, в обществе исключительно высокого жизненного уровня — тому и ныне нетрудно найти примеры — нередко существует крайняя поляризация. Возьмем прежде всего массы совершенно нищих рабов. Как раз по документам описываемого времени мы впервые узнаем о смутах среди рабов — забастовках, групповых отказах от работы. Затем следуют земледельцы. Расслоение этой группы весьма и весьма сложно и, если б не близкие для нас аналогии, я бы сказал, необозримо. В тени колоссальных имений, принадлежавших жрецам, государству и крупным землевладельцам, в Египте жили миллионы арендаторов и владельцев крошечных парцелл; кое-где одна парцелла обрабатывалась даже сообща. Жили эти люди как придется. Если урожай был хорош, выплачивали положенное — пять шестых, а на оставшейся одной шестой части кое-как перебивались с семьей до нового урожая; отдавали богу богово, а фараону фараоново, да еще умудрялись придержать зерно для будущего посева. Если же, например, стихийное бедствие разрушало плотины и оросительные каналы и власти на несколько недель кряду отрывали земледельцев от собственных участков, так что они не поспевали их обработать; если, как не раз бывало в Египте, капризная погода год за годом губила урожай, губила надежды — что могли они поделать тогда? Вероятно, очень часто и очень многие не платили налогов, не выполняли поставок, иначе вряд ли так суровы были бы назначавшиеся за это наказания. Мы знаем случай, когда исполнительные власти подвесили не уплатившего налоги земледельца вниз головой в собственном его колодце и так утопили. После чего все окрестные земледельцы побросали дома свои и земли и в панике бежали. Куда? В самом деле, куда? В города, конечно. Туда, где под сенью пышных дворцов сбивалась всегда самая беспросветная нищета. Нам немногое известно о восстании Ирсу, знаем только, что было оно жарким и кровопролитным, а также, что организовали его, по мнению египтян, буяны и забияки чужеземного происхождения. (Впрочем, чему же тут удивляться: ведь и парижский май 1968 года, по мнению властей, был делом не французских студентов, а «забияк иностранцев».)

Иначе говоря, огромен был авторитет Египта и огромны его богатства во времена Геракла,— однако это был уже больной организм.

Общество потеряло самую элементарную динамику. Тот, кто был беден, оставался бедным. Он мог стать еще беднее, мог даже — в неурожайный год — стать бездомным нищим. И напротив, в удачный год мог немного подняться, насытиться, приодеться в какое-нибудь тряпье. Но он оставался бедняком. Тот же, кто был богат, мог, неумело хозяйничая, стать чуть-чуть беднее, чем его отец, или, при сноровке и удаче, наживал еще больше добра — но в любом случае он оставался богатым. Средние слои — хотя жили лучше, чем где бы то ни было,— могли иметь двумя рабами больше или меньше, но перескочить через самих себя не могли, ни вверх, ни вниз. Египет был больным организ-

мом. Это было застывшее, утратившее динамику развития и в то же время исполненное внутренних противоречий общество. Так застывает иногда стекло: один щелчок, и оно разлетается в пыль.

Еще тяжелее была больна другая супердержава: военное государство хеттов. В былые времена их цари жестокой рукой сплавили, спаяли и умело организовали свое обширное, многоязычное и разноверное государство. Однако в описываемое нами время, повторяю, от всего этого мощного организма осталась лишь его поистине гротесковая бюрократия. Что же касается авторитета, то вот характерная деталь: дипломатическую переписку с Египтом и иными закордонными странами царь хеттский вел на международном языке того времени — по-аккадски, клинописью; но уже своим малоазийским вассалам, в том числе тамошним ахейским городам и даже Трое, писал на принятом при дворе несийском языке: вассалам положено обучиться языку суверена! Все это так, да только в клинописных посланиях Египту от хеттских царей все чаще фигурирует слово «дай!»: «Любезный брат мой и родич, дай благородного металла, дай воинов, дай оружия, дай зерна!»

Да, даже зерна. Хотя в хеттской Азии имелось, по всем признакам, развитое животноводство и поливное земледелие. По какой же причине цари оказались в столь стесненных обстоятельствах?

Земля и стада принадлежали воинам. У каждого воина, в том числе самого рядового, была земля. На это он жил, на это содержал себя и семью во время мира и во время войны. Однако обрабатывали землю рабы, и за животными ухаживали тоже рабы. Хетты презирали труд, даже торговец был в их глазах почти что не человек. Слово «мужчина» для них было равнозначно слову «воин».

Все и шло своим чередом, пока велись одна за другой войны, приносившие большие трофеи, а главное — рабов. Но теперь был мир. Великий мир с Египтом и его вассалами. Военный «пат» между великими державами. Войнам, конечно, как не быть — они были, но какие?! Жалкие карательные экспедиции против беспокоящих границы нищих кочевников, против бунтующих бедных вассалов.

Рабов выматывали до последней крайности. Как содержать скот, хетты знали, а вот как «содержать» рабов — нет. Они издавна привыкли: «раздобыть раба — дело нехитрое». На войне — конечно, но теперь?! А тут еще пресловутые «мягкие» законы хеттов. Хаммурапи карал смертью за похищение раба. Хетты — всего лишь штрафом. Но штраф-то мало-помалу оказался чуть ли не ниже рыночной цены раба. Разбогатевшие во время военных походов «начальники» — князьки и царьки — попросту крали рабов у бедняков, выплачивали штраф, если же законный владелец не успокаивался, убивали его — и опять платили штраф. Так началась сильная поляризация и в хеттском обществе. Земли приходили в запустение, бедняки все глубже погружались в бедность — хорошо еще, если не попадали сами в долговое рабство. Богатые же богатели. Становились все богаче. По крайней мере, относительно. И все могущественнее.

И только царь был среди них исключением: его достояние таяло, пожираемое административным аппаратом, войском, неизбежными, но бесполезными и ничтожными военными экспедициями... Главным источником царского дохода становилась дань от вассалов, от расселившихся по побережью главным образом греческих городов, да еще налоги, взимаемые с торговцев. Если удавалось их вытребовать. Вассалы же за это выговаривали себе все больше прав и все меньше ценили ту защиту, которую сулили им львы Хаттусили.

Между тем торговые города предпочитали уже опираться на собственные войска и на соглашения с соседями о взаимной выручке.

Обзавелись наемниками и царьки разных городов и племен, они вели друг против друга войны, вступали друг с другом в военные союзы.

Так обстояли дела. Пока Хеттское царство, объединяя разнородные силы, могло пускаться в такие войны, которые приносили ему несметное число рабов, царь Хаттусили еще пользовался авторитетом. Но нынче — в пору мирного сосуществования, тянущуюся с 1296 года?!

Гераклу все это было хорошо известно, ведь, как мы знаем, он провел три года рабом в Лидии у владетельной дамы Омфалы.

Убийство Ифита было уголовным преступлением. И хотя несчастный юноша прибыл только затем, чтобы выследить Геракла, подозреваемого в краже, формально он был гостем Геракла. Эклектические крито-микенские законы требуют от преступника весьма скромной очистительной жертвы: одну — самое большее две мины серебра. И вот странный, но проливающий яркий свет на характер нашего героя факт: после стольких подвигов, стольких славных походов у него не было одной-двух мин серебра! Судьям-жрецам ничего не оставалось, как взять его под стражу и продать на три года в рабство. Омфала, судя по всему, была весьма деловая дама: она прикатила на поиски рабыни в Элладу, где этот товар как ни вздорожал, но все еще был дешевле, чем в Малой Азии. Хочу подчеркнуть еще раз: ей нужна была рабыня! В самом деле, не шутки же ради одела Омфала Геракла как женщину! Можно, конечно, и пошутить — обрядить могучего, обросшего щетиной богатыря в женское платье, заставить его неуклюже в нем путаться,— но такая шутка хороша однажды, если же проделывать это три года подряд, то тут уж никакого остроумия нет. А дело в том, что жрецы спешили, хотели поскорее всучить кому-то Геракла. (Наш герой обладал, наверное, отменным аппетитом, и они боялись, что ему перепадет слишком много жертвенных животных. Кормить, однако, приходилось: нельзя ведь было допустить порчу товара!) Итак, Геракла отвели к Омфале. Омфала же была не слепая, она видела, что перед ней не ткачиха, но решила: на вид раб смышленый, как-нибудь выучится, ну, в крайнем случае и другое дело для него найдется. А чтобы не пошла про дом ее дурная слава, велела она переодеть новое свое приобретение в женское платье и предупредила, чтобы среди ткачих в мастерской раб вел себя пристойно.

Во время Великого перемирия, длившегося круглым счетом сто лет, наиболее динамическую картину после упадка Митанни являла собою вновь становившаяся мощной державой Ассирия. Великий ее властитель с почти непроизносимым именем — Тукультининурта — несколько раз успешно водил свои войска на покорный Египту Вавилон, захватил сокровища, рабов и даже одну из главных святынь. Однако в описываемое нами время ассирийские князьки — при поддержке вавилонян, больших мастеров интриги,— устроили заговор и прикончили Тукультининурту, а вместе с ним и централизованную диктатуру. Теперь страну сотрясали экономические неурядицы. Былое богатство давала Ассирии торговля с внешним миром; однако в это время ассирийцам нигде не удавалось основывать колонии. Что это было со стороны великих соседей — «запрет иммиграции», «бойкот»? Во всяком случае, их боялись. И ассирийцы, за неимением лучшего, занялись земледелием. Вот только очень уж мало было у них рабов! Тогда, не имея возможности раздобыть рабов извне, они создали сословие рабов у себя. Строго говоря, по самому духу патриархального ассирийского правопорядка все члены семьи являются по существу рабами главы семьи — даже если речь идет о незаконной жене или о приемных, не родных детях. Поэтому в Ассирии усыновляли всех подряд: человек впал в нищету — его усыновляли; запутался в долгах — усыновляли; пахарь в неурожайный год взял ссуду под невероятные ро-

стовщические проценты, которых, разумеется, выплатить не мог,— усыновляли. Словом, гипертрофированное семейственное чувство привело к такому массовому усыновлению, что, если бы социальная политика Ассирии знала хоть мизерную надбавку на семью, государство осталось бы голым. А перешло бы все в карман только самых богатых. Иными словами, и здесь чрезвычайно быстро шла социальная поляризация: с одной стороны, беднота превращалась в рабов, с другой — наиболее могущественные стремительно обогащались. А тут еще — недостаток рабочей силы, пополнить которую из внешних источников они не могли: сравнительно бедной стране рассчитывать на brain drain не приходилось. Что же до недавно созданной и похваляющейся несколькими победами армии, то, в конечном счете, она сильна была только разглагольствованиями да угрозами: кичилась и точила зубы на всех и вся, твердила, что хетты вконец разложились, изнежились, что Египет всего-навсего папирусный лев, однако выступить активно не могла и она. И хотя ассирийцев побаивались, подлинного международного авторитета у них не было. (Так, побитый ими же правитель Вавилона, вассал египетский, выражал Египту дипломатическим путем протест за то, что фараон в некоем послании приветствовал ассирийского царя обычным среди равных обращением «брат». А между тем «владыки ассирийские были с незапамятных времен данниками вавилонских царей». Так пенял фараону один из последних касситских царей Вавилона, в то время как себя самого именовал вовсе не «братом», а всего лишь «рабом великого фараона» и сообщал в том же послании, что четырнадцатикратно припадает к стопам фараоновым, причем семь раз падает на живот и еще семь — на спину. Вот он, язык дипломатии!.. Ибо Вавилон, переживая период упадка, особенно гордится своим прошлым, традиционным своим культурным превосходством и всем тем, что сделали вавилоняне во имя прогресса. Какой уж тут «брат» — царь ассирийский!)

Так выглядел век Treuga Dei на доминирующем континенте.

А как обстояли дела в темной Европе? Вернее, в единственной ее, чуть брезжившей светом точке — Микенах? Иными словами, в городах главным образом пелопоннесских, ахейских, позднеэлладского периода, среди которых Микены были primus inter pares[1].

Города эти с большим опозданием по сравнению с Азией, но с тем большей страстью включились в кровообращение мира. Около 1500 года до нашей эры извержением Санторина было уничтожено Критское государство. Города обратились в развалины, остатки населения, весь богатейший некогда остров стали легкой добычей ахейцев. Восприимчивые эллины быстро усвоили критскую культуру и цивилизацию, которая выделялась не столько оригинальностью, исключительностью своей, сколько универсальностью. Оказавшись на Крите, ахейцы сразу же были включены в Средиземноморье — в самом широком значении этого понятия. Помимо всего прочего, быстро выстроенный флот ахейцев, и это особенно важно, стал благодаря обладанию Критом участником великого союза того времени по торговле и судоходству. Уже в XIV веке до нашей эры существовали греческие колонии в дельте Нила, в Малой Азии и даже на побережье Палестины, причем в самом мирном сожительстве и ближайшем соседстве с финикийскими городами. (Обосновывавшиеся на новой своей родине израилиты также встречались с «киввеусами» — ахеянами, ахейцами, в Библии имеется упоминание о заключенном с ними мирном соглашении.)

Это был период расцвета Микен.

---

[1] Первый среди равных *(лат.)*.

Тринадцатый же век рассматривается историками как век упадка. Греческие корабли исчезают из мирового мореходства, колонии, во всяком случае наиболее отдаленные, существуют в отрыве от материнской державы, ассимилируются. В городах Пелопоннеса не возводят более блистательных сооружений. Становятся проще, беднее и предметы обихода. Дух ахейский живет прошлым, не создает нового.

И причина всему этому, по мнению некоторых ученых,— появление на севере дорийцев.

Однако другие признаки, и главным образом устная и письменная традиции, указывают на то, что век этот еще вовсе не был веком упадка. Упадок наступил лишь после Трои и, как вообще любой период упадка, наступил неожиданно, внезапно, катастрофически. Тринадцатый век был, напротив, расцветом расцвета. Дух ахейский и правда создавал не города — они уже были созданы — и не предметы обихода, еще более, чем прежде, изысканные; но именно тогда создавалась, например, мифология. И вынашивались — как мы увидим, следуя за Прометеем,— грандиозные политические проекты мирового значения.

Несомненный факт, что Микены в этот период обосабливаются. Но вряд ли в оборонительной позиции! Правильнее будет сказать: Микены замыкаются в себе.

И не из-за дорийцев. (Право, кого тревожили дорийцы за неодолимой истмийской «линией Мажино»!)

Микены замыкаются в себе из-за пунийцев. А за Финикией, как мы знаем, следует искать Египет. Ведь пунийцы политикой не занимаются — не так ли? — во всяком случае, политикой с позиций военной силы.

Пунийцы — странный народ. Да и народ ли это? Он не создает государства, не делает даже таких попыток, не захватывает территорий, нет у него и военачальников — да, до самого Ганнибала, то есть еще в течение тысячелетия; ни военачальников нет, ни диктаторов, ни войска. Правда, имеются города-крепости, выстроенные на приморских скалах; когда приходит беда, все укрываются в этих городах и тогда каждый берет в руки оружие. Есть у них города и на родной земле, и повсюду; но единения, большие, чем город, им неизвестны. Их торговый флот — самый значительный: по тем временам он, можно сказать, на морских просторах единственный. Но это торговый флот. Правда, в случае необходимости каждый матрос берется за оружие. Впрочем, в те времена «торговец» — непременно «человек с оружием», ему всегда приходится быть готовым отразить нападение и часто даже место на рынке не удается захватить без «поножовщины». (Где торг — там и сила.)

...Пунийцы были умным и храбрым народом. На своих тощих землях они умерли бы голодной смертью, если бы не разумно поставленное интенсивное хозяйство, которое позволяло даже экспортировать продукты питания! Не относись они к природным богатствам с умом, их сырьевые ресурсы быстро иссякли бы. Но они в состоянии были поставлять всему миру самые совершенные промысловые товары и самые красивые образцы прикладного искусства.

Для торговли со всем миром нужны деньги — они их придумали. Для торговли со всем миром нужна широко распространенная письменность — они отняли у храмов тайну письма, изобрели простой, легко усваиваемый, применимый с небольшими модификациями для всех языков буквенный алфавит. (Геракл тоже распространял эту письменность; и не только потому, что первая ее буква — «алеф» — означает священного быка Зевса.) У пунийцев было много рабов — на продажу. (Собственных бедняков они продавали неохотно, только при крайней необходимости или крайней опасности — в случае разори-

тельной войны или стихийного бедствия.) Из полчищ рабов они оставляли себе немногих — только тех, кто был умен, как они. Тех, кто быстро обучался интенсивному ведению хозяйства — поливного, удобряемого возделывания овощей и фруктов, изготовлению оливкового масла. И работал на поле вместе с хозяином. Или в мастерской. Ибо пунийцы не стыдились труда. Еще пунийцы оставляли рабов для своих галер — гребцами. Однако, раб-гребец это уже не просто раб: он товарищ в беде и соратник в бою. И сидит на скамье для гребцов рядом со свободными людьми! Да, у него одинаковая с ними судьба и питание тоже одно. (Только что волосы ему стригут коротко, в то время как свободные пунийцы носят прическу битлов. Впрочем, тут могли играть роль просто религиозные различия.)

Не стоит, однако, преувеличивать: пунийцы вовсе не были кротки и добронравны. Умели они быть и злобно-жестокими. Ни к чему не способный, темный варвар и для них был лишь вещью, товаром или жертвой, предназначенной на заклание. Зато раб умелый и ловкий был уже не раб, а великая ценность, он обладал в их глазах «человеческим достоинством».

Кораблевождение и торговля со всем миром — это всегда авантюра, ставящая на карту все: и бесценные сокровища, и самую жизнь. Были и среди пунийцев богатые и бедные; случались даже кровавые сословные битвы. Но не было в обществе разделения окончательного и бесповоротного, не было окостенения, устойчивой поляризации. Пуническое общество оставалось динамичным.

Вот с этими-то пунийцами — как равные с равными — вплоть до XIII века до нашей эры плавали по морям и торговали бок о бок в мирном священном содружестве ахейцы. Но с XIII века все прекратилось. Как ни странно, именно тогда, когда вековое уже равновесие сил укрепило мир на суше между великими державами, морской союз распался.

Как? Почему? Кто разрушил его?

Быть может, пунийцы — чтобы исключить конкуренцию и монопольно завладеть всеми водными путями Средиземноморья?

Кто первым пустился в самоубийственное пиратство? Мы знаем, то были греки. Но сами ли по себе или кто-то их принудил?

Нам известен один только факт: в начале века в войско Хаттусили поставляли воинов и троянцы, и другие греческие города-колонии; зная политику Микен, можно допустить, что эллины метрополии тоже содействовали хеттам — прежде всего военным своим флотом; Сидон же, как мы знаем, напротив, и на суше и на воде сражался на стороне фараона.

Итак, возможно, морскому союзу — к превеликой радости финикиян — положил конец Египет: осердясь на греков вообще, он лишил их права швартоваться в его портах. Чем крайне отягчил и сделал почти невозможным для них участие в мировой торговле. (Не будем забывать: Египет был самый крупный и притом самый платежеспособный потребитель!)

Возможно. Но возможно также и другое объяснение. Судостроительство на Пелопоннесе было недостаточно развито. Вместе с тем греки были достаточно ловки, достаточно отчаянны и небсмотрительны, чтобы с небольшим, но быстроходным флотом превратить пиратство в своего рода национальную статью дохода.

Факт тот, что в XIII веке до нашей эры — именно тогда, когда они вдруг выпали из мировой торговли,— эллины совершали в своих водах опасные пиратские налеты. И по необходимости, и по доброй воле...

Во времена Геракла сидонские галеры уже добрых полстолетия далеко обходили опасные берега Пелопоннеса. Внешняя торговля Микен предельно сузилась, свелась к доставке лишь самого необходимого — прежде всего олова.

Таким образом, и Пелопоннес как бы замкнулся в своем относительном богатстве, величии и мощи.

Относительном. Ведь по сравнению с азиатскими великими державами Греция все-таки была маленькой страной. Правда, ее границ эти великие державы не трогали; на континенте же большей силы еще не было. Ее богатство было богатством лишь в сравнении с государствами Средней и Северной Греции. Это стало очевидным именно теперь — когда понадобилось произвести не слишком эффектные, но тем более дорогие капиталовложения. Следовало прежде всего обезопасить себя с севера. Была построена уже упоминавшаяся линия укреплений на Истме; весь полуостров покрылся сетью военных дорог, чтобы союзные ахейские города могли быстро поспешать друг другу на помощь; повсюду были подновлены городские стены. (Микенские башни достигали двадцати метров в высоту, а толщина стен — восьми метров!) Вырыли глубокие внутренние колодцы в крепости, выкопали резервуары для дождевой воды, чтобы города способны были выдержать длительную осаду. А ведь после поражения в Египте им пришлось еще — следов этого нельзя найти в раскопках, но мы знаем по Гомеру — заново выстроить и оснастить огромный военный флот. Наконец, и во времена Великого перемирия повсюду, упорно, неустанно создавались запасы оружия.

Словом, нетрудно понять, какой груз отягощал национальный доход Микен, то есть, попросту говоря, народ. Нетрудно понять, что в этом обществе тоже должна была произойти страшная поляризация, скорее всего за счет древнейшего населения — пеласгов. И нетрудно понять, как много — причем все больше, все больше! — требовалось рабов, которых уже нельзя было раздобыть извне в разбойном набеге и потому приходилось использовать внутренние ресурсы...

Поэтому я и говорю: то, что обнаруживаем мы в Микенах, было лишь обедненным, провинциально-снобистским отражением Азии и Африки той поры. Но окостенение, внешнеторговый и военно-политический «пат» (особенно после египетской авантюры), потеря социальной динамики и все возрастающие внутренние противоречия были в точности такими же.

В таком обществе (мы можем наблюдать это и в наши дни) молодежь неспокойна. В том возрасте, когда смерть представляется человеку еще чем-то далеким и нереальным, почти невероятным, он особенно хочет от жизни чего-то — прежде всего не хочет оставаться там, куда роковым образом угодил согласно общественной системе координат: в этом возрасте человек нелегко мирится с застывшими ограничительными рамками. Он жаждет приключений, риска. И готов даже на жертвы, лишь бы показать: он не такой, как все, во всяком случае — иной. Нечасто встретишь способного семнадцати-, двадцатипятилетнего студента, который согласен тихо приладиться, мирно влиться в затхлую в своей неподвижности общественную структуру.

Таким образом, в потерявших динамику развития, разъедаемых внутренними противоречиями обществах большие или меньшие группы молодежи так или иначе закономерно превращаются в out-law [1].

С такими отверженными людьми и группами мы встречаемся на Пелопоннесе XIII века до нашей эры весьма часто.

---

[1] Отверженных *(англ.)*.

Мифология свидетельствует о бесчисленных царях-разбойниках, главарях разбойничьих банд. Не стану пускаться в детали, да и стоит ли вступать в спор с теми, кто находит объяснение этому явлению в «морали эпохи», в «примитивном состоянии общества» — и, по моему мнению, ошибается. Остаюсь при своей «сердитой молодежи». Мы знаем два — по меньшей мере два — ее типа. Один — это герои жеста, чье недовольство, так сказать, бессмысленно и бесцельно. Таковы, например, молодые Диоскуры — Кастор и Полидевк. Или друг юности Тесея необузданный Пиритой — да и сам Тесей, пока находился под его влиянием. Другой тип — это Геракл и его соратники. Все свои деяния, всю свою жизнь Геракл строил под знаком конструктивной и прогрессивной для его времени идеи; он был подлинным героем. И к тому же — на практике осуществлял политическую программу. То есть был великим историческим деятелем. Что, однако — и мы в этом еще убедимся,— нисколько не мешало ему быть в Микенах out-law.

Граница между героизмом этих двух типов видна не всегда отчетливо. Вспомним путешествие аргонавтов: это и подвиг, имеющий выдающееся идейно-политическое значение, и в то же время истинно хулиганская авантюра, поскольку в нем принимали участие и Диоскуры и Геракл.

Любопытно, сказал бы я, если бы не видел тому и ныне великое множество примеров, любопытно, как легко и быстро недовольные псевдогерои из отверженных превращаются в самых шаблонных обывателей — взять хотя бы того же Нестора. Зато Геракл, с его конструктивными идеями, даже в старости остается «сердитым юношей» в глазах «мудрецов» — Эврисфея и иже с ним.

Итак, возвратимся к отправному пункту: тот не слишком почтительный тон, каким говорили в кругу Геракла о богах, отчасти объяснялся несомненно — как бы тут выразиться? — «хипповостью» этой компании.

С определенной точки зрения мы можем сравнить Геракла и его ватагу с моряками эпохи великих географических открытий на заре Нового времени или с бродячими подмастерьями, странствующими ремесленниками. Воины Геракла исходили вдоль и поперек все доступные в те времена земли, набрались огромного опыта. Сравнение, правда, хромает: они-то не могли применить у себя на родине накопленный опыт, в такого рода опыте там никто не нуждался. Напротив. Он и сделал их у себя же дома людьми подозрительными.

Однако тот, кто в стольких краях побывал, повидал столько обычаев и богов, невольно — без малейшего желания богохульствовать — по-иному смотрит уже и на своих собственных небожителей.

Они для него уже не единственны и абсолютны, они — лишь один из видов среди неисчислимых возможных вариантов. По существу, конечно, заслуга Геракла и его соратников лишь возрастает от того, что после всего виденного они сознательно избрали своими богами именно олимпийцев. Правда, и не испытывали уже потребности говорить о своих избранниках с тем священным, из глуби веков идущим трепетом, какого требовали от подданных, например, коронованные и некоронованные земные владыки.

«Избрали своими богами»,— сказал я. Нет, не просто избрали: они за этих богов сражались. А речь воинов вообще не слишком почтительна: их ставка — не благоговейное слово, но жизнь и смерть. Парадные историки утверждают, будто Камброн под Ватерлоо крикнул англичанам: «Французская гвардия умирает, но не сдается!» Но мы-то знаем, что он сказал им.

И наконец, я вновь и вновь хочу подчеркнуть: для Геракла и его

сотоварищей зевсизм не был религией. Да, уже появились в то время люди, для которых зевсизм действительно был религией,— мы еще познакомимся с Калхантом. Но Геракл и его друзья не бальзамировали идею, превращая ее в религию!

Словом, и молодежь эта, и старики, молодые душой, иной раз выговаривали о богах такое, что в Микенах особо ретивые богомольцы уже подзывали бы блюстителей порядка. Но при всей этой непочтительности воины Геракла и он сам, несомненно, гораздо больше почитали олимпийцев, отличенных ими от всех прочих богов, чем те их соплеменники, которые страшились только олимпийского гнева. Больше почитали и, главное, больше любили. Ибо не дано человеку любить Совершенство: он способен любить лишь того, кто подобен ему самому, то есть кому хоть сколько-то присущи его же слабости. Даже величие он видит достойным любви лишь в спектре слабостей его.

Обо всем, что напомнил я самому себе в этой главе касательно политических отношений того времени и моих героев, Геракл и его спутники постепенно, в течение долгого пути информировали Прометея во всех деталях. Прометей же дивился: значит, вот каков Человек и человеческое общество?

Но тут, вероятно, недоверчиво удивится кое-кто из моих Читателей: Прометей — дивился?! Возможно ли это? Он знал богов, знал и Человека, а уж за миллион лет нетрудно и догадаться, да еще при божественном-то разумении, чем мог стать Человек, все возможные варианты перебрать. Нет, Прометея ничто не могло застать врасплох, а если так — с чего бы ему дивиться?

Миллион лет — это и в самом деле выглядит внушительно. И Прометей в самом деле был очень умен.

Но да позволено мне будет обратиться к излюбленному моему примеру! В ульти [1] играют всего тридцатью двумя картами, и, по сравнению с жизнью, правила этой игры весьма несложны. Тем не менее три самых быстрых ултиста, сражаясь по восемь часов в день, играли бы примерно двадцать пять миллиардов лет, прежде чем одна какая-то партия могла с неотвратимостью точно во всем повториться. Подумать только: двадцать пять миллиардов лет! Звездное небо — Вселенная, как мы его именуем,— существует всего десять-двенадцать миллиардов лет. Возраст Земли — всего-навсего семь миллиардов лет.

Тот, кто знает, что такое дерево, и умеет рисовать, может по памяти, без какой-либо модели нарисовать дерево вообще. Но никогда он не нарисует таким способом определенное, реально существующее дерево.

Итак, отнюдь не абсолютизируя опыт, я решаюсь без колебаний утверждать: в течение двухмесячного пути от Арарата до Трои Прометей узнал о мире и людях больше, чем за весь миллион лет отвлеченных о том размышлений. Миллион лет он раздумывал и спрашивал себя: что может быть? Сейчас он узнал, что — есть. То есть узнал нечто новое. И поэтому, конечно же, он дивился.

А ведь это было еще только начало.

Троя

. . . . . .

У Геракла было под Троей свое место для лагеря — на берегу моря. Между морем и длинным рвом. Его используют позднее и осадившие Трою греческие отряды. Что это было? Пепелище древней

[1] Распространенная в Венгрии карточная игра.

Трои, быть может, той Трои, которую погубило ферское бедствие, или той, что разрушили хетты двумя столетиями ранее? Действительно ли троянцы соорудили его для Геракла, чтобы защитить от морского чудища, которое явилось за Гесионой? Или, может быть, его построил сам Геракл со своими людьми, когда готовился напасть на вероломного Лаомедонта? Неважно. Факт тот, что Геракл именно там разбил свой лагерь и тотчас отправил в город гонца сообщить Приаму о своем прибытии и о том, что не замедлит посетить его. Военачальники назначили стражу, дали увольнительные, воины и рабы принялись за обычные в такое время дела. А вожди и предводители привели себя в порядок и облачились в парадное платье. Жертвоприношений совершать не стали — Приам, естественно, сам пожелает вознести обильные жертвы в честь их прибытия.

Тем больше были они потрясены, когда гонец вернулся от Приама с такою вестью: Приам не советует входить в город и не примет их там как гостей, ибо не отвечает за их жизнь. Если они хотят поговорить с ним, пусть прибудут в летнюю его резиденцию, где он будет ждать их. Впрочем, лишь богам известно, стоит ли еще им друг с другом беседовать.

Весть в самом деле ошеломляющая, не так ли? Да еще от Приама, доброго друга и недавнего соратника, обязанного столь многим! Однако вестник не затем же вестник, чтобы лишь приносить и уносить сообщения, да еще только те, что ему вкладывают прямо в рот. У нашего — то есть Гераклова — вестника тоже были приятели в Трое, а руки были развязаны: он, конечно, господин, но ведь и слуга! Поэтому заглянул он мимоходом к знакомым парням на конюшни (там всегда что-нибудь да услышишь), не оставил без внимания и два-три питейных заведения. И мог теперь рассказать, что барышня Кассандра, говорят, тронулась умом, а господин Приам запер ее в башне за то, что громко пророчествовала о крови и об огне, сея тем уныние и тревогу. Слышал он также, будто с великой княжной Гесионой опять приключилась какая-то беда. То ли сбежала она, то ли еще что...

Геракл, Пелей, Тесей и другие из самых знатных велели запрягать и без проволочки отправились к Приаму в летнее его жилище. Оно находилось часах в полутора езды от Трои, в ласковой речной долине, посреди большого фруктового сада.

Мы можем смело утверждать, что Геракл планировал поначалу «ввести Прометея в общество» именно в Трое. Божественный их спутник был теперь уже совершенно здоров, прояснились для него, в общих чертах, и дела мира; а Троя была первым большим городом, милым Гераклу городом, эллинским, родственным — зевсистским городом: Троя вполне подходила для приема многострадального бога, она, так сказать, освятила бы его реабилитацию. Но теперь обстоятельства изменились, и Геракл отказался, очевидно, от своего намерения.

Если судить по рассказу гонца, разговор предстоит громкий, может дойти и до ссоры. Зачем же Прометею быть свидетелем такой сцены, да еще на первых порах? Речь зайдет, вероятно, о вопросах политического, династического характера — Прометею это не интересно, да он, пожалуй, и не поймет ничего. Тем более что — по моему мнению и, думаю, по мнению любого трезво мыслящего человека — ничто не интересовало в тот момент Прометея больше, чем шумевшая вдоль Скамандра ярмарка. Итак, Прометей провел остаток дня, а также следующий день, пока Геракл вел переговоры с Приамом, на ярмарке. В обществе Асклепия и, может быть, одного-двух воинов поразторопнее. Нашлось у них, разумеется, и несколько шекелей, чтобы перекусить и купить гостинцы. Но все — при абсолютном инкогнито. Так что никаких следов этой прогулки по ярмарке не осталось...

Геракл с товарищами прибыл в летнюю резиденцию Приама вскоре после полудня. Приам холодно их приветствовал, после краткой молитвы принес в жертву барана, пшеничные лепешки, вино; все сели за стол. Во время трапезы почти не разговаривали, разве что: «Как удался переход?», «Скот и рабы здоровы?», «Нет ли чесотки, запала, колик?», «Благодарение Зевсу!», «Хвала Аполлону!» Вот в таком роде.

После обеда Приам протянул мальчику-виночерпию золотую чашу, несколько капель выплеснул наземь, потом выпил чашу до дна, оглядел гостей своих и, когда все чаши поставлены были на стол, заговорил:

— Теламон, сын Эака, силою увлек за собой меньшую мою сестру Гесиону. Родичи мои, Антенор и Анхис, бросились за ним вдогонку. Но саламинцы уже подняли якорь и только хохотали нагло... «Если вам нужна Гесиона, приходите за нею с войском! Но только с большим войском, ибо за нас подымется вся Эллада!»

Геракл и его соратники сидели бледные, потрясенные. Приам продолжал:

— Тут-то как раз вернулся и я с амазонской земли. Троянский совет старейшин желает кровью смыть постигший город позор... Война! Вот что принесли вы мне и моему народу, ахейские братья!

В глазах его стояли слезы. Скорей слезы гнева, чем боли. Приам был сейчас в расцвете мужской поры. Приам, вольноотпущенный раб Геракла... (Как давно это было! С тех пор — пятьдесят сыновей, двенадцать дочерей от возлюбленных жен его. Уже есть и внуки. Но ни в волосах, ни в бороде — ни единого седого волоса.)

Геракл выговорил хрипло, с трудом:

— Пусть Зевс будет мне свидетелем, будь свидетелем и ты сам, царь: не затем пришли мы в Азию. Мы хотели, чтоб воцарился мир.

— Вы-то не затем, вы нет...— И вдруг вскрикнул: — Но Теламон явился в Трою вместе с вами!

Теламон! Красивый, обходительный, гостеприимный, могучий — истинный герой. И — иониец. А это значит, что даже столетия спустя афиняне старались, как могли, ради чести своей, отмыть его имя от любой грязи. Между тем свою жизнь он начал с братоубийства: потом взвалил ужасное преступление на Пелея. Афинские мифографы, хотя и не верят ему, делают все-таки вид, что дело это не совсем ясное. Но они и похищение Гесионы стараются объяснить: Гесиона будто бы ушла за Теламоном своею волей!

Этому, пожалуй, можно и поверить. Пожалуй. Гесиона — образ довольно смутный, она долго жила на Саламине наложницей, родила Теламону сына. (Небезызвестного Тевкра, что сражался под Троей в колеснице Аякса-старшего.) Правда, в конце концов она оттуда сбежала, но ведь когда?! Все свидетели утверждают в один голос, что Теламон был красивый мужчина, но Гесиона красавицей не была. Возможно, Теламон и не похитил Гесиону, но, во всяком случае, соблазнил ее. От отца своего (Эак, как мы знаем, принимал участие в возведении крепостных стен Трои) он прознал, где был тайный подземный ход, и выкрал Гесиону. Нет, не из любви. Он хотел развязать войну!

Совершенно очевидно, что Теламон был ставленником Пелопидов.

Это видно уже из того, что слово за слово рассказал Приам своим сотрапезникам. Начал он с самого начала.

Микены и в 1229 году хотели втянуть Трою в египетскую авантюру. Теперь же, потерпев там поражение, объявили виновницей Трою. Если бы Троя приняла участие, если бы прихватила и своих союзников... Хетты — колосс на глиняных ногах, их царство развалилось бы от первого же натиска, а тогда и с суши путь на Египет свободен...

С запада — Ливия, с северо-востока — ахейцы и союзные войска... Победа и так-то была у них почти в руках.

— Почти в руках! — Приам не знал, плакать ему или смеяться.— Фараон разбил их наголову за шесть часов — за шесть часов, господа! В щепы разнес объединенный ахейский флот! Еще и нас хотели впутать в такую авантюру! Как же — «если бы и вы были с нами!..» Теламон начал с того же, как только застал меня одного. Если бы там были и мы! А ради чего это нам?.. Что мы там забыли?.. Ах, так! В моей груди бьется не эллинское сердце! Болван! Мое сердце — это мой народ. А мой народ богат и счастлив, и не нужно ему мирового господства. Наш город — сильная крепость с отличной гаванью, нам принадлежит Геллеспонт. Разве этого не достаточно?! Зачем нам связываться с хеттами? Мы выплачиваем ежегодную дань Хаттусили и живем с ними в мире. Видим их разве что с товарами на ярмарке. В конечном счете, они нам же на пользу: авторитет их царства — наш щит.

Для Геракла все это было не ново. Ему известна была позиция Трои. Он и сам разделял ее.

— И разве не так следовало бы рассуждать тем же Микенам? — продолжал Приам.— Смотрели бы на Сидон, брали бы пример с пунийцев, если Троя им не по нраву. Тысячи островов в ахейских морях, тысячи дружественных гаваней, пресная вода, пищевые припасы. Не пиратские бы суда там прятать! Лучше строили бы галеры, торговали бы! Вот тогда и я стал бы за них горой. Еще и отец мой стоял за ахейцев — не так ли? — а уж он-то и вправду не был «добрым эллином», с бессмертными богами обошелся будто с рабами. Однако же аргонавтам помог. Ведь и Трое на пользу, если не одни лишь пунийцы бороздят ее воды, если разные народы, как можно больше народов, посещают берега Скамандра, привозят-увозят товары. Это я и сказал Теламону. Он мне ответил: вонючие пунийцы обогнали нас на сотню лет; бороды внуков наших успеют побелеть, покуда, мы, ахейцы, догоним их. Ну и что ж! А разве лучше, если уже сыновья наши сгинут на поле брани? Или, коротко остриженные, станут служить тем же финикиянам? Оставьте политику великим державам! Работайте и плавайте с миром! У меня пятьдесят сыновей, но даже одного-единственного я пожалел бы обречь на смерть от оружия. А Теламон мне: вот как! А Зевс, а его слава? Но, по-моему, Зевсу тоже кровь и война ни к чему. Да и пунических богов, видно же, почитают во всем мире. Тут он опять закатился: «Вонючие сидонцы!» А потом заорал, чтоб я, по крайней мере, не становился им поперек дороги. Да я и не становлюсь, говорю, но ведь что понимать под этим? Храбрые мои сторожевые суда и впредь, мол, будут топить в море пиратов, осмеливающихся заходить в мои воды; вместе с союзными царями мы обеспечим — во славу Зевса — свободное плавание вдоль наших берегов. Теламон ногами топал от ярости, грозил: Микены прежде всего должны смести с дороги Трою. Я только смеялся над ним: неизвестно еще, кто кого! Не ведал я, по дурацкой своей доверчивости, какой подлый план он задумал. Теламон растоптал честь моей родины, унизил город мой, дочь моя Кассандра мечется по улицам, кровь и огонь пророчит, мужчины Трои — мужья, отцы, братья — кипят от гнева; что станется с нашими женщинами, если мы это стерпим, твердят они в один голос. Совет весь в сборе и призывает к войне: «У нас отличное оружие, вдоволь денег для наемного войска, у нас верные союзники, мы растопчем грязное гнездовье Теламоново!»

Никому из сидевших за столом не было так неловко и худо, как несчастному Пелею. В конце концов Теламон — его старший брат. Как объяснить, как доказать, что он и на этот раз не причастен, с давних-

давних пор, еще с отрочества не причастен к позорным делам своего брата? Что старший брат для него — истинное проклятье, чудовищный и самый заядлый враг?

Я сказал: «несчастный» Пелей. В самом деле: за исключительное свое благочестие он был удостоен совершенно невероятной милости — на его бракосочетание явились все олимпийские боги. И что же? Именно там, на свадебном пире, Эрида подбросила трем богиням пресловутое яблоко. То есть, как разумели певцы, там положено было начало Троянской войне. (И — можем мы теперь добавить — окончательное уничтожение ахейской, микенской культуры.) Пелей сегодня этого еще не знает. Не знает и Приам; его сын Парис, отвергнутый им из-за зловещего предсказания, жив; он мирно пасет стадо на Иде, там же, где некогда пастушествовал Аполлон; быть может, как раз сегодня глупый юнец присудил яблоко Афродите и скоро объявится при дворе отца (который, в довершение всего, еще и обрадуется ему!). Одним словом, Пелей еще знать не знает, ведать не ведает о деле с яблоком и его последствиях. Но о подлом деянии старшего своего брата Теламона он уже знает. Это тоже может положить начало Троянской войне, как оно и было по мнению некоторых более поздних мифографов. Именно в эту минуту троянский совет проголосовал за войну!

Но приглядимся и к дальнейшим несчастиям Пелея. Его жена Фетида изводит ворожбой одного за другим шестерых Пелеевых сыновей, последнего ему удается спасти, ценою малого увечья, в самую последнюю минуту. Этот седьмой сын — Ахилл. Фетида покидает за это мужа, семья рушится. (Она не пожелала даже выкормить грудью сына Пелея; отсюда и имя его — Ахилл.) Пелей воспитывает мальчика у Хирона, царя бедных и простодушных кентавров,— у «Великого Старца», поборника древних добродетелей и мира. Позднее, когда начало собираться панэллинское ополчение, он переодевает сына в девичье платье и прячет на женской половине, не желая, чтобы сын отправился в Трою. Да и Ахилл не слишком туда рвется. Правда, хитрец Одиссей все-таки заманил его в ловушку, но Ахилл все время ищет предлога, чтобы выйти вместе со своими мирмидонцами из войны. У него нет ни малейшего желания отойти в царство мертвых ради двух заносчивых хлыщей — сынов Атреевых. И все-таки он погибает. Пелею же — который знает, предсказывает заранее, что взявший меч от меча и погибнет,— приходится дожить до исполнения ужасного предсказания. (Вспомним: он так любил сына, что ради него отказался даже от бессмертия!)

Пелей сейчас в расцвете лет, почти сверстник Приама, на два-три года старше. По возрасту он как раз посередине между Тесеем и Гераклом. Гераклу пятьдесят два — ошибка на год-другой не в счет; Тесею — тридцать, может, тоже годом-двумя больше или меньше; значит, Пелею сорок, сорок один. Любопытно исследовать, в чем, собственно, состояло необыкновенное его благочестие — те исключительные нравственные и политические заслуги, о которых поминают все мифографы, но ни один не излагает их сути. Ибо очевидное понятно само собой. Им, но не нам.

Обратясь к юности его, мы увидим скорее этакого лохматого «хиппи» самого дурного толка. Даже обвинение в убийстве младшего брата с него не смыто. (Мне-то кажется более вероятным, что он лишь принял участие в похоронах убитого мальчика, но свидетельствовать против старшего своего брата все-таки не стал.) Отец, во всяком случае, от него отказался и прогнал с Эгины. К счастью, он попал во Фтию, и славные тамошние мужи позаботились о его воспитании. Однако на калидонской охоте он опять совершает убийство — теперь

уже несомненное. Убивает, правда случайно, благодетеля своего и господина.

Да и сама эта калидонская охота, между прочим, типичная затея «хиппи», которым тесно в собственной шкуре. Особенный, необыкновенный вепрь! Травля затевается по всем правилам, охотников расставляют полукружьем, на расстоянии ста шагов, чтобы не попали друг в друга копьями. Однако участники, горячие головы, плюют на правила безопасности: они толкутся все скопом, ревниво следя, чтобы удача не выпала другому.

(За исключением легендарно трусливого Нестора. Уклониться от приглашения он — он, слава Пилоса, не так ли? — не мог: слишком силен был нравственный нажим. Но при первом же шорохе поспешил залезть на дерево. Лазать, ползать он умел. Нестор был легендарно труслив. Сильнее трусости была в нем только скупость. Лучшие образцы прелестной иронии Гомера — там, где он рассказывает о геройстве Нестора, особенно же когда Нестор, бегущий, кстати, и с поля боя, начинает у него хвастаться былыми своими подвигами. Древние греки за животы держались от смеха.)

Итак, охотники, как я сказал, буквально наступали друг другу на пятки. И вот тут Пелей попал случайно не в вепря, а в Эвритиона — того, кто очистил его от скверны убийства, принял как брата и ввел в круг калидонских храбрецов, «цвет и славу Эллады»!

Затем, когда он служил уже новому господину, жена благодетеля пожелала соблазнить его...

Но в чем же состояли в таком случае особые нравственные и политические заслуги Пелея?

Посмотрим, что нам известно о нем еще?

Его брак.

Фетида была жрица, притом весьма высокопоставленная и фанатичная жрица. Очень высокопоставленная — «богиня». И фанатичная — шестерых своих сыновей (число не имеет значения, пусть это был один-единственный новорожденный сын ее!) она принесла в жертву, покорная велению веры. И все-таки боги — олимпийцы! — решили покровительствовать этому браку, не только Гера, но в конце концов и Зевс. Почему? Очевидно, они, и прежде всего Зевс, верили в непоколебимый зевсизм Пелея. (Это примерно так, как если бы очередная голландская королева вышла замуж за непоколебимого республиканца. Если этот республиканец в самом деле абсолютно непоколебим, на его свадьбу может пойти и вождь республиканской партии. Ибо такая свадьба означала бы, не правда ли, что либо Голландия в скором времени перестанет быть королевством, либо брак окажется недолговечен. Не может ведь непоколебимый человек стать ренегатом!) Одним словом, участие на пиру олимпийцев во главе с Зевсом было своего рода мудрой акцией мира. И Фетида осталась, правда, богиней, но брак распался. В конце концов Пелей не позволил колдовать над своими сыновьями. Таким образом, Пелей доказал, что остался истинным зевсистом.

Вот одно, что мы знаем о нем. Но пойдем дальше! И на этот раз попытаемся глубже проникнуть в смысл «истинного зевсизма».

Пелей принял участие в экспедиции «Арго». Затем, уже пройдя через Босфор — вероятно, где-нибудь неподалеку от дельты Дуная,— он вместе с Гераклом покинул Ясона, вместе с Гераклом освобождал Гесиону, потом осаждал Лаомедонта.

Однако, поскольку я уже неоднократно, попутно и к слову, отзывался об аргонавтах несколько двусмысленно, настала пора высказаться на этот счет подробнее и принести взгляды мои на суд Читателя.

Прежде всего я хотел бы внести ясность по поводу двух весьма распространенных заблуждений.

Одно, так сказать, элементарное: история «Арго» не связана с началом греческого кораблевождения, или «изобретением корабля». Путешествие «Арго» падает приблизительно на 1240 год до нашей эры. (Один только факт: Тесей еще не принимал в нем участия, будучи ребенком; Авгий же участвовал в нем — он был еще жив и не слишком стар. Целый ряд других фактов подтверждает названную дату, но я не хочу сейчас углубляться в это.) Греки уже в течение многих столетий знали судоходство и плавали по морям. Около 1500 года до нашей эры они захватили Крит. Входили в международный союз мореплавателей. Еще в XV веке греческие колонии, города имелись повсюду — от дельты Нила, вдоль палестинских берегов и до Малой Азии. Следовательно, «Арго» не был «первым греческим кораблем», а путь его — «началом греческого кораблевождения». Другое дело, что экспедиция «Арго» была опасным и очень важным экспериментом, удивительным и единственным в своем роде для XIII века — века микенского пиратства и изоляции.

«Арго» — это не один корабль. Помимо всего прочего, можно ли себе представить, чтобы пятьдесят героев, пятьдесят молодых царевичей и владетельных особ Эллады без всякого сопровождения, на одном-единственном корабле проделали путь через все Черное море до берегов Кавказа, до Колхиды и обратно?! С любой точки зрения — общественной, организационной, технической — это нонсенс. А ведь до нас дошел рассказ о состязании гребцов, когда аргонавты шли по Мраморному морю. Да если бы пятьдесят гребцов состязалось, находясь на одном корабле, корабль шел бы самыми невероятными зигзагами. И хорошо еще, если не поломались бы весла, а сам корабль не перевернулся бы. По всей вероятности, пятьдесят участников — это пятьдесят капитанов флотилии, флагманский корабль которой именовался «Арго». Иначе говоря, в экспедиции приняло участие пятьдесят кораблей — вернее, около пятидесяти: можно допустить, например, что Геракл, Иолай и Гилас находились на одном судне, Мелеагр и Аталанта также плыли на одном корабле (любовь, вспыхнувшая недавно, на калидонской охоте, побудила их отправиться в путешествие вместе.) Во всяком случае, под «Арго» подразумевалась целая флотилия.

И притом торговая флотилия!

Да. С определенной — фиктивной или истинной — торговой целью. Причем шли они тем же курсом, какой издавна освоили грузовые галеры пунийцев, перевозившие главным образом руду.

«Торговая» цель аргонавтов — колхидское Золотое Руно (символ веры и власти, некогда принадлежавший Элладе) — могла быть фиктивной или символической. В действительности экспедиция должна была установить: существовала ли для Эллады возможность — после распада международного союза и полувековой пиратской войны, при бойкоте со стороны Египта и морской монополии пунийцев,— вернуться в мировую торговлю?

Это была очень важная попытка. Попытка, предпринятая партией мира, партией «пунического пути». (Этих попыток было даже несколько: ведь «Арго» и в западном направлении совершил по крайней мере одно, а скорее всего два путешествия.)

Но как же тогда допустили к этому целую ораву безответственных хулиганов, например, Диоскуров? А главное, почему доверили руководство юнцу Ясону? Почему не Гераклу — многократно испытанному, популярному герою партии мира? Которого к тому же аргонавты поначалу избрали было своим вождем?

Формально Геракл сам отказался стать во главе экспедиции и передал руководство Ясону. Почему именно Ясону? Действительно ли потому, что Ясон будто бы и затеял поход? Но тогда почему аргонавты выбрали сперва все-таки Геракла?

Рассмотрим все по порядку.

Ясона, отверженного престолонаследника Иолкского, с младенческих лет воспитывал Хирон, «Великий Старец» партии мира. Таким образом, у Геракла были все основания доверять ему. Конечно, непререкаемым авторитетом Ясон не пользовался, поэтому особенно властным быть не мог, да и сам, по незрелости своей, наделал немало глупостей, однако сомневаться в искренности его добрых намерений у нас оснований нет. По существу, он совершил лишь одну серьезную ошибку: поддался интригам и на полпути покинул Геракла. Если это верно. Если не сам Геракл их покинул. Истина скорее всего находится посередине: Геракл, вероятно, чувствовал себя чужим среди этих зеленых юнцов, нередко по разным причинам корил их, но и Ясон не слишком старался всех примирить: очень уж хотелось ему доказать, что справятся они и без великого Геракла. (Геракл, между прочим, даже эту историю обернул на пользу делу мира: освободив Трою от «морского чудовища», победив Лаомедонта и посадив на трон Приама, он, в сущности, обеспечил грекам свободный путь через Геллеспонт!)

Геракл *вынужден* был отказаться от предводительства. Эврисфей не разрешил ему согласиться. Потому ли, что экспедиция «Арго» была иолкской затеей и, следовательно, делом эолийцев? Навряд ли. Даже наверное нет! Микены в те времена, наоборот, старались возглавить все начинания эллинов, и никто не оспаривал их права на это. (Разве только независимые дорийцы, но они и не считались эллинами.) Эврисфей не хотел — да и не мог, под давлением партии мира,— остаться в стороне от попытки аргонавтов, но руководить походом, взять на себя ответственность за него желал еще менее. В душе Эврисфей (вернее, его советники) уже тогда был сторонником партии войны. Итак — хотите попытать счастья, пожалуйста, но Гераклу во главе похода не быть. Правда, в это время Геракл рассорился с Эврисфеем, возможно как раз из-за «Арго», но нарушить приказ того, кого сам же избрал своим повелителем, герой не мог. Эврисфей разрешил ему только — как, впрочем, и другим пелопоннесским юношам — принять в экспедиции участие на равных со всеми началах. Если бы он не позволил и этого, ему не удалось бы «подсунуть» аргонавтам нескольких сторонников партии войны. Ибо Диоскуры — все их поведение это доказывает — были именно сторонниками партии войны, людьми Эврисфея. Нестор? Думаю, Нестор — нет. Еще нет. Он пока не успел забыть, что Геракл только что возвел его на пилосский трон, и был благодарен герою. Нестор все еще был сторонником партии мира. Он ничем не отличился в ходе экспедиции,— да и когда же он отличался? — но как будто и не карабкался на деревья от страха.

Эврисфей захотел участвовать в предприятии Иолка еще и потому, что ведь кто знает, а вдруг?.. Он государь — ему приходится быть готовым ко всему. А что, если партия мира окажется права, что, если ей удастся?..

И удалось?

И да и нет.

Удалось — так как «Арго» в ходе двух (или трех) своих плаваний благополучно миновал морские проливы (Геллеспонт, Босфор, Отранто, Мессинский пролив) и везде, от Кавказа до Сицилии, от Истрии до Ливии, возобновил связи с основанными в прошлом веке греческими колониями.

Но ведь сколько глупостей натворила молодежь!

Уже в самом начале пути — лемносские женщины! Ну-ка вспомню просто для себя этот столь характерный эпизод!

Однажды ночью женщины Лемноса перебили все мужское население острова. (За исключением старого царя, которого спасла дочь его Гипсипила; посадила в лодку и столкнула ее в море. За это прочие женщины продали Гипсипилу, царицу, в рабство. Святотатство!) Целый год прожили они одни, без мужчин, и пришли к выводу, что это нехорошо. Не говоря уж о прочем, за этот год на Лемносе ни разу — а ведь и ветры дули, и бобовых зернышек хватало — не случилось родов. Ну, и вообще нехорошо, просто нехорошо! Короче говоря, когда в один прекрасный день к берегу Лемноса пристали аргонавты, женщины буквально озверели. Столько мужчин, и все сплошь молодые! Не стану входить в детали. Тем более что это и неправда. Не все женщины накинулись на героев откровенно и нетерпеливо. Не все. Иные подступались исподволь, со вкусом. Ведь и женщины не все на один лад. Нет, конечно. И мужчины бывают разные, но и женщины тоже.

Факт тот, что на кораблях остался только Геракл. (Впрочем, остались еще, хотя мифографы странным образом забывают об этом, Мелеагр с охотницей Аталантой: ведь это было их свадебное путешествие.) Что же до Геракла, то я очень хотел бы, чтобы это взяли на заметку те, кто, памятуя о бесчисленных женщинах и сыновьях героя, полагают, будто его облик не отвечает требованиям социалистической морали: да-да, он остался на берегу, охранял корабли! Натура у него была, разумеется, горячая, но все же он сказал: нет! Называйте это как хотите: религиозной непримиримостью или, наконец, просто жертвой, но с этими убийцами, с этими ведьмами он спать не будет ни за что на свете. Мелеагр и Аталанта, надо думать, не скучали. Другое дело Геракл — время-то шло! А тут еще стали доходить до него слухи, что женщины вознамерились навсегда оставить аргонавтов на Лемносе и даже Ясон не ответил на это решительным «нет». Геракл ждал несколько дней, ждал несколько недель, но потом решил, что хорошенького понемножку, и даже подумал: «Это уж слишком!» — причем, вполне вероятно, так думал уже не он один; тогда-то он подхватил свою палицу и ночью обошел все улицы, постучал во все окна: тревога!

И поспешили герои к кораблям — кто в окно, кто в дверь — под отчаянные вопли женщин и сыпавшиеся вдогонку проклятия: «клятвопреступник», «мерзавец», «подлый обманщик» (мы-то знаем, сколь чувствительна женская гордость!). Но в героях вдруг, и притом с сокрушительной силой, воскресло сознание долга своего и ответственности — и они без проволочек подняли якоря.

Зато население Лемноса резко возросло. И с тех пор лемносские женщины стараются уже не доходить до абсурда в своем благочестии.

Эта лемносская история — хотя в конечном счете вполне понятная, скажем так: по-человечески понятная — показывает, какой незрелой еще была вся эта компания. Любопытно, что уже в те времена половое созревание наступало раньше, чем соответствующее ему нравственно-духовное созревание. (Соответствующее? Как часто одно, можно сказать, исключает другое!) А если бы мы еще вздумали перечислять их драки! Иной раз, правда, из самозащиты. Но сколько раз — просто так, из чистого молодечества! (Возглавляли провокации всякий раз, разумеется, Диоскуры.)

Таким образом, если экспедиция аргонавтов не удалась — удалась не полностью,— если не доказала с достаточным блеском правоту партии мира, правильность «пунического пути», то это прежде всего

следует отнести за счет необузданной горячности молодежи, недостатка дипломатического чутья.

Но и это бы еще не беда. Ведь даже кровавую колхидскую авантюру можно было как-то замять. В самом деле, каких-нибудь несколько лет спустя царь Ээт уже готов был простить побег Медеи и даже совершенное ею ужасное убийство его сына; теперь он требовал назад не Золотое Руно и даже не преступную дочь, а лишь чисто символическую, ничтожную мзду, миролюбивый жест — словом, хоть что-нибудь. В конечном счете, Колхиде тоже пошла бы на пользу регулярная торговля с Микенами. Но нет! Микены ссылаются на эпизод легенды об Ио и грубо выпроваживают посланцев Колхиды.

А в легенде об Ио, как мы увидим, нашла свое выражение великоэллинская мечта — притязания Микен на мировое господство; она была идеологическим фундаментом партии войны, можно сказать, ее «Майн кампф».

Итак, у Геракла (хотя относительно аргонавтов он тоже не имел иллюзий) сомнений быть не могло: не принцип зевсизма и мира потерпел фиаско в предприятии Ясона — но партия войны силою свела на нет то, что экспедиция «Арго» в конечном счете все-таки доказала.

И вот теперь, под Троей, опять точно та же картина! Он совершает подвиг — в конечном счете, по приказу Эврисфея! — и, уже успокоенный, полагает, что тем самым восстановил добрые отношения между Малой Азией и Элладой, а прежде всего между Троей и Микенами, но тут Теламон обманом и насилием все разрушает, все успехи оборачивает изнанкой. Если бы Геракл умел плакать, он плакал бы от ярости и отчаяния.

Что же до Пелея, то вполне вероятно, что он-то плакал. Ибо к ярости и отчаянию у него прибавлялся стыд: ведь Теламон — какие бы ни были между ними отношения — приходился ему братом.

— Я не желаю войны,— сказал Приам.— Но если того желают боги, я против них лишь простой смертный. Пока мне удалось добиться у совета отсрочки. Есть тут у меня главный жрец и прорицатель, человек незаурядный, а уж сын его и отца превзошел. Его имя Калхант. Теологию знает в совершенстве, пылкий зевсист, благословенный сын Аполлона — еще борода толком не выросла, а уже в дальних краях известен как прорицатель.

(Что, как мы знаем, означает не только «предсказатель будущего». Это и проповедник, оратор, политик, дипломат, агитатор — как когда и как кому нравится.)

— Этого юношу я послал на Саламин по следам Теламона, снарядил для него самый быстрый корабль. Верю, что миссию свою он исполнит с успехом. Его слову непременно внемлют старейшины Эллады, они поймут: Троя сильна, справедливость на нашей стороне, за нас стоят боги.

Геракл разгадал ход Приама. Зная же Теламона и, главное, тех, кто стоял за его спиной, осознал и реальность угрозы. Он был человек мирный, но не из пугливых. Дело мира, которому посвятил свою жизнь, всего себя, он толковал в том смысле, что это равное благо для всех. Не то чтобы одному это хорошо, другому же безразлично. Мир — сам по себе благо. Благо для людей, для людей вообще. Ибо мир для человека — это жизнь. Война — смерть. Поэтому, взяв себя в руки, он подавил накапливающееся раздражение и заговорил:

— Ты мудро распорядился, царь Приам, и богам угоден твой поступок. Душа моя кипит от постигшей тебя обиды. И не только потому, что ты друг мне и я тебя люблю. А потому, что всякое оскорбление, нанесенное одним человеком другому, задевает каждого. И среди всех оскорблений самое для нас нестерпимое — несправедливость. Ты

принял Теламона в своем доме, ты делал ему добро, он же заплатил черной неблагодарностью. Когда нас, людей, постигает такое, мы вправе взывать к небесам о мести. Но ты-то, Приам, ты не только человек, ты еще и царь. О, дай-то нам всем Аполлон, чтобы муж, коего ты назвал Калхантом, добился успеха и за руку привел Гесиону к трону твоему! Но если того не случится, если преступники заупрямятся и к оскорблению добавят новое оскорбление — вправе ли ты, царь, даже в этом случае слушаться лишь своего сердца? Не должен ли, как подобает царю, обдумать стократно то, что собираешься сделать?

Ведь чего хотел Теламон, подлый авантюрист, позор Греции? — продолжал Геракл.— Чего он хотел? Гесиона была ему нужна? Всего лишь женщина? Ты сам тому не веришь. Нашу обстановку ты знаешь. Теламон хотел войны. То есть именно того, чего и ты готов пожелать, если миссия Калханта окончится неудачей. Да, ты как человек... Но как царь — можешь ли ты желать этого?! Теламон хочет выманить тебя из твоей крепости, Приам. Заставить сесть на корабли, отправиться в рискованный дальний военный поход по чужой, враждебной земле. И ты прекрасно знаешь: Теламон — это не только Теламон. Теламон — это также Микены. И еще — союзные города Пелопоннеса, Беотии, Истма, Аттики. Теламон — это партия войны. Явиться сюда, напасть на тебя в твоем городе, среди твоих союзников они не смеют. Поэтому хотят заманить к себе, чтобы тебе, а не им негде было взять пополнения, чтобы твой флот оказался в смертельной опасности, когда Эол обрушит зимние ураганы и море сделается несудоходным. Но и это еще не все. Да, Теламон совершил святотатство — но если ты пойдешь на него с войском, за Теламона выступят даже те, кто сейчас осуждает его. Многие сторонники партии мира тоже схватятся за оружие, чтобы защитить Теламона. Верно говорю я тебе, царь, возрадуются враги твои, друзья же окажутся в безвыходном положении, если Троя — как ни справедлив ее гнев — с оружием вступит на землю Эллады.

Затем Геракл — один из крупнейших, а может, и самый крупный стратег своего времени — объяснил с четкостью профессионала: если Приам решится напасть на эллинов, шансов на победу у него очень мало; но если бы он и победил, что маловероятно, ему, во всяком случае, пришлось бы оставить на произвол судьбы Трою и растратить немалую толику ее сокровищ; а много ли стоит Троя без этих сокровищ? Однако допустим, он все-таки одержит победу ценою множества жизней и материальных затрат,— на какую добычу, в самом деле, может он рассчитывать на острове Саламине да и в Средней Греции (ведь не мечтает же он преодолеть линию укреплений на Истме!)? Чем вообще можно там поживиться? Козьими орешками? Этого добра, действительно, хватает. Еще и бараньи есть, они покрупнее.

Приводя довод за доводом, Геракл не забывал настойчиво и упорно подчеркивать,— вполне искренне! — что поступок Теламона вопиющий, позорный. К небесам вопиющий! Величайший позор партии войны!

(Но ведь что еще натворит этот дурень Приам, если развяжет войну!..)

И Приам — который до сих пор, собственно говоря, хитрил, так как желал войны в великом гневе своем именно он, а не совет старейшин, совет, напротив, его отговаривал,— Приам понял Геракла.

Ведь какие доводы приводил скудоумный совет? «Война из-за Гесионы? Но Гесиона в конечном-то счете... правда, женщина она домовитая. И благочестивая, вот-вот, благочестивая. А с другой стороны, Теламон... ну, не дитя же она, в самом деле! Да, может, Гесиона обо всей этой истории... не так уж и сожалеет...» От подобных рас-

суждений совета кровь только пуще бросалась Приаму в голову. Никогда не следует убеждать царей, что обида, им нанесенная, не столь уж и велика. От таких доводов избави боже! Нет, нужно всячески подчеркивать обиду, доказывать, что она огромна, неслыханна, вопиюща. И только после этого воззвать к мудрости царя, его великодушию, подлинному величию и так далее и тому подобное. Такая метода применима также по отношению к начальникам, учителям, милиционерам, к любому чиновнику, восседающему за официальным столом, к работникам сферы обслуживания, словом — даже в самом развитом обществе,— по отношению ко всем, кого всеобщее демократическое равенство ставит над человеком.

Итак, совет старейшин только распалял Приама. Геракл же с успехом охладил его. Однако они еще долго беседовали, пока Приам не выразил, наконец, своего согласия с ним и вслух:

— Вспомни о скипетре, священном знаке, который я вручил тебе по воле Зевса. Будь тем, кем ты был всегда,— мудрым отцом своего народа. И если вдруг не получишь удовлетворения через Калханта, доверь отмщение друзьям своим. Смотри, Тесей возвращается сейчас к себе в Афины, будет царствовать сам... Теламону уже недолго куражиться!

— Ты прав, сын Зевса. Я не окажу Теламону любезности, какую он ждет от меня. Человек плачет, но глаза царя остаются сухими. Греко-троянской войны не будет!

Геракл же, одолеваемый тяжкой заботой, выдохнул в ответ «аминь».

Приам был искренен, он сказал то, что чувствовал. Но при этом знал: это еще не встреча на высшем уровне. Позиции Геракла в Микенах... н-да... да, да... «Моральная сила»... Позиция Тесея в Афинах и Афин в Элладе — дело будущего.

Приам это знал, Геракл знал тоже.

А еще Геракл знал: назавтра у Приама может быть другое настроение. Да и военная партия не замедлит сделать следующий ход.

Кому-то может показаться, будто война активна, мир — пассивен; чтобы развязать войну, нужно действовать, а чтобы царил мир, можно не делать ничего, решительно ничего. Оно бы и неплохо!

В конце концов — после взаимных посещений, празднеств, жертвоприношений (в последний день Приам даже роздал награды за услуги, оказанные Трое в войне с амазонками) — троянцы и эллины, находившиеся в свите Геракла, с прохладной любезностью распрощались.

Замечу еще, что, прощаясь, Приам сказал нечто весьма умное. (Кажется, похоже на то, что в моих глазах Приам немного придурковат. Отнюдь! Гением я его не считаю,— да и где ему, при полусотне сыновей и двенадцати дочерях! — но и глупцом не считаю тоже. К тому же он, малоазийский грек, знал то, чего дети Эллады не знали.) Итак — имея в виду на этот раз лишь Теламона, который был, как известно, иониец и не получил истинно микенского воспитания,— Приам бросил такую фразу:

— Бойтесь неофитов, что ратуют за Великую Элладу!

Геракл же подумал о Пелопидах. Этот род разбогател в Малой Азии; однако они не поладили с хеттами и спешно перебрались назад, в родные места. А теперь он, Геракл, в сравнении с ними — ахеец второго сорта!

Естественно, войско переправилось через Геллеспонт на кораблях Приама. Даром. Что и в те времена обходилось дороже всего. От смотрителя порта, поставленного городским советом, до послед-

него матроса — все ожидали мзды. Трофси-то на что! (Четыре лучшие кавказские лошади были отведены в конюшни Приама.)

Обо всем этом наши герои Прометею не рассказывали. Запутанные ведь дела, с непривычки, пожалуй, и не поймет. (Да и стыдно как-то. Вообще, за Человека стыдно.) Прометей бродил по ярмарке. Тут он все понимал. И восхищался. Не хотели спутники портить ему настроение всей этой политической грязцой. Однако во время пути, из отдельных слов, фраз, обрывков беседы, Прометей в общих чертах понял все-таки ситуацию в микенской Греции.

А вот какое сложилось у Прометея мнение, мы знаем точно. Чтобы Человек выжил, Прометей дал ему огонь и ремесла. Направил, если угодно, по «пуническому пути».

Так-то оно так, но в рабовладельческом обществе грабительские войны ради приобретения рабов — «отрасль народного хозяйства». То есть ремесло!

Мне кажется, Прометей мог думать только так: война и в рабовладельческом обществе не умножает, а пожирает рабочую силу.

Тесей

Точно реконструировать весь ход знакомства Прометея с миром людей, их беседы, взаимные расспросы я бы не мог; думаю, оно и несущественно. В конце концов в этом маленьком опусе интерес представляет не фантазия моя, а самая действительность: Читателю важны лишь непреложные факты, проливающие свет на загадку Прометея.

Итак, непреложный факт: рано или поздно, в той или иной форме Прометей спросил: а как, собственно, люди извлекают из огня пользу? И не только спросил, но спрашивал постоянно, всех и каждого, так что со временем этот вопрос стал для него как бы стереотипом. Скорее всего, задавал он этот вопрос не прямо — дарителю неловко расспросами выуживать похвалы своему дару. Прометей-то не искал благодарности, ему просто было интересно. И не без причины. То, что нынешний человек оставил далеко-далеко позади некогда разбередившее Прометееву душу голое и беспомощное существо, бог видел и сам, хотя бы по шумной, богатой ярмарке, раскинувшейся на берегу Скамандра. Он видел и понимал: начало всему этому — в огне и ремеслах. Но знает ли об этом сам Человек? Он хотел услышать это своими ушами, четко и ясно сформулированное. Случаев подходящих было предостаточно еще в горах. Холодными ночами то один, то другой дозорный подходил к костру, греясь, потирал руки, топал ногами и приговаривал: «Ох и хорошо же погреться у огонька!» Так что Прометею весьма скоро предоставился случай тонко, ненавязчиво задать свой вопрос. Ему отвечали охотно: огонь наша защита, а как же! И от холода, и от диких зверей. Да и ужин на огне готовят. Вот хоть сейчас: насобирали по дороге мака — а разве ж его станешь есть, не прогрев, не поджарив? То же и с другой пищей. Потом стали перебирать занятия разные, с огнем связанные: кто свое ремесло назовет, кто про других расскажет: в огне наконечник деревянного копья закаляют, глину обжигают, в дыму коптят мясо, чтоб дольше сохранялось, выделывают звериные шкуры, в огне же плавят и отливают металлы. Много всякого приходило на ум собеседникам Прометея. Но каждый, о чем бы ни говорил, непременно упоминал и о том, что без огня никак не обойтись, совершая жертвоприношения богам.

Прометея это поразило до глубины души. Видеть он, конечно, видел, и не раз, в самых разных местах видел ритуальные костры, но не в силах был поверить собственным глазам. Бывает так. (Ему,

вероятно, даже приходило в голову, что люди ради него, специально для него устраивают эти фокусы-покусы с огнем!) Совсем как ребенок, он спрашивал снова и снова: «Для жертвоприношений? Богам? Зевсу?!» И, окаменев от изумления, всякий раз слышал в ответ: да, боги не только принимают жертвоприношения, приготовленные на огне, но даже требуют их и, можно сказать, уже ничего не вкушают в сыром виде. Да, мясо, предназначенное в жертву, бросают теперь в костер, зерно — тоже, выплескивают в огонь масло, вино; даже Посейдону — вот уж кто не имеет с огнем ничего общего! — приносят в жертву быка, зажаренного на вертеле.

Так, шаг за шагом открывалась Прометею — я не люблю громких слов, но здесь, думаю, проще не скажешь — величайшая подлость, какую только знала мировая история.

Значит, вот оно что! Миллион лет продержали его на скале, миллион лет, день за днем, насылали орла, чтоб терзал ему печень. За то, что наделил человека огнем. Сами же — сами у этого огня грелись!

Чудовищная история! И ведь любопытно, что никто никогда об этом даже не думал. Но сейчас, сидя лицом к лицу с Прометеем, слыша недоверчивые его расспросы, видя вдруг окаменевшее лицо, Геракл и его товарищи тоже внезапно замерли, потрясенные: они поняли всю отвратительность того, что произошло.

Отвратительность парадокса.

Парадокса, с которым каждый человек в отдельности — и Человек вообще,— собственно говоря, встречался на своем пути много раз.

Взять хотя бы Вторую венгерскую армию на Дону: десятки тысяч людей, многим из которых не хватило даже винтовок, гнали безоружными на передовую; несколько дней спустя в тылу их же ставили к стенке («Куда дели оружие?!») и расстреливали. А вот другой пример: миллионы людей посылали, посылают и, похоже, еще будут посылать на смерть за «преступление», в котором они не повинны, раскаяться в котором не могли и в котором виновны, в конечном счете, именно их палачи,— только за то, что они негры, евреи, цыгане и почем я знаю какие еще национальные меньшинства, их обосабливали, делали изгоями.

Да и вся-то история.

Славные революции. Которые все, как одна, начинались под знаком полной свободы, равенства, братства. А потом на шею крепостного садился феодал с его правом палаша, правом первой ночи; на шею свободного крестьянина — помещик и банкир, на шею рабочего — капиталист. И хорошо еще, если от перемены не становилось хуже. Ведь за столько тысячелетий, горьких тысячелетий, мы — первые, кому удалось, наконец, осуществить такую революцию, которая больше не влечет за собой появления нового слоя избранных, когда не существует больше протекции, человек не измывается над человеком, пользуясь властью, когда только труд и способности дают право на выдвижение и нет больше разного вида и ранга воровства и проституции, никто не может, не трудясь, за счет других, приобрести имущество и власть...

Похоже на то, что судьба Прометея — это древний как мир, человеческий и божественный, исторический парадокс. По размерам своим самый потрясающий, самый ужасный.

Но вот у людей открылись глаза, они поняли весь ужас этого парадокса; однако же многие хоть и поняли, но отнеслись с недоверием. Среди них, вне всякого сомнения, был — насколько я его знаю — и молодой Тесей.

— А все ж, наверное, не только из-за огня наказан ты, великий бог,— как-то вступил он в беседу.

— Это было единственное против меня обвинение.

— Но все же,— Тесей почти молил его,— какая была мотивировка?

— Мотивировка?! — Прометей опять махнул рукой.

Геракл же укоризненно покачал головой:

— Ты еще многого не знаешь, братец. Боги велики.

Но Прометей, видя по лицу юноши, как мучительно жаждет он отыскать причинно-следственную связь, сказал то, о чем никогда еще никому не говорил. Правда, и возможности такой у него не было.

— Говорят... Сам я при этом не был, но от верного свидетеля слышал, будто Зевс сказал примерно такие слова: «Куда же мы придем, если станем одарять людей просто так!» Дословно не знаю, но что-то в этом роде.

— Нет, это неправда, не может быть! Это ошибка, сплетня. Ни за что не поверю!

Осмелюсь утверждать, что этот спор с Прометеем затеял не кто иной, как Тесей. И не только его характер говорит за это, но также — логика его судьбы. Ведь именно он окажется тем, кто неполных двадцать лет спустя получит на эти свои сомнения беспощадно жестокий ответ. Получит ответ и он, и еще некто, присутствующий при этих спорах, а именно — Асклепий; правда, сам он, как представитель естественно-научной области знаний, по вопросам политики не высказывается, однако же причинно-следственная связь его интересует всегда, и он сомневается вместе с Тесеем.

Мы ведь знаем, что произошло со злосчастным Тесеем. Его вторая жена Федра — очевидно, по материнской линии сексуальная психопатка — влюбилась в подростка Ипполита, сына Тесея от первого брака, и попыталась соблазнить его. Однако Ипполит, во-первых, обожал отца и вообще был юноша весьма чистый помыслами, во-вторых же, он готовился к состязаниям на колесницах и жил в строгом воздержании. Он отверг искусительницу. Тогда Федра, опасаясь, как бы ее не опередили, воспользовалась извечным женским способом и оклеветала Ипполита перед вернувшимся домой Тесеем, обвинив в собственном своем грехе. Тесей тут же (а это был самый критический момент состязаний на колесницах!) громко проклял своего сына. В результате кони взвились — перед ними будто бы вдруг возникло чудище морское или что-то в этом роде,— понесли, перевернули колесницу, и Ипполит нашел свою смерть под ее колесами. Поздно пришло к Федре раскаяние: в ужасе от свершившегося она с истерическими воплями призналась в преступлении и покончила с собой. Тогда-то прославленный домашний врач Тесея и добрый его друг Асклепий пожалел несчастного отца и воскресил невинно убиенного юношу. (Обладая истинным врачебным тактом, Федру он воскрешать не стал.) Зевс же в наказание поразил Асклепия перуном и убил его. Но за что? — мог бы спросить Тесей. Впрочем, он теперь уже знал ответ. Ипполит был невинен? Да. Справедливо, что он избегнул смерти?! Да. Так разве не сделал доброе дело Асклепий, разве не восстановил нарушенное равновесие весов справедливости? Конечно, так. Тогда за что же убил его Зевс? А вот за что: «Куда же мы придем, если станем воскрешать людей *просто так?*».

Однако к тому времени Тесей, как и предсказывал Геракл, уже кое-что уразумел из области причинно-следственных связей.

— Видите ли, друзья мои,— после долгого молчания заговорил Прометей.— Обо всем этом я, как вы догадываетесь, размышлял долго. Время у меня было. Прежде всего я хотел понять Зевса: ведь та-

ков у нас закон — искать объяснения своей судьбы. Из четырех элементов мироздания три — землю, воду и воздух — получило все живое. Только огонь боги придержали для себя. Ясного и определенного указания на это не было. Так сложилось. Я же отдал огонь Человеку, ибо — чем еще мог помочь ему? Конечно, я знал, что огонь — элемент очень мощный. Знал: благодаря ему человек может стать таким же всевластным, как боги. Однако что это такое — власть? Вы видите, я, хотя и происхожу от первородной ветви, похож скорее на меньшее дитя самого младшего брата: чего-то я, как видно, не понимаю. Ну, станет Человек сильным и всемогущим, как боги,— разве же это плохо?! Отберет ли он тем хоть малую долю власти у бессмертных? Не весь же огонь отдал я людям, не обездолил богов! Вон сколько огня осталось на небе: солнце, звезды, молнии! Нет, я не нанес ущерба могуществу богов, лишь дал Человеку возможность также стать могучим. Разве могущество меньше от того, что принадлежит многим? Если больше тех, у кого его больше? Если даже все и каждый станут всемогущи? Разве при этом не будет выделяться тот, кто действительно чем-то выделяется, разве не станет он еще более приметен?.. Я размышлял об этом миллион лет и все-таки не понял — этого понять я не мог... Теперь же, теперь, когда я слышу: боги требуют, чтобы жертвы им приносились на огне, все боги требуют, даже Зевс,— теперь я еще меньше понимаю то, чего не понимал и до сих пор... А ведь нам, титанам, которым не досталось наследства, то есть власти, родители, как это принято, дали хорошее образование. Я не профан, даже если в чем-то и отстал от века. Да и потом, чем же вообще мне было заниматься, на протяжении миллиона лет, в моей-то ситуации,— чем вообще занимаются, когда ничего не делают? Конечно, философией. Я знаю, что такое судьба, и знаю, что такое справедливость. Зачем же им противостоять друг другу? Разве чувство справедливости — не естественный, внутри каждого из нас живущий закон, хотя никто нас тому не учил? И разве не сама судьба — тот мир, в который мы рождаемся независимо от нашей воли и сознания и который при этом на каждом шагу все же учит нас причинно-следственной связи? Есть добро и зло, как есть свет и тьма, жизнь и смерть; и разве опознание добра-зла не закон, заложенный в сердцах и умах наших — системе справедливости?!

Все помолчали, задумавшись о том же, по крайней мере, делая вид, что это так. Ибо на самом деле каждый думал, хотя и о том же, но по-своему.

Геракл думал: это не совсем верно, нет просто добра и просто зла; есть только больше добра — и меньше, больше зла — и меньше. Таков и он сам (несколько больше, чем) — полубог и (несколько меньше, чем) получеловек. В существующем мире Зевс — лучшее, ибо плохого в нем меньше. Значит, нужно веровать в Зевса и подтверждать это делом. И тогда уже, в этом смысле, Зевс — абсолютное добро. А верить нужно и нужно действовать. Так думал Геракл, но вслух ничего не сказал. Не счел пристойным, чтобы он — (немного больше, чем) полубог — поучал настоящего бога, бога до мозга костей.

Пелей думал: добро — это намерение; зло — то, что из него получается. Почему это так? Он понял Прометея до конца. Ибо не понимал того же, чего не понимал Прометей.

Асклепий думал: не произошли ли за минувший миллион лет определенные изменения в мышлении Прометея и насколько они патологичны?

Тесей же думал так: и к чему ломать из-за этого голову? Даже Прометею — ведь теперь-то он свободен! Судьба титана ужасна и,

действительно, не совсем понятна. Что ж, видно, бывает и так. Вообще же все в мире просто, ясно и чисто. Ну, а дурное — так ведь его скоро не будет, и жизнь пойдет совсем иначе!

Можно, однако, не сомневаться в том, что Тесей почитал, а главное, любил Прометея, который, как известно, был не только кладезь премудрости, но и мастер на все руки (потому и мог подарить Человеку ремесла). Что же до их разногласий — такое случается: кто-то не приемлет, например, философию Эйнштейна или социологию Фрейда, но при этом учится многому и у того и у другого. Так и Тесей. Два месяца, как мы видели, добирались они вместе до Трои, да еще около месяца занял путь в Афины и остановка там. Конечно же, любознательный Тесей все время, какое оставалось у него от встреч с суженой его, Ипполитой, проводил с Прометеем, в умной беседе. Несомненно и Прометей полюбил молодого героя.

В одном отношении Тесей резко выделялся из всей компании. Он тоже принадлежал к партии мира, но иначе, чем остальные. Когда заговаривали о «пуническом пути», на его слух это звучало музыкой весьма отдаленного будущего. И даже не музыкой, а чем-то вроде галлюцинации. Для Тесея Микены все еще означали прогресс. В Микенах, объятых, как мы знаем, смертельным окаменением, застывших настолько, что их сокровища оказались на многие столетия замурованы в глубине истории, словно подземный ручей,— в этих-то Микенах Тесей еще видел цель.

Это вполне объясняется положением в Аттике. Афины XIII века еще не были городом. В сущности, их не назовешь еще даже селением. Это был всего-навсего древний жертвенник на вершине высокой скалы, посвященный Афине Палладе, нечто вроде общего места жертвоприношений нескольких союзных племен...

Расцвет Микен, разумеется, уже оказывал некоторое воздействие на Аттику. В конце концов ионийцы тоже были греки, как и ахейцы, и говорили на одном языке, лишь с некоторыми несущественными диалектальными различиями, за что их, правда, нередко высмеивали и позднее; но все-таки они прекрасно понимали друг друга — если того желали.

Они не были в союзе с Микенами. Когда критский царь выступает в карательный поход против Аттики, будто бы мстя за убийство сына, когда критяне взимают с ионийцев дань людьми, Микены даже не ведут ухом. Однако и в плохих отношениях они не были. Это вполне понятно. Земли Аттики столь скудны, что было бы бессмысленно захватывать их и население обращать в рабство. Даже рабы, сколько их ни погоняй, не работали бы больше, чем нищие ионийские землеробы на своих личных или общинных наделах, подгоняемые одним лишь страхом голодной смерти. И земельные угодья ионийских храмов, даже возделываемые рабами, не могли бы поставлять на микенский рынок больше шерсти, баранины, зерна, зелени, фруктов, оливкового масла, чем привозили жители Аттики по доброй воле, в обмен на микенские бронзовые изделия, посуду и другие товары.

Тем не менее Аттика уже знакома была с институтом рабства. Разбогатевшие потомки вождей, патриархи племен, именующие себя царями, использовали в доме и в поле инородную рабочую силу. Положение этих работников, в сущности, то же, что и у рабов, однако называть их рабами все-таки неверно. Это — обедневший родич, найденыш-ребенок, усыновленный отпрыск многодетной семьи и вообще любой, кто, словно бездомный пес, ищет хозяина и готов служить в зажиточном доме за тепло очага, за кусок хлеба насущного.

Таким образом, это не было рабством в прямом смысле слова, то есть когда образуется многочисленный угнетаемый класс и, чтобы держать его в узде, необходимо государство. Здесь властвовали древние законы — обычай. А если и существовали обособленные поселения — общим числом двенадцать, как утверждает традиция, было бы ошибкой называть их городами и даже селами, ибо складывались они по признаку племенному, по кровному родству, а не на географической основе.

Неудивительно, что Тесей, выросший на Пелопоннесе, в Трезене, и знакомый с цивилизованным миром, видел в Микенах, по сравнению с Аттикой, еще идеал. Ведь и теперь, например, такие явственно загнивающие государства, как шведское, швейцарское или канадское, еще являют собой перспективу — пусть не социальным своим устройством, но уровнем материальной и духовной культуры — для народов, составляющих две трети человечества; как и вообще загнивающее «потребительское общество» в некоторых отношениях — скажем, в вопросе производительности — может чему-то научить социалистические страны, всколыхнувшие самые глубинные пласты. Хочу подчеркнуть — и это относится также к Тесею: речь идет о некоторых достигнутых результатах, а не о положении общества в целом!

Тесей лелеял большие планы и много беседовал о них с Прометеем. Известно, что одержимые люди только и говорят о своем «коньке», особенно же когда встретят внимательного слушателя. А Прометей, без сомнения, был внимательный слушатель: планы Тесея, хотя и опосредствованно, объясняли ему очень многое.

Позвольте мне сделать небольшое отступление.

С Тесеем филологу труднее, чем с Гераклом... Афины долго — в течение нескольких столетий — не хотели вспоминать о Тесее. (Если и вспоминали, то только как о юном герое, но никогда о Тесее — государственном муже.) Это было тягостное воспоминание: ведь они сами изгнали и, строго говоря, убили основателя своего города! В самом деле, решительно все свидетельствует о том, что Ликомед убил Тесея на Скиросе не только из материального интереса, но и по наущению любимца Афин демагога Менестея — во всяком случае, «во славу его».

Таким образом, цикл легенд о Тесее очень позднего происхождения.

Осложняется их разбор еще и целым рядом аналогий.

Культ Тесея — возникший уже под знаком афино-спартанского соперничества — должен был стать противовесом культу Геракла. (Одно время афиняне чуть было не сделали своими национальными героями Диоскуров — весьма характерно! — но Диоскуры-то на их беду были хотя и не дорийцами, но зато именно спартанцами!) Тогда они приспособили к своим нуждам несколько эпизодов из легенды о Геракле.

Самая главная здесь путаница в том, что Тесей действительно подражал Гераклу. Особенно поначалу. Ведь он с детства избрал Геракла своим идеалом.

Вот какие трудности осложняют мою попытку воссоздать истинный образ Тесея — что я и прошу Читателя любезно принять во внимание. (Даже бесценный Плутарх, по крайней мере, столько же затрудняет, сколько и облегчает мне дело!)

. . . . . .

Припомним, в самом деле, обстоятельства рождения Тесея. Дед Тесея — Питтей — был царем Трезены. Трезена в те времена — не большой и даже не богатый город, но зато один из центров гуманитарного образования. Питтей же — образованный человек своего вре-

мени и пылкий сторонник Зевса. Он основывает первый в Элладе — или, скорее, на Пелопоннесе — оракул, посвященный Аполлону. Вводит в своем городе демократическое судопроизводство — суд ведется при двух народных заседателях,— дабы освободить этот социальный, чисто человеческий акт от пелены религиозного мистицизма. А чтобы подданные его научились вести общественные дела, сам читает им курс политики и даже пишет учебник.

Дочь Питтея — Этра и есть мать Тесея. Этра — печальная невеста вынужденного спасаться бегством Беллерофонта. Сперва она хочет верно ждать Беллерофонта, уповая на амнистию. К тому же она очень разборчива — всех сравнивает с Беллерофонтом,— да еще исключительно остроумна и образованна: таких женщин мужчины побаиваются. Словом, осталась она ни с чем. А между тем очень хочет иметь ребенка. Как и Питтей — внука. (Вообще-то Этра была, вероятно, необычайно привлекательна. Елена, например, красавица из красавиц, была привязана к ней до самой смерти.)

Ничто не ново под луной — свадьба Этры тоже была «странным браком» [1]. Питтей напоил оказавшегося в Трезене проездом Эгея и уложил к своей дочери в постель. Правда, от Эгея не требовали ни бракосочетания, ничего в этом роде — только наследника. Да и тут не обошлось без Посейдона! Этра же, пробыв положенное время с Эгеем, восстала с ложа и, следуя сну своему, спустилась к морю, где досыпала уже с Посейдоном. По ее мнению — а матери обычно это знают — отцом ребенка был Посейдон. Это подтверждается еще тем, что у Эгея детей не было ни от первых двух жен его, ни затем, от Медеи; он оказался бесплоден. Посейдон разрешил ему считать Тесея своим сыном, что позднее Эгею очень пригодилось: ведь он так не хотел, чтобы его трон достался подлым его племянникам!

...Но, с другой стороны, уж если кто-то столь горячо любит своего сына, он, пожалуй, и не отпустит его к Минотавру. Если же мальчик решился ехать любой ценой, едет с ним вместе. В крайнем случае, очень уж опутанный делами государственной важности, раскошеливается на курьерский корабль, который моментально оповестил бы его о случившемся.

Но вот что важнее всего: неправда, будто Тесей принял отцовский трон сразу же после победы на Крите. (Слово «трон» здесь означает не больше, чем слово «царь» по отношению к царям Аттики в те времена; скорее — приличное кресло.) Жив ли был Эгей, умер ли, Тесей не тотчас взошел на его трон: прежде ему нужно было раздобыть себе жену — иначе говоря, принять участие в войне Геракла с амазонками.

А еще потому не принял Тесей отцовского трона, что не этот трон был ему нужен. Он стремился к большему.

Сперва он хотел быть вторым Гераклом. Ему стукнуло семь лет, когда он познакомился с этим своим — седьмая вода на киселе — дядюшкой. Придя к Питтею в гости, Геракл сбросил с плеч знаменитую львиную шкуру. Обычно при виде этой шкуры дети пугались и разбегались кто куда. Один лишь Тесей, выбежав во двор, тут же вернулся с топором: сейчас он убьет страшного льва! Геракл, конечно, сказал тут что-то вроде: «Ну, братец, быть тебе моим преемником»...

Затем следует полоса, нимало не напоминающая житие Геракла. Тесей впутался в банду Пиритоя. Какая могла быть тому причина? Судя по всему, та же самая, которая и в наше время заводит жизнь не одного подростка в точно такой же тупик. Недостаток любви, ласки. Тесея едва не отравили, жизнь его висела на волоске, злодея-

[1] Намек на роман Кальмана Миксата (1847—1910) «Странный брак».

ние не удалось благодаря одному-единственному непроизвольному жесту отца — не удалось сегодня, но завтра ведь может и удаться?! Было очевидно, что Медея решилась извести его. Но это бы еще ничего: случались такие мачехи и до нее и после. Самым же большим разочарованием для Тесея, самым отвратительным, отвратительным до тошноты было трусливое поведение его отца, Эгея. Тесей не мог больше оставаться в родительском доме, то есть в Афинах, он пошел скитаться по свету. И повстречался однажды с вождем лапифов Пиритоем. Пиритой был веселый, смелый, умный молодой человек, он и пригож был, и предприимчив, и верен в дружбе,— словом, мы можем говорить о нем все самое прекрасное, но, в конечном счете, ничего хорошего.

Что бы ни совершал Геракл — даже вынуждаемый иной раз Эврисфеем на подвиги ради самих подвигов, подвиги-аттракционы,— его деяния все же имели и смысл и цель, ибо служили Зевсу, его именем освященному обету. Для банды же во все времена характерно лишь формальное почитание дружбы, солидарности, мужества и целого ряда других достоинств, ибо все это лишено цели и идеи, бессодержательно.

Однако же сколько правды в мудрой фразе Гёте: «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets bewusst!»[1] В конечном итоге даже самые темные годы беспутства и бесцельных скитаний пошли затем Тесею на пользу. Из множества дурного его натура сумела отцедить и вобрать нечто доброе. Вот почему хочется посоветовать нашей милиции и органам правосудия с величайшим тактом, с педагогической осмотрительностью наказывать несовершеннолетних нарушителей порядка. Если среди десятка тысяч лишь один оказался бы Тесеем, это стоило бы любых хлопот.

На судьбу Тесея оказало огромное влияние то, что в цепи своих беспорядочных выходок и авантюр он дважды повстречался с Гераклом. Первый раз это случилось во время войны кентавров и лапифов. (Можно сказать, братоубийственной войны, поскольку речь шла о двух родственных племенах.) Славные, простоватые кентавры привычны были к кислому молоку, от вина же они всякий раз приходили в неистовство. Так случилось и на свадебном пиру Пиритоя: кентавры набросились вдруг на женщин. Превосходившие их числом и к тому же лучше переносившие вино лапифы основательно их поколотили, а потом, что было уже несправедливо, прогнали с исконных земель. В последовавшей затем войне принял участие и Геракл на стороне кентавров. Тесей сражался во главе лапифов. Вот тут-то идеал его детских лет вновь дважды поверг юного героя в восхищение и изумление: Геракл не только не предавал позору тела павших на поля боя лапифов, но возвращал их родственникам, дабы те могли оказать положенные храбрым воинам почести; по окончании же победоносной битвы он позаботился о том, чтобы враги примирились искренне, мир заключили на почетных условиях, не сеяли семя будущей войны.

И то и другое было ново и введено в обиход Гераклом впервые.

Второй их встречей было уже поминавшееся молосское приключение, когда Пиритоя постиг бесславный конец, Тесея же освободил Геракл, причем в столь плачевном состоянии, что сказать: он оставил там даже штаны — мало. Ибо мы знаем совершенно точно: вместе со штанами остался и кусок его зада.

---

[1] Знай: чистая душа в своем исканье смутном сознаньем истины полна. Гёте, «Фауст». Перевод Н. Холодковского.

Обе встречи оказали решающее воздействие на судьбу Тесея. Самое же главное (хотя тоже, вероятно, не без влияния Геракла) — Тесей осознал наконец в эти смутные годы свое призвание и научился многому, без чего оказался бы неспособным это призвание выполнить.

Он научился приобретать товарищей, привлекать к себе людей. Научился создавать войско и командовать им. Из героя-одиночки он стал вождем.

Однако призвание у него было иное, чем у Геракла. И меньше, конечно, но в чем-то и больше. То есть оно было другим: принять на свои плечи не Элладу — но Афины!

Афины! Создать в Аттике настоящее войско!

Самое зерно этого войска сформировалось, очевидно, уже во время экспедиции на Крит.

Приключения же и скитания лихого братства, вероятно, привлекали новые силы: все смелые, жаждавшие авантюр и простора желаниям молодые люди, сколько ни было их в Афинах и окрестностях, тянулись к ним. Присоединилось, наверное, немало оставшихся без вожака молодых лапифов. Да Тесей и сам, где бы ни оказался, вербовал людей. Мы это знаем, ведь он никогда не допытывался, какого кто роду-племени, лишь бы подходил ему по стати. В поход против амазонок он двинулся, вне всякого сомнения, во главе собственного отряда, и это была уже не шайка, а именно воинский отряд, прилично экипированный — во всяком случае, после победы,— и к концу победоносного похода, после долгого, протяженностью в четыре тысячи километров, пути, сплотившийся в такое закаленное боями, испытанное и повидавшее мир воинство (их могло быть при этом каких-нибудь сто пятьдесят человек, не в том дело!), подобного которому ионийцы прежде не видывали. Воины Тесея умели и знали очень многое, но самое главное — знали, что их вождь намерен осуществить в Афинах нечто замечательное. И хотя не все они, вероятно, до конца понимали, чем замечательно это замечательное, одно было для них несомненно: предстоит славное развлечение — и они заранее его принимали всей душой.

С этой-то вооруженной силой, с этим передовым политическим отрядом и совершил Тесей революцию в Афинах.

Не царем-пастухом, не царем-поселянином, получившим отцовское наследство, вступил он на афинский престол, но основал полис — город-государство. Мелких царьков, родовую знать убедил — или победил. Так было: везде и всюду, со всеми и каждым говорил он о своем плане, привлекал даже слуг, даже рабов! И царек или князек обнаруживал себя в одиночестве между собственными своими подданными, с одной стороны, и войском Тесея — с другой. Таким образом, в большинстве случаев Тесею даже не приходилось вынимать меч из ножен. Иными словами — Тесей был хорошим политиком.

Не будем, однако, строить иллюзий, в его победах играли роль не только убеждение и демонстрация силы, но и кое-что другое.

Кровь тоже лилась за Афины, за утверждение Афин. И немало крови...

В Афинах, пропыленном хуторке паломников, он возводил город.

Для этого было необходимо, чтобы каждый имущий житель Аттики выстроил себе в Афинах дом. Для сооружения зданий общественного характера — коммунальных учреждений, укреплений, храмов — требовались уже соединенные усилия всего народа Аттики. Да, Тесей и добрым словом, и силой принудил благородных господ перебраться из отдаленных усадеб в Афины. И заставил ионийцев, разрушив деление на племена и роды, образовать новые — городские — сословия граждан...

Разумеется, в то время, о котором мы ведем рассказ, все это было еще только в проекте. Для его осуществления понадобилась целая жизнь. Звучит, пожалуй, двусмысленно, но именно благодаря этой двойственности наиболее точно: для осуществления его потребовалась жизнь Тесея.

Итак, мы можем убедиться, что в нашей истории Тесей стоит совершенно особняком. Он искал приключений не затем, чтобы бежать от действительности. Даже с головой отдаваясь приключениям, Тесей готовился к призванию, выполнить которое должен был именно в той, *тогда существовавшей* действительности. Великая разница: «У меня нет возможности отдаться своему призванию, поэтому я совершаю подвиги» — или: «Я совершаю подвиги, чтобы суметь выполнить свое призвание».

К слову сказать, участвуя в закавказской экспедиции, Тесей уже обнаружил себя весьма зрелым государственным мужем. За это время он установил жизненно важные для будущего Афин дипломатические связи. Прежде всего, с Микенами — точнее, с микенской партией мира,— под эгидой которых, в сущности, и создана была коалиция, чем, по-видимому, он обезопасил Афины с юга (а также Трезену, свое пелопоннесское наследство). Затем — с мирмидонцами и кентаврами, тем самым обезопасив свой город с севера. (Фивы, как мы еще увидим, особого значения не имели; однако, приняв Эдипа, Антигону и фиванцев, бежавших от Эпигонов, он и с этой стороны подготовил на будущее добрососедские отношения.) Но самое главное, что имело в дальнейшем первостепенное значение,— здесь углубилась и превратилась в тесный политический союз его дружбы с Гераклом. Это же защитило Афины и всю Аттику от вторжений дорийцев. Достойный внимания исторический факт: дорийцы попросту обходили Аттику! Следовательно, должен был существовать какой-то договор, освященное клятвами соглашение между дорийцами и Аттикой. И такая договоренность — это более нежели гипотеза — была делом лично Геракла и Тесея.

Вот и другая деталь, свидетельствующая о зрелости Тесея как государственного мужа: он привез себе жену издалека, с амазонской земли. В самом деле, оставим в стороне романтику, рассудим практически: разве не нашлось бы в Элладе невест для Тесея? Да сколько угодно. Однако Тесей не хотел искать себе жену в Элладе, а еще менее — в Аттике. Мог ли он жениться на девице среднего сословия? Нет, конечно, если мало-мальски дорожил своим авторитетом. Знатные же семейства были и так уже вдоль и поперек переплетены родственными отношениями. Между тем женитьба — важный союз, а в те времена и союз политический. Тесей же задумал создать независимые от пелопоннесской политики Афины.

Да, только и не хватало ему жениться в Аттике! Навязать себе на шею истинное проклятие — нескладную дочку какого-нибудь князька, чтобы она с утра до вечера ныла из-за отца своего и всех домочадцев! Папеньке, видите ли, нежелательно перебираться в Афины. Если же в конце концов он решится, то уж требует себе, разумеется, лучшее место для дома. Впрочем, удовлетворись он самым скромным участком, остальная знать тотчас сочтет его наилучшим. Словом, такая женитьба заведомо ставит человека под удар. Взять хотя бы одно: почему из множества заневестившихся девиц он выбрал именно ту, которую выбрал?! И вот уже все многочисленные кандидаты в тести (минус один) — враги. А потом, жениться за границей — в этом есть что-то вызывающее почтение: короли, как правило, если хватало ума, брали за себя иноземных принцесс. Да и у нас тоже, даже сейчас, для многих сохранили привлекательность и очарование браки с иностранками.

Куда уж лучше, право, если муж приводит в дом жену, про которую ни одна живая душа не скажет, что знает ее с пеленок,— и никто не учился с нею в одном классе, никто не приударял за ней на катке целый сезон, никто не играл с нею в фанты! А главное: она не приводит в дом полчища родственников, прямых, двоюродных, троюродных. Появляется, входит, располагается единственная: жена. И ни одна высокопоставленная аттическая семья из-за нее не в обиде, вернее — обижены все одинаково. А это уже несущественно.

Был особый романтический привкус в том, что Тесей женился на царице амазонок — правительнице легендарного, совершенно необычайного народа; о ее сказочных богатствах и элегантности слава шла по всей Греции. Не случайно же дочь Эврисфея потребовала от Геракла именно пояс Ипполиты! К тому же Ипполита была, несомненно, красивая женщина. Тесей придавал этому значение. И не ради себя, он-то не раз уже успел убедиться: «красивая женщина», «хорошая женщина», «именно-мне-больше-всех-необходимая женщина» — понятия, не всегда тождественные. Но, решившись привезти жену из-за границы, он должен был выбрать женщину красивую, красивую изумительно с точки зрения господствовавшего тогда вкуса. Иначе его триумфальный въезд в Афины сопровождался бы не ликующими кликами, а недоуменным ворчанием всех афинских отцов и матерей. «Ну и ну!..— слышалось бы повсюду.— Уж моя-то дочка получше выглядела бы с ним рядом!», «Слепец этот Тесей или недоумок!» Но и обида уже пол-обиды, если красота иностранки-жены вызывает шепот признания. Между благороднейшими семействами Аттики идет совсем иной разговор: «Н-да, тут я его понимаю: долго ли из-за такой потерять голову!» А рядом — шепот: «Не скажу, чтоб моя дочь уступала ей по красоте, но эта Ипполита, наверное, тонкая штучка, изощренная во всем... тут моей ее не догнать, не так я свою дочь воспитала!» И наконец, после некоторой паузы, примирительно: «Но хороша, очень хороша. Фигура отличная. Дивные волосы, чудесные глаза, да и вообще... Словом, что там говорить: красивая женщина». Не правда ли, совершенно другой тон?!

...Итак, все сопоставив,— какой же человек был Тесей? Вспомним: неупорядоченные семейные отношения, отец, недостойный носить это имя (к слову сказать, и не отец), мачеха — известная преступница и даже, по всем признакам, психопатка. Затем — бродяжнический образ жизни и сорвиголова приятель. Мы знаем, куда ведет обычно подобное стечение обстоятельств. Статистика преступлений красноречиво говорит об этом. Какой же кристальной души должен быть человек, сумевший над всем этим подняться! Как чтим мы, не правда ли, Генриха V, во всяком случае шекспировского Генриха V, который растранжирил всю свою молодость в обществе Фальстафа, по пивнушкам и борделям, а потом вдруг оказался сильной личностью, храбрым и справедливым государем, блюстителем веры и нравов. А ведь за спиной Генриха V стоял хотя бы заботливый, беспокойный отец, который так хотел дать сыну хорошее воспитание! Рядом с Генрихом всегда были примерные братья — умница Джон Ланкастер и душа-человек Том Кларенс. (И все-таки остались в Генрихе хулиганские замашки! Вспомним, как оскорбительно, при всех — да еще в церкви! — начал он лапать свою невесту, французскую принцессу; бедняжка убежала вся в слезах... Как же возвеличил бы Шекспир Тесея, окажись Тесей английским королем!)

Выше цитированная фраза Гете прекрасна — прекрасна, слов нет, но признаемся: она ничего не объясняет. Это лишь видимость объяснения. Что же было для Тесея той «нитью Ариадны», которая помогала ему ориентироваться не только в лабиринте Минотавра, но и в гораз-

до более запутанном лабиринте его жизни? Иначе говоря, мы могли бы спросить (о чем мудрый Гёте, как ни странно, не спрашивает): отчего хорош хороший человек? Жизнь Тесея дает на это ответ. Ответ вряд ли единственный, но удовлетворительный. Человек, судя по всему, оттого хорош, что у него есть призвание.

Конечно, для самого призвания требовалось что-то еще, какие-то «данные», определить которые точнее я не могу. Некий изначально чистый и прочный материал в характере, освещающий все вокруг. Что это? Гены Посейдона? Детство? Воспитание, данное необыкновенной матерью и мудрым ученым дедом? Воскрешение в зрелые годы всего, что было попрано подростком?.. Факт остается фактом. Тесей обладал характером, твердым и чистым, как алмаз. Причем внешние обстоятельства в ту пору еще не требовали проявлений алмазной — беспощадной! — твердости этого характера. В довершение всего он много и с воодушевлением говорил о своих планах, как это вообще свойственно людям, одержимым мыслью о своем призвании, и в такие минуты лицо его, даже будь оно некрасиво — а это было вовсе не так! — становилось прекрасным. (Вот когда Ипполита чувствовала, должно быть, что имело смысл покинуть амазонское царство, что хорошо родить этому мужчине ребенка.)

Да, Тесея, как я вижу, любили. Несомненно, полюбил его и Прометей.

И все-таки не пошел с ним в Афины.

Тесею по возвращении предстояло сыграть свадьбу с Ипполитой — ну, не свадьбу, так что-то вроде (ведь Ипполита, как амазонка, не могла выйти замуж). Тесея ждали радости медового месяца. Одновременно это будет для него и медовый месяц начала царствования. Что делать в его доме Прометею? Пристало ли вообще быть гостем в такое время? Но главное, Прометей предвидел, что в Афинах окажется перед дилеммой: либо не принимать участия в великих планах Тесея, наблюдать со стороны — а тогда что ему там делать? — либо включиться в их осуществление хотя бы просто как друг, как советчик, а уж это хуже всего. Сейчас в Аттике все смешается, и то, что из этого выкристаллизуется, многим придется не по нраву. Не только тем, у кого отобрали землю и мизерные их царства, не только тем, кто — на какое-то время — пострадает в этой революции. (Ибо в конечном счете, мы это знаем, выиграют все! И немало: жизнь, историю.) Подымутся против Тесея и те, кого ничто не связывает со старым миром, ничто, кроме страшно липучей смолы привычки. Как человек — правильнее сказать, бог, у которого за миллион лет было время поразмыслить,— Прометей отчетливо видел: если Тесей бросится в эту революцию, ему придется нелегко и не раз потребуется, конечно, поддержка, совет друга — однако, если этот добрый друг не афинянин, даже самый распрекрасный его совет больше повредит Тесею, чем поможет!

Несомненно, именно так все и было. Несомненно, Прометей не пошел с Тесеем в Афины. Побывай он там, в памяти афинской это непременно оставило бы след. Ибо в этом случае бунт, вызванный несколькими непопулярными распоряжениями Тесея и науськиваниями Диоскуров,— когда основатель города вдруг обнаружил, что на всенародном голосовании он получил меньше голосов, чем демагог Менестей, и теперь самое лучшее удалиться, хотя бы на время, переждать в семейном имении, покуда улягутся страсти и солидная депутация вновь призовет его править в Афинах,— так вот, этот потрясающий и трагический поворот в жизни героя, во-первых, случился бы гораздо раньше, а, во-вторых, объектом контрреволюции был бы прежде всего не Тесей, а его иноземный советчик! Ибо противником Тесея был бы не только суеверный консерватизм, но и оскорбленное самолюбие афи-

нян. И след этого остался бы непременно. Ведь память греков, я не устану повторять это, приметила все, достойное внимания, все необычное. Поскольку же ничего похожего мы не встречаем ни в легендах о Прометее, ни в легендах о Тесее, остается признать: Прометей в Афинах не задерживался.

Наши герои все-таки на некоторое время остановились в Афинах, вернее, на том месте для постоя, которое позднее стало Афинами. У нас есть сведения, что именно тогда Тесей посвятил Геракла в Элевсинские мистерии...

Словом, очевидно: наши герои оставались в Афинах столько, сколько требует обычай, участвовали в некоторых обрядах, пировали на прощальных трапезах-жертвоприношениях. Они пробыли там по меньшей мере до тех пор, пока не вернулись посланные на Саламин гонцы. Гонцы сообщили, что Теламона на Саламине нет. Как нет и молодого троянского жреца, некоего Калханта. Тот и другой отправились в Дельфы просить у Аполлона пророчества.

Вероятно, в Афинах получил Геракл и первые вести из Микен. Недобрые вести.

Фивы

Направляясь в Афины, наши герои — как я подозреваю — обошли Фивы стороной. Тесей был с Креонтом в прохладных отношениях. Воспользовавшись правом убежища, предоставленным Афинами, вернее древним храмом пеласгов, здесь укрывался искалеченный изгнанник Эдип, жила — вот уж почти десять лет — осужденная на смерть Антигона, а также взбунтовавшийся сын Креонта, Гемон. Фивы, хотя бы только престижа ради, потребовали, конечно, их выдачи, однако Тесей, который не собирался ограничивать право убежища и, напротив, задумал распространить его вскоре на весь пока лишь в мечтах существующий город, не мог их выдать. Одним словом, в Фивы они, всего вероятнее, не зашли.

Теперь же Геракл, услышав недоброе про Микены, не пошел прямым ходом на Коринф, а, сделав небольшой крюк, расположился на несколько дней под Фивами. Он вообще любил этот город — город его детства и юности. К тому же ни от кого не мог бы он узнать о событиях в Микенах вернее, чем от Креонта. Ибо никто не следил бдительнее Креонта за малейшими изменениями в микенской политике.

Кто же был Креонт, тот, под чью защиту бежал когда-то отец Геракла и кого мифология даже после смерти Геракла все еще называет царем? Да, он выступает как царь и во времена царя Эдипа, и тогда, когда царем стал Этеокл. Разобраться в противоречиях все-таки можно — стоит только приглядеться внимательно к Фивам той эпохи.

Фивы были консервативным, суеверно-религиозным, провинциальным городом. Он стоял на перекрестке важных для внутренней торговли дорог, но для мореплавания, а следовательно для «большой политики», для мировой политики, особого значения не имел. Иначе говоря, Фивы не осознали собственной заинтересованности в большой политике, не осознали главным образом из-за внутренних противоречий, из-за лихорадки непрерывных социальных встрясок. Здесь все еще сохранялись в неприкосновенности религиозные институты матриархата, но уже неуклонно одерживало победы новое, современное учение — зевсизм. В результате сложились два сильных центра: прорицатель Тиресий — верховный жрец и Креонт — «дядюшка»-наставник, политический советник двора. А между ними — царица и ее временный муж, предназначенный для жертвоприношения («обожест-

вления»), «официальный» царь. Не так уж это и сложно! Если кто-то три тысячелетия спустя попытается обрисовать главные внутриполитические силы сегодняшней Англии, ему будет значительно труднее: королева, правительство, парламент, банки, тайная служба, американский посол, профсоюзы и так далее...

В связи с образованием института рабовладения и с ним государства, а также просто из самозащиты Фивам пришлось прояснить вопрос о средоточии власти. Когда родители Геракла, Амфитрион и Алкмена, нашли пристанище в Фивах, здесь еще царила гармония, основанная на древних законах: Креонт (первый Креонт, очевидно, дед нынешнего), Тиресий и царица осуществляли власть, каждый в своей сфере. Но Фивы между тем все слабели, становились все более отсталыми и беззащитными среди греческих городов. Когда приходила беда, фиванцы молились и приносили в жертву мужчин. Многого же они этим достигли!

Дошло, наконец, до того, что Орхомен — воспользовавшись несчастным случаем во время спортивных игр — обезоружил Фивы и заставил выплачивать ежегодную дань: сто голов убойного скота. Фивы освободил молодой Геракл: под отчаянные вопли святош — и с новыми человеческими жертвами — он сорвал со стен храмов «священное» оружие и вооружил им молодежь, которая, отрезав явившимся за данью минийцам носы и уши, прогнала их прочь; затем Геракл повел фиванцев на Орхомен войной — отвел воды Кефиса на окружавшую город низину и залил ее, чтобы орхоменцы не могли ввести в дело свое тяжелое вооружение и боевые колесницы, а их пешее войско, выбрав заранее удобное поле боя, разбил наголову. (Характерная для Геракла деталь: победив, он сам позаботился о возвращении реки в естественное русло и остановил тем наводнение.) В память этих событий и основал Геракл первый в Фивах храм Зевса. Однако фиванцы, ошеломленные каскадом богохульств — еще бы, глумление над сборщиками дани, поругание священного оружия, храм Зевса! — с ужасом ожидали новых напастей и лишь годы спустя (убедившись, что Тиресий ошибся в своих предсказаниях) осмелились поставить благодарственный жертвенник Гераклу. (И на этот раз — с оглядкой на Зевса — принесли в жертву уже не мужчин, а женщин.)

Геракл же, веря в молодежь, вообще в тех, кто мыслит более современно, попытался создать патриархальную автократию. Однако Тиресий вынудил его пойти на такой компромисс (вместо него, одного за другим, посылали на смерть случайных царей-марионеток, переспавших одну ночь с царицей,— ее «сыновей»), который в конце концов привел к междоусобице.

После Геракла Эдип также попытался, став мужем царицы, продлить свое правление насколько возможно; в угоду святошам заявил, что «спит с матерью»; на некоторое время это помогло, ибо Эдип тоже был популярен. Затем началась эпидемия, и победил Тиресий.

Тиресий достиг фантастического возраста. И был таким, каким был, неизменно. С годами — из упрямства — лишь еще «неизменнее». Для австро-венгерской монархии также обернулось катастрофой то, что Франц-Иосиф, такой, каким он был, правил шестьдесят семь лет.

Теперь Креонт — Креонт-младший, внук первого Креонта — в роли «дядюшки», то есть «главного советника по вопросам общественной безопасности», пытался создать центральную власть. С врагами своими, например с Тиресием, он был гибкий дипломат, со сторонниками, в том числе и с семьей, беспощадно жестокий деспот; по довольно распространенному мнению, это и есть хороший политик. В том положении Креонт был для Фив меньшее зло, то есть был предпочтительнее; кроме того, при всех компромиссах он был (по наитию!) сторонником

Зевса; поэтому Геракл, хотя вряд ли любил его, все же поддерживал. Положение Креонта и правда было не из легких.

Уже в самом начале его правления вспыхнул бунт. Один из «сыновей» Эдипа, Полиник, восстал против него в защиту «легитимного» царства и древней веры. Креонт легко расправился бы с этим паршивцем, не окажись на стороне Полиника и международные силы. Прежде всего к нему присоединился калидонский принц Тидей, изгнанный за братоубийство,— авантюрист и головорез, из тех, что не умещаются в собственной шкуре. В довершение всего оба, Полиник и Тидей, женились на принцессах из Аргоса, то есть ловко втерлись в микенский союз. Против Креонта начали собирать военный кулак.

Для Микен, зевсистского государства нового толка, Креонт был естественным союзником, соратником: он тоже хотел устроить у себя все на современный лад, тоже веровал в Зевса. Однако Микенам, как гегемону, не по нраву были бы сильные и самостоятельные Фивы. Микены предпочитали послушных приверженцев убежденным союзникам. Пусть Фивы будут какими угодно, но пусть будут слабыми!

Частично из принципиальных соображений, частично же потому, что все его силы были брошены в это время на египетскую экспедицию, Эврисфей не принял участия в затеянном против Креонта походе. А вербовавшего солдат Тидея преспокойно выпроводил из города.

Выпроводить выпроводил, но куда? В Аргос и прочие союзные города. В конце концов семеро известных аргосских и аркадских головорезов сладились и выступили против Фив. Микенам это, во всяком случае, пошло на пользу — хотя бы в том, что освободило город от нескольких печальной славы «трудных молодых людей». Креонт разбил их наголову, бунтовщик Полиник и шестеро главарей из семи остались на поле боя. Креонт запретил даже хоронить их. (Из-за чего начались у него раздоры с невесткой и сыном; да и другие благомыслящие люди сочли этот запрет варварской местью, недостойной сторонника Зевса.)

После поражения в Египте при микенском дворе победила воля более миролюбивого Фиеста: Микены не послали против Фив войска, чтобы отыграться за поражение, отговорившись тем, что семерка главарей действовала на свой страх и риск и поражение потерпели добровольческие отряды, а не регулярное ахейское войско; да и вообще дело это чисто внутреннее, фиванское.

Однако с тех пор минуло добрых десять лет, и положение изменилось.

Об этом-то изменившемся положении и информировал сейчас Креонт Геракла в кабинете фиванского дворца.

Прежде всего сенсация (это ведь всегда сенсация, если дезертирует полномочный посол): Калхант, доверенный посланец Приама, не только не потребовал возвращения Гесионы, но, едва причалив к берегу Саламина, сам попросил убежища! Вместе с Теламоном они отправились в Дельфы, оттуда — в Микены. И теперь ученый молодой жрец во всеуслышание заявляет: он получил предсказание от самого Аполлона, бессмертный предрекает победу ахейцев и окончательную гибель Трои.

Но ведь это же давняя мечта «стервятников»: заносчивая богатая Троя, богами выстроенная, могущественная Троя будет стерта с лица земли!

Разумеется, в Микены ринулись все «родичи». Теламон стал большой персоной, Тиндарей, мужлан спартанский, ходит козырем. (И уже всем и каждому нашептывает, будто его дочь, только-только из пеленок,— дочь Зевса! Хотя кто же не знает, что в последний раз Зевс спал с прекрасной и чистой Алкменой, потом же дал обет больше не иметь дела с земной женщиной. А уж тем паче с этой провонявшей навозом

гусыней, да еще в образе лебедя! Правда, лебедь вообще-то очень подходил бы для Леды. Ведь что такое лебедь? Красивый гусь.) А теперь вот и Нестор маневрирует изо всех сил. Хочет, чтоб позабыли, как он умудрился послать в Египет лишь половину обещанных кораблей. Да и те с опозданием. Зато сейчас он главный оратор: «Если Троя наша — наша Азия; если наша Азия — наш и Египет! Вонючие сидонцы во всех морях станут служить нам!»

К этому времени Атрей вдруг «сообразил», что Аэропа уже много лет обманывает его с Фиестом, которому тайно передала золотого ягненка и скипетр Пелопа — символы власти, а между тем это он, Атрей, получил их в наследство от отца! Жену он изгнал да еще, как говорят, подослал к ней в дороге убийц; Фиест бежал в одно из своих владений, другие утверждают, что его вообще нет на континенте.

Но особенно много говорил Креонт, хотя Геракла подробности эти не слишком интересовали, о том, что последний из семи бандитов Адраст, долго никем не признаваемый, а также шесть вдов и их дети — все теперь живут при микенском дворе. Сопливых щенков растят для того, чтоб отомстили за отцов своих Фивам. Называют их эпигонами и уже заставили принести присягу.

Геракла интересовал прежде всего приход Атрея к власти и оживление военной партии.

Почему? Кто, собственно, был Атрей? И Фиест? Те, кого называли обычно Пелопидами или Танталидами? Любезный Читатель мог видеть воочию, что всюду, где только можно, я стараюсь в этой работе держаться как можно ближе к самому, в конце концов, достоверному моему источнику — мифологии, которая являет собою поразительно точную (что многократно подтверждено новейшей исторической наукой) хронику XIII века до нашей эры. Однако в этом единственном случае мне придется отбросить бóльшую часть античного литературного и мифографического материала, бережно вылущив лишь те крупицы, которыми все же можно воспользоваться. Ибо миф о Пелопидах в значительной части своей — фальсификация и домысел.

Фальсифицировали они сами — Фиест и, главное, Атрей. Силой, интригами, угрозами, лестью навязали они Элладе всеохватный политический и военный союз и ради этого, помимо прочего, ложно приписали к своему семейству бесчисленных родственников, «разыскав» множество общих дедов и прадедов. На Пелопоннесе они были пришельцами, им было важно найти — или придумать — родственные связи со всеми знатными семьями. Если бы можно было доверять их буйно разросшемуся генеалогическому древу, то получилось бы, что у одного лишь последнего Пелопа — от единственной жены! — родилось двадцать два наследника, сыновья и дочери, к тому же все личности незаурядные.

Бесчисленным искажениям истины дал основание тот факт, что в роду часто повторялись имена Тантала и Пелопа; оставалось только свести их воедино и дела одного «подшить» другому.

Это семейство причинило грекам больше бед, чем до тех пор и еще долго после того все вражеские силы, вместе взятые. Да, эта семья, именующая себя великогреческой, истинно греческой, самой греческой во всей Греции, принесла своей родине, землям ее и народу, больше опустошений, чем персы и римляне (разве что турок прибавить к вышеназванным остерегусь). Не все мифографы и даже писатели знали об этом; были среди них и такие, которым импонировали Пелопиды именно своей бешеной подлостью и сумасбродством. «Вот это да,— восклицали они,— вот это тема!» (Что ж, писатель есть писатель. Примерно то же доводилось мне слышать и от хирурга: «Такой великолепный гнойный аппендицит редко увидишь!») Но народ знал все!

Поэтому приписывал этому тысяче- и тысячекратно проклятому семейству, особенно же Атрею и Фиесту, все, что только есть чудовищного и отвратительного: убийства, кровосмешение, пожирание собственных детей за пиршественным столом,— причем без конца и в таких количествах, сколько не уместилось бы по времени в человеческую жизнь, даже если человек этот всю жизнь, с рассвета до заката, только и занят злодеяниями.

Поэтому остановимся лишь на том, что из всего этого чудовищного нагромождения истинно или, во всяком случае, вероятно.

Ахейский род Тантала-Пелопа перебрался в Малую Азию спустя десятилетия после захвата Крита. Недолго пожили они в Трое, затем купили у хеттов право на добычу руды вдоль северного морского побережья. В то неспокойное время частых войн и набегов они сказочно разбогатели на рудном и доменном деле; в XIV веке это были уже «рурские бароны» Малой Азии, со всей сопутствующей такому семейству славой и грязью. Утверждают, что им подвластно было все побережье от Кавказа до Босфора. У них был колоссальный двор и сильное войско — против амазонок и прочих варваров. Однако в период Великого перемирия цены на металл начали катастрофически падать, варварские же набеги участились; теперь прибыль едва покрывала производственные расходы — или не покрывала их вовсе. Тогда они оставили свои совершенно, впрочем, истощенные рудники и попытались осесть «по древнему праву» на троянской земле, чтобы ринуться в новые предприятия. Троянцы, однако, оспаривали это «древнее право», и Хаттусили — сверх ожидания — стал на сторону Трои. Троянцы с их торговлей были для хеттов важнее, чем пока еще сомнительные и неопределенные замыслы «промышленных баронов». После некоторого сопротивления Пелоп — не знаю который — сдался и отплыл на свою древнюю родину. Возможно, эта история сопровождалась коррупцией, подкупом, шумными скандалами; во всяком случае, «бароны» рассорились с властями вконец, так что оставаться уже не было возможности. Однако нельзя сказать, чтобы Пелопу пришлось бежать, поскольку он погрузил на корабли все свое имущество, всех чад и домочадцев, включая слуг, и настоящей небольшой флотилией пришвартовался в Арголидском заливе. Мифология прекрасно донесла до нас изумление отечественных ахейцев при виде всей этой помпы, несметных сокровищ и бесчисленных слуг. Пелопа встречали чуть ли не с таким же воодушевлением, с каким встречают у нас оторвавшегося от родины соотечественника, когда он навещает ее на «опеле», нанятом в Мюнхене. Глядя на огромные кованые — восточного производства — колесницы, особенно же на колесницу Пелопа с раскинутыми золотыми крыльями, аргивяне восклицали: божественная работа! О красавцах же конях говорили: божественные кони. Такими эти кони, эта работа и сохранились в памяти людей.

Пелоп начал с того, что удачно женился, затем не менее удачно женил и выдал замуж своих сыновей, дочерей от первого, еще азиатского, брака, породнился с самыми знатными семействами Пелопоннеса, а вскоре и с домом Персея. А так как был он несметно богат, то нетрудно представить, что хватало и тех, кто сам набивался к нему в родню без всяких на то оснований либо ссылаясь на весьма далекие и сомнительные связи.

Примерно в середине века старый Сфенел решил оставить на Эврисфея объединенный после изгнания Амфитриона аргосо-микенский трон. Эврисфей был слабый духом и телом, беспомощный и трусливый молодой человек, не умный, не сообразительный, пожалуй, даже немного с придурью. Сфенел придумал, как ему помочь: он возродил институт «дядюшек» — призвал ко двору двух братьев жены своей

(или невестки?), Атрея и Фиеста, сыновей Пелопа. Пелоп принял это с радостью: то ли потому, что сыновья — как судит народная память — отличались на редкость дурным нравом и Пелоп рано или поздно все равно их выгнал бы за бесчинства, то ли просто потому, что Пелопидам это сулило окончательный захват господства над всею Элладой.

Согласно некоторым мифографам владычество Атрея и Фиеста, а с ними и преступные их распри начались после смерти Эврисфея — поскольку они могли воцариться якобы лишь после смерти Эврисфея. Ничего подобного! Память народа называет их царями и в то время, когда они были еще только «дядюшками»; народ всегда безошибочно чует, кто заправляет всем на самом деле. Их перемежающееся официальное царствование могло продолжаться самое большее три-четыре года: в 1208 году Эврисфей был еще жив, в 1204 году в Микенах правил уже сын Атрея Агамемнон. В действительности же их подлинное господство — их попеременное главенство в микенской политике — длилось, начиная от середины века, чуть ли не полстолетия. Народная память не сохранила бы, вероятно, даже имени Эврисфея, официального царя, если бы его мать — Пелопида — с помощью азиатского вызывающего спазмы снадобья не родила его семимесячным, на несколько часов опередив рождение Геракла. Только благодаря этому бесцветная и незначительная фигура микенского царя вообще *существует*. Правили же вместо него всегда, до самого конца, то Атрей, то Фиест.

Фиест был из них двоих старше, миролюбивее, мудрее, да и внешне более привлекателен. И все-таки на первый план выступило скорей имя Атрея: он был предметом самых гневных проклятий, он был отцом Агамемнона и Менелая. У Фиеста остался лишь единственный, неизвестно еще чей сын Эгист, убийца Атрея, а затем Агамемнона. То ли Агамемнон действительно убил или приказал убить остальных сыновей Фиеста — что вполне вероятно,— то ли у Фиеста и в самом деле он был один.

В то время, когда разыгрывается наша история, Атрей и Фиест уже пожилые люди, ближе к шестидесяти, чем к пятидесяти. Агамемнону четырнадцать, Менелаю двенадцать лет. Эгист, отца которого не знает в точности и сама мать — ведь связь Фиеста с Аэропой длится уже много лет,— живет пока что в доме Атрея и воспитывается как его сын: ему два-три года. Столько же, сколько спартанской Елене.

Итак, что могло скрываться за раздорами Атрея и Фиеста? Просто жажда власти, как утверждает мифология? И на этот раз я считаю вероятным, что народная память сохранила истинную суть. Итак: жажда власти. Но ведь для того, чтобы достичь власти, нужен лагерь — союзники, сторонники. А для этого — какая-то программа. Отличная от программы соперника. (Обратимся хотя бы к выборам в Америке! Обе партии ничем друг от друга не отличаются. Действительно ничем, даже хотя бы настолько, насколько разнятся две крупнейшие партии Англии. Следовательно, они в самом деле борются исключительно за власть, доходы, официальные посты, за вполне переводимое на деньги «влияние». Однако же в честь выборов они непременно стряпают какую-нибудь отличающую их от соперников программу. Полагая, что с ее помощью сумеют победить.)

Почему бы нам не предположить, что различие их программ тождественно политическим воззрениям, которые разделили тогда Элладу на два лагеря? Обратимся к фактам.

Экспедиция «Арго» около 1240—1235 годов. Акция партии мира.

Египетская авантюра около 1230 года. Акция партии мирового господства. Оканчивается позорным провалом.

Война с амазонками в 1219—1218 годах. Акция партии мира.

И вот теперь, после предательства Калханта и предсказания, верх

берет партия войны, чья программа-минимум — незамедлительная Троянская война.

Однако война временно отодвигается: троянцы не оказывают Микенам такой любезности — не нападают первыми. Межпартийные раздоры, надо думать, временно отступают за кулисы.

1208—1207 годы: первое нападение дорийцев. Здесь обе партии скорее всего выступают вместе. После победы же, напротив, верх берет, ссылаясь на континентальную опасность, партия мира. Атрея убивают.

1204 год: с помощью военного путча Тиндарея микенский трон достается Агамемнону. Фиеста изгоняют, возможно и убивают.

Вероятно, таких поворотов и зигзагов было больше, даже намного больше. Это лишь то, что мы знаем. Но и из этого ясно, что Атрей спал и видел мировое господство, следовательно, был на стороне партии войны. Фиест же — я не стал бы называть его вождем миролюбивых сил, он явно им не был,— Фиест опирался на партию мира.

Из кого состояли та и другая партии? Я имею в виду не главных действующих лиц — те в большинстве своем часто меняли окраску.

Разобраться тут довольно трудно. Развивающиеся сельские города были, как правило, на стороне партии мира. Не все — в Спарте, например, из дома честолюбца Тиндарея вышли главные выборщики военной партии. Города, достигшие вершины богатства, раздираемые социальными противоречиями и надеявшиеся заглушить недовольство, снизив цены на рабочую силу благодаря массовому притоку новых рабов, были, конечно, за войну. Опять-таки не все, Пилос, например, колебался. Нестор все еще высчитывал: что даст ему больше — война или свободное мореплавание?

Бо́льшая часть аристократии была на стороне партии войны. Средние слои — земледельцы, торговцы, ремесленники — под угрозой призыва стояли за партию мира (разорение дома — наверняка; военная добыча — то ли будет, то ли нет.) Но и они не все. Например, кузнецы, изготовлявшие оружие, нимало не возражали против войны. И тем не менее, как во все времена, партия мира была более народна, демократична.

Из всего этого мы должны были бы сделать вывод, что Геракл принял сторону Фиеста. Ничуть не бывало.

Атрей был не только ортодоксальный ахеец, но и правоверный зевсист. В то время как Фиест — чтобы привлечь на свою сторону более отсталые племена, например аркадцев, а также суеверно фанатичных бедняков и людей среднего достатка,— даже среди олимпийцев выделял наиболее матриархальных богинь — Геру, Артемиду, им и приносил жертвы. (Остальные богини ему не подходили: Афина была воинствующей сторонницей Зевса, Деметра, Гестия слишком равнодушны, покорны — последняя вскоре даже уступила свое место Дионису; Афродита же представляла идею мирного слияния двух полов, ей, как и теперь, было безразлично, какой из них оказывается наверху, какой внизу — ее-то боготворят и те и другие.) Похоже на то, что Фиест шел и на более тяжкие компромиссы с религией. В ужасном том пире, устроенном для него Атреем из мяса убитых его сыновей — если это правда,— заключалась и сатанински жестокая ирония! Судя по всему, воинствующе зевсистские задания (Лернейская гидра, Стимфалийские птицы) Геракл получал по подсказке Атрея; задания отвлеченно-молодеческие, ему безразличные — по подсказке Фиеста.

Словом, все сопоставив, можно сказать: для Геракла они были одним миром мазаны.

Он — и, быть может, он единственный — служил Эврисфею. По

приказанию Зевса, в согласии с дельфийским оракулом. Дабы очиститься от греха и, по воле отца, обратиться в бога...

Итак, Геракл видел в борьбе Атрея и Фиеста то же, что и народ: считал ее просто борьбой за власть. А власть вызывала у него отвращение. Та власть, что принадлежала ему самому — в Фивах — и вовлекла однажды в безумные преступления. И та власть, пример которой в Микенах демонстрировали Атрей и Фиест.

Так ли это было на самом деле? Или просто-напросто так хотелось народному поверью? Тому поверью, которое позднее наградило, быть может, и образ Геракла — как знать? — таким же букетом небесных совершенств, какой составило из адских подлостей для Пелопидов? (Впрочем, и это говорит уже о многом, не правда ли?)

Из-за семейных неурядиц и убийства тестя Амфитриону пришлось покинуть Микены; он отказался от своего сана и, будучи выдающимся военачальником, добровольно отошел в Фивах на второй план. Это самоотречение, однако, не распространялось на сына, Геракл в Микенах — законный наследник! И вот мы видим: тот, кто мог быть самым богатым человеком не только в Греции, но во всей — без преувеличения — тогдашней Европе, живет так, словно знать об этом не знает!

Так ли это? И если он действительно об этом не думал, неужто не нашлось никого, кто бы его надоумил? Просто к слову помянул или объяснил, что призвание его связано с властью?!

Конечно, находились. И даже там, где оказались мы сейчас,— в Фивах. Его отец, воспитатели, друзья. Наконец, та, с кем он вновь здесь встретился, уже только как друг (добродушно наблюдая расцветающую новую любовь ее к Иолаю) — его прежняя жена Мегара.

Достаточно самых ничтожных познаний в психологии, самого скромного житейского опыта, чтобы не сомневаться: Мегара его подстегивала. Нет женщины, которая молча примирилась бы с такой степенью бескорыстия, даже если бы сама признавала, что нет у ее мужа ни физических, ни духовных данных для того, чтобы выдвинуться на общественном поприще. Что же тогда говорить, если этот муж, напротив,— человек неслыханной силы, храбрости, ума! Можно ли быть этаким тюфяком? Эврисфей царствует сразу в двух городах, и совершенно ясно, куда целят приставленные к нему «дядюшки»: они хотят окончательно узаконить власть Пелопидов! Будь Мегара родом из микенской знати, она, возможно — как ни сомнительно, но все же возможно! — не так уж страстно возмущалась бы поразительным равнодушием Геракла. Однако же они тогда проживали в Фивах, провинциальнейшем из провинциальных городов, прихваченных, правда, ореолом микенской культуры и цивилизации, но лишь издали, совсем издали. (Заметим себе: никто не способен быть столь жадно «столичным», как тот, кто живет от столицы «рукой подать».) Представим же, какое счастье обрушивается на эту фиванскую девочку: на ней женится наследник микенского престола! И одновременно, какое несчастье: наследник и не собирается взойти на законный свой трон!

Если бы все это было так, первый брак Геракла превратился бы в ад, и герой счел бы, что Гера, богиня семейного очага, преследует его; в этом случае вся их история выглядела бы банальной, примитивной, недостойной того, чтобы память людская хранила ее — и ведь как хранила! — на протяжении тысячелетий.

Вопрос этот сложный, но вот тут-то истина и кричит сама за себя, прямо в физиономию исследователя: «Да пойми же, Геракл незаурядная личность, измеряемая лишь его собственной меркой! И тогда, может быть, ты поймешь заодно, каков был тот мир, в котором довелось ему жить».

Гераклу *не власть* была отвратительна.

Он не желал микенского трона. Не любил даже приближаться к дворцу. Никто не чувствовал так, как он, всю безнадежность микенского мира, никто так не презирал суету сует. Эврисфей, несчастный, смертельно боялся, он полагал, что терпение героя на исходе; буквально наобум назначал он через посланцев последние задания, желая уже лишь одного — с их помощью держать Геракла как можно дольше вдали от Микен и как можно дальше. Если бы он знал, что Гераклу это лишь в радость! Чем сложнее каждая новая его работа, чем больше времени нужно на нее затратить, тем больше продлится его жизнь.

Он может что-то делать, что-то полезное, доброе. В том мире, где самая возможность делать нечто полезное и доброе — исключительный подарок судьбы.

Впрочем, Эврисфей сообразил быстро (вернее, его, и даже не его, а Атрея, надоумил Копрей) и, чтобы испортить Гераклу удовольствие, стал давать ему задания глупые и бессмысленно опасные. Геракл выдержал испытание. И даже с юмором. Как, например, когда послан был за молосскими собаками: «Ну погоди, куманек, принесу я тебе такой подарочек, что ты обделаешься на глазах у всего своего двора!» Эврисфей не был для Геракла противником. Да и «дядюшки» — тоже.

У каждого непременно возникает вопрос: почему же Геракл не ударил по ним, почему не разогнал родовитую микенскую банду? Сил-то у него было предостаточно!

...Креонт был мудрый и сильный царь. У себя, в Фивах, он говорил с Гераклом откровенно. Здесь Геракл был не великий Геракл, а Палемон Амфитриад, которого знали в этих краях с младенческих лет, с кем вместе ходили в школу, на спортплощадку, на производственную практику, вместе спасали город от минийцев — и установили за это ему памятник.

Итак, мы можем считать за верное: Креонт подымал перед Гераклом мысль о насилии. И говорил не отвлеченно. Он точно знал, какие силы имеются в распоряжении Микен, сколько у них воинов в городах Арголиды, сколько — в Элиде (там находились главные владения Пелопидов), в Спарте, может быть, в Пилосе. Подчеркивал, что, как ни популярен Геракл, надо прибавить к счету и нищую, невежественную толпу — хотя бы тех же несчастных аркадян. Если они получат хоть какую-то одежду, оружие, один раз в день еды до отвала, если посулят им, как всем воинам, женщин и захваченные города на разграбление — они пойдут и против родной матери. Да, Креонт понимал, что Микены очень сильны. Однако знал, что и Гераклу силы не занимать. Жители Фив, народ Тесея и Пелея, полчища добровольцев из Беотии, Фессалии нахлынут сюда, едва услышат имя Геракла,— да еще против Микен! Это будет отборное войско: пусть даже меньше числом, зато лучше!..

Геракл слушал Креонта и улыбался.

— Почему ты не отвечаешь?

Словно опомнившись, Геракл отозвался:

— Я все думаю, какое же новое задание даст мне теперь Эврисфей. Ведь по его счету мне осталось выполнить еще два.

Нам же — вместе с Креонтом — остается только вскричать:

Да кто же он, наконец, этот Геракл?! Кто он и что, этот пятидесятилетний муж, чьи тело и душа сплошь покрыты шрамами, как нам понять его, неизменно спокойного и при этом полного неиссякаемого внутреннего огня, постоянно готового к новым свершениям? Все еще жаждущего их! По-прежнему выбирающего свои пути, а не широкую

дорогу, которую — не в первый раз! — открывает перед ним судьба! Что символизирует для нас этот поистине удивительный механизм, движущийся, так сказать, уже с помощью собственной автоматики? Что означает его сила, терпение, бессребреничество, бесстрастная ирония, которую Креонту хочется сейчас назвать цинизмом?

Осторожнее, престранный химикат этот «цинизм»! Он — словно крепкая кислота в металлическом сосуде. Если металл неблагородный, кислота его разъедает. Если же это золото — лишь смывает с него грязь, и золото сияет ярче прежнего.

Геракл был золото.

И его сияние чувствовал всякий. Кое-кто не в состоянии был сносить его, как Эврисфей. Но в ком находилось хоть сколько-то того же золота, тот непременно светился в ответ.

Креонт был зол, он был в отчаянии, потому что очень боялся за свой город. И все-таки не мог, даже сейчас не мог не любить Геракла.

Что же до Прометея... Геракл рассказал сейчас богу о сложных своих заботах, пожалуй, больше, чем за весь их долгий совместный путь,— ведь путник всегда испытывает волнение, оказавшись под родным кровом, и это волнение выражается сперва в молчаливости, но потом особенно развязывается язык. Прометей многого не понял (не беда, Геракл не затем и говорил сейчас, просто ему нужно было выговориться) — многого не понял, но одно почувствовал: этого человека следует любить. И он любил его.

При прощании Креонт, надо думать, еще раз вернулся к тому же вопросу. И выбросил свой последний козырь: дорийцев.

■

Дорийцы!

Представляется так, будто бы Геракл в каком-то смысле видел в дорийцах залог будущего. Или я ошибаюсь?.. Но тогда почему он охотно проводил время в их кругу, почему им доверил сыновей своих? Просто ради удобства?

Нам следует знать, что в Микенах дорийцев не жаловали. И это еще мягко сказано. Нет, их глубоко презирали, считали коварным, варварским и очень глупым народом. С другой же стороны — дорийцев боялись. Ну, вообще-то не слишком: при такой линии укреплений на Истме дорийцу семи пядей во лбу надо быть, чтобы изловчиться хотя бы только подойти к ней! Так что дорийцев не то чтобы боялись, но в салонах, в образованных кругах стало модным бросить несколько слов о «дорийской опасности». Не было еще телевизора, не существовало романов о Дракуле[1] и фильмов Хичкока, мифы всем уже приелись, набили оскомину, а между тем человек, особенно в подобных салонах, испытывает потребность в некоторой дозе ужасов. Вот они и беседовали о «дорийской опасности», но беседовали о ней так, чтобы затем с облегчением оглядеться вокруг, в прочном и надежном своем микенском мире, уверенно и гордо окинуть взором высокие, восьмиметровой толщины крепостные стены. Разумеется, о «дорийской опасности» вспоминали всякий раз, едва заходила речь о поборах на дорогостоящие коммунальные сооружения или о выполнении обязательных поставок; «дорийской опасностью» объясняли предоставление корабельным плотникам, оружейникам и прочим военным поставщикам дополнительных вознаграждений и привилегий; поминали «дорийскую опасность», конечно, и в храмах, дабы призвать верующих к смирению, а также в школах, чтобы пышным цветом расцветал в юных душах патриотизм. На самом же деле в ходе военных

[1] Герой «романов ужасов» английского писателя Брама Стокера (1847—1912).

приготовлений — не считая строительства укреплений — никто, решительно никто и не думал о дорийской опасности. «Дорийская опасность» была удобным предлогом для вооружения и для укрепления чувства «собственного ахейского достоинства»; но и оружие и «собственное ахейское достоинство», как мы знаем, нацеливались совсем на другое.

Итак, дорийцам причиталась в Микенах некая толика страха, холодком пробегающего по спине, однако куда больше выпадало на их долю — непроизвольного даже — презрения. И презирали их, как ни странно (впрочем, не стоит удивляться, ведь это так по-человечески!), более всего их презирали, пожалуй, как раз за то, в чем история подтвердила их правоту: за то, что железо, дорогое, дивно красивое железо они употребляют для изготовления оружия. (Даже в окружении Геракла находились люди, которые не могли это уразуметь. Так, когда Геракл сказал однажды: «Придет пора, истинно счастливая пора, когда из железа люди станут делать ночные горшки»,— многие его соратники посмеялись над этим, и даже те, кто всегда и во всем стоял за него горой, вынуждены были заявить: «Да, старик иногда перехватывает через край». Однако сама фраза весьма характерна для Геракла.) Правда, говорить о «железном веке» не приходится даже в связи с дорийцами, но у них уже было немного выплавленного из руды железа, и его-то — все, что было,— они использовали на изготовление оружия. В глазах Микен это было несусветное варварство; точно так же — приведем обратный пример — несколько столетий спустя будут читать и о нас, о том, что уголь, самое невосполнимое, многообразно применимое химическое сырье, мы употребляли — на топливо!

Что касается образа жизни, общественного устройства и поведения дорийцев, то микенцы не удостаивали их за это даже презрения.

Странная вещь! Как точно знаем мы законы Ликурга, и насколько противоречиво свидетельствует традиция о нем лично! Плутарх просто теряется, пытаясь свести воедино разнородные о нем сведения. Согласно некоторым легендам, он был современником Гераклидов. Допустим. В то же время традиция помещает его в Спарту. Однако при Гераклидах Спарта была еще ахейским, притом третьестепенным, довольно бедным сельским городком. Самым крупным городом в южной части Пелопоннеса были Амиклы. Именно сейчас подвергают его разграблению Диоскуры; именно сейчас пытается Тиндарей с помощью подобных грабительских войн и особым усердием в подготовке Троянской войны заложить фундамент будущего величия своей родины и ее полиса — ахейской Спарты. (Как видно, Амиклы не пошли в русле политики Микен, вот никто и не чинил здесь преград разбою.)

В конце XIII века до нашей эры дорийцы захватили Пелопоннес; однако часть их при этом обосновалась на останках микенской культуры — и не только географически: они переняли, впитали то, что еще от этой культуры осталось и что они сумели воспринять. Лишь племя, поселившееся в бедной и неприветливой Спарте, долее всех сохранило старинный уклад. Действующие в Спарте Ликурговы законы не только спартанцы называли самыми древними и исконными: научный разбор их подтверждает, что этот свод законов, хотя и обогатился некоторыми дополнительными чертами в процессе оседания на новых землях, существовал, должен был существовать гораздо ранее, ибо в основе своей содержит законоустановления военно-племенного строя, давая чистейшую формулу военной демократии, позднее лишь приспособленную к потребностям государственного устройства. (Причем с развитием государственных отношений приспосабливать этот свод становилось все труднее. Характерно, например, что Ликур-

говы законы ни словом не поминают о рабах, вообще не знают о них. Между тем дорийская Спарта была уже определенно рабовладельческим государством.) Во всяком случае, с помощью Ликурга мы можем довольно точно реконструировать картину, какую являли собою дорийцы, когда Геракл узнал их — и...

Полюбил?

Тогда почему он среди них не остался?

Выразимся, пожалуй, так: он учился уважать их. Дорийцы — народ воинов, мужчины этого союза племен в дни мира и сражений, ночью и днем жили, по существу, не расставаясь с оружием, в перманентном состоянии войны. В семилетнем возрасте мальчика отбирали у матери, и до тринадцати лет он проходил суровую, чтобы не сказать жестокую военную подготовку в школе. С тринадцати до тридцати лет он находился на военной службе. Подросток жил в палатке свободно им выбранного старшего друга, спал на циновке, ел вместе со всеми, когда положено, сражался в отрядах по пятьсот человек — батальонах. Женившись, мог лишь изредка и тайком навещать супругу, оставаться с нею на четверть часа, не более: чтобы получить потомство, достаточно, а проводить с женщиной больше времени — дело недостойное, заслуживающее только презрения. Если детей не было, любой из супругов мог обратиться за помощью к какому-либо другу семьи и просто знакомому мужчине; когда и после того ребенок не появлялся, женщина признавалась бесплодной и брак расторгался. Вообще же спартанский брак был весьма честной, прямой и искренней связью, он обеспечивал женщине равные права во всем...

Мужчина-спартанец за всю свою жизнь ни разу вволю не наедался. Обоим царям и верховному судие полагался удвоенный рацион. Остальные могли получить двойной обед только в виде поощрения. Иными словами, спартанцу постоянно доставалась лишь половина того, что любой здоровый человек съел бы в охотку, когда угодно. Да, спартанец мог воровать. Вечно голодный подросток иначе и не выдержал бы бесконечных, с утра до вечера, тренировок в беге, плавании, владении оружием и так далее и тому подобное. (Не говоря уж о таких упражнениях, как, например, наказание розгами, которому молодые воины подвергались, по крайней мере, один раз в год; при этом старшие внимательно следили, не охнет ли испытуемый, а тех, кто — под розгами! — умирал без стона, хоронили с почетом.) Итак, воровать разрешалось, однако попавшегося чрезвычайно жестоко карали вместе с его другом. Зачастую смертью. Не за воровство — за неловкость!

...Было в образе жизни дорийцев немало таких черт, которые, в сравнении с затхлым микенским миром, и поныне представляются привлекательными. Их краткая — только по существу! — и всегда откровенная речь. Естественность поведения, всей повадки. Служение обществу, родине — до конца дней.

А самое главное: дорийцы не могли ни вообразить, ни понять именно то, что в XIII веке до нашей эры более всего характеризовало Микены (и не только Микены),— они даже не подозревали, что существует на свете «сословие праздных». (Так я и перевел бы объективно научный термин работы Веблена[1], ибо варианты слова «праздные» — «бесполезные», «скучающие», «бездельники» — уже несут в себе оценку и осуждение.) Правда, термин «класс праздных» изначально употреблялся Вебленом для характеристики верхних десяти тысяч Аме-

[1] Веблен, Торстейн (1857—1929) — американский экономист и социолог. Один из его трудов называется «Теория класса праздных».

рики его времени, но мы можем без опаски отнести его к касте избранных любой перезрелой эпохи. Право же, воспользовавшись самой смелой аналогией, мы ошибемся меньше, чем пытаясь приблизиться к Микенам XIII века до нашей эры, как и «темной» «предысторической» эпохе, исходя из того, что, ежели Микены хронологически опередили классическую историю Греции на пять-шесть столетий, то как раз на столько и были они «позади». Ничего подобного! Наивно же мерить историю человечества всего-навсего историей Европы, да еще и внутри ее более или менее связной историей последних двух с половиной тысячелетий! История человечества таит в своей глубине множество затонувших Атлантид. И одна из них, здесь, в нашей части света, самая последняя и реально (вещественно) достижимая Атлантида — именно Микены. Да, было еще в те времена варварство, сохранились остатки палеолита, существовали племена с первобытно-общинным строем, жили в глубине неразведанных материалов эндогамные народы; одним словом, вещественные следы, обнаруживаемые при раскопках на огромных пространствах нашей Земли, свидетельствуют о варварском состоянии той эпохи. Так-то оно так, но не обнаружит ли лопата еще три-четыре тысячелетия спустя следы первобытного варварства, относящиеся и к нашему, двадцатому веку? Конечно, их будет меньше, но намного ли меньше? И, увы, не только в нескольких — наперечет — этнографических резервациях! Три тысячи лет — не так уж долго, просто жизнь человеческая ужасающе коротка. И удаленность той или иной культуры, цивилизации, духа измеряется не временем. Во всяком случае, не календарем.

Однако я почти слышу здесь возражение. Ссылку на бесконечное множество примитивных и, как ни ряди, смехотворных верований: тут и разгуливающие по Земле боги, необыкновенные чудища и разные прочие вещи, при упоминании которых нынешний просвещенный человек способен лишь улыбнуться — и уже хотя бы поэтому, из-за этой его улыбки, мы вправе, казалось бы, существовавшую три тысячелетия назад микенскую эпоху снисходительно-ласково именовать детством человечества.

С фактами спорить трудно. И если уж мы вспомнили разгуливавших по Земле богов, то ведь и это — факт: множество раз на протяжении человеческой истории, причем гораздо, гораздо позднее микенской поры люди вслух ли, мысленно ли желали душой и телом предаться богу своему — правда, никогда это пожелание не исполнялось так часто, как именно в XIII веке до нашей эры. Это факт. А вот, например, и другой факт: в апреле 1957 года я посетил Краков. Иными словами, дело было во второй половине двадцатого века, в крупном городе строящей социализм страны. А приехал я туда в тот самый день, когда являлась там собственной персоной пресвятая Богородица. Она прибыла несколько раньше меня, часов в пять утра, мой же самолет приземлился около десяти. Она к этому времени уже укатила, так что личная встреча не состоялась. Однако я встретился с пятнадцатью тысячами человек или около того — мужчинами, женщинами, молодыми, пожилыми и старыми людьми,— которые в тот самый вечер стояли на одной из площадей Кракова, каждый со свечою в руке, и до полуночи распевали священные псалмы. Я многих расспрашивал, довелось ли им увидеть пресвятую деву и как она выглядела. Мне говорили, что видеть не видели, но одна старушка видела, и что гостья была в голубом плаще. На площади стояло пятнадцать тысяч человек, из них четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять чуда не видели. Но все знали: одна старушка видела. Не знали только, какая именно старушка, так что и с очевидцем поговорить мне не удалось.

Почему ж в таком случае нам не верить, что примерно то же происходило у эллинов: с Зевсом, Аполлоном и другими богами лично встречались сравнительно немногие. Но буквально каждый слышал, что кто-то с ними встречался лично. Да что уж далеко ходить: ведь не прошло и двух лет с тех пор, как здесь, у нас, в Венгрии, некая ведьма *взглядом* избивала ребенка, привораживала парней и девушек, снижала удойность коров, колдовством навлекала смертельные болезни и прочее и прочее. В Англии последние пятьдесят лет неоднократно появлялось лохнесское чудовище. И научные журналы исправно знакомили читателей с различными на этот счет гипотезами. В XIII веке до нашей эры цивилизация существовала на крошечной территории, значительно меньшей, чем географические пределы цивилизованных стран, прочие же территории были очень и очень велики. Однажды углубившись в них — с чем только ни встречался, о чем только ни рассказывал потом пришелец из дальних краев! И какими различными способами объяснял увиденное! В довершение всего, до нас эти объяснения дошли, по большей части, в пересказах поэтов! Что, поверьте, весьма и весьма существенно.

(Но отчего мы полагаем, будто три тысячи лет назад не было среди живших тогда людей — да еще в таком, казалось, прочно сложившемся и незыблемом обществе, как микенское,— строгой и точной конвенции, согласно которой они могли просматривать реальную действительность сквозь любую сказку. И отчего мы полагаем, будто наши представления о действительности, выраженные строгим языком самых модных, развитых и точных наук — химии и физики,— есть не поэзия, а сама действительность?! Что двойная спираль, например, есть сама дезоксирибонуклеиновая кислота, а не просто ее графическое изображение?)

В позднюю бронзовую эпоху южное и восточное побережье Средиземного моря было заселено особенно густо: рабовладельческие государства, страны — поставщики товаров поддерживали друг с другом международные контакты, соседствуя в своего рода положении «пата». В этих странах уже существовало упомянутое выше «сословие праздных» — супербогатый социальный слой, не знавший уже, как распорядиться своими делами и самим собой, тот слой, который мы даже с дистанции в три тысячи двести лет не могли бы определить точнее, чем определяет Веблен «праздных» своей Америки; это группа людей, у которых, в противовес инстинкту созидания, развивается инстинкт расточительства. Созидать эта группа уже не может, но что-то делать все-таки надо. Прежде всего она возводит в добродетель собственную беспомощность, то есть глубоко презирает труд. И болезнь свою тоже обращает в добродетель, то есть прославляет расточительство. Окружает себя максимальным числом максимально дорогих, но бесполезных предметов, испытывает вдруг потребность в таких вещах, которые не служат действительным потребностям и являются лишь символами, фетишами, социальными аксессуарами — демонстрацией власти и ранга. Например, придумывает колесницы с огромными распростертыми золотыми крыльями. Передвигаться на таких колесницах весьма неудобно — они громоздкие, тяжелые,— да и не в этом их назначение. Именно своей ненужностью они должны свидетельствовать, что владелец их — фигура. Или припомним хотя бы щит Ахилла! Правда, Гомер считает его делом рук Гефеста, однако все указывает, в сущности, на то, что вышел он из микенских мастерских. Откроем «Илиаду», попробуем, как можем, срисовать этот щит, а потом представим его отлитым в бронзе! Мы убедимся: этот щит можно повесить на стену, можно считать его художественным рельефом, но никак не доспехом воина: он тяжел, как смертный грех, и так

изрыт углублениями и выпуклостями, что стрела и копье не только не отскочат от него, но непременно в нем застрянут. Этот щит напоминает машину частника с улицы Ваци[1] или шубку жены этого частника. Или самую жену. То есть не служит предназначению своему, а лишь кричит о себе, о своей принадлежности, о том, что приобретен не трудом, поскольку трудом такое и не приобретешь, и что, следовательно, владелец не имеет отношения к тем, кто трудится, у него есть излишки и он может позволить себе роскошь быть расточительным. А так как труд есть самая естественная и самая древняя функция человека, та функция, которая сделала и делает его человеком, то для «сословия праздных» характерно глубокое презрение к естественному вообще. Микенская мода сделала все, чтобы лишить женское тело его природных форм. Теперь и женщина не должна быть женщиной — безжалостно затянутое, деформированное женское тело также служит свидетельством высокого ранга. «Праздные» во все времена, в том числе и в микенские, расточали и то, что для нас, простых смертных, самое дефицитное и самое дорогое: время. Их речи были пространны и витиеваты. Они заполняли дни утомительными и бессмысленными, пожирающими время обрядами. При этом даже сами не очень-то знали смысл и происхождение этих обрядов, но следовали им неукоснительно под страхом отлучения от «общества» — словом, то были аксиомы, равно как и само расточительство. Вроде нынешних: «Джентльмен так не поступит!» Почему? «Потому что тот, кто так поступает,— не джентльмен». Характерные изменения произошли в искусстве этой эпохи. При острой нехватке сырья и рабочей силы удовлетворить стремление к роскоши, охватившее поветрием моды все более широкие, даже средние круги,— удовлетворить максимально, но по дешевке — можно было лишь с помощью «художественного» ширпотреба. В результате качество и обработка массовой продукции прикладного искусства разительно снизились по сравнению с предыдущими столетиями. «Естественное» становится объектом презрения и в искусстве, объявляется вульгарным, критский стиль заменяется абстрактным.

Общий тонус микенского общества был, очевидно, очень низким: отсутствовало то, в чем человек нуждается более всего,— перспектива; государство было заинтересовано, чтобы этого не замечали, чтобы жили бездумно и расточительно, следовали моде неуемно, видели смысл и цель в обладании всяческой рухлядью, полагая, будто обрели то, чего нет: гармонию.

Как ни досадно, подозреваю, что Микены для меня оказались только предлогом, и я здесь настроился, собственно говоря, критиковать общество потребления. Однако, хотя я отдаю себе отчет в скромных своих возможностях, позвольте мне все же надеяться, что вы увидите за этим и нечто большее. Микенское общество было именно таким или почти таким, каким я его описал,— это научно установленный факт; по крайней мере, такова была правящая прослойка и примыкающие к ней, ей подражающие средние слои, особенно же в сравнении с дорийцами. А поскольку в нашем словаре уже имеются понятия «общество потребления» и «сословие праздных», мы имеем право описывать Микены с помощью этих современных терминов.

Говорю же я это только для того, чтобы пояснить: Геракл был в Микенах своего рода камнем преткновения; но таким же камнем преткновения был он и для дорийцев — словом, постоянно мог ожидать, что об него, того и гляди, споткнутся. Дорийцы почитали Геракла, но почитали за то, что сам он не особенно чтил в себе: за его силу. Характерно, что именно это его свойство всячески возвеличивалось и

[1] Улица в центре Будапешта, полная модных магазинов и ателье, в том числе и частных.

расцвечивалось в легендах. Нет, Геракл не чувствовал себя польщенным тем уважением, какое питали дорийцы к мощи его тела. Вообще, этот человек, уже в летах, вынужденный вновь и вновь отправляться в трудные военные походы, не мог особенно любить дорийцев, которые превыше всего ставили единственную добродетель — воинскую доблесть и знали единственную форму жизни — казарму. Геракл вовсе не был солдатом по призванию; он был героем, но не мечтал о казарме ни для себя, ни для других. Я уж не говорю сейчас о некоторых странно жестоких традициях дорийцев. Скажем, об обязательных убийствах илотов — обязательных практически ежегодно, однако осуществлявшихся в разное время, чтобы всякий раз это было неожиданностью. Молодежь училась при этом нападать из засады, незаметно окружать вражеский объект, налетать и тут же бесследно исчезать, бесшумно и быстро убивать. Такова была одна сторона дела. Вторая же состояла в том, чтобы держать в постоянном страхе илотов...

Геракл, надо полагать, все понимал, да и объясняли ему, верно, не раз, что это «в порядке вещей», однако мы уже знаем его настолько, чтобы догадаться: такой «порядок» не мог быть ему по вкусу. Вся его жизнь прошла, можно сказать, в покаянии за убийство. За убийство, которое было, между прочим, тоже «в порядке вещей». Тогда как в Микенах среди владык города и его повелителей едва ли сыскался бы хоть один, кто не был запачкан родственной кровью, пролитой по злому и подлому умыслу!

Он видел, что дорийцы в чем-то живут более чистой жизнью, чем микенцы, но стоило ему подумать о том, чтобы принять ее, как сомнения разрушали все. Ведь любишь тех, кого любишь, и ненавидишь тех, кого ненавидишь. Геракл любил родину, семью свою, товарищей, говорящих на одном с ним языке и думающих так же, как он,— тех, без кого человеку невозможно существовать. Но он не мог с одинаковым жаром и страстью постоянно ненавидеть другие народы — не мог и потому не очень верил, будто кто-то другой это может. Он видел: дорийцы держатся так, словно они-то могут. Видел: стоит произнести перед ними имя врага, на которого как раз готовится нападение, и они внезапно начинают потрясать копьями от ярости, топать ногами и вопить так, что на шее набухают жилы. Он видел это сам, своими глазами! Видел такой поразительно действенный способ саморазъярения, как традиционные на микенских единоборствах речи обоих противников, в которых буквально каждое слово — вступление, основная часть, заключение — определено заранее строжайшим этикетом. Сам он не раз испытал — например, в единоборстве с Антеем,— что, не разозлившись по-настоящему, драться толком не может. Но, чтобы прийти в ярость, он должен драться чуть ли не день напролет: одним лишь повторением имени Антея гнева его не разбудить. И любить он умел сильно. Когда Гилас исчез, он искал его долгие годы, исходил невесть сколько земель, все дороги прошел и, быть может, сейчас еще ждет, верит, что однажды разыщет юного своего друга. Он любил родину. Трогательно любил Фивы, любил, доказав это всей своей жизнью, Элладу. Но ему непонятно было то, что вытворяли «во имя родины» эти спартанцы: во имя родины без всякой необходимости спали на голой, жесткой земле; во имя родины добровольно ложились под розги; во имя родины одалживали друг другу жен; женщины несли каждого новорожденного на совет старейшин и, если совет полагал, что демонстрируемый младенец не вырастет в достаточно бравого воина, беспрекословно принимали к сведению, что крошка будет уничтожен, а им надлежит родить во имя родины же следующего ребенка; голодные как волки молодые воины непременно оставляли на тарелке частицу и без того мизерной порции со словами: «Как ни сладок был бы этот

последний кусочек, отказываюсь от него во имя родины» — и командир не говорит им: «Вот, дуралей!» —а, напротив, публично их восхваляет...

В конце концов Геракл решил так: кто воспитан в этом духе с детства, тот, верно, счастлив. Счастлив иначе,— лучше! — чем микенский аристократ со своими скульптурами из золота или обыватель с гномиками, украшающими его сад. С раннего возраста человек привыкает к этому образу жизни, все вокруг него живут точно так же, все единодушно признают, что это, именно это, и есть счастье. С легким сердцем отдал Геракл своих детей дорийцам. Сам же вернулся домой в Микены. Ненадолго, ведь его и не терпели там особенно долго. Да и он недолго выдерживал при дворе. Всякий раз, возвратившись, не мог приноровиться к постоянно меняющемуся придворному этикету, впрочем, не особенно и приноравливался, за что — он не мог не замечать этого — его презирали там, шепотом называли мужланом. Не любил он и микенских женщин, даже смотреть-то на них боялся: того и гляди, переломятся! Да и не доберешься до них, увешанных колючими, острыми драгоценными побрякушками, покрытых слоем краски, наложенной на веки, губы, ногти, буквально на каждый открытый участок тела, также в строгом соответствии с то и дело меняющейся модой. Не любил аффектированную микенскую манеру речи, вообще не любил долгих разговоров и не хотел ни понимать, ни изъясняться по-микенски, то есть говорить не так, как оно есть на самом деле, не называть стул стулом, боль болью, ибо это «вульгарно», в элегантной же беседе обо всем на свете следует выражаться описательно. Геракл понимал шутки, но никак не мог себе уяснить, что остроумного в шутке, повторенной сто раз на дню. И наконец, ну ладно уж взрослые, какие есть, такие есть, но оказалось, что он совершенно не переносит при дворе даже детей,— и это особенно его озадачивало.

Ох, как он не любил отпрысков Атрея! Когда, глядя на стены Трои, он вспомнил былое — гусарский налет свой после вероломства Лаомедонта,— ему вдруг подумалось: если когда-нибудь этому прощелыге Агамемнону, завзятому лошаднику, и плаксе Менелаю доведется явиться сюда с войной, они уж, верно, проторчат под этими стенами, по меньшей мере, лет десять с их франтовством, визитами вежливости, грандиозными гекатомбами, сварами из-за трофеев, перебранками из-за какой-нибудь сопливой дочки пастуха-царя, дипломатическими церемониями по всякому поводу, парадным конвоированием, приемами — да-да, на все это ушло бы никак не меньше десяти лет! (Вот только не подумал он, что и эта война — случись ей все-таки быть — породит своих инвалидов-ветеранов. Которые станут бродить по свету с геройскими песнями и нищенскою сумой. И кто же из них, надеясь хоть что-то получить на пропитание, запоет так: «К вам я пришел, о друзья, с достославной войны, что затеял дурак-рогоносец да его свихнувшийся братец, хлыщ, для которого конь самых славных героев важнее; с дюжину было еще там таких, как они, горлопанов; грабили мы каждый день беззащитные Азии села; вдоволь там было жратвы, для разгула всего нам хватало, лучшие Лемноса вина и женщин, прекрасных, как Эос, нам корабли доставляли; вот только иной раз стычки случались — тут нам не везло: так попался и я с перепою — враг меня глаза лишил...» Нет, нищий ветеран ничего подобного никому не расскажет. Уж если самый заурядный отставник врет напропалую — что спрашивать с инвалида, который и живет-то своими россказнями! Нет, нет, его героическая песнь поведает о том, что Троя была неприступной крепостью, ее стены возведены Аполлоном и Посейдоном, а сражались против нее не только люди, но даже сами боги, и все воины, все до единого, были герои, которым незнаком страх. А в

последующие столетия правнуки нищего ветерана уже не ограничатся рассказами о собственном предке — надо же помнить и о субординации: вставить стих-другой, например, о предке нынешнего толстосума, чтобы верней подобраться к его мошне,— велика ли важность, если предка того и близко не было около Трои, если он в то время пас свиней где-то в Фессалии или бог его ведает кем и чем был. Но потомка его нужно распотрошить во что бы то ни стало — а чем? Да вот этими самыми несколькими строчками о его предке, которые он потом оплатит как миленький,— знает ведь, болван, что предок пас свиней, но с охотой поверит, будто и он был царь, воевал под Троей. (До чего же нам повезло, что Гомер под конец так расписал их всех, так посмеялся — вот уж поистине гомерическим хохотом!)

Нам знаком этот тип добродушных великанов. Если двор вызывал у Геракла отвращение, то не в последнюю очередь потому, что он никого не мог там любить, даже детей. Этих избалованных и наглых барчуков, никогда не испытавших ни усталости, ни страдания. Щенков, которым «все дозволено», потому что «отец всех главнее», потому что «мы не такие, как все»; которые за коротенькую свою жизнь видели вокруг себя только лесть и рабскую приниженность, пропитанную страхом. Агамемнон! В двенадцать лет у него уже собственные конюшни. Скольких домашних учителей задергал он до смерти! «Коняшка», видите ли, для него — все. «Ох, и состязание нынче устроим! Бегут лошади Диоскуров!» И тут уж астрономия, математика — все побоку, в голове одни лошади. Да если бы еще он знал в них толк! Так нет, только словечек нахватался: «холка», «бабки», а главное — «О, восточная лошадка!». Менелай? Этот только и умеет вопить — то из зала визг раздастся, то со двора. И тотчас опрометью мчится целая орава слуг: «О, всемилостивейший Зевс, что случилось с нашим золотцем!» (А золотце садануло оправленной в бронзу сандалией Геракла по щиколотке и тут же завизжало, точно его режут...)

Но из-за этого, из-за всего этого — обрушить на Микены дорийцев? Послушаться Креонта, сколотить союз, призвать только что распущенных по домам воинов, вербовать еще и еще, атаковать истмийскую линию укреплений, вступить с войском на Пелопоннес, ввязаться в многолетнюю братоубийственную войну,— кто остановит ее, коль скоро она начнется?! — с огнем и кровью пройти по земле Персея, обратить ахейцев в илотов — ради того, чтобы спасти их? Хорошенькое спасение.

И все потому, что Микены погрязли в разврате и при дворе опять взяла верх партия войны?

Безумен план Креонта. Война против войны?!

...Да, безумен план Креонта. Ведь он сулит гибель Микенам, но одновременно гибель всего, ради чего до сих пор жил и страдал Геракл. Поэтому, какие бы ни кипели сейчас в душе его страсти, как ни казалось просто подсказываемое решение, он не мог ответить искусителю ничего иного, кроме: «Отыди, Сатана!» Разумеется, он выразился вежливее. Сказал, что верит в силу и справедливость Зевса; что рано или поздно здравый смысл восторжествует, *должен* восторжествовать и в Микенах. Примерно так.

Геракл находился во власти совершенно особого обета. Обета двойственного и противоречивого — связанного с предсказанием-приказом дельфийского (или додонского?) оракула. Когда в безумии своем он совершил нечестивый поступок, а затем, готовый на все, молил о прощении, божественный отец поставил ему следующие условия:

Геракл (злоупотребивший, как известно, властью) должен теперь в качестве слуги, слуги самозваного соперника своего, совершить десять подвигов. (Два подвига Эврисфей — или скорее плут Копрей —

объявил недействительными. Так герой вместо десяти совершил двенадцать подвигов.) И должен он совершить их та́к и та́к жить, чтобы в смерти своей удостоиться обожествления!

Следовательно: действовать и удостоиться обожествления.

По отдельности то и другое, я сказал бы, даже нетрудно. Во всяком случае, не невероятно трудно. Ведь большинство людей на протяжении всей жизни худо-бедно что-нибудь да делают. Другие же и вовсе ничего не делают, удаляются от мира, становятся отшельниками, только и знают, что взирать неотрывно на господа своего, только молятся и размышляют, пребывая в глубочайшем презрении к преходящему здешнему миру,— и в конце концов, в согласии с природой вещей, обожествляются.

«Будьте добрыми и живите счастливо!» Совершенное, абсолютное пожелание, не правда ли? Но стоит кому-то начать что-то делать во имя этого, как он становится уже не для всех и не абсолютно добрым, да и не приносит тем поголовного и абсолютного счастия.

«Свобода, равенство, братство!» Покуда мы рассуждаем об этом, беседуем, пишем эти слова, они совершенны, абсолютны. Но то, что мы делаем во имя их, уже далеко от абсолюта.

Действовать можно лишь в данном месте и времени, среди данных обстоятельств. Обожествление — абсолют. Действие всегда в какой-то мере и компромисс. В обожествлении компромисса нет, не может быть.

Известно ли нам было это о Геракле? Он, во всяком случае, это знал.

(Как знал, конечно, и то, что Зевс тоже несовершенен. Он слишком хорошо знал Зевсовы слабости. Однако Зевс богом родился. Гераклу же предстояло стать им!)

Но совместимо ли вообще то, что есть, с тем, чему надлежит быть?!

Геракл попытался это совместить — в том и состоял подлинный подвиг Геракла.

Вот почему я сказал несколько раньше: Геракл творил не просто добро, а то, что в каждой данной ситуации было менее дурно; то есть старался найти что-то лучшее...

Затеять войну, чтобы прогнать Пелопидов — обеспечить победу Гераклу и его политическому курсу в Микенах — собственно говоря, это тоже не было дурно, собственно говоря, Креонт не такой уж безумец. Но мир — лучше. И, пока можно, нужно стараться его сохранить. Геракл выбрал этот путь.

Вступление в город

Геракл полагал, что прибывает в Микены в самый подходящий момент, дабы информировать царей о готовности Приама прийти к соглашению и тем свести на нет происки военной партии.

Но оставим сейчас эту тему, в конце концов, предположения Геракла — его личное дело. Нам же, пожалуй, именно здесь удастся сорвать первую печать с загадочной истории Прометея.

Прометей явился в Микены в самый что ни на есть неподходящий момент.

Рассмотрим все по порядку.

Атрей сверг Фиеста; дворцовый переворот, внутриполитический кризис, при дворе и вообще в политическом мире Пелопоннеса все поспешно перестраиваются, приспосабливаются.

Теламон похитил Гесиону, Троя угрожает войной. Провоцировали военную угрозу ахейцы. Причем сознательно. Ведь больше всего шан-

сов унизить Трою именно здесь, на греческой территории. Тем не менее война есть война, иными словами, шансы могут быть у обеих сторон. Поэтому все, кто может, бегут в Микены. Собирается военный совет.

Из Дельф приезжает Калхант с ободряющим пророчеством. Увы, эллины относились к пророчествам примерно так же, как мы, скажем, к астрологии, гороскопам. И верим и не верим, словом, играем... Впрочем, пророчество — дело хорошее, слушать приятно, как же, как же!.. Однако мобилизацию все-таки откладывать не стоит, Приам может объявиться в любой момент. Необходимы деньги, воины, оружие. Много. И ведь ни о чем еще не договорились.

В такое-то время в Микены прибывает бог.

Давнишний — возможно, отставной уже — бог, бог-ветеран.

Бог, просидевший миллион лет!

По воле Зевса!

Но все-таки, все-таки... это он дал огонь и ремесла, важная штука, черт побери... Да и вообще, как ни верти, но он — бог.

Скоро прибудет. Именно сейчас, когда в город набилась вся Эллада.

Прибудет гостем.

К сожалению — вернее, слава богу,— я не нахожу для этого случая никакой аналогии из современной жизни, но и без аналогии понятно, что именно в такую минуту — независимо от места действия и эпохи — человек непременно воскликнет: «Только этого нам и не хватало!»

Когда наши герои прибыли на Истм, в Микенах давно уже готовились к их прибытию: лихорадочно писали транспаранты и возводили триумфальные арки. (Я мог бы употребить и более современные наши термины, для этого, как мы увидим, даже не требуется особенной смелости.)... На дорогах страны всегда бредут путешественники — любители дальних дистанций, поспешают быстроногие спринтеры. Отряд Геракла двигался своим темпом, извечным темпом солдатских переходов, неизменным во все времена. Часто, особенно же теперь, возвращаясь домой, они устраивали долгие привалы. Последний такой привал был перед линией укреплений на Истме: нужно же было по-хорошему проститься с разбредавшимися на все четыре стороны товарищами по походу! В этих случаях даже эти небрежные к этикету пуритане, даже эти видавшие виды воины строго соблюдали ритуал. Прежде всего они приносили соответствующие событию жертвы. Что, как я уже упоминал, лишь отчасти может рассматриваться как религиозный акт в нынешнем смысле слова...

А в это время какой-нибудь торговец, государственный курьер или просто обыватель, спешивший навестить своих родственников, легко обгонял неторопкий отряд; он-то и уносил с собою — даже из-под самой Трои, а тем более из Афин, Фив — весть о том, что победители амазонок не за горами. Так что эта весть значительно их опережала. К слову, о службе информации и вообще о распространении новостей: да разве мы — мы, современные люди! — узнаем новости по радио, телевидению, из газет? Разве и сегодня — что уж скрывать! — самые пикантные, а иногда и самые важные сведения достигают наших ушей не наидревнейшим путем, из уст в уста? Так, словно Маркони, Эдисона и всех прочих не было никогда и в помине?! Кстати, обратите внимание, как оперативна эта древнейшая служба информации! Так что, если давние наши предки говорили, пользуясь словами поэтов, о быстрокрылой Ириде,— намного ли они отстали от нас, именующих эту вестницу богов «телекоммуникацией»?!

Короче говоря, было бы чистой наивностью — не только неосведомленностью в делах древних, но и просто недостаточным знанием человека и общества,— представить себе прибытие наших героев в Микены как-нибудь так: в башенке над Львиными воротами сидит стражник; он видит вдали облако пыли, прикладывает козырьком ладонь к глазам и говорит: «Глянь-ка, а! Чего это там?»; но вот из облака пыли медленно проступают очертания отряда... опять — ладонь козырьком, опять — «глянь-ка, глянь! Чего это там? Всадники, пешие, колесницы... ну и ну!»; проходит еще немного времени, и вот сторожевой, словно сойдя со страниц какого-то отечественного нашего исторического романа, восклицает: «Будь я проклят, если это не отряд Геракла. Покарай меня бог, коли это не так!»

Вот уж придумают, право!

К тому времени как на коринфской дороге показалось пресловутое облако пыли, воинов уже поджидала в полном составе депутация от города, за ней волновалась шумная толпа детишек и ротозеев, все население Микен нарядилось по-праздничному (по крайней мере, та часть населения, у которой имелись праздничные наряды); город оделся флагами,— то есть, применительно к тем временам, все ворота, общественные здания и даже дома наиболее тщеславных горожан украсились цветами и зелеными ветками; на дворцовом дворе, где обычно совершались жертвоприношения, уже сгрудились специально отобранные, безупречные во всех отношениях жертвенные коровы, козы, бараны, выстроились в ряд масла и вина; государственный совет в двадцать пятый раз обсудил порядок празднеств, места за пиршественными столами, заготовленные заранее речи, предписанные на все случаи одеяния, вообще — каждую мельчайшую деталь каждого акта и события, как тому и быть надлежит. Над Львиными же воротами два коротких приветствия-транспаранта в сжатой форме выражали значение дня: «Слава героическому сыну нашего города по случаю одержанной им победы мирового значения!», «Микены приветствуют принесшего огонь Прометея!»

Боюсь, что любезный Читатель упрекает меня сейчас не столько за игру фантазии, сколько за игру его, Читателя, долготерпением. И что анахронизмы, мною допускаемые, нисколько не остроумны, ибо оскорбляют самый элементарный литературный вкус.

Сперва позвольте именно о вкусе. В эпоху, когда еще не было, так сказать, промышленности развлечений, поставляемых улице конвейерным способом, любое событие превращалось в грандиозное действо. Казнь ли через повешение, приезд ли знатного гостя — все было для них равно театром, цирком, общественной жизнью. Когда нас навещает глава какого-нибудь иностранного государства, школьников приходится собирать, чтобы организовать встречу. А попробовали бы в Микенах — да хотя бы и в Лондоне XVIII века — удержать их в стороне! Все равно что не подпускать наших детей к телевизору. Ну, а транспаранты — были они или не были? Транспаранты — не новое изобретение! Все празднества во все времена имели свое содержание, программу, сформулированную также и в лозунгах. Эти лозунги и писались и выкрикивались. На случай, если кто-то не сумеет их прочитать. Да и как суметь тем, кто несет плакат либо идет позади него.

Такие празднества — как бы ни были они спонтанны — всегда имеют свой порядок, свой ритуал. В старину же, когда для большинства людей это было главным развлечением,— тем более. И куда более — в Микенах.

Ибо в застывших, неразвивающихся обществах вообще очень много обрядов. Их особенно много, когда вера, идея и практическое действие отдаляются друг от друга так, как это было в Элладе XIII

века до нашей эры. Да и вся мифология подтверждает существование великого множества обрядов, хотя и мало освещает их характер...

Геракл был популярен в Микенах. Не нужно забывать, что первые его подвиги служили самому городу непосредственно. Более того, Геракл освободил из кавказского плена одного из богов — не только освободил, но даже привел с собою в Микены. Человек улицы видит это иначе, чем господа наверху, во дворце! Геракл давно отправился в свой поход — может быть, в какой-то момент даже распространилась вдруг весть о его смерти; боги вообще не часто разгуливали по Микенам, вернее, не часто об их приходе становилось известно заранее; и вот теперь тысячи микенцев не просто услышат от свидетелей, что в их краях побывал бог, но сами могут стать свидетелями этого события, притом уведомленные загодя. Кто такой Прометей, они в общих чертах знали, а вот каков он — о том ходили всяческие слухи, и каждому донельзя хотелось увидеть, каков же он на самом деле. Почти каждый, правда, так или иначе описывал другим, как бог выглядит, но в то же время сам умирал от желания убедиться воочию, так ли это. Короче говоря: популярный герой плюс особо редкий гость. Припомним, что вытворяли мы в Шиофоке в честь текстильного коммерсанта из Западной Германии. А теперь представим себе то же самое — но по отношению к богу! Даже сделав скидку на то, что микенцы самолюбивы, что они — предки великого и культурного в будущем народа, было совершенно очевидно (и это понимали все главы города): событие предстоит незаурядное, население будет отмечать его торжественно, необходимо усилить органы порядка — будет много пьяных, съедутся все окрестные проститутки. Одним словом, супер-Шиофок перед лицом суперкоммерсанта из Западной Германии.

Как поступает в таких случаях власть? Независимо от отношения к самому событию! Естественно, отдает *распоряжение:* праздновать! Во-первых, празднество все равно состоялось бы и без распоряжения. Во-вторых, людям полезно знать, что они празднуют не стихийно, а по указанию властей. Таким образом, прибытие Геракла стало делом государственным. Должно было им стать.

Однако нетрудно догадаться, что во дворце — независимо от того, выражалось это вслух или нет,— у каждого нашлись свои оговорки. Хотя бы то уже, что Геракл опять тут как тут. И опять — победителем. (Притом, разумеется, как всегда,— в такую-то критическую минуту! — со своими бредовыми мирными прожектами, которые вполне могут прийтись по душе кое-кому из напуганных прибрежных царьков!) Правда, на сей раз приветствия и восторги толпы разделятся между героем и знатным гостем — Прометеем. Впрочем, утешение слабое.

Но кто-кто, а Калхант, во всяком случае, свои оговорки не прятал, не таил про себя. Что мы о нем знаем? Он — троянский ренегат, следовательно, фанатичный ахеец. Молодой и доктринерствующий идеолог. Обуреваемый жаждою власти (которой и добьется однажды в Микенах). Ради этого всячески ищет популярности. (Под давлением общественного мнения именно он — будучи сторонником Зевса — потребует впоследствии принести в жертву человека. Правда, всего лишь женщину: Ифигению.) Наконец, он безмерно завистлив (что и станет причиной его смерти: вскоре после Трои он встретится с провидцем, его превзошедшим, и — в буквальном смысле — задохнется от ярости.) «А что, если этот бог провидец почище меня?!» — Калханту достаточно этой мысли. Он тут же, волнуясь, подымает важный *принципиальный* вопрос: а хорошо ли для Микен принимать у себя бога, который, мягко выражаясь, несколько запятнан? Не следует ли провентилировать у соответствующих властей, каким образом свершилось пресло-

вутое освобождение, правомочно ли оно и что говорят по этому поводу на Олимпе? Решительным своим поведением — ренегатством — и благоприятным пророчеством Калхант уже приобрел во дворце определенный авторитет. Позднее этот авторитет окажется для семейства иной раз очень некстати. (В жестокий переплет попал Агамемнон и с ним вся ахейская знать, когда Калхант потребовал принести в жертву Ифигению. Уж очень долго радовались они тому, как ловко оседлали кровавый шовинизм — пользуясь нынешним выражением — и ханжество провидца-жреца! Позднее Агамемнон поплатился за это жизнью.) Однако сегодня авторитет Калханта еще на пользу Атрею, то есть интересам государства,— значит, ему обеспечена государственная поддержка. С другой стороны, представляющее государственные интересы сословие (точнее: сословие, чьи интересы представляет государство) не может все же допустить, чтобы этот сопливый щенок попросту помыкал государственным советом эллинов. Поэтому слушать его слушали, даже кивали согласно на его речи, но дух противоречия уже зудил, искал выхода. Рассуждали они так...

Если бы Зевс не пожелал, чтобы Геракл освободил Прометея, он сумел бы ему помешать.

Если по какой-либо причине Зевс чем-то отвлекся и опоздал, то за время долгого пути Геракла все же можно было выбрать момент и опять пленить Прометея, снова заковать его в цепи и даже — такие прецеденты были — поразить перуном и отослать в Тартар.

Нельзя не оказать почета Прометею — все-таки он бог, к тому же гость.

Нельзя не принять его с почетом — потому что, сказать по правде, мы и сами, члены совета, уже буквально помираем от любопытства, так не терпится нам увидеть его. А что уж говорить о наших женах!

И наконец, еще и еще раз: нельзя не принять его с почетом, потому что народ все равно это сделает.

Так лучше уж примем его с почетом мы и, разумеется, тотчас вовлечем в свой круг...

А теперь — по поводу плакатов. Плакаты были, не могли не быть, существовали же какие-нибудь официальные, заранее подготовленные текстовки. Ибо это — в государственных интересах. Но если народ в увлечении позволит себе всякого рода анархистские, необдуманные выкрики, если кто-то начнет поминать обстоятельства наказания Прометея, а не то — в пылу воодушевления да еще под влиянием алкогольных возлияний, нередких в таких ситуациях,— вздумает выкрикивать что-нибудь непочтительное в адрес Зевса и прочих небожителей!.. Тут уж недалеко и до беды, этого микенский двор допустить не может ни в коем случае. Особенно же при таком сложном внутри- и внешнеполитическом положении!

Зевс же, между прочим, бог гостеприимства, защитник прав гостя. Следовательно, как ни суди о деле Прометея, но до сих пор государственному совету нетрудно оправдаться в том, что Прометея приняли. А вот если Зевс скажет: мол, так и так, мне донесли (и донесут, ясное дело, донесут!), что народ микенский кричал при этом по моему адресу то-то и то-то,— нет, такое брать на себя перед Олимпом немыслимо. А значит — необходим протокольный текст. Но каким должно быть приветствие Прометею? «Приветствуем Прометея»? Невозможно. Слишком голо. Таким приветствием не встречают даже сельского судью в его деревеньке. Добавить определение? «Приветствуем великого Прометея»? М-да, определение, кажется, самое банальное, а на Олимпе уже вполне могут скривить губы: «Что значит «великий»? Почему?! Можно упомянуть ранг его: «Приветствуем бога Прометея!» Он был богом, это общеизвестно, а вот действителен ли этот ранг сей-

час? И если даже действителен, разумно ли обращать на то внимание олимпийцев?! Опять-таки — именно сейчас, при таком исключительно сложном, шекотливом внутри- и внешнеполитическом положении! А ведь нужно как-то упомянуть в приветствии и о делах его... Так они судили-рядили — предлагали, обсуждали и отбрасывали поочередно множество вариантов, пока, наконец, не остановились на простой, неброской, но выражающей самую суть короткой фразе: «Микены приветствуют принесшего огонь Прометея!» Только факты, никакой оценки, за такой текст государственный совет может смело постоять и перед олимпийцами...

Свою способность фантазировать я отнюдь не ценю выше той же способности любезного моего Читателя. И готов не глядя принять любые варианты по каждой детали. Но что касается действительной сути дела, то здесь я, безусловно, прав. *По сути* микенский двор занимали именно такие заботы, и — *по сути* — именно такое нашли они решение!

И они были всего лишь простыми смертными. И они ужасно серьезно принимали ту коротышку жизнь, которая была им отпущена. И они стонали под гнетом властей предержащих и собственных страхов.

Не будем же презирать их, не будем высмеивать. Они не меньшие наши братья, они — наши предки!

А теперь я и в самом деле дам немного воли своей фантазии и попробую назвать по имени того человека в микенском дворце, который в ходе дискуссий наиболее резко формулировал возникающие дилеммы и в конце концов подсказывал успокоительные решения.

Его имя — Терсит.

Образ Терсита, донесенный до нас «Илиадой», поразительно сходен с тем образом, в котором предстает перед нами, по следам хроник XV века, Ричард III. Это был горбатый, хромой гном, к тому же косолапый и лысый злючка, постоянно чинивший всем неприятности. Разумеется, мы должны подходить к Гомеру критически. Двенадцать следующих друг за другом поколений поэтов на протяжении четырех веков с радостью дополняли безобразие Терсита новыми атрибутами. А он, может, и не был безобразен, просто был горбат.

. . . . . .

Несомненно, Терсит принадлежал к знати, но не к той ее части, у которой могли быть надежды приблизиться к верховной власти. Происхождение его — быть может, старинная родовая знать? «Сын Агрия» — Агрий в мифологии столь же частое имя, как у нас Ковач. Правда, здоровые его родичи достигают кое-какого положения в Троянской войне. Но «ва-банк» Троянской войны даже таким, как Одиссей, с его, мягко выражаясь, сомнительной родословной (незаконный сын распутной дочери вора!), давал возможность выдвинуться. Тогда почему мы вообще поминаем имя Терсита, почему он столь неоспоримо принадлежит все-таки к числу знати? Очевидно, потому, что он состоятельный человек. Но откуда его состояние? Владей он каким-либо мастерством либо искусством, мы об этом знали бы. Однако никаких упоминаний о происхождении его богатства нет. Таким образом, возможны лишь два варианта: оно составлено благодаря торговле либо пиратству. В первом случае ему бы никак не попасть в число знати. Фигура же его и поведение не позволяют допустить, чтобы он занимался пиратством. Следовательно, Терсит принадлежал скорее всего к тем — весьма почитаемым в обществе — богачам, чье состояние добыли морским разбоем еще отцы и деды.

Итак, вот он сидит среди знати, деньги у него есть, положения

нет, и он — калека. Чем обратить на себя внимание? Внимание политических заправил и — что в этом возрасте ему, быть может, еще важнее — внимание женщин? Причем в том кругу золотой микенской молодежи, в котором и женщины и мужчины могут выделиться только красотой — мужчины еще и спортивными успехами. Или властью. Или умом. Что до власти, то ему до нее, мы знаем, не дотянуться. Следовательно — умом.

Умом-то умом, но как именно? А вот так — иронией; поводов предостаточно — сильные мира сего подбрасывают тему за темой, подают прямо на блюдечке. Ох уж это церемонное, немыслимо серьезно относящееся к себе микенское общество! Иронии оно не понимает, если же кое-что и улавливает, то объясняет лишь тем, что Терсит наглый, злой и пренеприятный субъект. Впрочем, мы ведь можем увидеть их всех через двадцать с чем-то лет под Троей; можем убедиться сами, с какой убийственной серьезностью относятся эти захлебывающиеся от восторга вояки, эти сказочно расфуфыренные, расфранченные, убранные в серебро и золото очаровательные гусаки к собственному умопомрачительному героизму. Можно ли это вынести без легкой святотатственной насмешки? Да еще тому, кто и себя-то не выносит без некоторой толики иронии?! (Да, он дошутился: такую зуботычину получил от Ахилла, что тут же и отдал душу богам. Только верно ли, будто от Ахилла? Просто не верится. Чтобы Ахилл поднял руку на калеку? Хотя... Уж очень в дурную минуту подвернулся Терсит, наговорил пошлостей, когда герой совсем потерял голову от горя, оплакивая смерть страстно любимого человека.)

Однако сейчас нам до Трои еще далеко. Мы сидим на государственном совете, который на наших глазах превращается в собрание беспомощных, тупоголовых болтунов. Все наиважнейшие вопросы забыты, отставлены в сторону; два дня напролет все заняты дурацкими проблемами этикета. Ибо в Микены прибывает божество! Что ж, в самое время! По крайней мере, увидит во всей красе эту компанию, где каждый боится каждого, каждый почитает себя наимогущественным вельможей, а между тем дрожит то перед Олимпом, то перед фанатиками варварами и готов подобострастно «считаться с чувствами» аркадских царей-свинопасов; где все друг другу что-то нашептывают, никто не смеет громко отстаивать свое мнение, а среди жалких идеек, перепархивающих шепотком от одного к другому, редко-редко мелькнет хоть одна здравая мысль, да и та принадлежит либо Нестору, который радрадехонек, что хоть на этот раз отделается дешево, а не кораблями, оружием или лошадьми, либо Калханту, человеку, правда, чудовищно ограниченному, но, по крайней мере, не совсем идиоту. А как явно тщится Атрей использовать молодого честолюбца жреца в своих интересах, не замечая при этом, что сложившиеся между ними отношения уже оборачиваются ему во вред! И тут же — дамы. Они-то, пожалуй, без труда заткнули бы за пояс своих повелителей-мужчин, да только нет у них возможности по-настоящему проявить себя. Вот и получается, что вся их мудрость — лишь хитрость прислуги, все честолюбие — в том, чтобы затмить соперниц самым нарядным платьем, самыми необычными заграничными вещицами, самыми оригинальными и изысканными украшениями. А ведь завтра Адмета будет красоваться в золотом поясе амазонской царицы!.. Итак, Терсит по обыкновению наблюдал. Молча слушал затянувшийся спор, когда же приличия позволяли заговорить и ему, младшему по иерархии и возрасту, вносил свое предложение или, что давало лучшие результаты, шепотом излагал его какой-нибудь высокопоставленной даме. Дамы за такие вещи благодарны, да, собственно говоря, благодарны все — за то, что не всякий раз выход из положения находит Терсит. И хотя я не могу не

признать мудрость и политическую зрелость решений, относящихся к порядку проведения празднества, у меня все же возникает подозрение, что рекомендации Терсита даже по таким убийственно серьезным и необычайно значительным вопросам не могли не заключать в себе хоть самой малой доли иронии...

Как же попала эта декадентская фигура в героический (да еще, как уверяют некоторые, «наивный») эпос?! Нет, она не придумана бродячими певцами. Она существовала. И тревожила Гомера; он не мог отвести Терситу никакой серьезной роли, и все-таки Терсит был ему нужен. Как нужен — и еще будет нужен — мне, пока я отыскиваю решение загадки Прометея.

Они вошли в город еще до полудня. Вернее, по нашим понятиям — утром. Часов в девять-десять. Мы знаем, таков был обычай: после дальнего пути, приблизясь к цели путешествия на расстояние двухтрехчасового перехода, путники с вечера разбивают лагерь, приводят себя в порядок, хорошенько отдыхают... Итак, наши герои рано поутру снялись с бивуака и часов в девять утра подошли к Микенам. Конечно, до Львиных ворот было еще далеко. Пока что они шли через утопавшие в садах пригороды, затем — по густо застроенным домишками земледельцев, торгового и ремесленного люда, предместьям, где находилось первое святилище какого-нибудь божества, возле которого путнику полагалось остановиться и, после омовения рук, принести жертву — немного оливкового масла, муки,— воздать хвалу за благополучное возвращение. К этому времени, разумеется, наших друзей сопровождала уже огромная толпа, типичная для нижнего города. И множество детишек, не сводящих с героев глаз. Не сразу удалось унять их, водворить тишину, приличествующую жертвоприношению. А что началось, когда победители амазонок стали бросать в толпу лакомые жертвенные кусочки! Мы не знаем, сколько было таких остановок, пока не остановились они в конце концов перед Львиными воротами. Вступление в крепость также сопровождалось особым ритуалом. Сперва полагалось выразить восхищение приветственными транспарантами и благоговейно запечатлеть их в памяти: ведь требовалось время, чтобы блюстители порядка могли оттеснить назад всякую мелкую сошку — обывателей, затесавшихся в колонну; требовалось время, чтобы из самой колонны вывести и оставить в назначенном месте рабов и прислужников, подводы с хозяйственным скарбом, исключая личных слуг героев и тех, кто нес дары. Далее надлежало выстроить колонну в должном порядке...

Микенская крепость напоминает треугольник. Самая длинная, северная, ее стена — четыреста метров. Юго-западная стена по прямой — триста метров, здесь находятся и Львиные ворота, юго-восточная стена — также триста метров. От стены до стены в самом широком месте — немногим более двухсот метров. Иными словами, она больше, чем Крепостной дворец в нашей Буде, но меньше всего района будайской крепости. Однако застроена гораздо гуще. Вы вступали в крепость через Львиные ворота и, пройдя коротким подземным ходом, справа видели продовольственные склады, затем — обнесенное стеной необычное строение круглой формы — место захоронения знати; далее шли частные дома. Приблизительно в полуторастах метрах от ворот открывалась небольшая, хотя здесь, в тесноте крепости, казавшаяся просторной, площадь; на северной ее стороне высился дворец. Он представлял собою грандиозный комплекс сооружений, расположенный на самой высокой точке холма. Примыкавшие к нему дворы, внутренние сады, храмы занимали приблизительно гектар, то есть едва уступали кносскому дворцу. Это было трехэтажное здание с обширными подвальными помещениями, с центральным отоплением, водо-

проводом, ватерклозетами; в центре его располагался парадный мегарон с колоннами, огромный тронный зал, в подвалах же находились самые различные службы: устройство, приводившее в действие отопительную систему, продовольственный склад, сокровищница, арсенал — словом, все необходимое, вплоть до казематов. В целом дворец был пригоден для размещения всего царского семейства, придворных служб, высших сановников и, соответственно, несметного числа слуг. В подвале находилась также усыпальница царствующего семейства. Сооружение дворца началось в предыдущем столетии; в старой его части сохранилось довольно много мраморных, сужавшихся книзу колонн в критском стиле, стены же были украшены вышедшими с тех пор из моды изображениями растений и животных, причем преобладали фантастические змеевидные полипы. Но центральная часть дворца и более новые храмы, среди них и главное святилище крепости, были выстроены уже в современном стиле: цилиндрические колонны, геометрические орнаменты на стенах, в основном — извивающиеся во всех направлениях ленты и спирали, создающие впечатление глубины...

Около полудня наши герои вступили на главную площадь; в воротах дворца уже появилась вся городская знать с Эврисфеем во главе. На этот раз не могло быть и речи о том, чтобы не допустить к царю Геракла: ведь герой явился в сопровождении не диких зверей, а бога! Прозвучала музыка, побрызгали святой водой, может, сделали что-то еще в том же роде — затем произнесены были взаимные приветствия, и Геракл, доложив, что задание выполнено, передал Эврисфею пояс и лучшие драгоценности амазонской царицы. После этого он представил знатным микенцам Прометея. И тут-то все заволновались, зашептались: Прометей, впервые наблюдавший сейчас правила поведения в обществе, формы приветствий, предписанные для различных сословий: кивок головой, глубокий поклон, коленопреклонение, поклон в пояс, земной поклон, припадание к стопам,— в ответ каждый раз повторял все это с точностью зеркала. А ведь кто не знает, даже в наше время, что взаимным приветствиям полагается быть асимметричными! Глубокий поклон мы встречаем наклонением головы, и чем глубже поклон, тем наклон головы меньше, только на приветствие средней степени можно отвечать тем же — между равными! К счастью, досадный инцидент вскоре был забыт, так как Геракл сделал знак слугам и началось вручение даров. Проходило оно в строгом соответствии с предписанным ритуалом и табелью о рангах. Одаренные Гераклом придворные и гости выражали приличную случаю благодарность, на подарки не таращились, хотя тут же расхваливали до небес; между тем слуги, повинуясь хозяйскому знаку, проворно уносили богатые дары.

На установленном посреди площади жертвеннике было совершено краткое жертвоприношение; продолжение праздника препоручили присмотру чинов районного масштаба — жертвенное пиршество на площади устраивалось для жителей крепости. Между тем узкий круг приглашенных вступил в тронный зал, опять последовало оказание взаимных почестей, опять зазвучали приветственные речи. Затем перешли в главный храм, где Эврисфей и Геракл пожертвовали большое число самых отборных бычков и баранов, а также других животных, разнообразие которых давало возможность ублажить, с одной стороны, самых разных богов, охраняющих сухопутные и морские пути, а также военные предприятия, чтобы каждому божеству достался лакомый кусочек от ему посвященных птиц или четвероногих,— с другой же стороны, обеспечило жертвенное застолье знати, растягивавшееся обыкновенно до позднего вечера.

В тот день, помимо трапезничания и возлияний, сопровождаемых здравицами, ничего особо примечательного не произошло. Никто не хотел пока касаться щекотливых вопросов. Те господа, которые на подобных застольях регулярно портили себе желудок, естественно, рыгали тут же. Геракл, как родич царского дома, получил гостевую комнату прямо в дворце; временно предоставили запертые обычно апартаменты и Прометею. Во время пиршества Прометей сидел на месте, предназначенном для самых почетных гостей, по правую руку Эврисфея, и дворцовые дамы весь день и весь вечер откровенно его разглядывали. Почему? Быть может, просто надеялись разглядеть хоть что-нибудь, что действительно стоило разглядывать. Но безуспешно.

И тут мы, кажется, начинаем ломать вторую печать, за которой скрывается наша загадка. В Прометее не было решительно ничего, обращающего на себя внимание. Это совершенно очевидно — в противном случае, *мы о том знали бы,* это было бы *замечено и отмечено!* Следовательно — ничего. Микенцы увидели высокого, сухощаво-мускулистого стареющего мужчину. (Миллион с чем-то лет даже для бога — возраст солидный. Аполлон, например, прожил всего-навсего две тысячи лет. Правда, когда его последний раз видели в Альпах, это был все еще юный пастушок лет восемнадцати, не больше.) Прометей имел внешность самого обыкновенного смертного. Крепкий, с приятным лицом и хорошей осанкой пожилой человек, каких на десяток — дюжина. Ничего сенсационного. По-настоящему вызывала сенсацию его цепь, которую везли за ним следом на телеге. Уже и по дороге народ дивился ей больше всего. Этакая махина, и вся из железа! Во дворце тоже все заворожены были железным чудом — но пристало ли им, аристократам и сановникам, выражать свои чувства открыто!

Что же до почетного места, предоставленного Прометею за столом, то вышло маленькое неудобство: для Прометея несколько часов, проведенных за трапезой, оказались не слишком интересны, Эврисфей же то и дело попадал в неловкое положение. Мы уже отмечали, не правда ли, что Эврисфей был порядочно простоват. Всякий раз, как он взглядывал на Прометея, ему хотелось начать разговор с вопроса: «Как же оно там было?» — то есть каково приходилось Прометею в течение миллиона лет, прикованному, терзаемому орлом. Разумеется, Эврисфей тут же соображал (вероятно, кто-нибудь успевал толкнуть его под столом ногой), что не пристало все-таки ему, человеку, задавать подобные вопросы богу. О таком вообще спрашивать не принято. Словом, он уже сорок раз открывал рот, уже в тридцатый раз выдавил, томясь: «Так как же оно было... это.. как дорога?» И от смущения начинал торопливо есть и пить, а потом — громко рыгать (в специальную золотую чашу с железным ободком). Наконец, Прометей любезно его выручил. Он стал расспрашивать царя про сидевших за длинным столом, интересуясь, кто же они все эти дамы и господа. Тут уж и Эврисфей разговорился. Когда с жертвоприношением было покончено, знатные микенцы, переговариваясь: «А, нынче было интересно!», «Весьма, весьма любопытно!» — отправились на покой. Слова их были как будто искренни, однако в голосах сквозило некоторое разочарование. Одному небу известно, чего они ждали. Впрочем, понять их можно: ведь человек вправе ждать от бога чего угодно. Ну что стоит богу глотать огонь, плыть по воздуху, вообще делать такое, что человеку и придумать не под силу! И никому из них не пришла в голову простая мысль: а ведь чрезвычайно любопытно уже и то, что бог ничего особенного не делает. Я же, с вашего дозволения, решусь утверждать, что это-то и есть самое любопытное.

(Окончание следует)

КАРЛ РЭКОЗИ

Перевод с английского и вступление В. БРИТАНИШСКОГО

Карл Рэкози — псевдоним американского поэта Кальмана Роли. Он родился в 1908 г. в Берлине и ребенком пересек океан вместе с отцом, устремившимся искать «счастья», то есть работы и денег. Сын искал уже иного счастья: не денег, а знаний. Рэкози учился в четырех американских университетах и получил три диплома: филолога, психолога и социолога. Как психолог он имел частную практику, занимаясь психотерапией в Миннеаполисе, где он поселился с женой-художницей, сыном и дочерью (а теперь уже — и внуками).

Еще в 30-х годах близкая дружба связывала Карла Рэкози, молодого тогда поэта, и Уильяма Карлоса Уильямса [1]. Памяти учителя посвятил Рэкози изящную элегическую миниатюру:

Как быстро опять вырастают
после дождя
одуванчики.
Я же сорвал их
все
только вчера.

Рэкози умеет быть — как в этих строках — тихим, задумчивым, «безукоризненно нежным», даже чуть сентиментальным. Но чаще всего именно доброта и любовь к людям, к простым людям Америки, заставляют поэта «громыхать как мусорные баки в городе ранним утром», скрежетать, как диссонансные симфонии современного города, кричать о диссонансах социальной жизни.

Поэт, сформировавшийся в атмосфере 30-х годов, в атмосфере десятилетия, которое американцы называют «грозовым» или «гневным», в 1941 году подытожил свое раннее творчество в книге «Избранные стихотворения» и на многие годы замолчал. Вновь он стал писать стихи и печататься в журналах лишь в 1965 году. С тех пор вышли его новые книги стихов: «Амулет» (1967) и «Предголос» (1971). Может быть, именно столь долгое молчание помогло ему сохранить в неприкосновенности боевой дух радикализма 30-х годов, к радости молодых американских поэтов середины 60-х годов, столь же активных, страстных и злободневных. Чувства молодых выразила Дениза Левертов [2], когда писала в связи с выходом книги Рэкози в 1967 г.: «Как хорошо, что мы, наконец, читаем эти прекрасные стихи! Теперь уж никто не сможет сказать: «Что такое случилось с Карлом Рэкози?» Вот он, живой-здоровый, и он еще покажет!»

В своем позднем творчестве Рэкози предстает зрелым поэтом-реалистом. «Мир всегда был моим камертоном»,— заявляет он в стихотворении «Благодарственная песнь» и платит этому миру «честной любовью». Он восхваляет зоркость, которая по-

[1] См. «Иностранную литературу» № 8, 1971.
[2] См. ее стихи: «Иностранная литература» № 10, 1972.

зволяет ему запечатлеть мельчайшие, но драгоценные подробности реального мира. Он радуется величию и мощи океана и континента. Умение видеть целую Америку или даже всю планету и в то же время каждую травинку, каждый листик этой травинки в отдельности Рэкози унаследовал, конечно же, от Уитмена. Вообще в поэзии Рэкози сквозь Уильямса часто просвечивает Уитмен — первый и величайший певец Америки.

Особенно это чувствуется в самом значительном, центральном в творчестве Рэкози цикле стихотворений «Американа», к которому примыкают почти все лучшие стихи последних книг. «Американа» — так называется американская энциклопедия. Цикл Рэкози — если не «энциклопедия американской жизни», то, во всяком случае, «введение в Америку». Америка разворачивается перед нами в пространстве: от индустриальных городов Севера и фермерских штатов Среднего Запада до цитрусовых рощ и негритянских хижин Флориды, степей и полупустынь американского Юго-Запада, где «сова подстерегает кенгуровую крысу» (должен признаться: до чтения стихов Рэкози я тоже, как, вероятно, большинство читателей, был уверен, что все сумчатые живут в Австралии). Америка разворачивается перед нами и во времени: от предыстории, то есть колониальных времен («Ранняя американская хроника») и освоения Дикого Запада («Витаграф»), до 60-х годов с их песнями протеста («Американа XVIII») и попытками современных миллионеров выглядеть простыми, демократичными и симпатичными парнями («Американа X. Популярная песня»).

Герой «Ранней американской хроники» сродни честным корсарам и честным контрабандистам из морских романов Фенимора Купера, тем «американцам до Америки», которые за десятки лет до начала американской революции 1776 г. уже бросали вызов английскому деспотизму, боролись против английских законов-запретов, душивших мореплавание и торговлю колоний.

Стихотворение «Витаграф» (так назывался один из ранних вариантов американского кинематографа на рубеже XX века) стилизовано под балладу и переносит нас на Дикий Запад, знакомый по рассказам Брет-Гарта или О. Генри, тот Запад, где земля — «ничья», где все мужчины вооружены и один головорез с ружьем в руках может терроризировать целый округ. Рэкози — наш современник и видит не только романтику тогдашнего «свободного» Запада, но и рождение привычки к беззаконию и насилию.

В стихах Рэкози о доброй старой Америке XVIII и XIX столетий есть, конечно, момент стилизации.

Это стилизация совершенно сознательная, порой — как в стихотворении «Витаграф» — ироническая. Ведь Рэкози хочет проследить не только действительную историю Америки, но также историю последовательно сменяющих друг друга мифов Америки о себе самой, мифов, сыгравших огромную роль в формировании американского национального самосознания, мифов, имеющих хождение и в современной идеологической жизни США.

Важным стихотворением цикла «Американа» мне представляется «Американа V»— элегия, проникнутая грустью о тех невозвратимых временах, когда американские фермеры на своих гомстедах, участках, купленных у государства, пытались осуществить утопический идеал «свободного человека на свободной земле». Этот гимн трудовому американскому фермерству XIX века перекликается со строфами, посвященными «радостям фермера» в «Песне радостей» Уитмена.

Некоторых объяснений для русского читателя потребует, пожалуй, «Американа IV», которую условно можно было бы назвать: «Происхождение блюзов». Блюзы (а затем — джаз) рождались в городах Юга, куда после освобождения в 1865 г. устремились из сельской местности негры, быстро образовав кварталы и целые районы негритянской бедноты. За право считаться родиной блюзов и джаза спорят такие города, как Мемфис и Новый Орлеан. Рэкози сочно и колоритно рисует атмосферу этих городов в 70—90-х годах — в период так называемой «реконструкции» Юга, и позже, когда «белый герой», то есть воинствующий реакционный южанин, противясь федеральному правительству, по-прежнему или пуще прежнего измывался над неграми и даже устраивал «мятежи», поджигая негритянские дома и школы. Так было и в Мемфисе, и в Новом Орлеане. В этих городах, в обстановке, где увеселительные и злачные места соседствовали с крайней нищетой и голодом, рождались блюзы — искусство «бродяг и заключенных, чернорабочих и бедняков, проституток и воришек» (как характеризовал блюзы известный негритянский писатель Ричард Райт).

Одну из двух своих новых книг Рэкози назвал «Предголос». Из одноименного стихотворения книги можно понять, что Рэкози имеет в виду голос моря, неодушевленной материи, не обретшей человеческого мышления и речи, но как бы пытающейся что-то сказать. Впрочем, Рэкози пишет, как всегда, не столько о природных богатствах Америки, будь то нефть или ньюфаундлендская треска, сколько о богатствах, созданных руками людей, а главное, о самих людях, «которые все это создали». Рэкози хочет быть голосом тех трудовых людей Америки, которые не получили филологических и социологических дипломов и не обладают дарованием поэта, но которые должны обязательно сказать свое. Именно этим людям посвящает Рэкози свои стихи, именно им он «желает добра» в «Посвящении», которым открывается первая из его новых книг.

Посвящение

этому дому
и белому белью на веревке,

этому голавлю, с кишками наружу,
с травой, торчащей из горла,
и свежей зеленью в брюхе,

английской речи галантерейщика,
чья искренность — будто конь и всадник
на песчаной дороге,

английской речи Исаака Уолтона[1],
звучащей, как маленький колокольчик
точильщика ножей,

форели, вырезанной ножом на столе
в рыбацкой хижине,
форели, которая оживляет воду.

Добра, добра я желаю всем вам,
всем, как этот голавль,
попавшимся на крючок.

Зоркость

Я хотел бы так зорко схватывать подробности,
как сова, подстерегающая
кенгуровую крысу,
или микрофотография, фиксирующая
волосистый хохолок
одуванчика.

Статус-кво

Хорошо в этом городе.
Этот город — раковина, которую раскрыли,
чтобы вокруг чужеродного вещества
рождался жемчуг.

Но люди, которые создали этот город
из песка и нефти,
местного сульфита, макулатуры,
рулонной бумаги, дубленой кожи,
овечьей шерсти «Огайо & Пенсильвания»,
привозной резины производства Северных штатов,
листового железа, проволоки, гвоздей,
китайского деревянного масла, строительной извести,
сосновых балок, еловой дранки,
японского чая, который сушат в корзинах,
белого сингапурского перца,
индийского джута, ньюфаундлендской трески и т. д.—

[1] Исаак Уолтон — английский писатель, автор книги о рыбах и рыболовстве (1653 г.).

люди, которые все это создали,
плачут, подымаясь со своего пьедестала,
будто одинокая каменная фигура,
склонившая голову,
ибо этот город принадлежит кредиторам,
председателям правлений, обедающим в Клубе,
город принадлежит городским газетам
и городским адвокатам.

Индустриальный человек

«Каждый второй
имеет дело.
Каждый четвертый —
специалист».

Что это, черт побери,
такое?

Это стол
не с четырьмя ногами,
но со статистическими ногами.

Это самый странный из всех миров,
чи́сла,
мир, в который никто не может войти
целостным человеком
и не может от него уклониться,

ибо это самая сущность
действующего разума,
его стиль, его строгие пропорции,
его симметрия, его метод мышления,

этот незыблемый порядок,
непостижимый для поэтов,
совсем лишенный слез и смеха,
нематериальный, как сказка феи,
и все же основа всей индустрии.

Это пища абстрактных у́мов
и конечный остаток
абсолюта.

Флорида

царственного солнца
и цитрусов,
Флорида кораллов,
осоки, указывающей
остриями на север,
отелей, полных
океанского воздуха,

мелких торговцев
с усталыми глазами,
проституток и процветающих барменов,

пронизанных
апельсиновой музыкой,
негритянских хижин,
где молитвы сборщиков хлопка
из рабской груди
рвутся ввысь,
в небесное царство,
другая Флорида,
земная юдоль африканца.

Ранняя американская хроника

Корабль, обросший раковинами, прекрасный, как бог,
с деревянным богом на крутом форштевне,
прибывает в Детройт, на борту иезуиты,
парусина, канаты, цепи, смола, краска...
Фелуки, баркасы и бригантины —
целая флотилия под парусами.

Это плывет никакой не Французский Король,
не Секретарь по делам Латыни,
не сиятельный лорд Великобритании
с драгоценностями короны.

На всех на них я плюю.
Они мне осточертели раз навсегда.
На высоком юте я лежу всю ночь до утра
с открытыми глазами, с девками, распевая песни
блаженно, как Чосер и малые божьи пташки.
Прибытие в Атлантиду[1] утром, фигура Сафо
на шлюпе, шлепающем борт о борт со шхуной «Лондон»,
белая, крепко прильнувшая к кораблю, как живой моллюск

Витаграф

Там, где Божья земля и мужчины это мужчины,
он был грозою в Красном Ущелье
на аризонском гнедом.
Чертов Хиггинс — так называли его,
а верил он только в свое ружье,
в гнедого и в Денвер Нэн.

Оказалось, что та была в сговоре с Джентльменом Джо,
и однажды утром они обчистили
бедного малого до последнего медного цента.

Но больше уже не пришлось Джентльмену Джо
просовывать руки в отверстия своего жилета
и ухмыляться сквозь обгрызенную зубочистку,

[1] Как полагали географы и путешественники XVI—XVIII вв., Америка — это и есть Атлантида древних греков.

ибо вечером в бар вошел незнакомец в маске,
а руку держал он в заднем кармане брюк.

Много лет спустя Преподобный Маркус Уитни
разбил палатку на площади, и для Денвер Нэн
появился единственный шанс стать на честный путь,
и она стала честной и вышла за Честного Хиггинса,
и трижды «ура» и да здравствует звездный флаг.

Американа IV

Весь город толпился вокруг четырех джаз-бандов
в четырех салунах на этой улице.

Хозяин бара Окей Богач сверкал бриллиантовой булавкой
в галстуке,
а игрок Эд Мошез, от которого осталось сто десять костюмов,
когда он умер,
в покер с любым противником дрался, как тигр.

Люди входили и выходили и днем и ночью,
и все одновременно творили в кабаке балаган.

Где Вилли Красавчик?
Бабы бегали за ним косяками,
когда этот кот прогуливался от набережной к бару
своей шикарной пижонской походкой,
называвшейся Стрельба На Ходу.

Однажды мальчишка взял флейту и сыграл на ней просто классно.
Всем показал, что такое флейта!

Подошел к саксофону, и будь я проклят,
но он заставил инструмент говорить!

«Иди, малыш, и неси эту музыку всей стране»,—
и к своей седине
он шел через юность и зрелость все в той же маленькой шляпе.
Он выйдет, бывало, на сцену и скажет:
«Мне
хотелось бы представить вам мой оркестр» —
и представит музыкантов друг другу.

Потом он сделает шаг назад, и подымет трубу,
и трубит высокую ноту освобождения.
И тогда деревянные духовые таяли и разливались
мягкой напевной мелодией,
а его тромбоны
добавляли перцу, чтобы вещь была то, что надо,
аж церковь гудела!
Весь город уже подпевал,
каждый мальчишка был блюзами убит наповал.

Происхождение блюзов?
Блюзы были всегда.

Какая-нибудь бедная гулящая женщина напевала, угощая в кухне
своего любовника Дэна.
Какой-нибудь бедный парнишка наигрывал басовую
бог весть чью мелодию на своем тромбоне
или вдруг ревел на нем по-ослиному
в парикмахерской, где служил.

Какой-нибудь подвальный Юпитер жаловался и тужил:
господи, раб твой Юба кормится свиными помоями.
Пошли отверженному твои волшебные зелья,
корень царской травы и корень Святого Петра,
майское яблоко и цветок Святого Уильяма.

Происхождение блюзов?
Белый герой.

Американа V

По мере того как прибавляются годы
старшее поколенье
чувствуя себя одиноко со своими детьми
уходит в темную комнату
и проявляет картины в памяти
коровы бредущие с лесистого пастбища
на закате летнего дня столетье назад
с выменами тяжелыми от молока

сахарная кукуруза посеянная
на пустоши к северу от свинарника
чтобы ужинать спелыми початками со свежим крестьянским маслом

семьи приезжающие за сотню миль
поющие под тенистым деревом.

Там где развилка дорог у красного амбара
и дуба с узловатым дуплом
на северной стороне ствола
старики себя чувствуют дома
пропалывают маленький садик
и удивляются как быстро все тут растет
кукуруза успела подпрыгнуть на целый фут
покуда праздновали Четвертое июля.

Здесь крепко и прочно на почве истории
во всех отношениях ограниченный
(как это пишется, с большой буквы?) Богом
и тяжелым трудом
стоит Девятнадцатый Век.

Американа VII

Наш неукротимый янки-кактус,
Калвин Кулидж,
каждый раз боялся,
что его осторожнейшие
пустые фразы

истолкуют как-нибудь не так.
Его губы были сжаты плотнее
стариковской
мошонки,
съежившейся от холодной
воды.
Когда он глядел Америке
прямо в глаза,
никто, ни один человек
не имел сомнений,
что, будучи загнан в угол,
он-то уж ухитрится
ускользнуть
даже от такого же, как он.

Американа X. Популярная песня

Он имеет конторы
в восемнадцати
штатах

и по-прежнему
держится
как простой парень,

сидящий
с кирюхами
в своей деревенской

лавке,
положив
ноги на стол,

открытая бутылка,
открытая
душа.

Американа XVIII. Нездоровая атмосфера

Лучше я буду петь народные песни протеста
и громыхать как мусорные баки в городе ранним утром
или выть как волк
из открытых дверей раскаленного товарняка
чем сидеть как Шопен на своей изысканной заднице.

■

ПАТРИК УАЙТ

На свалке

РАССКАЗ

Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ

Э-эй!

Он крикнул из дому, но она так и не перестала колоть дрова во дворе. Взмахивала правой рукой, все еще сильной, мускулистой, хотя тело у нее уже начинало рыхлеть. Правая взмахивала, а левая висела свободно. Удары приходились слева, справа. С топором она управлялась ловко.

Потому что как же иначе? Нельзя ведь все валить на мужчину.

— Эй, ты! — Это Уолт Уэлли снова окликнул ее из комнат.

Потом Уолт показался на крыльце в старой замызганной кепке, которую он стащил на распродаже экипировки бейсбольной команды «Янки». Мужчина еще хоть куда, хотя брюшко у него уже начинает выпирать над поясом.

— Опять разыгрываешь из себя черт-те кого? — сказал он, оттягивая посвободнее майку в проймах. Посвободнее — на этом был основан весь уклад жизни у них в доме.

— Да ты что? — возмутилась она.— Ты за кого меня принимаешь? За дубину стоеросовую?

Глаза у нее были сверкающей голубизны, кожа как смуглая кожура персика. Но когда она улыбалась, дело было хуже — раздвигаясь, губы обнажали слюнявые десны и пеньки темных гнилых зубов.

— Женщины любят, когда их именуют,— сказала она.

Никто никогда не слыхал, чтобы Уолт называл жену по имени. Никто никогда не слыхал, как зовут эту женщину, хотя ее имя значилось в списках избирателей. А звали ее вот как — Исба.

— Когда что их минует? — спросил Уолт.— А знаешь? Завелась у меня одна мыслишка в уме.

Его жена встряхнула головой. Волосы у нее были своего естественного цвета — вернее, выгорели на солнце. Все ее ребятишки унаследовали материнскую масть, и когда они, золотисто-смуглые, стояли кучкой, откидывая со лба свои непослушные вихры, их можно было принять за чалых лошадок.

— Ну, какая там еще мыслишка? — спросила она, потому что ей надоело стоять, ничего не делая.

— Возьмем-ка парочку холодных бутылок и уедем на все утро на свалку.

— Застарелая она, твоя мыслишка,— проворчала его жена.

— А вот и нет! На свалку, да не на нашу. В Сарсапарилле мы с самого рождества не были.

Она пересекла двор, ворча что-то всю дорогу, и вошла в дом. Навстречу ей, из-за дощатой обшивки, ударил запах стока вперемешку с вонью давленого богабри и гнилой груши. Может, потому, что Уэлли торговали старьем, их жилье, того и гляди, тоже готово было развалиться.

Уолт Уэлли прочесывал свалки. Правда, кроме него тем же занимались и другие ловкачи. Но если говорить о том, что может пригодиться человеку, так более верного глаза на такие вещи ни у кого не было: использованные батареи и скрипучие кровати, коврик, на котором пятен сразу и не заметишь, проволока и еще раз проволока, настольные и стенные часы, только и дожидающиеся мига, когда их снова пустят догонять время. Задний двор у семейства Уэлли был завален предметами и коммерческого и вполне загадочного назначения. А лучше всего там был ржавый котел, в котором близнецы устроили себе домик для игр.

— А как насчет того самого? — крикнул Уолт и толкнул жену боком.

Она чуть не ступила в дыру в прогнившем полу кухни.

— Насчет чего того самого?

Полудогадка вызвала у нее полусмешок. Потому что Уолт умел играть на ее слабости.

— Насчет того, чтобы поваляться.

И тут опять началась воркотня. Волоча ноги по дому, она почувствовала, что одежда раздражает ей кожу. Лучи солнца падали своей желтизной на серые вороха незастеленных постелей, превращали в золото хлопья пыли по углам комнат. Что-то угнетало ее, какой-то груз давил ей на грудь всей своей тяжестью.

Ну, конечно! Похороны!

— А знаешь, Уолт,— сказала она, как всегда сразу меняя тон.— Ты неплохо придумал. По крайней мере мальчишки не будут озоровать. Не знаю только, снизойдет ли до нас этот паршивец Ламми.

— Дождется он, оторву я ему башку,— сказал Уолт.

— Да у него переходный возраст.

Она стояла у окна с таким видом, точно ей было известно решительно все на свете. Это похороны настроили ее на торжественный лад. Вся покрылась мурашками.

— Хорошо, что ты надумал съездить на свалку,— сказала она, направив уничтожающий взгляд на краснокирпичное здание по ту сторону шоссе.— Что меня вконец расстраивает, так это когда покойника мимо моего дома несут.

— Вынос-то не отсюда,— успокоил он жену.— Ее в тот же вечер вывезли. Хоронит «Персональное обслуживание» Джексона.

— Хорошо, что она отдала концы в начале недели. В пятницу-субботу не очень-то персонально тебя обслужат.

Миссис Уэлли стала готовиться к поездке на свалку. Обдернула платье. Сунула ноги в туфли.

— А *она*-то поди думает: гора с плеч. Но виду не подает. Ведь как-никак сестра. Дэйзи, наверно, все кишки у *нее* вымотала.

Тут миссис Уэлли вернулась к окну. Точно почувствовала. Ну, конечно! Вон *она!* Опять полезла в почтовый ящик, будто не все оттуда уже выгребла. Лицо миссис Хогбен, склонившейся над кирпичной стойкой, в которую был вцементирован почтовый ящик, выражало все, чего ждут от удрученного тяжелой потерей человека.

— Дэйзи была ничего,— сказал Уолтер.

— Дэйзи была ничего,— согласилась с ним его жена.

И вдруг ее кольнула мысль: а вдруг Уолт, вдруг Уолт с ней...

Миссис Уэлли поправила прическу. Если бы ей не хватало того, что было дома,— а вспоминающие глаза подтвердили, что вполне хватало,— она, может, и сама ступила бы на ту же дорожку, что и Дэйзи Морроу.

По другую сторону шоссе послышался голос миссис Хогбен.

— Мег! — позвала она.— Маргарет!

Но, как всегда, крикнула так куда-то, без всякого направления. Сегодня ее голос звучал пожиже.

Потом миссис Хогбен ушла.

— Меня как-то взяли на похороны,— сказала миссис Уэлли.— И говорят: загляни в гроб. Хоронили жену одного дядьки. Он был сам не свой от горя.

— Ну и заглянула?

— Так, для виду.

Уолт Уэлли пыхтел в жаркой комнате.

— Как ты думаешь, когда от них начинает идти тяжелый дух?

— Тяжелый дух? Этого там не допустят,— решительно ответила его жена.— От тебя от самого идет тяжелый дух. И что ты не помоешься, Уолт?

Но его дух все-таки был приятен ей. Этот дух проводил ее из тени в яркую солнечную полосу. Они смотрели друг на друга, а их тела делали свое дело. Лица у обоих светились уверенностью в непреложности жизни.

Уолт щипнул ее за левый сосок.

— Завернем по дороге к «Быку» и возьмем там те самые холодные бутылочки.

На сей раз он сказал это шепотом.

Миссис Хогбен крикнула еще раз-другой. Прохлада комнат ударила ей в лицо сразу за кирпичной кладкой входа. Она любила прохладу, но не холод, а сейчас ееознобило, и очень уж внезапно. И она заныла чуть слышно, жалуясь на то, сколько всего человеку приходится терпеть, а тут еще и смерть. Хотя умерла ее сестра Дэйзи, миссис Хогбен оплакивала не сестру, а свою смерть, которая только и ждет, когда можно будет пожаловать за ней самой. Она крикнула: «Ме-ег!» Да разве кто-нибудь придет тебе на помощь! Она остановилась и стала рыхлить землю у корней алюминиума. Ей всегда надо было что-нибудь делать. Работая, она чувствовала себя лучше.

Мег ее, конечно, не слышала. Она стояла среди кустов фуксии, выглядывая из их зеленой сени. Она была тоненькая и веснушчатая. И уж сегодня-то, наверно, выглядит ужасно, потому что мама велела ей надеть школьную форму ради парадного выхода на похороны тети Дэйзи. При таких обстоятельствах она не только казалась, но и на самом деле была худее обычного. А еще эта миссис Айрленд, которая только и печется что о спорте, запретила ей косолапить и велела следить, чтобы носки врозь, не то так и вырастет с вывернутыми внутрь коленками.

Мег Хогбен и выглядела и чувствовала себя ужасно. Лицо у нее было зеленое, там, где борьба между светом и тенью не ляпала ей пятен на кожу, а кисточки фуксии, с дрожью касавшиеся ее ничего не ведавшей щеки, не вливали в эту щеку хоть немножко своей крови, полосуя ее переливчато-красным. Одни лишь глаза не меняли цвета. Они были серые, но не совсем обычного оттенка. Лорра Дженсен, сама голубоглазая, говорила, что глаза у Мег как у подслеповатой кошки.

Не то шестеро, не то семеро ее одноклассников — Лорра, Эдна,

Вэл, Шерри, Сью Смит и Сью Голдстейн — держались на каникулах дружной компанией, хотя иной раз Мег не могла понять почему. Во вторник вечером они пришли всем скопом к Хогбенам.

Лорра сказала:

— Мы решили съездить в среду в Барранугли, искупаемся в бассейне. У Шерри там есть знакомые ребята и еще двое военных. Они обещали покатать нас, когда мы приедем.

Мег не знала, радоваться ей или стыдиться.

— Я не смогу,— сказала она.— У меня тетя умерла.

— Аааааааа,— протянули их голоса.

И они тут же смылись, точно испугавшись заразы.

Но все-таки пробормотали что-то.

Мег почувствовала, что на время она приобрела некоторую значительность.

И вот теперь, в день похорон тети Дэйзи, она стояла среди кустов фуксии наедине со своей покойницкой значительностью. Ей шел пятнадцатый год. Она вспомнила золотое колечко, которое тетя Дэйзи обещала ей. Когда меня не будет, сказала тетя. И вот теперь это случилось. Мег беззлобно подумала, что вряд ли тете Дэйзи было время вспомнить о кольце и что мама, конечно, заберет его в придачу ко всему прочему.

И тут в кустах камфарного лавра, напротив, потряхивая выжженными солнцем волосами, появился этот Ламми Уэлли. Она терпеть не могла белобрысых мальчишек. И вообще всех мальчишек. И не терпела, когда нарушали ее уединение. Но больше всех не терпела этого Лама. А как он бросил в нее собачью какашку! Ей тогда всю шею свело. Ф-фу! Правда, эта мерзость была совсем сухая и только скользнула по ней, но она тут же ушла в дом и заплакала, потому что бывают все-таки случаи, когда надо блюсти свое достоинство.

А теперь Мег Хогбен и Ламми Уэлли при встречах глядели прямо перед собой, не замечая друг друга.

Ах, у Мегги ножки-спички.
Не хочу такой я птички.

Голос Лама Уэлли, как папиросная бумажка на гребенке, вибрировал в кустах камфарного лавра, который Хогбены вот уже много лет рубили на дрова. Его нож полосовал кору лавра. Как-то раз жарким вечером он вырезал на стволе деревца «Я ЛЮБЛЮ МЕГ», потому что так принято делать, например, на стенах уборных и в вагонах, но это, конечно, ничего особенного не значило. Вырезал, а потом начал полосовать ножом темноту, точно вагонную скамейку в поезде.

Лам Уэлли притворился, будто не видит Мег Хогбен, торчавшую в кустах фуксии. В школьной форме. Вся будто скованная, еще хуже, чем в школе, вся коричневая, потому что сегодня хоронят ее тетку.

— Ме-ег! — крикнула миссис Хогбен.— Мег!

— Ламми! Куда ты к черту провалился? — крикнула его мамаша. Она всюду его искала — в сарае, за уборной. Ну и пусть ищет.

— Лам! Ламми! Ах, чтоб тебе! — кричала она.

Ему это имечко было ненавистно. Кличет точно сопливого мальчишку. В школе он велел звать себя Биллом — серединка на половинку: не так позорно, как Лам, и не так ужасно, как Уильям. Миссис Уэлли появилась из-за угла.

— Осипла, тебя звавши! — сказала она.— А знаешь, что папа придумал? Мы поедем на свалку у Сарсапариллы.

— Хм! — сказал он.

Но не плюнул.

— Что это на тебя находит? — спросила она.

Даже когда дети миссис Уэлли были вовсе неприступными, она любила трогать их. Прикосновение часто помогало мысли. Но ей нравилось и самое касанье. Она была рада, что у нее не девочки. Мальчишки становятся мужчинами, а без мужчин шагу не ступишь, даже если они считают тебя дурехой или пьют лишнее, а иной раз и поколотят.

И теперь тоже она положила руку Ламми на плечо, стараясь добраться до него. Он был одетый, но мог быть и голым. Для таких, как Ламми, одежда лишнее. В свои четырнадцать лет он выглядел старше.

— Вот что,— сказала она с напускным раздражением.— Плясать вокруг тебя, неслуха, я не стану. Не хочешь, как хочешь.

И ушла.

Как только отец вывел из сарая старый рыдван, Лам тут же залез в кузов. Тут, в кузове, он, по крайней мере, будет сам по себе, хотя это вам не шикарный «кастомлайн».

Тот факт, что у семьи Уэлли, кроме пикапа, был еще и «кастомлайн», вызывал удивление у людей здравомыслящих. Красуясь на паспалюме [1] перед их халупой, он казался краденым, и так оно почти и было — третий взнос-то просрочен. Но что ему стоило скатать подальше, в Барранугли, и подремать на стоянке у гостиницы «Северная»? Лам мог бы простоять целый день, любуясь их двухцветной машиной. Или, растянувшись на заднем сиденье, щупать пальцами ее податливую плоть.

Сегодня едут в пикапе, поездка деловая. Костяк его ягодиц упирался в доски. Мясистая рука отца, высунутая из окошка кабины, вызывала в нем отвращение. А вот и близнецы выбрались из своего ржавого котла и лезут в кузов. Белобрысый Гэри — или это Бэрри? — свалился и ободрал себе коленку.

— Ах, чтоб тебе! — крикнула миссис Уэлли и тряхнула такими же белесыми волосами.

Миссис Хогбен видела, как эти Уэлли уехали.

— Подумать только — в таком районе, как наш! — в который раз сказала она мужу.

— Все в свое время, Миртл. Доберемся и до них,— снова ответил ей советник Хогбен.

— Ну конечно,— сказала она,— если на то будут причины.

Ибо она знала, что у советников причины имеются решительно на все.

— Но такой домишко! И вдруг «кастомлайн»!

От раздражения она исходила слюной.

Ведь не кто другой, как Дэйзи говорила: «Я хочу наслаждаться всем хорошим, что может дать жизнь». А умерла в убогом жилье, и у нее всего и было-то что одно-единственное ситцевое платьишко. А у Миртл кирпичный темно-бордовый дом — на потолках ни единого пятнышка от сырости, у нее стиральная машина, канализация, телевизор и «холден» кремового цвета, не говоря уж о муже. Советник Лесли Хогбен. И к тому же строитель по специальности.

Сейчас Миртл стояла среди своих владений и так бы и продолжала сокрушаться о «кастомлайне», за который Уэлли не расплатились, если бы не сокрушалась о Дэйзи. Миссис Хогбен оплакивала не столько смерть сестры, сколько ее жизнь. Но ведь все всё знали, и тут уж ничего не поделаешь.

— Как ты думаешь, придет кто-нибудь? — спросила миссис Хогбен.

[1] Вид травы.

— Я что, по-твоему, ясновидящий? — ответил ей муж.

Миссис Хогбен его не слышала.

Вчера, обсудив все как следует, она поместила в «Геральде» объявление о смерти Дэйзи:

МОРРОУ Дэйзи (миссис), скоропостижно, у себя дома, Выставочное шоссе, Сарсапарилла.

Больше добавить было нечего. Поскольку Лесли на государственной службе, упоминать о родстве было нельзя. А то, что *миссис*... да ведь к ней привыкли так обращаться с тех пор, как она сошлась с Каннингемом. Казалось, это в порядке вещей, потому что их отношения затягивались и затягивались. Успокойся, Миртл, говорила Дэйзи, мы поженимся, когда его жена умрет. Но первым умер сам Джек Каннингем. Дэйзи сказала: «Ничего не попишешь, так уж вышло».

— Как по-твоему, Осси придет? — спросил жену советник Хогбен, так растягивая слова, что ее это покоробило.

— Я об этом не думала,— сказала она.

А значит, думала. По правде говоря, она проснулась среди ночи и лежала вся холодная, окаменелая, представляя себе мокрый нос Осси.

Миссис Хогбен ринулась к ящику комода, который кто-то — во всяком случае не она! — открыл и не задвинул. Она была худощавая, но жилистая.

— Мег! — крикнула она.— Ты почистила туфли?

Лесли Хогбен засмеялся, не раскрывая рта. Его всегда разбирал смех, когда он думал о прощальной причуде Дэйзи: сойтись с этим опустившимся, шелудивым заморышем Осси, подобрать его на выставочном пустыре! Впрочем, кому какое дело?

Никому, разве только ее родне.

Миссис Хогбен ужасала мысль, что Осси, вдобавок еще и католик, будет стоять у могилы Дэйзи,— даже если никто его не увидит, даже если увидит только мистер Брикл.

Когда советник Хогбен вспоминал Осси Кугена, он в который раз с вывертом всаживал мысленно нож в свояченицу.

Теперь, может, он был и рад, что она умерла. Миниатюрная, меньше его жены ростом, Дэйзи Морроу была натурой широкой. Стоило только ей появиться, как она сразу заполоняла собой весь дом. Ей только дай возможность, наболтает всего с три короба. Дошло до того, что Лесли Хогбен не мог слышать ее смех. Прижался к ней однажды в коридоре. Он уж и забыл об этом или почти забыл. Как тогда Дэйзи хохотала! Что мне — мужчин не хватает, чтобы я стала крутить с собственным зятем? А разве он тогда действительно прижался к ней? Да не так уж сильно и во всяком случае не намеренно. Этому эпизоду было дозволено поблекнуть в памяти советника Хогбена, выцвесть, как выцвел коричневый линолеум у них в коридоре.

— Телефон, Лесли.

Это сказала его жена.

— Я не могу говорить. Я слишком расстроена.

И заплакала.

Оправляя брюки в шагу, советник Хогбен вышел в коридор.

Звонил старый приятель Хорри Ласт.

— Да... да...— говорил мистер Хогбен в телефонную трубку, которую его жена всегда протирала одеколоном «Аромат сосен».

— Да... В одиннадцать, Хорри... Из Барранугли... от джексоновского «Персонального». Да, мы это ценим, Хорри.

— Хорри Ласт,— доложил жене советник Хогбен.— Решил присутствовать приличия ради.

— Если никто другой, так хотя бы этот окажет честь Дэйзи — он тоже советник,— утешилась Миртл Хогбен.

А что было делать? Хорри Ласт положил телефонную трубку. Они с Лесли держались друг за дружку. Действовали сообща, когда надо было заручиться поддержкой более прогрессивно настроенных избирателей. Хогбен и Ласт способствовали развитию строительства в штате. Лесли построил дом Хорри. Ласт с женой продали свой Хогбенам. Если кое-кто распустил слух, будто Ласт и Хогбен сузили площадь Зеленого пояса, так ведь понимают ли эти «кое-кто», что сам термин допускает разные толкования?

— Что ты им сказал? — спросила его жена.

— Сказал, что приеду,— ответил ее муж, поигрывая мелочью в кармане.

Он был коротышка и стоял обычно широко расставив ноги. Джорджина Ласт воздержалась от реплики. По общепринятым понятиям недурная собой, она будто была слеплена из нескольких плюшек, слипшихся на противне.

— Дэйзи Морроу,— сказал Хорри Ласт,— была не такая уж непутевая.

Миссис Ласт промолчала.

Он стал еще быстрее перебирать монеты в кармане, точно стараясь сбить из них пену. Хорри Ласт, заметьте, не раздражался на жену — она принесла ему в приданое небольшой земельный участок, что вызвало в нем интерес к недвижимой собственности. Но он часто подумывал о том, как бы завести на стороне интрижку с Дэйзи Морроу. Старикан Лесли Хогбен наверняка пошаливал с сестрой жены. Говорят, помог ей купить домишко. Затемно у Дэйзи всегда был свет в окнах. Почтальон оставлял ей почту не в ящике у калитки, а носил на веранду. Летом, когда контролеры ходят по домам проверять счетчики, она обычно приглашала их в комнаты выпить пива. Дэйзи умела располагать к себе людей.

Джорджина Ласт громогласно откашлялась:

— Ходить на похороны не женское дело,— и взяла с кресла джемпер, который вязала двоюродной сестре.

— Ты туфли так и не почистила! — возмутилась миссис Хогбен.

— Нет, почистила,— сказала Мег.— Это пыль. И вообще не понимаю, зачем чистить обувь! Все равно пачкается.

Как не идет ей эта школьная форма! И щеки запали, а она знает, она читала, что это бывает только от отчаяния.

— Нельзя отступаться от своих принципов,— сказала миссис Хогбен и добавила: — Сейчас папа подаст машину. Где твоя шляпа, милая? Через две минуты мы выезжаем.

— Ой, мама! Шляпа?

Эта мерзкая школьная шляпчонка! Она уже год назад как стала мала ей, и все равно никуда от нее не денешься!

— Ты же в церковь в ней ходишь.

— Но мы ведь не в церковь.

— Ну, это почти то же самое. И вообще надо оказать уважение тете,— сказала миссис Хогбен, лишь бы поставить на своем.

Мег сходила в дом и вернулась в шляпе. Они прошли мимо кустов фуксии, мимо гипсовых гномов, на которых миссис Хогбен приучила свою дочку надевать пластмассовые мешочки при первых каплях дождя. Мег Хогбен видеть не могла этих противных старомодных чертяк,

даже после того, как пластмассовые колпаки закрывали их физиономии.

В машине стало грустно, стало мечтательнее. Она глядела в окно, и тесная панама, торчавшая у нее на голове, утратила свои унижающие человека свойства. Всегда такой пытливый, взгляд ее серых глаз под темной челкой снова стал вбирать в себя все подряд, но сколько она ни смотрела, ей было мало этого. Они проехали мимо дома, в котором, как ей сказали, умерла ее тетка. Маленький розовый домик с навесом, утопающий в гвоздиках, и правда, стал какой-то безжизненный. А может, это слепящий солнечный свет обесцветил его. Как сияли те утренние часы, когда тетя Дэйзи ходила между цветочными грядками в тяжело обвисшем от росы халате и охапку за охапкой перевязывала бечевкой курчавые цветы. Голос тети, чистый, как утро. Про туго перевязанные цветы, громко говорила она, не скажешь, что они негибкие, а, Мег, ну-ка, что они тебе напоминают? Но до чего трудно отвечать на вопросы взрослых! Замерзший фейерверк, подсказала Дэйзи. Мег влюбилась в эту мысль, она любила Дэйзи. Не такие уж они замерзшие, осмелилась сказать она. Когда солнце падало на росистые цветы, они точно рассыпались и начинали кружиться вихрем.

Запах гвоздик с кружащихся соцветий, с их голубоватых, холодных стеблей ворвался в затхлую машину и сразил Мег Хогбен. И тут она поняла, что напишет стихи о тете Дэйзи и о гвоздиках. И удивилась, почему такая мысль не приходила ей в голову раньше.

На этом участке дороги машина начала скакать по рытвинам, и ее пассажирам пришлось терпеть жесточайшие муки. Миссис Хогбен вдруг перестала взывать к Комиссии по дорожному строительству. Она гадала, не прячется ли тут Осси за опущенными шторами? А что, если он, что, если... Она полезла в сумку за вторым носовым платком. Предусмотрительность внушила ей, что надо взять два — чтобы использовать у могилы красивый, с кружевной оторочкой.

— Они тут так нахозяйничают,— возопила она во весь голос,— что все сорняком зарастет.

Потом стала расправлять свой непарадный носовой платок.

Миртл Морроу всегда считалась натурой более тонкой душевной организации. Миртл понимала Библию. Ее вышиванье, ее вязаные тамбуром салфеточки получали премии на местных выставках. Кто другой мог извлечь столько чувства из пианолы? Но любила цветы Дэйзи. Вот мускусная роза, совсем еще маленькой говорила Дэйзи, словно пробуя на вкус эти слова.

Поплакав, миссис Хогбен заметила:

— Девушки понимают свое счастье, только когда оно проходит.— Другие пассажиры ничего не ответили на такое заявление. Они знали, что этого от них и не ждут.

Советник Хогбен вел машину по направлению к Барранугли. Шляпу он приладил еще дома. Снял улыбку с губ, увидев ее в зеркальце. Хотя он уже не решался выставлять на перевыборах свой прежний снимок, ему часто удавалось произвести впечатление и в настоящем своем плотском обличье. Но сейчас, при таких сложных обстоятельствах, советник Хогбен руководствовался чувством долга. Он вел, он вел машину мимо ретиносперасa, отягченного собственным золотом, мимо зарослей лагерстромии, перегоняющей свою розовую сладость в мучнистую росу.

Чета Уэлли затеяла спор на свалке — пить ли пиво сразу после приезда или подождать, когда начнет мучить жажда.

— Ну так держи его при себе! — Мамаша Уэлли повернулась к мужу спиной.— Зачем тогда холодным покупать, если дожидаться,

пока оно согреется. И вообще,— добавила она,— я так и думала, что пиво у тебя только предлог для поездки.

— Аааа, перестань! — сказал Уолт.— На свалке мы дело делаем. С пивом ли, без пива. Верно я говорю? В любой день недели ездим.

Он понял, что она начинает дуться. Посмотрел на ее длинные груди, болтающиеся под платьем. Вот корова дурная! Он рассмеялся. Но бутылку откупорил.

Бэрри сказал, что ему хочется пить.

Послышался звук сердитого отсоса, когда губы его мамаши оторвались от горлышка бутылки.

— Только мне не хватает стоять и смотреть, как мой сынок,— проговорил ее мокрый рот,— превращается в алкоголика.

Глаза у нее пылали сейчас ярчайшей голубизной. Не потому ли Уолт Уэлли восхищался своей женой, что она до сих пор возбуждала в нем желание?

Но Ламми решил убраться от них подальше. Когда его мамаша начинала беситься и сыпать руганью, ему уж очень бросались в глаза корешки ее зубов, их гниющая коричневая мерзость. Если сам ругаешься, дело другое. Бывает, что без этого не обойдешься.

Сейчас он решил обойтись без этого и смылся, пробираясь между старыми матрасами и обувью, покореженной солнцем. Ловушек тут было сколько угодно: ржавые консервные банки с зазубренными краями так и поджидали ни в чем не повинные щиколотки, горлышки разбитых бутылок будто готовились полоснуть по лицу. И он шел осмотрительно, откидывая ногами грязные листы асбеста, раздавил целлулоидную куклу. Кое-где мусор, казалось, брал верх над зеленой порослью. Натиск металла оттеснял ее в овраг. Но в местечках потаенных, влажных бунт не стихал: семена растений попадали в клочья серой растрепанной матрасной набивки, и груды поломанных стульев, мотки пружин, запутавшиеся в витках цепких побегов, поддавались более жизнестойкой силе. Где-то на обочине этого царства распада союзник в образе человека, прежде чем уйти, разжег костер, и теперь зелень успела почти придушить его, оставив только запах дыма, состязающийся с более тошнотворным смрадом медленного разложения.

Лам Уэлли ступал с бессознательной грацией. Хватит с него этой свалочной петрушки. Хорошо бы узнать, как люди живут в чистоте. Вот, например, Черный. У Черного, Блэка, все лежит на своем месте в кабине трейлера. И вдруг ему так захотелось побыть с Черным, что перехватило горло. Руки Черного, крутящие баранку руля, точно управляли всем миром.

Две-три полосы колючей проволоки отделяли сарсапариллскую свалку от сарсапариллского кладбища. Участки у различных вероисповеданий тоже были отдельные, но где какой, можно было узнать по фамилиям или по ангелам и прочим вещам, которыми украшают могилы. Там, где, наверно, был участок англиканской церкви, Альфред Герберт кончал рыть могилу миссис Морроу. Он докопался до глины, и работать стало труднее. Комки ее неохотно сползали с лопаты.

Если то, что говорят о миссис Морроу, правда, значит, хороша была! Лам Уэлли подумал: а что, если б он встретил ее на тропинке в буше и она бы улыбнулась ему? По коже у него пробежали мурашки. Ламми еще не бывал с женщиной, хотя притворялся, что было такое дело, чтобы не ронять своего достоинства среди мальчишек. Он подумал: а что, если бы с этой девчонкой, если бы с этой занудой Мег Хогбен? Наверно, кусалась бы. Ламми стало страшновато, и он снова вернулся к мыслям о Черном, Блэке, который никогда не говорил о таких вещах.

Потом он пошел дальше. Альф Герберт стоял, опершись о лопату;

ему, наверно, хотелось поболтать. Ламми болтать не собирался. Он свернул в рябую под солнцем чащу зарослей — будто бы в тень. Лег под банксией и расстегнул брюки. Но скоро ему стало противно разглядывать самого себя.

Процессию, двигавшуюся из Барранугли в Сарсапариллу, вряд ли можно было именовать процессией: его преподобие Брикл, «холден» Хогбенов, «холден» Хорри Ласта следовали за катафалком Джексона, из тех, что поменьше. В данном случае похороны справлялись по дешевке — не было повода роскошествовать. В Сарсапарилле к ним присоединился мистер Джилл, восседавший на высоком сиденье своего старенького «шевроле». Им тоже было бы целесообразнее присоединиться к катафалку в Сарсапарилле, со вздохом подумал советник Хогбен. Присутствие старика Джилла объяснялось только тем, что Дэйзи долгие годы была его постоянной покупательницей. Бакалейщик не шибко преуспевал, Дэйзи говорила, что ходит к нему потому, что он ей симпатичен. Ладно, если для тебя это главное, пожалуйста, но что ты от этого выгадываешь?

Перед последней рытвиной, не доезжая кладбища, со свалки, извиваясь, пополз через дорогу выпотрошенный матрас. Это было похоже на какое-то чудовище, исторгнутое из тайников чьего-то воображения, куда человек порядочный не заглядывает.

— Боже мой! И где — на кладбище! — возмутилась миссис Хогбен.— Удивляюсь, чего Комитет смотрит! — добавила она, не сдержавшись даже при муже.

— Ладно, Миртл, ладно,— сквозь зубы процедил ее муж.— Я взял это на заметку.

Что другое, а брать на заметку советник Хогбен умел.

— И такие вот Уэлли прямо у твоего порога! — простонала миссис Хогбен.

А что там происходит в жаркие дни на глазах у их ребятишек!

Катафалк въехал в кладбищенские ворота. Теперь он двигался по ухабистой дороге, под уклон, вдоль зарослей паспалима, переходящих в негустую траву. Листва на деревьях оборачивалась к ним серой изнанкой. Даже сорóк не было слышно, ни одна не подбодрит христианскую душу. Но навстречу им вышел Альф Герберт — руки в желтой глине — и показал, как катафалку проехать между методистами и пресвитерианцами к англиканскому участку.

Тряска снова вызвала на поверхность горе миссис Хогбен. Ее чувства произвели сильное впечатление на мистера Брикла. Он поговорил немного о дорогих и близких нашему сердцу. И когда помогал ей вылезти из машины, руки у него были добрые и профессионально мягкие.

Но Мег решила спрыгнуть сама. И приземлилась. Неприятно было услышать, как громко хрустнула ветка под ногами. Маме, наверно, такой хруст показался богохульством. А шляпа Мег цвета банана свалилась при этом с головы в густую траву.

У могилы всем было как-то неловко. Мужчины помогли нести гроб, а советник Ласт голько мешал им из-за своего маленького роста.

И тут миссис Хогбен увидела — она увидела сквозь кружево своего носового платочка, увидела этого Осси Кугена по другую сторону могилы. Старик Джилл, что ли, его привез? Осси, не на все пуговицы застегнутый, стоял за кучкой желтой глины и шмыгал носом.

Никакими силами нельзя было осушить его нос. Дэйзи часто говорила ему: чего ты боишься, Осси? Когда я с тобой, тебе нечего бояться, понятно? Но ее уже нет. И теперь ему было страшно. Он боялся всех протестантов — всех, кроме Дэйзи. Так я ведь не такая, гово-

рила она, меня ты к ним не причисляй. Я просто люблю то, что нам дано любить.

Миртл Хогбен была возмущена до крайности, хотя бы потому, что она читала в мыслях советника Ласта. Ей хотелось бы дать волю своим чувствам, если б это можно было сделать, не оскорбляя господа бога. Потом вверх по ногам у нее поползли муравьи, так как она стояла на муравьиной куче, и все эти несправедливости ознобом пробежали у нее по коже.

Дэйзи! — возопила она в тот день, когда все это началось. Ты в своем уме? Увидев сестру, она выбежала ей навстречу, оставив белый соус подгорать на плите. Куда ты его везешь? Он болен, сказала Дэйзи. *Не смей этого делать!* — воскликнула Миртл Хогбен. Потому что ее сестра Дэйзи везла на тачке какого-то нищего старика. Люди выбегали из домов по всей Выставочной улице поглазеть на такое зрелище. Везя тачку сначала под уклон, а потом толкая ее в гору, Дэйзи стала как будто меньше ростом. Прическа у нее растрепалась. *Не смей этого делать! Не смей!* — кричала Миртл. Но Дэйзи посмела. И Дэйзи так и сделала.

Когда провожающие, всего несколько человек и все в парадной одежде, столпились у могилы, мистер Брикл открыл требник, хотя, судя по его голосу, ему этого вовсе и не было нужно.

— *Я есмь воскресение и жизнь,*— сказал он.

И Осси заплакал. Потому что он не верил в это, особенно после того, что случилось.

Осси смотрел на гроб, на останки того, что он знал. Ему вспомнилось, как он ел печеное яблоко, ел медленно, слизывая варенье с верхушки. И снова его поглотила темнота конюшни, где он, злосчастный, лежал в навозе, а она вошла в стойло и чуть не накатила на него тачку. Вам что здесь нужно? — напрямик спросил он. Мне нужно честного навозцу, вот за ним я и пришла, хватит с меня этих мудреных удобрений, сказала она, а ты что, болен? Я здесь живу, сказал он. И, заплакав, стал утирать сопли со своего мокрого носа. Дэйзи постояла и говорит: поедем ко мне... как там тебя... Осси, что ли? По ее голосу он почувствовал, что все так и будет. Пока он ехал в тачке вверх по склону, ветер резал ему глаза и раздувал его жиденькие космы. В прошлые годы он, случалось, находил у себя в волосах двух-трех вшей, и теперь, когда Дэйзи брала его к себе, ему хотелось думать или надеяться, что он от них избавился. Она толкала тачку, налегала на рукоятки, иногда наклонялась вперед, и он чувствовал ее тепло и как ее налитые груди касались его спины.

— *Скажи мне, господи, кончину мою и число дней моих, дабы я мог удостовериться, долог ли век мой,*— читал мистер Брикл.

Дабы я мог *удостовериться,* вот именно, подумал советник Хогбен, глядя на этого дряхлого Осси.

Который стоял, чуть слышно бормоча молитвы, как его учили еще в детстве.

Когда все это было на полном ходу, когда произносились все эти слова, которых, как Мег знала, тетя Дэйзи не одобрила бы, она отошла от могилы и подлезла под колючую проволоку, отделяющую кладбище от свалки. Она впервые попала на эту свалку, и сердце учащенно забилось у нее в боку. Она несмело пробиралась сквозь заросли буша. Под ноги ей попались старые подтяжки. Она споткнулась о закопченный примус.

Потом увидела Лама Уэлли. Он стоял под банксией, теребя пальцами ее вялый цветок.

И вдруг оба они поняли, что есть нечто такое, чего ни ей, ни ему не удастся больше избежать.

— Я здесь на похоронах,— сказала она.

В голосе у нее звучало... ну, чуть ли не облегчение.

— А ты часто сюда приходишь? — спросила она.

— Не-а,— хрипло проговорил он.— Сюда — нет. А на свалку — да.

Но ее вторжение нарушило предрешенный ход его жизни, и рука у него задрожала.

— А тут есть что посмотреть? — спросила она.

— Хлам,— сказал он.— Один хлам.

— А ты глядел когда-нибудь на мертвеца?

Потому что она заметила, что рука у него дрожит.

— Нет,— сказал он.— А ты?

И она нет. И вряд ли теперь поглядит. Дыхание у них снова стало ровное.

— А ты вообще что делаешь? — спросил он.

И хотя ей хотелось заткнуть себе рот, промолчать она не смогла. Она сказала:

— Я пишу стихи. И напишу о моей тете Дэйзи, о том, какая она была, когда срезала цветы рано утром еще по росе.

— А что ты за это получишь?

— Ничего,— сказала она.— Наверно, ничего.

Но разве это было важно?

— А еще про что ты сочиняешь? — спросил он, открутив наконец вялый цветок банксии с ветки.

— Раз я написала о вещах, что в шкафу,— сказала она.— Потом про сон, который мне приснился. Про запах дождя. Но оно получилось совсем короткое.

Тогда он посмотрел на нее. Он никогда еще не смотрел в глаза девушек. Эти были серые и прохладные, не то что горячие, перегоревшие глаза женщин.

— Кем ты хочешь быть? — спросила она.

— Сам не знаю.

— Канцелярская работа тебе, по-моему, не подходит.

— Что-о?

— Я говорю, не твое, по-моему, дело подсчитывать цифры и возиться с книгами, и в банке, в конторе служить,— сказала она.

Он так вознегодовал, что даже не счел нужным ответить ей.

— У меня будет свой грузовик. Как у Черного, у мистера Блэка. У него — автоприцеп.

— Что?

— Ну, полуприцеп,— сказал он.

— А-а,— сказала она уже не так уверенно.

— Один раз Черный взял меня в рейс в Мэриборо. Ездка была трудная. Иногда гнали всю ночь. Иногда спали прямо в машине. А то останавливались на ночевку там, где сдают комнаты. До чего хорошо прокатились! Один город проедешь в ночной темноте, за ним другой.

Она все увидела. Она увидела, как люди стоят в дверях, точно оледенев в квадратах желтого света. В стремительном потоке ночи все человеческие фигуры застывают в неподвижности. Она чувствовала мохнатую темноту вокруг, когда автоприцеп брал с места и его скелет вспыхивал разноцветными огнями. А в кабине, где они сидели, все было прибрано, все на своих местах. Если скосить глаза, видно, как его белокурые волосы поблескивают, попадая под вспышки электрического света. Они везли коробки с зубными щетками, гребешками и разную мелочь — блокнот, в котором она напишет стихотворение, когда они сделают где-нибудь остановку и кругом будет пахнуть муравьями.

Но к тому времени его руки так мастерски овладеют рулем, что остановки, кажется, никогда и не будет. Ну и не моя забота!

— А этот мистер Блэк,— проговорила она, поджав губы,— он часто берет тебя в рейсы?

— В дальний, в другой штат, взял только раз,— сказал Ламми, отбрасывая прочь цветок банксии.— В короткие рейсы иногда берет.

Сидя в кабине, они покачивались на ходу. Он ни с кем не был ближе, чем с Черным, когда чувствовал во время толчков его ребра, и ждал возможности снова испытать этот легкий приступ благодарности и удовольствия. Ему хотелось, чтобы у него был полосатый спортивный свитер, как у Черного, и он еще заведет себе такой.

— Когда у меня будет свой автоприцеп,— сказал он,— я войду в дело вместе с Черным. Он мой лучший друг.

Она недоверчиво передернула плечами и тут же увидела темные руки с черными волосками на пальцах.

— Ну что ж,— сказала она отчужденно,— может, когда-нибудь так оно и будет.

На соседних могилах стояли коричневатые цветы в банках с темно-коричневой водой. Кое-где западный ветер повалил неустойчивые пластиковые букеты, и хотя хуже с ними ничего не случилось, они валялись в поблекшем беспорядке на неприютных гранитных надгробиях.

Жара вызвала у советника Ласта зевоту. Он стал читать высеченные на плитах имена, по крайней мере те, что были на виду. Некоторые оказались полузабытыми. Раз он чуть было не засмеялся. Если бы мертвецы могли подняться и сесть у себя в могилах, у многих, наверно, нашлось бы из-за чего повздорить.

— *Посреди жизни нашей нас поджидает смерть,*— сказал попик.

ДЖЕК КАННИНГЕМ

возлюбленный муж Флоренс Мэри —

прочитал Хорри Ласт.

Кто бы мог подумать, что Каннингем, прямой, как шелковый дубок, упадет, поднимаясь по дорожке к домику Дэйзи Морроу. Сколько раз Хорри наблюдал, как они посиживают на веранде, прежде чем уйти в дом пить чай. Они ни от кого не таились, потому что все всё про них знали. У Каннингема были хорошие зубы. Рубашка на нем была всегда белая, хорошо отутюженная. Интересно, которая из дам стирала на него? Флоренс Мэри, говорят, была больная. Дэйзи Морроу любила посмеяться с мужчинами, но при Джеке Каннингеме она больше помалкивала, суля ему такое в минуты блаженства, что Хорри Ласт мог об этом только догадываться, так как его интимная жизнь проходила почти в кромешной тьме.

Господи боже, а потом Осси! Эта женщина, наверно, была извращенка, причем такого сорта, о каком даже и не слыхивали.

— *И угодно было всемогущему богу по великой милости его призвать к себе душу...*— читал мистер Брикл.

Так как было неясно, кому бросать землю, это сделал бакалейщик мистер Джилл. Послышался стук о крышку гроба.

Тогда опухшие глаза Осси уже по-настоящему залились слезами. Из мрака. Из мрака Дэйзи окликнула его: Осси, что с тобой? Ну что ты плачешь? У меня судороги, ответил он. Его корчило. Судороги? — сонным голосом переспросила она. Или тебе это только кажется? Может, не судороги, а что-нибудь другое? Может, и не судороги. Он был готов поверить ей на слово. После менингита он ведь стал не очень сообразительный. Знаешь что, сказала Дэйзи, иди ко мне в постель,

Ос, я тебя мигом согрею. Он прислушивался в темноте к своему шмыганью носом. Аааа, Дэйзи, я не могу, у меня не получается, хоть ты меня озолоти, сказал он. Тогда она замолчала. Он лежал, отсчитывая биение мрака. Нет, не так, сказала она — и не рассмеялась над ним, хотя он ждал этого,— и вообще, сказала она, по-настоящему так бывает только раз. Вот как надо. И он сразу разъял мрак, прильнул, прижался к ней. Он не знал, что это может быть так тихо, так ласково. Потому что Дэйзи не боялась. Она перебирала, все перебирала его волосы, точно сквозь них струилась вода. Судороги у него в ногах утихли. Под конец дыхание у них сравнялось. Задремали. И вот паренек Осси Куген снова спускался верхом с горы — позвякивание удил в голубом воздухе, запах пота из-под потника — к широкой струящейся реке. Он покачивался и струился вместе с течением мощной нескончаемой реки, погружая губы в темную, прохладную воду, и хорошо бы, стоило бы утонуть тогда.

Среди ночи Осси проснулся, испугавшись, что вдруг расстояние отделило их. Но Дэйзи все еще прижимала его к груди. Если бы он был такой, как все. Горло у Осси задергалось. Но тогда Дэйзи стала бы как все. Он уткнулся носом в теплый мрак, и она снова приняла его.

— Стоит только сильно захотеть, и тогда всего добьешься,— твердо проговорила Мег.

Она вычитала эту истину из какой-то книги и не совсем уверовала в нее, но теории бывают иногда весьма кстати.

— Стоит только захотеть,— сказала она, выбивая каблуком ямку в каменистом грунте.

— Ну уж не всего.

— Нет, всего,— сказала она.— Всего, чего захочешь!

Она никогда еще не смотрела на мальчишек, не смотрела в самое их нутро, а теперь впервые в жизни смотрела мальчику в глаза.

— Ерунда это,— сказал он.

— Конечно,— сказала она,— всему есть свои границы.

Он нахмурился. Он снова насторожился. Она умничает. Да еще стишки сочиняет.

Но ради того, чтобы им лучше понимать друг друга, она была готова отказаться от своих умных рассуждений. И уже ничем таким не гордилась.

— А что, если ты женишься? Будешь разъезжать на грузовике по всей стране? Думаешь, твоей жене это понравится? Торчать одной дома с кучей ребятишек.

— Некоторые ездят с женами. Черный берет с собой и свою хозяйку и ребят. Конечно, не всегда. Но кое-когда все-таки берет. В короткие рейсы.

— Ты не говорил мне, что мистер Блэк женат.

— Всего не расскажешь. Во всяком случае, за один раз.

Женщины, которые сидели в кабинах автоприцепов, представлялись ему большей частью тоненькими и черненькими. Они редко отвечали на твои взгляды, а вытирали руки бумажными салфетками и смотрелись в маленькие зеркальца, поджидая своих мужчин. Поджидать им приходилось часто. Вот он идет от станции обслуживания к машине, к своему законному месту. Идет не спеша, чуть нахмурившись, потрагивая светлую поросль у себя на подбородке, не удостаивая женщину взглядом. Разве только искоса. А она — самая тоненькая, самая черненькая, самая независимая из всех, кто сидел в кабинах автоприцепов, выглядывая в окно.

Тем временем они прохаживались среди ржавых банок сарсапариллской свалки. Он сломал несколько веток и бросил обломки в траву. Она сорвала узкий листок и понюхала его. Ей очень хотелось понюхать волосы Ламми.

Но пришлось сказать только:

— Какой ты белокурый.

— Некоторые такими родятся,— признал он.

И стал обстреливать камень мелкими камешками. Она видела, что он сильный. От всех этих открытий, сделанных за такое короткое время, у нее задрожали колени.

Они с ревом мчались сквозь блистающий свет, кренясь на поворотах, кабину мало-помалу наполняют белолицые, белоголовые ребятишки, и младшего она бережет от тряски, поддерживая ладонью сзади за шею, как — сама видела — делают женщины. Озабоченная этим, она иногда забывала про Лама, а он останавливал машину, и она вылезала из кабины прополоскать пеленки в тепловатой воде и развесить их на просушку по кустам.

— Стишки сочиняешь и вообще,— сказал он.— Я таких умных в первый раз вижу.

— Умные, они такие же, как все,— жалобно проговорила она, боясь, что он не смирится с ее особенностями и с ее силой.

Теперь ей надо вести себя ужасно осторожно. Пусть не годами, но она старше Лама, только нельзя, чтобы он догадался об этом,— это ее тайна. Несмотря на всю его силу, на всю его красоту, она и сейчас и всегда должна быть сильнее.

— Что это у тебя? — спросил он и тронул ее.

Но тут же испуганно отдернул руку.

— Шрам,— сказала она.— Я открывала банку сгущенного молока и порезала себе кисть.

И впервые обрадовалась бледному рубчику на своей веснушчатой коже, надеясь, что это заполнит брешь, образовавшуюся между ними.

А он не сводил с нее своих строгих голубых материнских глаз. Она нравилась ему. Хотя и уродина, и умничает, и девчонка.

— Сгущенное молоко, да на хлеб,— сказал он.— Это можно есть и есть, пока не лопнешь.

— Да-а! — согласилась она.

И поверила в это всей душой, хотя такая мысль никогда раньше не приходила ей в голову.

На спинах парадной одежды иссиня-черным неровным узором роились мухи. Им всем уже надоело отгонять их, подергивая плечами. По мере того как Альф Герберт, покрякивая, сбрасывал в могилу тяжелые лопаты земли, пыль в воздухе все сгущалась, обещания накладывались одно на другое. Хотя они только и слышали, что ждите и ждите, Христос приидет и искупит грехи людские,— им показалось бы несуразным, если б он вдруг возник из зарослей кустарника и на алтарях из раскаленного песчаника совершил бы жертвоприношение, к которому никто их не подготовил. Тем не менее, стоя у могилы, они ждали, обученные покорно принимать все, что им навязывали, а жара притупляла в них остатки разума и вспучивала их австралийские пальцы до размера немецких сосисок.

Первая не выдержала Миртл Хогбен. Она разрыдалась, уткнувшись не в тот платок. *Кто преобразит уничиженную плоть нашу?* Таких слов ее чувство приличия не могло перенести.

— Спокойнее,— шепнул ей муж, поддерживая ее пальцем под локоть. Она покорилась мужниному сочувствию, как покорялась в их совместной жизни его более сомнительным желаниям. Ничего ей не

требовалось, кроме мира и покоя и кое-каких сбережений на карманные расходы.

Женщина хлипкая, миссис Хогбен оплакивала сейчас все те обиды, которые ей пришлось перенести в жизни. Ведь Дэйзи приносила одно *уничижение*. Но было и понимание, да, были такие минуты. Ведь только девушки и понимают друг друга, девушки, но не женщины. Сестры, сестры! До того как жизнь раскидает их в разные стороны. И вот Миртл Морроу снова шла по саду, а Дэйзи Морроу обнимала сестру за плечи; воздух наполняли признания и запах бродящих давленых яблок. Миртл сказала: знаешь, Дэйзи, что мне хочется сделать? Мне хочется заткнуть лимоном тубу, на которой играют в Армии спасения. Дэйзи захихикала. Ты совсем спятила, Мирт, сказала она. Спятила, но никого не подвергла *уничижению*. И Миртл Хогбен стояла и плакала. Один раз, один-единственный раз ей захотелось столкнуть кого-то вниз с обрыва и посмотреть, какая у него тогда будет физиономия. Но Миртл никому в этом не призналась.

И миссис Хогбен оплакивала то, в чем она никому не могла признаться, все то, с чем она не могла совладать в себе.

По мере того как потекли более милостивые слова молитвы, Отче наш, которую она знала наизусть, хлеб наш насущный, ей следовало бы утешиться. Да, следовало. Следовало бы.

Но все-таки где же Мег?

Миссис Хогбен отделилась от остальных. Походка у нее была деревянная. Если кто-нибудь из мужчин заметит ее уход, подумают, что она слишком уж расчувствовалась или что ей понадобилось облегчиться.

А облегчить себя ей хотелось бы призывом: Маргарет, Мег, ты что, не слышишь меня, Ме-ег! — и протянуть это сердитым, визгливым голоском. Но священника не перекричишь. И она продолжала вышагивать. Похожая на цесарку, зацепившуюся своим пестрым шелковистым оперением за колючую проволоку.

Сделав еще несколько шагов, походив туда-сюда и немного дальше, они услышали голоса.

— Кто это? — спросила Мег.

— Мои папаша с мамашей,— сказал Ламми.— Ругаются из-за чего-то.

Мамаша Уэлли только что нашла две неоткупоренные бутылки пива. И где — на свалке! Скажите, пожалуйста! Что-то подозрительно!

— Может, они с отравой,— предостерег ее муж.

— С отравой? Иди ты знаешь куда! — крикнула она.— Это только потому, что я нашла!

— Кто бы ни нашел,— сказал он.— Кому захочется пить горячее пиво?

— Мне захочется,— сказала она.

— С собой ведь мы привезли ледяное!

Он тоже начал покрикивать. Ее, бывало, иной раз заносило.

— А кто хотел припрятать то, что мы привезли? Пока оно горячим-прегорячим не станет? — крикнула она во весь голос.

Оба Уэлли, и муж и жена, обливались по́том.

И вдруг Ламми понял, что девушку надо увести подальше отсюда. Хватит с него этих пьянчуг. Хорошо бы гулять со своей девушкой по лужайке, где трава скошена, вот как в Ботаническом саду, чтобы зеленый дерн пружинил под их неторопливыми ногами. Статуи указывали им путь сквозь слепящий свет, туда, где они наконец сели под огромными глянцевитыми листьями и стали глядеть на лодки, сколь-

ящие по воде. Достали бутерброды, завернутые в несколько слоев истой папиросной бумаги.

— Грызутся, как собаки,— пояснил Ламми.

— Не моя забота,— заверила его Мег Хогбен.

Сейчас все на свете было для нее: не моя забота — не моя, а может, моя?

Ничего не соображая, она шла вслед за ним мимо ржавой печурки, через весь смертоносный ковер свалки. То бегом, то скользя, чтобы не отстать. Цветы все равно увяли бы у нее в руках, даже если бы она не хваталась за них, стараясь сохранить равновесие. Где-то в этом лабиринте, открывшемся только им, она потеряла свою шляпу.

Когда они отошли подальше от злобной стычки и знойное затишье снова спустилось на них, он взял ее за мизинец, ведь это было вполне естественно после всего, что им пришлось пережить вместе. Несколько минут они шли, взявшись за руки и размахивая ими, согласно раз и навсегда установленному закону движения.

А потом Лем Уэлли нахмурился и отбросил руку девушки.

Если она мирится с его поведением, значит, ей уже не важны его поступки, а важно только то, что он чувствует. В этом, наверно, вся и беда. Она все знает! Нет! Ей надо противиться до самой последней минуты. Держаться, цепляясь за воздух, как вот эта птица, чирикающая на ветках колючего дерева, под которым они остановились. И тут его пальцы взяли на себя всю власть. Юношеское тело поразило ее своей жестокостью. Дрожь, пробегающая по ее шероховатой коже, полотно белесого неба ужаснули его. До того как испуг и ожидание чего-то не растопили им губы. И они с благодарностью по глоточку стали пить друг друга. Запрокидывая назад голову между глоточками. Точно птицы, тянущие воду.

Осси уже перестал видеть лопату Альфа Герберта, сбрасывающего землю в могилу.

— Вот не знал, что мужчина может плакать на похоронах,— пробормотал советник Хогбен, хотя он был готов лопнуть со смеху.

— Если считать Осси мужчиной,— похмыкав, выразил свое мнение советник Ласт.

Но Осси ничего не слышал и не видел, одну только Дэйзи, все еще лежавшую на вздыбленной постели. У нее, наверно, оторвалась пуговица, потому что груди стояли торчком. Ему никогда не забыть, как они мучительно боролись тогда при тяжко-желтом утреннем свете. Ранним утром тело стало желтым, вялым. Что будет со мной, Дэйзи? Всё решится, Ос, сказала она, как решается за всех за нас. Мне надо бы знать, что тебе ответить. Но дай я немного передохну, отдышусь. Тогда он стал на свои больные колени. Он прижался губами к шее Дэйзи. У ее кожи был странный привкус горечи. Широкая, сверкающая река, к которой с позвякиванием удил спускался с горы паренек Осси Куген, замедляла течение, превращаясь в густую, желтую тину. И вот он, немощный, шелудивый старик, пытается освежить лоб в последней ее лужице.

Мистер Брикл сказал:

— *Вознесем тебе великую благодарность за то, что соизволил ты избавить сестру нашу от пагубы этого грешного мира.*

— Нет! Нет! — вырвалось у Осси, но ему так сдавило горло, что, несмотря на всю его горячность, его не услышали.

Насколько он понимал, никто не хотел избавиться от этого мира. Во всяком случае ни он, ни Дэйзи. Когда зимними вечерами можно сидеть вдвоем у огня и печь картошку в золе.

Миссис Хогбен не сразу отцепила свой крепдешин от проволоки. Это все нервы, не говоря уже о том, что Мег не выходит у нее из головы. Пришлось рвануть платье посильнее, и, подняв голову, она увидела, что ее чадо — вон там, на куче мусора, без малейшего стыда целуется с этим мальчишкой, сынком Уэлли. Что, если Мег станет второй Дэйзи? Отрицать не станешь, это у нее в крови.

Миссис Хогбен не то чтобы закричала, а издала некий звук своим раздувшимся горлом. Язык заполнил ей рот, так что словам в нем не осталось места.

Тут Мег взглянула на нее. Она улыбалась.

Она сказала:

— Да, мама?

Она подошла к колючей проволоке и пролезла сквозь нее, тоже чуть порвав себе платье.

Миссис Хогбен заговорила, и зубы у нее лязгнули:

— Нашла время! Твою тетку только что опустили в могилу. Впрочем, если кого упрекать, так именно ее.

Обвинения быстро следовали одно за другим. Отвечать на них Мег было нечем. Радость обезоружила ее, и с этой минуты она забыла, как надо защищаться.

— Будь ты помладше...— Миссис Хогбен понизила голос, потому что они уже подходили к священнику.— Я бы о тебя палку обломала, милочка.

Мег попыталась закрыть лицо, только бы не увидели, что у нее делается внутри.

— Что люди скажут? — простонала миссис Хогбен.— Что нас ждет впереди?

— Что, мама? — спросила Мег.

— На это ты одна можешь ответить. И еще кое-кто.

Тогда Мег посмотрела через плечо и увидела, что ненависть, о существовании которой она на некоторое время забыла, все-таки жива. И лицо ее сразу замкнулось, сжалось в тугой кулачок. Она готова была защищать все, что по справедливости нуждалось в ее защите.

Если бы даже ярость, горе, презрение, скука, безразличие и обида на несправедливость не занимали умы провожающих покойницу, вряд ли они почувствовали бы, что она стоит среди них. Восставшие из гроба — такое бывало (а может, и не бывало) в Библии. Фанфары света не вспыхнули в честь какой-то безнравственной женщины в ситцевом платье цветочками. У тех, кто знал эту женщину, она осталась только в отрывочных воспоминаниях, в какой-нибудь застывшей прижизненной позе. Могли ли они услышать ее призыв, да и услышав, стали бы разве внимать ему? И все же Дэйзи Морроу продолжала вещать:

Слушайте меня, слушайте все! Я не ухожу от вас, я оставляю только тех, кто хочет, чтобы их оставили, хотя и они все равно боятся — не потерять бы им частицу самих себя. Слушайте меня, преуспевающие безнадежники, вы, кто не спит по ночам, трясясь от страха, как бы не прозевать чего-нибудь, или ужасаясь при мысли, что и обретать-то им нечего. Придите ко мне вы, неудовлетворенные женщины, общественные деятели, встревоженные дети и шелудивые отчаявшиеся старики...

Слова всегда казались слишком большими для такой маленькой женщины. Теряя терпение, она откидывала назад волосы. И находила выход своей досаде в действиях. Так как ноги ее коренились в земле, ей бы и в голову не пришло противиться сейчас столь тяжкому грузу,

и голос ее, всегда хрипловатый, продолжал проповедовать, слог за слогом глотая прах:

Истинно говорю вам, не будем мы терпеть муки, если не построим у себя в сердцах каморок, где бы хранились орудия ненависти. Неужто вы не знаете, мои дорогие, что смерть не есть смерть, если она не убивает любви. Любовь же пусть будет самым мощным взрывом, который нам дано испытать. Она вздымает нас в вихре, кружит, сотворяя миллионы других миров. И никогда не разрушает.

Из-под свежего холмика, который был бездарно сложен в форме ее земного тела, она продолжала взывать к ним:

Я принесу вам утешение, если вы позволите утешить вас. Понимаете ли вы меня?

Но никто ее не понял, потому что они были всего лишь люди.

Во веки веков. Во веки веков.

Листья всколыхнулись, потревоженные первым намеком на ветерок.

И вот мечтания Дэйзи Морроу положили возле ее узеньких запястий, упругих бедер и изящных лодыжек. Она покорилась наконец телесному распаду, который, как надеялись, сделает из нее порядочную женщину.

Она умерла, но не до конца.

Мег Хогбен так и не смогла истолковать заветов своей тетки, и она не увидела последних минут ее погребения, потому что солнце било ей в глаза. Но вместе с радостной дрожью воспоминания она снова почувствовала, как пушок коснулся ее щеки, как легкий ветер щекотнул влажные корни ее волос, и, садясь в машину, стала гадать, чего ей ждать впереди.

Ну вот, Дэйзи свалили в могилу.

Где-то по другую сторону колючей проволоки послышались спорящие голоса и звон разбитого стекла.

Советник Хогбен подошел к священнику и сказал ему все, что полагается говорить в таких случаях. Потом, став к нему боком, вынул из бумажника несколько купюр и тут же почувствовал себя свободным. Если бы Хорри Ласт был еще здесь, Лес Хогбен догнал бы своего приятеля и обнял бы его за плечи, чтобы выяснить, простилось ли ему неподобающее поведение некоего субъекта — не родственника, нет, нет, однако... Как бы там ни было, но Хорри уже уехал.

Хорри ехал, вернее, летел по низине, где свалка примыкала к кладбищу. Впереди в пыльной спирали показалась на секунду спина Осси Кугена.

Подвезти, что ли, этого идиотика, засомневался советник Ласт и, не останавливая машины, подумал: заслуживают ли наши добрые намерения хотя бы пол-очка, если они остаются невыполненными? Потому что сейчас было уже поздно останавливаться, а в зеркале Осси сворачивал с дороги к свалке, где, собственно говоря, этому подонку и место.

Вдоль всей дороги камешки, пыль и листья оседали на места, привычные для них в невзвихренном состоянии. Бакалейщик Джилл, человек медлительный, как правило державший мелочь в затасканном холщовом мешочке, смотрел на шоссе сквозь толстые стекла очков, восседая в своем высоком «шевроле». Он с облегчением убедился, что успеет вернуться домой к половине четвертого, почти минута в минуту, и тогда жена нальет ему чашку чая. Во всех своих делах бакалейщик был пунктуален, порядочен, обстоятелен.

Ведя машину с умеренной скоростью, он объехал матрас, выброшенный свалкой из-под колючей проволоки на середину шоссе. Странные вещи происходили иногда на этой свалке, вспомнил бакалейщик. Истошно кричали девушки, узкие длинные брюки которых были разорваны в клочья. Рука, отрезанная по самое плечо, в мешке из-под сахара, а тела к ней будто и не было. И все же кое-кто находил мир и покой среди здешних отбросов: пожилые бездомные мужчины, белесые, мертвые рыбьи глаза которых ничего не рассказывали об их прежней жизни; женщины с голубоватой кожей потребителей метилового спирта вечно торчали у дверей лачуг, сбитых из древесной коры и ржавого железа. Однажды какой-то доходяга залег в куче мусора, по-видимому решив сгнить там, да так и сгнил, задолго до прихода констебля, за которым послали для обследования того, что казалось на первый взгляд ворохом вонючего тряпья.

Мистер Джилл осторожно прибавил скорость.

Они катили по шоссе. Катили по шоссе. Лам Уэлли сидел в кузове пикапа один, на пустой клети, наклонившись вперед, зажав руки между колен, забыв, что это поза Черного. Сейчас он ни от кого не зависел. Лицо у него осунулось на ветру. Это ему нравилось. Было приятно. Он уже не злился на весь тот хлам, который они волокли домой: на ржавчину, чешуйками осыпавшуюся у его ног, на рулон покрытого плесенью войлока, норовившего забить ему ноздри мохнатой пылью. И даже на свое семейство в кабине у него за спиной, затеявшее то ли ссору, то ли спор — поди разбери.

На самом же деле они пели песню. Один из своих собственных ее вариантов. Они всегда пели на свои собственные слова, и двое младших подтягивали им:

Покажи мне дорогу домой.
Хоть устал я, но лягу с тобой.
Кружку пива я налил себе,
И родилась мыслишка в уме.

И вдруг мамаша Уэлли принялась лупить Гэри — или это был Бэрри?

— Ты-то что смыслишь? Тоже мне!

— Какая тебя муха укусила? — крикнул ее муж.— Глоточка не выпьешь, чтобы не взбеситься!

Она промолчала. Он понял, что сейчас начнется. Малыш заревел, но больше так — для порядка.

— Это все Ламми, чтобы ему пусто было,— заканючила миссис Уэлли.

— Чего ты на него взъелась?

— Отдаешь мальчишке столько всего — и любви и заботы, а ему хоть бы что.

Уолт крякнул. Рассуждения на отвлеченные темы всегда ставили его в тупик.

Мамаша Уэлли плюнула из окна, но плевок вернулся к ней обратно.

— Ч-черт! — вскипела она.

И примолкла. Дело тут не в Ламми, если уж по-честному. А в чем, в ком? Да во всем. Спиртное! Зарекалась: больше в рот не возьму. А брала. И этот Ламми, чтобы ему пусто было, и кесарево, и все прочее, мужчину больше до себя не допущу.

— Мужчинам этого не понять.

— Чего? — спросил Уолт.

— Когда кесарево.

— Э?

О чем с мужчиной говорить? Не о чем. Вот и ложишься с ним в постель. Большей частью навеселе. Так и на близнецов нарвалась, а ведь говорила — больше никогда в жизни.

— Перестань ты реветь, ради бога! — стала она увещевать малыша, приглаживая его взъерошенные ветром волосы.

Все на свете тоска зеленая.

— Любопытно, часто тут хоронят заживо? — сказала она.

Лихо беря повороты в своем кремовом «холдене», советник Хогбен чувствовал себя эдаким молодцом, но сдерживал свою удаль в последний момент, чтобы машину не заносило по ту сторону закона.

Они катили и катили по шоссе, машина приятно рвалась вперед, а углы огибала полукруглыми заворотами.

В тех случаях жизни, когда Мег Хогбен заставляла себя молиться, ища ответа на вопрос, что с ней происходит, у нее ничего не получалось, но она снова и снова, стиснув зубы, продолжала свои попытки. Сейчас ей так хотелось с любовью думать о своей тетке, но облик покойницы расплывался у нее перед глазами. Она человек несерьезный, в этом все дело. Но при каждой очередной неудаче пейзаж ласково заслонял собой все другие ее мысли. Они проезжали под телефонными проводами. Ей ничего не стоило бы перевести любой разговор на язык мира и тишины. Ветер, то обжигающий, то холодный, оставлял все неподвижное в покое: деревянные дома прочно стояли вдоль шоссе, стволы ветел высились у бурого блюдца плотины. Открытый взгляд ее серых глаз стал глубже, словно готовясь вобрать в себя все, что ей еще предстояло увидеть, почувствовать.

Как уютно было сидеть, подобрав под себя ноги, на заднем сиденье, когда папа и мама едут спереди.

— Я не забыла, Маргарет,— бросила ей мама через плечо.

К счастью, папу это не заинтересовало, и он ничего не спросил.

— У Дэйзи не осталось задолженности по дому? — осведомилась миссис Хогбен.— Ведь она была такая непрактичная.

Советник Хогбен прочистил горло.

— Выясним, на это нужно время,— сказал он.

Миссис Хогбен уважала мужа за то, что было, признаться, выше ее понимания: например, таинственное Время, Дела и совсем уж непостижимое — Главный Эксперт.

— Не понимаю,— сказала она,— как это Джек Каннингем сошелся с Дэйзи. Такой видный мужчина. Хотя Дэйзи вообще-то нравилась.

Они катили по шоссе. Катили по шоссе.

Когда миссис Хогбен вспомнила про золотое колечко.

— Как по-твоему, эти, из похоронного бюро, честные?

— Честные ли? — переспросил ее муж.

На такой вопрос трудно ответить.

— Да,— сказала она.— То кольцо, которое Дэйзи...

Обвинять рискованно. Когда она наберется храбрости, то пойдет в заколоченный дом. От одной этой мысли у нее сдавило грудь. Она войдет в комнаты и пошарит в дальних уголках комода, вдруг там комочек папиросной бумаги. Но заколоченные дома умерших пугали миссис Хогбен, в этом нельзя не признаться. Спертый воздух, свет, пробивающийся сквозь шторы сурового полотна. Точно воровать пришла, хотя этого и в уме не было.

А тут еще эти Уэлли догнали их.

Они катили и катили по шоссе, пикап и «холден», почти в притирку друг к другу.

— У кого никогда не бывает мигрени,— воскликнула миссис Хогбен, отворачиваясь от пикапа,— тот даже не представляет себе, что это такое.

Ее муж слышал это не в первый раз.

— Странно, что мигрени тебя все еще мучают,— сказал он.— Говорят, в известном возрасте это проходит.

Хотя они не намерены обгонять машину Уэлли, он сделает все, чтобы избавиться от такого соседства. Уолт Уэлли сидел за рулем согнувшись, но не настолько, чтобы не было видно волос, выбивающихся из-под расстегнутой на груди рубашки. Жена похлопывала его по плечу. Они пели песню на свои собственные слова. А десны у нее слюнявые.

И они катили и катили по шоссе.

— Меня сейчас стошнит, Лесли.— Миссис Хогбен проглотила слюну и полезла в сумочку за непарадным носовым платком.

Близнецы хохотали сквозь свои светлые лохмы.

Сидя в кузове грузовика, этот хмурый Лам смотрел в другую сторону. Мег Хогбен вперила взгляд куда-то далеко-далеко. Если промелькнула между ними хоть тень взаимного узнавания, ветер сразу сдул ее с их лиц. Мег и Ламми сидели каждый на своем месте, обняв свои острые, но такие уютные колени. Подбородки у них были опущены низко — ниже некуда. И глаза тоже смотрели вниз, точно они довольно всего нагляделись за один день и оба лелеяли то, что узнали.

Теплая сердцевинка обретенной уверенности друг в друге успокаивалась и затихала по мере того, как все увеличивающаяся скорость заставляла ветер перебирать телефонные провода, бегущие мимо изгороди, и приминала головки серой травы, но они поднимались, все поднимались и поднимались.

■

А. КВЕИ АРМА

Осколки

РОМАН

Перевод с английского М. ЛОРИЕ и А. КИСТЯКОВСКОГО

Глава пятая

Защитник

Хуане казалось, что пульсик, бьющийся в ее виске, утихнет, как только пациент уйдет, но вместо этого болезненная пульсация распространилась по всему черепу, потом незримо растеклась по телу, словно бы в унисон с едва заметным мерцанием двух люминесцентных ламп над ее столом, и постепенно это чуть жужжащее мерцание, слившись с дрожью ее тела, стало складываться в определенный звук — ты-ты-ты-ты-ты.

Хуане было ясно, что она очень устала, и ей вовсе не хотелось обдумывать сегодняшнее происшествие, но, бросив взгляд на записи в своем рабочем блокноте, она снова принялась убеждать себя, что ее поведение во время недавно закончившегося приема нисколько не отличалось от обычного, как будто ей было необходимо уверить-ся, что она поступила совершенно правильно. И при этом она ясно понимала, что пациент даже не задумывался, какие у них складываются отношения. Больной пришел к врачу, он — мужчина, врач — женщина, они не знакомы, есть вероятность, что им удастся понять друг друга,— может быть, они даже станут друзьями... но все это в будущем, а пока пациент ничего не предрешает, ничего не хочет предполагать. Именно полная неопределенность и взволновала Хуану.

Она с досадой чувствовала, что нисколько не освободилась от «комплекса классифицирования», а сейчас вот сознательно спешит спрятаться в эту покойную врачебную раковинку, чтобы не видеть в пациенте человека, такого же, как она сама.

В общем, она старалась не думать, как сложатся их отношения,— и все время думала об этом. У нее было два пути. Она вполне могла считать этого человека только пациентом, могла не интересоваться его духовным одиночеством, наглухо замкнувшись в своем, могла прятаться от тоски по человеческому общению за призрачной ширмой равнодушного спокойствия. У нее была возможность надеть мас-

Окончание. Начало см. в № 3.

ку внимательного, но холодного профессионала и не замечать его безмолвной просьбы о человеческом участии, хотя она уже понимала, что эта просьба рождает в ее душе радостный отклик. Да, она могла спрятаться от всего этого, и, вероятно, без особых усилий. Но ведь она могла и принять его дружбу, могла сблизиться с незнакомцем, которому угрожало безумие именно из-за его проницательного и острого ума; Хуана знала, что единственным спасением для него было бы убийство собственного интеллекта — так ведь и случилось однажды с ее знакомым, молодым ганским врачом.

Но, по правде-то говоря, она вовсе не была уверена, что их будущие отношения зависят от нее. Когда молодой человек вошел в кабинет, вид у него был спокойный, отчужденный, до обидного безразличный. Он пожал ей руку и стоял возле стола, пока она не предложила ему сесть. Потом ей пришлось спросить его, что с ним случилось: он безучастно сидел на стуле, и не смотрел на нее, и молчал, а на ее вопрос ответил, что хотел бы пройти профилактический осмотр. Хуана чуть не расхохоталась. Взяв медицинскую карточку, которую он принес, она прочитала его имя, возраст и место работы — телекорпорация; потом улыбнулась и спросила:

— У вас такое передовое начальство, что посылает каждого нового работника на профилактический осмотр?

— Нет,— ответил он без улыбки.— Меня никто к вам не посылал. Я пришел сам.— Она уже открыла рот, чтобы спросить — зачем, но вовремя увидела, что он показывает на второй лист медицинской карточки, и стала внимательно читать запись — ее сделал нью-йоркский врач, предлагающий, в случае нужды, связаться с ним. Хуана записала что-то в своем блокноте, а потом, поколебавшись, переписала адрес нью-йоркского коллеги. Глянув на пациента, она машинально произнесла его имя; он не отозвался, но теперь их глаза встретились, и она поняла, что ему просто скучно и что он не надеется услышать от нее ничего нового.

— Тут написано, что вы принимали торазин.

— Да, принимал.

— Беда с ЛСД?

Он отрицательно покачал головой:

— Некоторые из моих друзей пробовали это дело, но я — ни разу. А почему вы так подумали?

— Торазин нейтрализует расширение ассоциативных связей в сознании, вызываемое наркотиками.

— Вот как? Я не знал. Впрочем, однажды, помнится, он упомянул — я говорю про доктора,— что мой организм сам вырабатывает галлюциногены.

— Что ж, вполне возможно, хотя это довольно редкий случай. Выходит, вы и сами...— она попыталась сдержаться, но не смогла,— довольно редкое явление — счастливчик.

— Я бы не назвал себя счастливчиком,— бесцветным голосом выговорил он; его тон был настолько враждебен, что в нем не ощущалось даже злости; Хуане захотелось извиниться, но, посмотрев на пациента, она поняла, что это бесполезно.

— Мне кажется, только постоянная и мучительная тревога может дать такой эффект,— сказала она после паузы.— Что вас тревожило?

— Многое.

— Я понимаю. Но — больше всего?

— Больше всего — страх перед возвращением.

— Чего именно вы боялись?

— Я не был уверен, что смогу делать какое-нибудь важное и серьезное дело.

— А после возвращения ваши страхи уменьшились?

— Я не знаю. Не думаю. Нет.— Теперь он говорил без враждебности, и в его взгляде читалась настойчивая просьба выслушать то, о чем он собирается рассказать.— Просто все стало гораздо определенней.

Начав говорить, он очень точно, словно врач, исследующий пораженный орган, обрисовал свое состояние; это был рассказ об одиночестве, из которого невозможно вырваться, и о социальной среде, обрекающей человека на постоянное одиночество. Хуана завела разговор о семье, но сразу поняла, что его семья — лишь уменьшенная, но зато теснее сплоченная, а поэтому и более опасная копия общества в целом, зеркальная линза, как он назвал ее, и Хуане стало ясно, что семья мучает его еще сильней, чем социальная среда.

— Ведь от семьи и ее требований,— рассказывал он,— совсем уж никуда не спрячешься.

— И ее требования противоречат требованиям общества? — спросила Хуана.

— Да, но не прямо и в очень сложном взаимодействии,— ответил он, однако не стал развивать свою мысль и только безнадежно махнул рукой.

— Вы считаете, что заботы о семье не могут принести удовлетворения? — Хуане очень не хотелось, чтобы нить его рассуждений оборвалась.

— Они необходимы,— сказал он,— я понимаю. Но все это превратилось теперь в мертвый, раз и навсегда установившийся ритуал. Член семьи, побывавший за границей, представляется родственникам волшебным добытчиком. Все считают, что, возвратившись, он должен принести с собой мгновенные и чудесные перемены.

— Вы думаете, это совершенно новое явление,— спросила Хуана,— или оно уходит корнями в прошлое?

— Если и новое, то только по форме. Поездка за границу и связанные с нею надежды, конечно же, детище колониальных времен. Однако идея волшебных перемен уходит в глубочайшую древность. Наши мифологические герои неизменно спасали целые общины от страшных бедствий и лютых врагов. Но община распалась на отдельные семьи, и нынешние герои просто приносят в семью богатство. Раньше герои спасали общину от врагов, а теперь избавляют семью от бедности — главным образом за счет общества.

— Значит, вы жалеете, что учились за границей?

— Разумеется, нет,— сказал он со смехом.— Те же трудности возникают у людей, которые учились здесь — в Легоне, Кумаси или Кейп-Косте. Кое-кого из них я знаю — все то же самое... ну, может быть, в ослабленной форме. Болтают и пьют горькую, лишь бы не видеть того, что им страшно увидеть. Трата денег как способ самоубийства.

— И вы не знаете, что вам делать?

— Почему не знаю? Мне совершенно ясно, чего от меня хотят.— Он умолк, и она не торопила его.— Но я-то хочу другого.

Хуана думала, что он будет продолжать,— и ошиблась; в наступившем молчании ей трудно было скрыть свое замешательство.

— Что ж, это ведь прекрасно,— сказала она после паузы,— знать, чего хочешь. У вас свой собственный путь.

— Не уверен,— сказал он.

— Вы идете против течения,— проговорила она, и он утверди-

тельно кивнул, но лицо его оставалось непроницаемым.— На это тратится много сил.

Он как-то странно закашлялся — словно хотел сдержать смех и не мог. Потом справился с собой и улыбнулся — так измученно, что она невольно отвела взгляд.

— Течение...— начал он. И опять не закончил.

— Вы не уверены в этом? — спросила она.

— Да нет, уверен,— ответил он, успокаиваясь.— Я бы даже сказал: стремнина.

Это слово так удивило ее, что она машинально записала его в блокнот, прочертив хвостик у «а» до самого края страницы и завершив аккуратной спиралью с точкой в центре.

— Странное определение,— проговорила она вслух.— Почему стремнина?

— Да просто это слово пришло мне в голову,— сказал он.— А что в нем странного?

— Какое-то оно не очень подходящее.— Хуана положила карандаш, и он покатился по столу.— Я бы уж тогда сказала: потоп.

Он опять рассмеялся — на этот раз легко и весело.

— Ну, какой там потоп,— возразил он, энергично тряхнув головой.— Я вовсе не склонен драматизировать свою жизнь.

Хуана промолчала, хотя слово «стремнина» вызвало в ее душе множество ассоциаций. Она задумалась о пациенте и, погрузившись в свои мысли, как бы потеряла представление о его физической сущности, потому что он вдруг превратился в сверкающий купол, прикрывающий сверху неясный туман ее дум, и мысленным взором она явственно видела темную щербину, изъян на его внутренней поверхности, но в то же время ей было совершенно очевидно, что этот-то изъян и не дает всему куполу рухнуть... Впрочем, через несколько секунд живой, реальный человек, сидящий перед Хуаной, напомнил ей о своем существовании. Оказалось, что он протягивает ей через стол небольшую карточку с ритуальной маской и печатным текстом, который, когда Хуана окончательно опомнилась, сложился в слова приглашения на вечер.

— Тут сказано — писателей...

— ...И художников, и их друзей,— насмешливо дочитал он надпись на билете.— Почему бы вам не стать моим другом? — Последнюю фразу он произнес совершенно серьезно.

Предложение было до того неожиданным, что Хуана удивленно подняла глаза и внимательно посмотрела на своего пациента. Он явно не шутил. Его взгляд был спокойным и открытым, без униженной мольбы, но и без нахальной требовательности. Взгляд мужчины, готового спокойно принять и отказ, и согласие, словно между этими двумя исходами не было никакой разницы. Или в его взгляде застыла такая уверенная безнадежность, что она уже как бы и не отличалась от надежды...

В ее собственном взгляде, наверно, отразилось прежде всего изумление, тотчас же сменившееся удовольствием и согласием, потому что он улыбнулся, повторил еще раз — значит, в следующую субботу — и предложил встретиться у входа в здание Любительской студии. Настроение у него явно исправилось — видимо, от мысли о предстоящем вечере.

— Вы думаете что-нибудь понять там.— Она произнесла свой вопрос утвердительно и не была уверена, что получит ответ.

— Посмотрим,— сказал он.

— Однажды я побывала на подобном вечере,— начала она.— Приглашение выглядело в точности так же, только вместо маски — жреческий жезл...— Но, решив не расхолаживать его, осеклась, и через минуту он пожал ей руку, задержав в своей немного дольше, чем следовало, попрощался и ушел.

Хуана приехала к зданию Любительской студии, когда приглашенные еще даже не начали собираться. Она миновала просторную автостоянку перед входом в студию и остановилась чуть дальше, у большого дерева со свисающими вниз ветвями. Сквозь лобовое стекло ей были видны вереницы машин на проспекте, который вел в аэропорт, и зеленая светящаяся вывеска отеля «Амбассадор» на другой стороне проспекта. Когда поток транспорта ненадолго прерывался, Хуана видела изогнутые, подсвеченные прожектором струи фонтана перед входом в отель, издали казавшиеся отлитыми из стекла. Вскоре начали приезжать машины приглашенных на вечер, и поднятая ими пыль завесила фонтан серой сухой пеленой. Почти всех этих людей Хуана много раз видела и сейчас, глядя на знакомые фигуры, с досадой почувствовала, что ее охватывает гнетущее ощущение постоянства, неизменности собственной жизни — ощущение, которому она вовсе не хотела поддаваться. Потом мимо нее с ревом промчалась спортивная машина, и почти сразу же послышался визг тормозов: машина, вероятно, остановилась с другой стороны от входа в студию. А через минуту показался и хозяин машины — необычайно энергичный, резкий в движениях молодой человек.

— Неужели это вы, доктор? — заорал он, просовывая руку в окно машины.— Ведь тыщу лет не виделись! Ну, здравствуйте, здравствуйте, доктор. Где вы пропадали?

— Да все дела,— ответила Хуана.

— Вечно у вас дела,— проговорил молодой человек, не выпуская руку Хуаны и время от времени потряхивая ее с радостным неистовством.— Вечно дела.

— Послушайте, Лоренс,— сказала Хуана, рассмеявшись.— Отпустите же наконец мою руку. Вы ее, того гляди, оторвете.

— Виноват, доктор,— воскликнул молодой человек. Потом расхохотался и добавил: — Нет, вам так просто руку не оторвешь, вы ведь у нас стальная женщина. Наш стальной доктор.

— Ну-ну.— Хуана отвернулась и посмотрела сквозь лобовое стекло на огни отеля.

— Мотаетесь по провинциям? — спросил молодой человек.

— Приходится.

— И где же вы были?

— Чуть ли ни везде, Лоренс. Почти всю страну объездила.

— А в провинции Бронг-Ахафо были?

— Я проезжала через нее,— сказала Хуана,— по дороге на север.— Ей хотелось поскорее закончить разговор, но неожиданно молодой человек пригнулся к окошку машины, и в его громком голосе послышались напряженные, шипящие нотки:

— Да не теряйте вы понапрасну времени, доктор! Не мучайте себя — вам не одолеть этих дураков из министерства. Что бы вы ни сделали, они обязательно все испортят.

— А вы опять под хмельком? — рассмеявшись, спросила Хуана.

— Выходит, они и вас втянули в эту трепотню? А мне-то казалось, что вы мне друг, доктор. Значит, даже вам не удалось выстоять.

— Но я ведь права, Лоренс?

— Да какая разница! — заорал он. И тотчас же спокойно добавил: — Нет, доктор, не правы. Вы думаете, во мне говорит джин? Эх,

люблю я вас, доктор, но ничегошеньки вы здесь не понимаете.— Он посмотрел на нее в открытое окно машины. Огромные белки его глаз мягко светились.— Скажите, доктор,— после паузы спросил он,— знаете вы хотя бы одного, одного-единственного честного человека, который не пьет? Вы и сами пьете — разве нет?

— А как же, Лоренс. Но почему вы опять так расстроены?

— Да ведь все одно и то же, доктор. Лоренс Боатенг слишком много пьет. Ох, как же я устал от этой трепотни! Ну, пью. Так зато я вижу правду и говорю о ней... когда пьяный! Что тут плохого-то?

— И все равно величаете меня доктором — даже когда видите правду. А ведь меня зовут Хуана.

— Эге! Я, значит, называй вас Хуаной, а вы меня будете величать Пьянчугой? — Он снова захохотал и так дернул машину, что она несколько раз качнулась. В это время слева от них на минуту остановилось такси, пассажир хлопнул дверцей и торопливо зашагал ко входу в студию.

— Баако! — окликнула его Хуана, высунувшись из окна своей машины. Тот вернулся, пожал ей руку и попросил прощения за то, что опоздал.

— Нет-нет, все в порядке,— успокоила его Хуана.— Приглашенные только начали собираться. Вы знакомы?

— Я Боатенг. Лоренс Боатенг.

— Баако Онипа.

— Мистер Онипа работает в телекорпорации.

— Я слышал о вас, мистер Боатенг,— сказал Баако, пожимая Лоренсу руку.

— Ну конечно. Все думают, что я главный редактор «Джунглей». А по правде-то говоря, главные редакторы сидят в Лондоне. Эти балбесы перекраивают журнал, как им вздумается. Эх, жизнь!

— Нам, наверно, пора,— сказала Хуана.

— Там еще никого нет,— возразил ей Боатенг.— А остальных мистер Онипа знает?

— Каких остальных? — спросил Баако.

— Понятно,— сказал Боатенг.— Значит, не знаете. Послушайте, Хуана, а что, если мы тут немного повременим и я обрисую нашему чужеземцу местных заправил от искусства и литературы?

— Ох, Лоренс, не вливайте вы в него вашу отраву!

— Я напою его чистейшей правдой, доктор.

— Редакторы умеют намешивать из правды очень странные напитки.

— Прекратите ваши нападки, доктор,— проговорил Боатенг, притворяясь оскорбленным.— Вы намеренно настраиваете его против меня. А мы вполне могли бы стать друзьями.— Неожиданно что-то очень взволновало Боатенга — он скомкал начатую фразу и воскликнул: — Смотрите-ка!

Мощные фары прорвали завесу пыли, и большая машина, медленно развернувшись, затормозила на стоянке перед входом в студию. Из машины вышли мужчина и женщина, но как следует разглядеть их на таком расстоянии было трудно.

— Верноподданные Великой Культурной Империи что-то рано сегодня пожаловали,— проговорил Боатенг.

— Чьи верноподданные? — спросил Баако.

— Лоренс, перестаньте упражняться в остроумии и объясните человеку, кто они такие. Ведь он ничего о них не знает, и ваши шуточки только собьют его с толку.— Но Боатенг, казалось, даже не слышал Хуану.

— Глядите хорошенько, чужеземец! Вон тот беременный слизняк — видите, который сзади? — он муж. А засушенная глиста — это жена.

— И не надоело вам поносить их? — вмешалась Хуана. Но Лоренс не обратил на ее слова внимания.

— Семейная труппа Британского Совета. Джанет и Джеймс Скалдер. Она женила его на себе семь лет назад — за его, как она думала, величайшее актерское мастерство.

— Ох, да заткнитесь вы, Лоренс,— сказала Хуана, невольно рассмеявшись.— Откуда вы знаете, почему она его на себе женила?

— Не мешайте мне излагать эту великую историю.— Смех Боатенга, короткий и хриплый, оборвался на болезненно-визгливой ноте.— Он живет здесь как представитель Британского совета и раз в год играет главную роль в спектакле «Юлий Цезарь», который ставит его жена. «Спешите посмотреть — всего четыре представления — Джеймс Скалдер в роли Цезаря!» О господи! — Это «о господи!» Лоренс произнес как бы неожиданно для самого себя, потому что потом он напряженно замолчал, словно вдруг понял то, о чем раньше не решался и подумать.

К стоянке подъехали еще три машины, но Боатенг не проронил ни слова. Хуана думала о его манере разговаривать — в ней чувствовалась яростная исступленность, обнажающая суть таких явлений, о которых другие люди старались даже не помышлять. И Хуана не могла определить, сознательной была эта клокочущая ярость или исступление прорывалось наружу помимо его воли. Но сейчас он упорно молчал, и Хуане было не по себе.

— Теперь-то уж, наверно, пора? — Кивком головы она показала на вход.

— Постойте! — внезапно вынырнув из своего молчания, проговорил Боатенг.— Я еще не кончил, а время терпит. Вон Асанте Смит. Впрочем, с ним-то вы, конечно, встречались. Интересно, почему он сегодня притащил с собой только двух девиц? Видно, решил поостеречься.

Тем временем к студии подкатил вместительный университетский автобус, и из него высыпала весело щебечущая группка мужчин и женщин, всего человек двенадцать. Кто-то из них мягким басом напевал одну и ту же музыкальную фразу, и Хуане вдруг показалось, что разворачивается бесконечный рулон черного бархата. А потом машины стали приезжать одна за другой, почти без перерывов, на стоянке возникла суматошная и шумная неразбериха, так что Боатенг уже не мог давать характеристик прибывающим, и тогда Хуана, а за ней оба ее спутника вошли в студию.

Внутри, перед небольшой сценой, шестью неровными рядами были расставлены стулья, а на самой сцене, ярко освещенной юпитерами, так что свет в зале казался мягким и приглушенным, стоял столик и позади него еще три стула. Слева от сцены Хуана заметила второй стол, с бутылками спиртного и бокалами, а под ним громоздились коробки с пивом и безалкогольными напитками. Отдельные разговоры в разных концах зала сливались в монотонный успокоительный гул, понемногу затихший, когда появились организаторы вечера и почетный гость, ради которого устроили этот вечер. Боатенг, кивнув головой в сторону поднимающихся на сцену организаторов, негромко сказал:

— Ну, больше уж вы меня не перебивайте, доктор, потому что я буду говорить одну голую правду. Вон та, в середине,— наш главный писатель. Только не спрашивайте, что она написала. Этого никто

не знает, и всем наплевать. Тот, который слева,— ее постоянный партнер, и, говорят, он лучший фотограф... в округе миль на сто. Южноамериканский гринго. Второго я не знаю, но, судя по улыбочке, он меценат-благотворитель. Думаю, что из-за него нас здесь и собрали.

— Лоренс, у меня есть предложение. Попробуйте просто объяснить мистеру Онипе, кто эти люди и чем они занимаются. А свои комментарии оставьте на потом.

— Вы уже это предлагали.— Боатенг явно раскалялся все сильней, однако через несколько секунд он довольно спокойно сказал Баако: — Это Акосуа Рассел. Я думал, вы ее знаете.

— Да нет, не знаю, но фамилию, конечно, слышал. Она ведь редактирует «Чиерему»?

— Во-во, ганский литературный журнал. Самый представительный, самый читаемый... в общем, самый-распресамый.

— Мне, правда, что-то не попадались последние выпуски.

— А их и не выпускали,— сказал Боатенг со смехом.— Надо не надо, но раз в два года мы выпускаем наш ежеквартальник.

— Трудности с фондами? — спросил Баако. Вместо ответа Боатенг расхохотался ему в лицо.

Акосуа Рассел, поочередно склоняясь к сидящим рядом с ней мужчинам, что-то пошептала им, и они расплылись в одинаковых улыбках, словно она исполнила тайный ритуал, накрепко связавший их воедино. Потом встала и с милостивой улыбкой королевы дождалась, когда смолкнут разговоры. Ее речь была длинной и, насколько Хуана могла припомнить, мало отличалась от той, которую ей уже однажды довелось услышать. Чтобы убить время, она попыталась поставить себя на место недавно приехавшего Баако и почувствовать, как он воспринимает все эти россказни о беззаветных усилиях, направленных на развитие национальной литературы и национального искусства, идущих рука об руку к великим свершениям. Хуана поглядывала на Баако, но его лицо оставалось бесстрастным — ни надежды, ни отвращения. Закончив свою речь, Акосуа Рассел представила собравшимся почетного гостя. Она с видимым удовольствием произнесла его имя — доктор Кэлвин Берд — и сказала, что он необычайно благожелательно относится к развитию здоровых национальных форм ганского искусства. Улыбающийся, утвердительно кивающий головой доктор Кэлвин Берд всем своим видом показывал, что он совершенно удовлетворен такой рекомендацией, и зал разразился аплодисментами. Затем Акосуа Рассел объявила, что благодаря помощи доктора Кэлвина Берда — тот снова улыбнулся — каждый желающий может выпить, и Хуана увидела, как Джеймс Скалдер, все набавляя скорость, чтобы сохранить преимущество, завоеванное на старте, ведет группу энергичных молодых людей к столу с бутылками. Баако спросил Хуану, чего она хочет выпить, и, услышав, что пива, отправился туда же. Хуана заметила в толпе высокую, стройную Рассел и невольно стала следить за ней. Та выискивала какую-нибудь небольшую группку и, замешавшись в нее, мимолетно обнимала людей за плечи, целовала в щеки, шептала что-то в уши, а потом ускользала к следующей. С проворной грациозностью продвигаясь вперед, она подошла наконец к Боатенгу, положила ему на плечо худощавую руку и спросила:

— Лоренс, ты принес свой роман?

— Тебе же прекрасно известно, что принес,— неприветливо ответил Боатенг.— Рукопись в машине.

— Приготовь ее,— сказала Рассел,— у нас будет литературное чтение.— На ее губах играла милая улыбка, но Боатенг не смягчился.

— Что это за тип? — с холодной враждебностью осведомился он.

— Приготовь рукопись,— повторила Рассел.— Потом поговорим. Ты будешь читать сразу после меня.— Она подмигнула Боатенгу и скрылась в толпе, прежде чем он успел ей ответить.

— Опять какое-то жульничество,— глядя ей вслед, проговорил он. Однако сейчас же встал и отправился за рукописью.

Баако, осторожно пробираясь сквозь толпу, вдруг поднял руку и кому-то помахал. Хуана было подумала, что вернулся Боатенг с рукописью, но, оглянувшись, увидела пожилого художника Окрана.

— Я вижу, вы знакомы,— сказал Баако, усаживая Окрана.

— Еще бы! — ответил Окран.— Хуана — самая безумная оптимистка в мире.

— А в прошлый раз кто-то мне говорил,— отпарировала Хуана,— что ноги его не будет на этих литературных действах.

— Да меня от того вечера и сейчас еще тошнит,— сказал Окран.— А все-таки дай, думаю, зайду, мало ли что может быть.

— Значит, циники тоже живут иллюзиями? — рассмеявшись спросила Хуана.

Окран вздохнул и ответил:

— Старые дурни вроде меня всегда на что-то надеются, даже если все понимают.— Потом он обратился к Баако: — А вот тебя я здесь увидеть не ожидал.

— Решил посмотреть.

— К сожалению, ничего ты тут не высмотришь.

— Откуда вы знаете? Ведь в конце концов...— начала Хуана, но Окран перебил ее:

— Оттуда вот и знаю. Выпить вам здесь дадут — если вы для этого сюда пришли, а насчет искусства... Акосуа Рассел устраивает эти представления, чтобы выколотить из американцев деньги — и только для себя. Можете проверить. Пусть Онипа волочет сюда свои творения и читает хоть до утра. Она объяснит американским доброхотам, что это она научила его писать. Или, по крайней мере, что она его поддерживала, вдохновляла — да что угодно, лишь бы получить деньги для продолжения ее гуманной деятельности. Она кого хочешь оплетет, эта красотка.

Вскоре вернулся Боатенг — с рукописью и пивной кружкой, в которую он налил себе чуть ли не полбутылки виски. Окран спросил его, будет ли он сегодня читать, и, когда Боатенг, на секунду замявшись, ответил, что будет, насмешливо сказал:

— Акосуа Рассел, наверно, очень тебя любит — ведь ты ей здорово помогаешь.

У Боатенга поджались губы, но вместо ответа он спросил у Окрана, кто такой доктор Берд. Окран что-то сказал, и Хуана уловила несколько слов — деньги... мошенничество... делишки. К столу с напитками, поодиночке или группами, подходили гости, наполняли бокалы и рассаживались по местам.

Акосуа Рассел — она уже снова была на сцене — опять пошепталась с обоими мужчинами, потом поднялась из-за стола и, застыв в царственной позе, подождала, когда прекратятся разговоры. Через несколько минут все замолчали.

— По просьбе присутствующих,— сказала она, торжественно вы-

кладывая на стол маленькую книжицу,— мы откроем наше чтение моей поэмой.

— Поэмой? — изумленно прошептал Баако.

— Ты не ослышался,— подтвердил Окран.

— Эпическая поэма,— провозгласила со сцены Акосуа Рассел.— Приход светозарного Нового Века в древнее селение Амосема-у-перекрестка.— Она устремила взор куда-то вдаль, выдержала паузу и начала:

Скажи,
Расскажи,
Расскажи нам о том,
Неспешно, неспешно поведай о том,
Как дивная дева с прелестным лицом,
Принцесса с небесным лицом и очами
Смогла просветить свой народ одичалый.
Нечаянно
Все
Расскажи.

Скажи нам,
Негромко, негромко поведай
О том, как невинная дéвица Экуа
Искала себе жениха,
Но никак не могла отыскать:
Принцессу, за ее величавость,
Надменницей все величали.
Отчаянно, плясово, песенно,
Весело
Все
Расскажи.

Скажи нам,
Сторожко, сторожко поведай
О том, как однажды пред росным рассветом
К речке извилистой тропкой
Шли девы походкою кроткой
И вдруг, предаваясь танцам,
Увидали вдали чужестранца.
Пространно
Все
Расскажи.

Скажи нам,
Мягко, мягко поведай
О том, как утром над речкою светлой
Принцесса пришельца встретила,
О том, как они стояли,
Немея в сладкой печали,
А губы влюбленных шептали:
О небо...
Какая небыль...
Нежно
Все
Расскажи.

Скажи нам,
Страстно, страстно поведай
О том, что пришелец был пенно-белый,
С желтыми волосами
И голубыми глазами;
Но был он сильный и властный,
И свадьба была прекрасной.
Страстно
Все
Расскажи.

Скажи нам,
Торжественно нам поведай
О том, как свет одержал победу,
О том, как, трудясь беззаветно,

Они воздвигли заводы
И дали работу народу,
Дали народу письменность,
А каменных идолов высмеяли,
И никто не приносит жертв им.
Торжественно
Все
Расскажи.

Акосуа Рассел, стройная, улыбающаяся, подтянутая, застыла на сцене, уверенно дожидаясь оваций.

— Я все думаю: когда же ей придется изобрести что-нибудь новенькое? — сказал Окран.— За восемь лет, со дня открытия этой лавочки, она ничего не изменила.— Покачивая головой, он смотрел на сцену.

— Не скажите, тогда ее лицо вдохновенно озарялось цветными юпитерами,— заметил Боатенг.

— Помню, помню,— ответил Окран.— Успех был грандиозный.

Голос, льющийся со сцены, заглушил их беседу:

— ...Зародившаяся идея расцвела по-настоящему, воплотившись в поэтическую форму. Один из моих знакомых назвал эту поэму неотъемлемой частью всех западноафриканских поэтических сборников. Вот далеко не полный список ее публикаций: дважды издававшаяся «Сокровищница афро-британской туземной поэзии», трижды издававшаяся «Британская антология наиболее вдохновенной поэзии аборигенов Африки», «Новые туземные барды», «Эпическая поэзия молодых народов», школьное издание, а также подобранные миссис Гвендолин Саттертуэйт «Короткие поэмы для детей и юношества».

Однако это лишь одна сторона вопроса. Многие из собравшихся, вероятно, помнят, что я переработала поэму в эпическую драму, впервые сыгранную на этой самой сцене во время Второго фестиваля национальных искусств и ремесел. Сейчас у меня зародился замысел переделки поэмы в прозаическую эпопею для опубликования ее за границей. И, наконец, Ганская телекорпорация запланировала съемки полнометражного фильма «Светозарный век» с правом показа его в кинотеатрах.

Шумные овации затопили студию, и, лишь когда Акосуа Рассел подняла руку, прося тишины, аплодисменты стихли.

— А теперь, если у кого-нибудь есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.— Она обвела взглядом зал, увидела поднятую руку и, улыбаясь, проговорила:— Да, пожалуйста.

Все повернули головы и посмотрели на вставшего молодого человека.

— Моя фамилия Адогбоба,— запинаясь, сказал он.— Я с севера. Жду приема в университет и хочу писать... хочу учиться писать. Я приехал в Аккру на семинар три недели назад, но за это время не было ни одного занятия. Мне очень хотелось бы вступить в семинар, если вы еще...— Но тут Акосуа Рассел перебила его.

— Такие вопросы решаются в рабочем порядке,— сказала она спокойно.— Мы обсудим это позже. Подойдите ко мне, когда закончится чтение.— На секунду зал всколыхнулся невнятным гулом. Молодой человек, вконец сконфуженный, замолчал и сел, а Рассел, скользнув по лицам присутствующих слегка настороженными глазами, закончила: — Если вопросов больше нет, мы перейдем к следующему пункту нашей программы. Сейчас Боатенг, Лоренс Боатенг, прочтет нам главу из своего романа, который скоро будет опубликован. Я надеюсь, чтение всем нам доставит истинное наслаждение, а поэтому давайте пригласим мистера Боатенга на сцену дружными

аплодисментами.— Хлопая в ладоши, Акосуа Рассел отошла от стола и села на свое место между двумя белыми мужчинами.

Боатенг встал, покачнулся и зашагал к сцене с рукописью в одной руке и пивной кружкой в другой. Хуана думала, что он упадет — его ноги выделывали какие-то странные центробежные вензеля. Однако он довольно уверенно забрался на сцену, повернулся к залу, положил рукопись на стол, отхлебнул виски и выпустил кружку из рук, так что она упала и разбилась вдребезги о цементный пол сцены. Зал опять было всколыхнулся, но Акосуа Рассел отвлекла всеобщее внимание, пригнувшись к доктору Берду, словно она что-то ему говорила, а потом весело расхохоталась, и беспокойная напряженность зала мигом развеялась. Хуана ждала, что же будет дальше, и внимательно следила за Боатенгом, который торопливо перебирал страницы рукописи, словно забыв, какую главу он собирался читать. Потом он обвел слушателей глазами охотника, потерявшего след, и проговорил:

— Я хочу предварительно сказать несколько слов...— Тут он умолк, и Хуана решила, что он безнадежно запутался. В зале стало совсем тихо.— Я хочу сказать, что этот школьник поднял важную тему, а вы его оборвали,— после паузы продолжил Боатенг. Теперь он говорил очень быстро: — А почему? Парень мечтает научиться писать, и никто ему не помогает. Так скажите, наконец, членораздельно: есть у нас семинар или нет?

Зал снова заволновался, и Акосуа Рассел, выбравшись из-за стола, устремилась к Боатенгу. Ее губы шевелились, но голос Боатенга окреп, и публика в немом изумлении слушала только его:

— Никто не интересуется литературой, и не бывает здесь никаких обсуждений. Семинар превратился в торжище, на котором нас продают оптом и в розницу. Кругом жульничество. Деньги-то поступают — пожертвования там, то да се. А кто их прикарманивает? Все об этом шепчутся, а мне надоели слухи да шепотки.

Акосуа Рассел вплотную подошла к Боатенгу, но он продолжал говорить, а она молча стояла рядом с ним, и на ее лице было явственно написано остолбенелое недоумение; Хуана вдруг поняла, что и она уязвима, а сейчас просто совершенно растерянна, и поразилась, какой старой она может выглядеть.

Первым опомнился приятель Рассел, фотограф Билли Уэллс,— он бросился к Боатенгу, и Хуане показалось, что он его сейчас ударит, однако он, видимо, уже поостыл и, обхватив Боатенга за талию, попытался стащить со сцены. Но тот яростно вырвался и так пхнул Уэллса, что он отлетел и ударился спиной о стол, за которым все еще восседал доктор Кэлвин Берд.

— Слушай, ты, Уэллс,— неистово заорал Боатенг,— ты-то что здесь делаешь? Это наша студия, а не твоя спальня. Или ты тоже заделался писателем? Притащился из своей Америки, чтобы писать в стране слепцов? Ты лучше не суйся ко мне, Уэллс, понял?

Но Билли Уэллс опять попытался подойти к Боатенгу и от пинка в живот, задыхаясь, согнулся пополам. Двое каких-то мужчин забрались на сцену и вцепились в Боатенга. Люди поодиночке и группами двинулись к выходу. Акосуа Рассел и доброхот-американец несколько минут растерянно постояли возле Билли Уэллса, а потом, не проронив ни слова, ушли вместе с ним. Следом потянулась оставшаяся публика, и вскоре зал опустел, только в одном углу еще продолжался громкий спор, да стоял посреди зала Боатенг с теми мужчинами, которые увели его со сцены, и Хуана со своими спутниками, да официант собирал стаканы и бутылки.

— А мне наплевать,— кричал Боатенг.— Все вы называете меня пьянчугой. Да называйте хоть сумасшедшим. Зато я сказал ей правду.

Окран вздохнул.

— Она ведь не простит тебе этого,— проговорил он,— а ненавидит она люто.

— Не мог я смолчать,— сказал, успокаиваясь, Боатенг.— Кровопийца проклятая.

— Она сосет деньги, а не кровь, и, между прочим, с твоей помощью.

— Это как же так?

— А вот так. Почему тебя волнуют ее махинации? Ты хочешь что-нибудь сделать? Ну, и оставь ее в покое. Делай свое дело.

— Вы думаете, это легко? — В голосе Боатенга опять послышались яростные ноты.

— Нет,— спокойно ответил Окран,— не думаю. Скандалить, вот как ты сегодня, гораздо легче. Особенно если ничего не хочешь делать.

— Вон оно что,— протянул Боатенг.— Значит, и вы за нее?

Окран рассмеялся:

— Жаль, что она ушла, ты бы ее очень порадовал. Послушай, Боатенг, я прекрасно понимаю, за что ты ее ненавидишь. Разумеется, она стерва. Но неужели ты не способен идти своей дорогой? У тебя есть вполне законченный роман? Прекрасно. А когда ты его написал? Шесть лет назад! И с тех пор сидишь сложа руки. Да серьезный писатель за это время создал бы три, если не четыре, романа! А ты? Засеваешь пустыню песком.

— Да ведь она прикарманивает все фонды...— начал Боатенг.

— Вот это-то и есть твоя главная беда,— сказал Окран.— Ну, зачем ты считаешь, кому сколько милостыни подали? Представь себе, что никаких фондов просто нет. Твои наскоки на эту женщину — сплошная глупость. Ее гложет жажда денег. Она-то никакая не писательница и прекрасно это знает. Да ей и наплевать. У нее есть все, чего она хочет. Если ты ей завидуешь — становись попрошайкой и постарайся оттеснить ее от кормушки. А если нет — делай свое дело. У нас не так уж много сил, чтобы воевать с ней. А у нее их непочатый край, она-то не работает.

Боатенг не ответил. Он молча вышел из зала, и через несколько минут ночную тишину прорезал вой его спортивной машины. Окран, выйдя вслед за Хуаной и Баако из студии, попрощался, сел в свою машину и тоже уехал.

— До чего же утомительный вечер,— сказал Баако.— Слишком много разговоров...

— И злобы,— добавила Хуана.— Знаете что? Давайте немного поездим. А то я чувствую себя совсем опустошенной.

Хуана вдруг заметила, что свернула на дорогу к Теме.

— Последнее время у меня появились устоявшиеся привычки,— сказала она.— Если мне скверно, я, сама того не замечая, сворачиваю на это шоссе.

— Значит, вам сейчас скверно? — спросил Баако. У него был усталый и невыразительный голос.

— Ну... не очень,— ответила она.— А вы... вы как будто разочарованы?

— Мне хотелось понять... А понимать-то оказалось нечего.

— Я так и предполагала.

— Да, вы были правы. И там, где я работаю, все нисколько не лучше.

— Так что вы решили смириться?

— Ужасно все это сложно. В одиночку-то ведь тоже много не наработаешь.

— Понимаю.— Она подумала о психотерапии, о переключении — и сразу же поняла, что в разговорах с ним никогда не прибегнет к своим профессиональным навыкам.— Окран, конечно, совершенно прав. Только не верю я, что можно трудиться в полном одиночестве.

Баако промолчал. Она смотрела вперед, на дорогу, освещенную фарами машины. Баако медленно поднял правую руку, мгновение колебался — и его рука напомнила Хуане лежащий на боку вопросительный знак,— но потом решился и легонько дотронулся до ее волос.

— Мы совсем не знаем друг друга,— проговорил он.— Но я почему-то все время об этом забываю.

— Тогда будем знакомы: врач-психиатр из лечебницы в Корле Бу.

— Значит, мне здорово повезло,— сказал Баако.— Но вы ведь должны врачевать душевные раны... а самой страдать вам не полагается.

— Я многое вам расскажу... все, что смогу. И больше вы меня ни о чем не расспрашивайте.— Он опять промолчал, и она не поняла, поверил он ей или нет.— Мне было очень худо. Между прочим, поездка в Гану — это один из этапов самолечения. Я была замужем, там в Америке. И очень любила мужа. Он ушел от меня.

— Долго? — спросил Баако.— Я про замужество.

— Шесть лет.— Хуана свернула с шоссе и остановила машину, немного не доехав до полосы прибрежного песка. Захлопнув дверцу, она схватила Баако за руку и побежала к берегу.

— Я странно себя веду,— сказала она, когда он сел рядом с ней на песок.

— Нисколько не странно. Мне очень нравится.— Он стал поглаживать ее по голове.

— Не надо,— попросила она.

— Вам неприятно?

— Вы же это делаете просто машинально.

— Вот уж неправда! — воскликнул он. И через минуту добавил: — Я вдруг почувствовал, что не могу вас не погладить.

А потом он замолчал и нежно, так что она едва ощущала прикосновение его пальцев, гладил ее волосы, щеки... Но в тишине ей вдруг сделалось очень одиноко. Взяв его руки в свои, она прижала их к лицу, и это немного успокоило ее. Через несколько секунд она уронила руки на колени, и он медленно провел ладонью по ее лицу, по горлу, слегка коснулся грудей, а она просунула обе руки ему под рубашку, прижала ладони к его голой спине и с силой гладила ее. Его руки опустились ниже, и она легла на песок и страшно удивилась, когда он начал расстегивать пуговицы на ее платье, а потом со смешком сказал:

— Надеюсь, я не оскорбляю твое благочестие? А ночь-то, смотри, какая теплая.

И она рассмеялась тоже.

...Его охватила мучительная дрожь, и она испугалась, что все кончится слишком быстро. Но он крепко обнял ее, и не давал шевелиться, и немного успокоился, и прошептал:

— Ужасно трудно сдерживаться, когда женщина тебя так сильно волнует.

— Тебе легче, если женщина тебя не волнует?

— В первый раз да. Мне не надо сдерживаться, это получается естественно.

— Успокоился немного?

— Да-да, теперь все в порядке.

Он распушил ей волосы и, целуя, всякий раз отводил голову в сторону, чтобы лунные лучи освещали ее лицо. Она почти не чувствовала его тяжести, так что песчаный пляж казался ей упругим и теплым диваном. Но потом она заметила, что он держится на весу, упираясь в песок локтями.

— Ляг. Ты не раздавишь меня,— шепнула она.

— Песок,— ответил он, не меняя позы...

Она думала о том, какой он легкий, и невольно вспоминала массивную тяжесть Макса. Она вглядывалась в его лицо, и удивлялась нежной бережности его движений, и думала, что он боится сделать ей больно. Ей захотелось почувствовать его полностью, и она прогнулась в пояснице, и прижалась к нему, и потянулась к его руке, и в тот же момент потеряла всякий контроль над своим телом, солоноватый воздух обжег ей горло, и она услышала, что шепчет слова, которые уже и не надеялась когда-нибудь повторить, а потом все, что было — и будет — в ее жизни, стало неважным, несуществующим и ненужным. Она обняла его и напряглась, пытаясь продлить мгновение, и он коснулся влажным лбом ее волос, а потом лег рядом с ней на спину и так же, как она, стал молча глядеть на звезды.

— Жуткое стихотворение,— проговорил он так неожиданно, что она вздрогнула.

— Почему ты об этом сейчас вспомнил?

— Море.

— О чем ты толкуешь, Баако?

— Есть у нас одно предание — о Морской Деве и Певце. Вот она его и переиначила на свой лад.

— А про что оно, это предание?

— Певец приходит к морю и начинает настраивать... сейчас рассказывают, что, дескать, гитару. Он очень одинок, и он поет о своем одиночестве. Вдруг из моря выходит чудная богиня и тут же, на берегу, они предаются любви. А потом она возвращается в море и появляется редко, очень редко, и только в заранее назначенные дни. Это тяжкое испытание для Певца. Он не может жить без возлюбленной, разлука медленно убивает его. Но именно из-за разлуки он поет прекрасней, чем когда бы то ни было. Теперь он изведал истинное одиночество, и любовь, и могущество, и ужас перед тем, что однажды богиня не выйдет на берег. Певец становится знаменитым, но его все время мучает страх, и после любовных ночей у моря, когда богиня уходит, нет на земле человека несчастнее...

— Какая красивая легенда!

— Да, мифы здесь хороши. Только вот их современное воплощение...— Он не договорил, и его голос умер в ночной тишине.

Спаситель

Они ехали на запад и, миновав Сению, решили остановиться у полускрытой холмами бухты. Молча раздевшись, они вышли из машины в купальных костюмах. Хуана машинально подняла стекла, потом оглянулась и увидела, что Баако медленно бредет к морю и что на согнутой правой руке он несет зеленое одеяло, всегда лежащее в багажнике, в левой держит журнал, а вокруг шеи у него обмотано радужное большое и очень пушистое на вид полотенце. Она догнала его и спросила:

— Надеюсь, ты не собираешься читать?

— Он понадобится нам обоим,— ответил Баако необычайно серьезно.

— Ты так думаешь? — Она пощекотала его пальцем между ребер, но он не засмеялся, как обычно, а лишь неловко и мимолетно улыбнулся, пристально вглядываясь в ее лицо.

— Что-нибудь случилось?

— Да нет,— сказал он.— А почему ты спрашиваешь?

— У тебя какой-то... озабоченный вид.

Вместо ответа он свернул журнал в трубочку, сунул его под мышку и, доверчиво, как маленький, взяв ее за руку, повел к берегу. Неподалеку от полосы прибоя он разжал пальцы, чтобы расстелить одеяло, и она легла на спину, а он нерешительно остановился рядом, загораживая от нее солнце и глядя в сторону, словно ему не давала покоя — и, быть может, уже давно — какая-то назойливая мысль. Вскоре она почувствовала жар песка даже сквозь толстое одеяло, и как раз в это время Баако чуть повернулся, так что солнечные лучи брызнули ей в лицо, заставив поспешно зажмуриться. Все еще чувствуя боль в глазах, она перевернулась на живот и прижалась к приятно-горячему одеялу, а когда боль прошла, приоткрыла веки и увидела, что слева от нее лежит журнал. Там, где на него не падала тень Баако, глянцевая обложка ослепительно блестела, и Хуана, раскрыв журнал, положила его так, чтобы затенить своей головой, и неприятный слепящий блеск угас. Баако промолчал, хотя получилось, что именно она занялась журналом. Он просто сел рядом с ней, и через некоторое время она ощутила его пальцы на своем бедре, в том месте, где кончались купальные трусики. Это прикосновение, бережное и легкое, навело ее на мысль о чутких пальцах слепца. Пальцы неспешно пробежались по ее ноге до самой стопы, а когда Баако ногтями притронулся к подошве, Хуану охватила секундная щекотная дрожь; пальцы на мгновение замерли и поползли обратно. Хуане внезапно стало очень жарко, и пальцы, словно скользя по выступившей испарине, ускорили свое легкое движение. Но, видимо, Баако передалась ее обессиливающая истома, потому что он убрал руку и просто лег с ней рядом. Краешком глаза она видела его лицо, но ей не хотелось поворачивать голову, и через несколько минут он приподнялся и поцеловал ее в шею, и поцелуй был таким долгим, что ей стало больно, и она легонько оттолкнула его.

— Больно же,— сказала она.

— Прости. Я не нарочно.

— Господи, какая жара.

Ее засасывало ленивое бессилие, она закрыла глаза, повернулась на спину, вяло досадуя на неистовость предвечернего солнца... и услышала голос Баако:

— Пойдем?

Она с трудом разлепила отяжелевшие веки — Баако стоял у ее ног, улыбался и протягивал ей руку. Она подняла свою, он помог ей встать, и она ступила на обжигающий подошвы песок. Но Баако, не выпуская ее руки, быстро побежал к морю, и бежать было не так горячо. Дно оказалось очень пологим, и они долго шли по колено в воде, а потом вдруг провалились в яму, где вода, при волне, доходила ей до подбородка. На другой стороне ямы ей было по грудь.

— Что все-таки с тобой случилось? — снова спросила Хуана.

— Да ничего не случилось,— ответил Баако.

Но ответил он машинально, не думая о том, что говорит. Его руки безотчетно тянулись к ней, он обнимал ее, гладил, и она видела, что он теряет над собой власть. А потом он вдруг успокоился и сказал:

— Меня мучает какое-то очень странное чувство. Вроде вот сейчас, сию минуту, я вдруг стану счастливым или пойму что-то очень важное... и боязнь упустить эту мысль. С тобой никогда такого не бывало?

— Может, и бывало,— ответила она.— Хотя я не совсем понимаю, о чем ты говоришь.

Они медленно удалялись от берега. Навстречу им бесконечными рядами бежали голубовато-зеленые волны, а солнечные лучи, дробясь в их гребешках, подсвечивали воду серебристо-серыми бликами. Изредка волна побольше мягко приподнимала их, относила назад, а потом они снова нащупывали подошвами песчаное дно.

— Ну, и ты поймал эту мысль? — спросила Хуана.

— Да нет, упустил,— ответил он.— И бог с ней... пока.

Он снова начал ласкать ее, обнял за шею, потом опустил руки ниже и принялся поглаживать ей спину. Его движения не были грубыми, но в них чувствовалась жадная властность, как будто, обнимая ее, он возмещал потерю той мысли, которую так и не смог уловить. Хуана сложила руки — ладонь к ладони — и провела вытянутыми пальцами по его голове, лбу, носу, рту, подбородку, потом по горлу, по груди и с тихим всплеском уронила руки в воду.

— Очень по-католически,— сказал он.

Хуана рассмеялась. Она и сама заметила, что ее руки легко и привычно сложились в молитвенном жесте; но ей не хотелось об этом думать. Однажды, отвечая на ее вопрос, он сказал ей, что всю жизнь был язычником, и очень смеялся, когда она назвала себя атеисткой.

— Ну, по твоему поведению этого никак не скажешь,— заметил он тогда.— Глядя на тебя, я сразу подумал о католичестве... а теперь мне кажется, что ты тоже язычница.— Пояснять свою мысль он не стал, но, обдумывая потом его слова, она решила, что он, пожалуй, прав. Спасение души все еще не было для нее пустым звуком, хотя это слово и не входило в ее нынешний лексикон. Но она не могла отгородиться от людей, вот в чем заключалась ее главная беда. Подобно женщине какого-нибудь лесного племени, которая почитает божественным каждое дерево, каждый холм, каждого человека на земле, она видела цель своей жизни в заранее обреченном стремлении исправить окружающий ее мир, причем не останавливалась даже и перед совершенно уж безнадежными попытками спасти отдельную личность среди всеобщего хаоса.

Иногда она почти завидовала здравому эгоизму протестантов, их умению убить в себе сопричастность чужой боли и замкнуться в собственном, отгороженном от мира, личном раю. Да, она понимала, что в одиночном убежище можно найти покой, но изменить себя была не в состоянии.

Пальцы Баако прервали нить ее воспоминаний. Он прижал ладонь к ее груди и попытался нащупать сосок сквозь влажную ткань купального лифчика. Но лифчик был слишком плотным, и тогда он привлек ее к себе, расстегнул сзади единственную пуговицу, а потом, просунув руку под сразу опустившийся лифчик, начал легонько потирать сосок большим и указательным пальцами.

— Не надо,— попросила она.— Не здесь.

— Почему?

Она оглянулась на берег, и он со смехом сказал ей в ухо:

— Ну, конечно, вся Аккра собралась посмотреть...

Прежде чем Хуана успела повернуться, их приподняла высокая волна, и, расставив руки в стороны, чтобы сохранить равновесие, она почувствовала, как бретельки лифчика соскользнули с ее плеч. Волна ушла, и Хуана ощутила на своей обнаженной груди прохладное дыхание морского ветра. Баако засмеялся, а когда она повернулась к нему и он увидел, что лифчик уплыл, ему стало совсем весело. Он посмотрел вслед волне, но она уже разбилась о берег и бессильно опала.

— Он сейчас выплывет,— предсказал Баако.

Но лифчик исчез, и, чтобы Баако не пришлось оправдываться, она сказала улыбнувшись:

— Не важно. Потом найдем.

Он нагнулся и бережно, стараясь не сделать ей больно, поцеловал в грудь, а потом нырнул, и она почувствовала, что он снимает с нее трусики, и помогла ему. Вынырнув, он молча обнял ее и немного приподнял.

— Я тяжелая,— проговорила она.

— Только не в воде.

— Большое спасибо! — Она немного откинулась назад, и он болезненно вздрогнул, и тогда, засмеявшись, она снова прильнула к нему. Он крепко обнял ее за плечи...

— Это... это... было очень странно,— задыхаясь прошептала она.

— Ты никогда не любила в море?

— Нет. Но мне нравится. И мне показалось, что это может длиться вечно. А у тебя такое часто бывало?

— Какое такое?

— Ну, любовь в море.

— Нет,— ответил он.

— Но ведь было.

— Возможно,— сказал он равнодушно.

Она лениво поплыла на спине в открытое море, потом повернула к берегу. Губы Баако зашевелились.

— Я ничего не слышала,— сказала она, нащупав ногами дно.

— Холодно,— сказал Баако.

— А ты окунись в воду.

Он шумно нырнул и выплыл рядом с ней.

— Все равно холодно. Давай-ка вылезать.

Она вышла из воды и побежала к нему, а он вдруг повалился на песок и принялся кататься.

— Сумасшедший! — крикнула Хуана.— Смотри, ты же весь в песке.

— А вот попробуй-ка сама,— прокричал он ей в ответ.— Сразу высохнешь. А песок потом осыплется.

Песок приятно обжигал тело. Сначала она превратилась в песочную куклу, но потом, перекатываясь с живота на спину в противоположную от Баако сторону, обнаружила, что стала совершенно сухой, а песок действительно осыпался, и только волосы все еще были тяжелыми и влажными от морской воды.

Они подошли к одеялу. Хуана легла, и на нее сразу же навалилась сладкая дрема, а Баако сел рядом и стал глядеть в море... Когда она открыла глаза, он смотрел на нее.

— Кончается наше уединение,— сказал он.

— Почему? — Она села.

— А вон, видишь?

Но посмотрев туда, куда показывал Баако, она увидела только пустынное море да плывущую высоко в небе одинокую чайку.

— Это же просто чайка,— сказала Хуана.— Одна-единственная чайка.— Птица вдруг сложила крылья и маленьким стремительным комочком сорвалась вниз, но, едва коснувшись воды, снова взмыла над морем и полетела на восток — бесшумно, низко и быстро.

— Поймала,— спокойно проговорил Баако, и Хуана заметила, что в клюве у чайки поблескивает серебристая искорка; она чуть повернула голову, стараясь рассмотреть эту искорку получше, но в глаза ей ударил сноп солнечных лучей, отраженных поднятым стеклом стоящей неподалеку машины, и она поспешно перевела взгляд на темную зелень одеяла. Из-за прибрежных холмов вылетели еще две чайки и устремились к тому месту, где только что кружила первая, и тут Хуана услышала поначалу приглушенные, а потом радостно-громкие голоса множества людей, скрытых холмами. Наконец, присмотревшись внимательней, она увидела, что чайки кружатся над небольшой лодкой с девятью гребцами; один из них был в куртке, остальные по пояс голые. Хуана взяла полотенце, отмахнулась — дескать, иди ты к черту — от ухмыляющегося Баако и набросила полотенце на плечи. Лодка приближалась к берегу, а из-за холмов высыпала толпа мужчин и женщин, и на головах женщины несли круглые деревянные подносы или металлические тазы. Рыбаки вылезли из лодки и вынесли на берег два каната, а потом, смешавшись с подошедшими мужчинами, разделились на две группы.

Они бестолково, как показалось Хуане, суетились у туго натянутых канатов, и она посмотрела на Баако, собираясь спросить его, что они такое делают,— и не решилась. Он напряженно следил за рыбаками с видом человека, который вот-вот поймет то, что он давно уже мучительно, но безуспешно пытался осмыслить, и страшно боится потерять почти обретенное понимание. Нет, любви в его взгляде не было. Он смотрел на рыбаков с зачарованным страхом, близким к ненависти, и Хуане внезапно пришло в голову, что, может быть, ничего подобного он раньше не видел. Она чувствовала, что сейчас к нему обращаться бесполезно, и решила смотреть, ни о чем не спрашивая.

Тем временем обе группы мужчин пересекли пляж и привязали канаты к стволам кокосовых пальм. После этого они несколько раз бегом возвращались на берег, подтаскивали к деревьям бесконечно выползающие из моря канаты и змееобразными кольцами укладывали их под пальмами. Какой-то мальчишка дважды бегал с ними к морю и обратно, но в третий раз попался под ноги здоровенному мужчине, и тот, взмахнув рукой, отшвырнул его в сторону, так что он отлетел на несколько ярдов и упал. Поднявшись, мальчишка уныло почесал в затылке, словно после случившегося потерял свое место

в жизни. Мужчины снова вернулись к берегу, и на этот раз мальчишка за ними не побежал. Он подошел к ближайшей пальме и сел на землю возле свернутого кольцами каната. Потом посмотрел вверх, как бы не понимая, что же ему теперь делать, но через несколько секунд, видимо, нашел то, что искал. Мужчины продолжали вытягивать из моря канаты, и Хуане чудилось, что они работают с привычным ожесточением. Она оглянулась на Баако,— его взгляд был прикован к рукам и ногам этих мужчин, покрытых буграми слишком мощных, перекатывающихся во время их беспорядочных движений мускулов. Да, в глазах Баако определенно затаился страх.

Мягкий дискантовый звон металла, по которому ударили деревянной колотушкой, многократным эхом раскатился среди холмов и замер вдали. Поворачивая голову в ту сторону, где сидел мальчишка, Хуана увидела лицо оглянувшегося одновременно с ней Баако — теперь оно было спокойным и мирным.

Оказалось, что мальчишка нашел гонг. Он ударил колотушкой еще раз, но звук получился резким и грубым. Пробуя гонг, мальчишка извлекал из него то низкие, то высокие ноты, но постепенно беспорядочные, как казалось Хуане, удары приобрели устойчивый ритм, и маленький музыкант не стал менять его. Мужчины все тянули канаты, почти не обращая на мальчишку внимания. Но теперь они двигались спокойней и — может быть, потому что начали уставать,— шагали размеренно и неторопливо. Потом, когда шум моря приутих, а разговоры мужчин ненадолго смолкли, мальчишка, не переставая бить в гонг, запел. У него был чистый высокий голос, а пел он, по всей видимости, о море, и его пение можно было принять за протяжные стенания женщины, оплакивающей погибшего в море рыбака. Здоровенный мужчина, подходя к дереву, загреб ногой песок и осыпал им мальчишку, а потом раздраженно заорал на него — Хуана решила, что он заставляет мальчишку замолчать,— и тот сбился, умолк, но тут же запел снова. А через несколько минут широкоплечий рыбак со спокойной и неспешной походкой подхватил песню — в более низкой октаве, но с тем же ритмом. Когда певцы умолкали, слышался только шум прибоя, а вскоре все мужчины и кое-кто из женщин стали повторять за певцами последние слова песенных строк. Теперь мужчины, которые тянули канат, двигались в лад и спокойно, подчинившись ритму песни. Их ступни ушли глубоко в песок, а руки неустанно выбирали канаты.

Сеть выползла из моря только часа через два, когда неистовое послеполуденное солнце подернулось мягкой вечерней дымкой, но для Хуаны время пролетело быстро, почти неощутимо. Мальчишка спел семь песен с длинными, гармонически переходящими одна в другую музыкальными фразами, последние звуки которых подхватывал хор. Иногда мужчины, вытягивающие канаты, делали несколько шаркающих шагов назад или меняли ритм движений, чтобы приспособиться к новой песне. И вот появилась сеть.

Над ней кружилась целая стая чаек. Темная и мохнатая от водорослей, сеть тяжко плюхнулась на песок, как бы раздавив вынесшую ее волну. Даже туда, где сидела Хуана, доносился неумолчный влажный шорох, и она ясно представляла себе, как рыбы, в последнем безнадежном усилии вырваться на свободу, судорожно изгибают серебристые чешуйчатые тела. Людям теперь было не до песен. Беспорядочной толпой они сгрудились вокруг сети, и корявые бугры их мускулов снова напряженно вздулись. Мальчишка, сидя под деревом, продолжал петь, но не громко, а как бы только для себя, хотя вре-

менами пронзительный вскрик, напоминающий горестную жалобу, взрезал его монотонное, чуть слышное пение. Женщины протягивали рыбакам деньги и наполняли подносы шевелящейся рыбой. Мужчины, собрав сеть и канаты, взвалили их на спины и двинулись вдоль берега туда, откуда появилась встречавшая их толпа. Мальчишка шел сзади всех, опустив голову и высматривая что-то в песке: может быть, он надеялся найти какую-нибудь маленькую рыбешку, но ему ничего не удалось отыскать. А потом он вдруг нагнулся, выпрямился, и Хуана увидела, что он держит в руке ее лифчик.

— Баако, смотри!

— Ишь ты, нашел! — воскликнул Баако.— Сейчас принесу.— Он встал, но Хуана удержала его. Мальчишка обмотал никогда не виданную им вещицу вокруг головы и побрел дальше; вскоре прибой заглушил его песню, а потом он и сам скрылся за холмом.

На обратном пути Хуана долго молчала.

— Ты смотрел только на этого мальчугана,— наконец проговорила она.

— Я думал, ты тоже поняла.

— Что?

— Он помог им обрести то, чего у них не было.

— И за это ему здорово от них досталось.

— Да.— Баако замолчал и стал глядеть в окно на заросли кустарника и травянистые холмы, уплывающие назад. Потом повернулся к Хуане и радостно сказал: — А знаешь, они закончат высоковольтную линию в будущем месяце.

— Кто тебе сказал?

— У нас было производственное совещание.

— Месяцы здесь частенько растягиваются на годы,— сказала Хуана, но Баако не улыбнулся, и она немного смутилась.

— Представляешь, как будет замечательно, когда в деревнях появятся телевизоры?

— Ну да, лет через двести. Послушай, Баако, ты слишком многого ждешь от этой страны.

— Так мне что — совсем ничему не верить? — Не найдя убедительных слов, она оторвала взгляд от дороги и поцеловала его в щеку.— Нет уж, ты ответь,— упрямо сказал он.

— Я надеялась,— проговорила она, стараясь скрыть чувство вины,— что ты не будешь так прочно связывать свое счастье с внешними обстоятельствами, со словами или обещаниями других людей.

Баако промолчал, и она почувствовала облегчение. Солнце, светившее в заднее стекло, закатилось, а когда они въехали на холм, впереди замелькали уже зажженные городские огни. Ей хотелось надеяться, что ее слова не отпугнули его, однако она не была в этом уверена. Он упорно глядел в окно и только раз посмотрел на нее — так пристально и сосредоточенно, что его взгляд показался ей прощальным, и она не решилась повернуться к нему, хотя наступившие сумерки скрыли бы ее смятение. Она смотрела на дорогу и ехала все быстрей.

Глава седьмая

Вода

Надежды оказались тщетными — увольнение не принесло ему желанного покоя. Он мечтал оглядеться, прийти в себя, чтобы вырваться наконец из того пустого круговорота, который его засосал. Но и те-

перь, когда он пытался найти хоть какой-нибудь смысл в своих беспорядочных исканиях последнего года, спокойные раздумья мгновенно оборачивались мучительным недоумением. Прошлое, в его бесполезной абсурдности, представлялось ему совершенно понятным. Если же он пытался смотреть вперед, поток воспоминаний, закручиваясь бешеными смерчами разрозненных мыслей и образов, снова вовлекал его рассудок в бесконечный и пустопорожний круговорот, из которого не было исхода.

Бессмысленность круговорота была очевидной. И эта очевидность таила в себе угрозу безумия, тут ему следовало быть начеку. Ведь другие люди, видевшие то же, что он, если не больше, радостно смирялись и поддерживали очевидно безумный спектакль, свято веруя в прочность общественного здания, чудовищно перенаселенного бездельниками, способными провозглашать расточительство средством спасения нищей страны. Порой все это казалось ему невозможным, вспыхнувшим лишь на мгновение кошмаром. Но вспышка длилась, мгновение растягивалось на годы, и Баако чудилось, что его сограждане, будучи школьниками, начали играть в футбол, а теперь, забыв правила игры, забыв, что это игра, бессмысленно и бесцельно мечутся по полю. Заводские инженеры, всегда в белоснежных рубашках и шортах или европейских костюмах, с утра до вечера жонглировали телефонными трубками и впадали в растерянное уныние, если надо было наладить какой-нибудь механизм. Режиссеры почти никогда не работали по ночам, но ревниво следили, чтобы их фамилии и звания на дверях кабинетов мерцали люминесцентными красками. Своей основной работой они считали не создание фильмов, а путешествия. Они непременно стажировались за границей, а вернувшись домой, демонстрировали любовно отснятые ленты, повествующие о том, как они посещали заморские киностудии, осматривали достопримечательности и обедали на фоне исторических ландшафтов. Чтобы заполнить время телевизионных передач, они привычно таскались по посольствам, выклянчивая ролики фильмов и магнитофонные ленты. Изредка, для разнообразия, показывалась и ганская жизнь — например, литературные вечера, снятые неподвижными камерами. Баако все время боролся с одним ужасным воспоминанием — о том, как был написан, принят, одобрен, размножен и сдан в архив его сценарий про рабство,— но воспоминание, скользкое, словно угорь, постоянно всплывало снова. Сценарий не похоронили окончательно только потому, что он заинтересовал жену Скалдера и она решила сделать из него пьесу. В сценарии действовал белый работорговец, которому помогал непомерно разжиревший туземный вождь и его обвешанные побрякушками приближенные. Жена Скалдера заменила белого рабовладельца жестоким и звероподобным африканцем, а вся пьеса превратилась в кровавую межплеменную бойню, затеянную визжащими дикарями. И вот по этой-то пьесе был снят потом телефильм.

Воспоминание, неподвластное времени и велениям разума, постоянно терзало Баако, хотя он мучительно старался от него отделаться. Одно время он думал, что бесплодие поразило телекорпорацию сильнее, чем все остальное общество. Но, путешествуя с Хуаной по стране, он везде встречал ту же бесплодную суетность, не оставляющую человеку ни малейшей надежды. Впервые ему пришлось столкнуться с потерей каких бы то ни было моральных устоев, когда он познакомился с Гарибой, единственным режиссером на студии, еще способным самостоятельно мыслить. Поначалу уклончивые повадки Гарибы только раздражали Баако, но потом, когда Гариба дал ему понять, что сознает собственное бесплодие, а поэтому поддерживает и всеобщий застой, Баако стал его презирать; в конце концов оба эти чувства по-

родили ненависть. Гариба никогда не открывался полностью, но однажды все-таки проговорился, что считает себя хорошим режиссером, и сам срежиссировал свою жизнь так, чтобы никто не догадался о его способностях. Он глумливо рассказывал анекдотическую историю о том, как, приехав в Аккру, с радостным рвением писал простенькие дидактические сценарии и немало удивлялся, когда каждое производственное совещание Генеральный директор заканчивал ссылкой на нехватку материалов.

— Да в чем же дело? — спросил его Баако, и на мгновение ехидная полуулыбка Гарибы показалась ему совершенно неуместной.

— Скоро сами поймете. Мы призваны запечатлевать на пленке каждый шаг Главы правительства и его помощников. Все очень просто. У нас тут была лекция — еще до того, как вы пришли в студию. Нация процветает, прославляя своих вождей. Это вот наша работа и есть.

А затем Гариба привычно и ловко прикрыл свое ехидство всегдашним смирением, так что серьезный разговор мигом оборвался, а Баако охватила бессильная злость. В тот день он впервые обнаружил, что бредет к дому Хуаны. Он шагал машинально, и если бы он сразу заметил, куда направляется, то, вспомнив, что она на работе, просто повернул бы домой. Однако ему и в голову не пришло, что ее нет, а жажда увидеть единомышленницу гнала его вперед, словно, не повидав ее, он бы просто погиб. В его голове вдруг промелькнул вопрос, впрочем сразу же угасший: могла бы окрепнуть их любовь без той пустопорожней суетни вокруг, которая постоянно толкала их друг к другу?

Вместе с Хуаной он объехал страну из конца в конец, и постепенно их внезапно возникшая любовная связь превратилась в устойчивое, глубокое чувство. Бурые, окутанные латеритовой пылью проселки севера, с гравийными осыпающимися обочинами, казались ему чудесными, а от деревень в его памяти сохранились только названия, хотя, конечно же, он не мог забыть чуть живых, мучительно истощенных людей, которых они видели на придорожных тропинках, а страдания, почти физические страдания Хуаны при встречах с человеческими несчастьями остались в его памяти навеки. Сибела — Лиликсиа — Джефисио — Хан — Сабули — Фиан — Наро — Джанг — Калео — Пириси — Ва.

Потом Га — Кулмаса — Гиндабо — Туна — Наквабн — Сола — Манкума; Боле — Лампурга — Серипе — Тинга — Йидала — Тесслима; а потом Бамбои у второй паромной переправы через Вольту, протянувшуюся здесь узкой светло-коричневой илистой змеей. Баако не помнил, где именно, между какими двумя названиями, он посмотрел на Хуану и, впервые осознав, что она мучается, почти испугал ее неожиданными словами:

— Ты страдаешь.

Он внимательно смотрел на нее, а она некоторое время ехала молча, потом повернула к себе зеркальце заднего вида, глянула в него и проговорила:

— По-моему, я не выгляжу страдалицей.

— Я не сказал — выглядишь. Я сказал — страдаешь.

Хуана промолчала. Взяв его руку в свою, она принялась судорожно поглаживать ее, и он понял, что ей не хочется продолжать этот разговор.

— Скажи, в чем дело? — Он решил получить объяснение во что бы то ни стало. Повернувшись к нему, чтобы посмотреть, ждет ли он

ответа, она встретила необычайно серьезный вопрошающий взгляд и немного смутилась.

— Понимаешь, этот главный инженер с предыдущей переправы — ну, которая в Йейи,— он ведь типичен. Возьмем хоть врачей. Они прекрасно знают, что здравоохранение здесь — фикция. Но они смирились. Они знают, что ничего не могут тут изменить, и вот лечат только высших чиновников, своих друзей да знакомых своих друзей. Некоторые из них говорили мне, что я даром теряю свое время, когда пытаюсь добиться каких-нибудь перемен. А двое или трое просто возненавидели меня. Они сказали, что я понапрасну трачу *их* время. Точь-в-точь как тот йейский паромный инженер.

А у переправы в Йейи было вот что. Они ехали из Кумаси на север и очень устали. Около трех часов дня, миновав городок с его пивными и закусочными в придорожных лачугах, Хуана подъехала к реке. Полицейский разрешил им остановиться возле двух других легковых машин. Хуана вылезла на дорогу и, зевая, потягиваясь, проговорила:

— Поесть бы.

— Можно сходить в город.

— Пойдем. Там в одной закусочной я видела фуфу. А то я на ямс уже смотреть не могу.

Когда они стояли в очереди, Баако пришлось послать к черту какого-то шофера, назойливо предлагавшего им свое место, а потом он стал прислушиваться к болтовне посетителей-мужчин с женщинами, которые толкли сушеный перец.

— Смотри-ка, иностранка, а тоже перцу захотела.

— Тише ты, не ори. Муж-то понимает.

— А чего мне шептать? Я же ее не оскорбляю.

— Да они и не женаты.

— А я тебе говорю — женаты.

— Слишком нежные они для женатых.

— Опять ты за свое, Йаа Аноа? Тебе-то, видать, женитьба не по вкусу пришлась?

Подкрепившись, они прогулялись по берегу реки, посматривая то на людей, то на взбаламученную воду. Неподалеку от причала они заметили высокого худого сумасшедшего, который все время что-то бормотал на языке тви; он был совершенно голый и, стоя лицом к реке, глядел вдаль, словно мог увидеть скрытый расстоянием противоположный берег; иногда, впрочем, он смотрел прямо в воду у своих ног.

— О чем он говорит? — спросила Хуана.

— О воде.— Баако, держа Хуану за руку, подошел к сумасшедшему поближе и прислушался.— Он говорит, что весь мир лежит там, под водой. Даже небо. И что это, дескать, каждый может увидеть, надо только попристальней всмотреться.

— А еще о чем? Он ведь все время разговаривает.

— Да он повторяет одно и то же на разные лады.

Над рекой разнесся низкий рев сирены. Сумасшедший отвернулся и начал визгливо проклинать приближающийся паром, словно тот был его давним лютым недругом. Они увидели паром, когда он, обогнув островок, поросший манговым лесом, резко свернул к причалу. Огромный, с желтыми бортами и белой надстройкой, он слегка покачивался на волнах, показывая иногда покатое ярко-красное днище. Палубу его сплошь занимали машины, а у бортов, на приподнятых настилах, столпились люди, и многие из них махали руками, как будто они уезжали. Бесшумно и неторопливо паром приближался к причалу.

Спокойствие на берегу мигом было нарушено. Шоферы, радостно гогоча, позабирались в кабины своих грузовиков, стоявших нестрой-

ными рядами на обочинах дороги, и ревущее стадо машин стало стягиваться поближе к воде. Грузовик с маниокой и бананами, ехавший слишком быстро, слегка ударил передним бампером идущий впереди ведомственный автобус, и шофер автобуса, тотчас же затормозив, выскочил из кабины, чтобы посмотреть, в чем дело.

— Эй ты, Скидо,— заорал шофер другого грузовика,— тебе что, не терпится?

Скидо, маленький человечек с затравленными глазами, попытался придать своему лицу решительное выражение и, сдерживая слезы, ответил:

— Когда я приехал, тебя тут и в помине не было.— В его голосе слышалась мольба, но последние слова он выкрикнул раздраженно и зло: — Я уже три дня загораю — это с продовольствием-то! Нет уж, больше я здесь сидеть не буду!

— Ну-ну, посмотрим,— спокойно сказал шофер и ушел к своему грузовику.

Паром между тем причалил. Рев автомобильных моторов заглушил все звуки, кроме тяжкого мерного гула судового двигателя. Баако сел за руль, вынул из кармана билеты на паром и передал их Хуане. Впереди полицейский, пропустив толпу пассажиров, направлял на берег прибывшие грузовики, автобусы и легковые машины. Потом вышел на середину дороги и пропустил на паром первый ведомственный автобус, затем второй, но когда третий автобус двинулся к причалу, рев моторов превратился в надрывный вой, словно грузовики, выйдя из повиновения, собирались ринуться к парому вопреки воле своих водителей. Пропустив последний ведомственный автобус, полицейский отошел к обочине и жестом показал водителю легковой машины, чтобы тот въезжал на причал. Но в этот момент один из задних грузовиков с ревом устремился вперед, не сбавляя скорости, заложил крутой вираж и, проскочив как раз там, где только что стоял полицейский, влетел на паром. Полицейский оглянулся, его рот разодрался в злобной ругани, полностью заглушенной ревом множества моторов, потому что все стадо грузовиков рванулось к причалу, и их шоферы, каким-то чудом выдираясь из общего хаоса, по одному въезжали на паром. Внезапно над всей этой оглушительной неразберихой повис пронзительный вопль:

— Го-о-с-с-спод-и-и!

Скидо, пытаясь пробиться к своему грузовику, метался перед плотным потоком несущихся к причалу машин. Наконец, прошмыгнув с опасностью для жизни перед радиатором очередного грузовика, он влетел в свою кабину и мгновенно завел мотор.

Неподалеку от Баако владельцы двух легковых машин немо орали на полицейского, а он жестами объяснял им, что ничего не может поделать.

Грузовик Скидо взвыл, как раненый зверь, и рванулся вперед, а Баако, посмотрев на паром, ощутил иссушающий жар в голове и, словно эхо своих мыслей, услышал крик Хуаны:

— Там же нет места! — Хуана судорожно вцепилась в его руку, а он молча обнял ее и с ужасом ждал, что будет дальше. Скидо притормозил и теперь медленно съезжал с причала, надеясь уместить свой грузовик на крохотной, еще не занятой машинами площадке палубы. Рев моторов прорезали человеческие вопли — в них слышались удивление, страх, ненависть и даже хвала этому безумцу.

Низким басом прогудела паромная сирена. Грузовик Скидо полз вперед, пока не уткнулся в задний бампер последней машины. Скидо по пояс высунулся из кабины и начал что-то орать. Шофером машины, в которую уткнулся грузовик Скидо, оказался здоровяк, кричавший на

него у причала. Он трясся от хохота и не сделал даже попытки продвинуть свой грузовик. Тогда Скидо подал машину назад, а потом, вместо того чтобы совсем съехать с парома, тормознул и рванулся вперед. Ударив машину здоровяка, он чуть-чуть подтолкнул ее и отвоевал еще немного пространства. Но все равно задние колеса его грузовика стояли на причале. Послышался второй гудок, и паром мощно содрогнулся.

— Они не могут так отчалить,— бормотала Хуана,— не могут.

Паром начал отваливать. Движение было медленным, почти незаметным. Грузовик Скидо не шелохнулся — его передние колеса проворачивались, а задние незыблемо стояли на причале. Паром пошел быстрее, выскользнул из-под передних колес, и грузовик на бесконечно долгое мгновение завис в воздухе. Настала мертвая тишина, а Скидо попытался выпрыгнуть из кабины. Он и выпрыгнул, но в этот момент грузовик ожил, передние колеса описали плавную дугу, тяжело груженная машина перевернулась и накрыла водителя; вода глухо чавкнула и сомкнулась. От неглубокой воронки расширяющимися кругами побежали волны, а в центре стали лопаться воздушные пузыри — сначала большие и торопливые, потом все меньше, ленивей, и наконец вода вспухла кровавым холмиком, который тут же начал расплываться и выцветать.

Два человека бросились в воду. Подплыв к тому месту, где вспух кровавый холм, они нырнули, потом еще раз, еще, и в третий раз их не было довольно долго, и над рекой повисла напряженная тишина, а потом их головы снова показались над водой, и они поплыли к берегу, но Скидо с ними не было.

— Поехали,— сказал Баако.

— Куда? — спросила Хуана.

— В город. Хотел бы я знать, кто за это ответит.

Он развернулся. С реки подул ветер, концы женских платков и кенте затрепыхались, придавая перешептывающимся людям странно расплывчатый, потерянный вид. Баако осторожно ехал по неровной дороге, а на въезде в город спросил у полицейского, где живет главный начальник. Полицейский указал им направление, и вскоре они увидели вывеску:

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
РЕЗИДЕНЦИЯ ИНЖЕНЕРА

Две другие машины ехали вслед за Баако, и когда они остановились у коттеджа, инженер пригласил их войти, жестом предложил садиться, а сам опустился на большой мягкий диван. Человек, особенно рьяно ругавший полицейского, заговорил первым.

— Мы приехали рассказать вам о происшествии на переправе,— внушительно объявил он.

— Как, опять? — спросил инженер равнодушно.— Вот идиоты.

— Дело серьезное,— вставил Баако.

— Разумеется, разумеется,— сейчас же согласился инженер. Он внимательно оглядел отутюженную складку на своих белых шортах, потом сощелкнул с них что-то невидимое — то ли ниточку, то ли пылинку.— У нас тут несерьезных дел не бывает. Они же как звери. Обдумывать свои действия они не могут.

У открытой двери появился полицейский — тот самый, который был на переправе; постучавшись, он вытянулся и застыл, дожидаясь, когда инженер обратит на него внимание; тот глянул на него и приказал ему войти.

— Рапорт, сэр. Происшествие,— сказал полицейский.

— Ну-ну, Идриссу, что там случилось?

— Затор, сэр. Грузовик, сэр.

— Ладно, Идриссу,— сказал инженер.— Завтра вытянем.
— Человек, сэр. Помер, сэр.
— Что?
— Человек, сэр. Погиб, сэр.
— Понятно. Можешь идти.
Полицейский козырнул и вышел. Баако встал и подал руку Хуане.
— Да вы посидите,— сказал инженер.
— Я думал, мы пойдем туда,— сказал Баако.
— Пойдем? Куда? — спросил инженер.
— К реке, конечно. Мертвый...
— Да-да, мертвый.— Инженер, увидев, что Баако сел, успокоенно откинулся на спинку дивана.— Сейчас ничего нельзя сделать. Я должен послать за трактором. Завтра утром мы вытащим грузовик и отправим тело в Кумаси для вскрытия. А сейчас что же сделаешь?
— Но мы должны...
Инженер пропустил его слова мимо ушей и, оглядев всех присутствующих, сказал:
— Вы должны были сразу прийти ко мне. Тогда бы вы не попали в это столпотворение. Я дам вам спецпропуска. Завтра полиция получит строгое предписание пропустить вас в первую очередь.
Баако вдруг понял, что они с инженером в упор смотрят друг на друга.
— Этого можно было избежать,— сказал он.
— Чего можно было избежать? — спросил инженер, неприязненно улыбаясь.
— Гибели человека,— ответил Баако.
— Каким образом?
— Если подъезд к причалу огородить и пропускать машины по одной...
— А кто их всех заставлял рваться на шестнадцатичасовой паром? Могли подождать до утра.
— И потерять целый день.
— Да, и потерять один день.
— Утонувший шофер говорил, что он ждал три дня.
— Подождал бы еще один — и был бы жив. Куда им, собственно говоря, спешить?
— Он вез на север продовольствие,— сказал Баако. Все промолчали.— Неужели нельзя наладить круглосуточную переправу? Тут ведь достаточно интенсивное движение.
— Мы получаем горючее три раза в неделю. Его хватает только на дневную работу,— твердо ответил инженер.
— Это вы так решили?
— Таковы всеобщие правила эксплуатации механизмов.
— Но это же бессмыслица! Разве нельзя добиться изменения графика?
Инженер смотрел на Баако и дергал кадыком, словно старался проглотить застрявшую в горле кость.
— Послушайте, приятель,— наконец сказал он.— Я уже встречал парочку умников вроде вас. Они тоже утверждали, что знают мою работу лучше меня. Так вот, могу вам сказать — я проработал в УКС двадцать три года. Не лез вперед, не суетился — и занимаю теперь приличный пост. Понятно? — Он поднялся с дивана, и четверо посетителей тоже встали.— Так сколько всего машин, четыре?
— Три,— сказал один из мужчин, приехавших вместе с Баако.
Инженер вынул три пропуска и размашисто написал на них «спецочередность». Протягивая третий пропуск Баако, он поглядел ему

в глаза и проговорил: — Есть только один способ избавиться от всего этого. Так чего же вы здесь сидите?

Двое других мужчин нервно посмеивались, пока не подошли к гостинице.

В номер сквозь противомоскитные сетки на окнах задувал вечерний ветерок. Коридорный постучался в дверь и спросил:

— Когда господина и госпожу разбудить? Я приду разбудить, когда они скажут.

— Спасибо, нас не надо будить. Мы проснемся сами,— ответил Баако — очень странно на взгляд коридорного. Он пожелал им спокойной ночи и бесшумно, словно призрак, удалился.

Когда они вошли в ванную, Хуана разделась и, став под душ, чуть-чуть открутила кран, так что вода потекла медленными ленивыми струйками. Баако прислонился к двери и рассеянно смотрел на Хуану, думая о чем-то своем. Потом он сообразил, что надо раздеться, но непрошеные воспоминания одолевали его, и он никак не мог избавиться от оцепенения.

— Баако!

Попавшая ей в рот вода сделала ее голос звонко журчащим, и этот чистый звук вернул его к действительности.

— Иди ко мне.

Она посторонилась, чтобы пустить его под душ, и полностью открыла кран, и на миг у него перехватило дыхание. Он привлек ее к себе, под льющуюся воду, и сколько-то времени стоял к ней вплотную, молча, а потом отступил и, не думая ни о чем, долго смотрел на нее. Она намылила его, и он смыл пену, и, нагнувшись, дотронулся руками до ее щиколоток, и, легко касаясь пальцами влажной кожи, медленно поднял руки, а когда его ладони оказались на уровне ее шеи, она, повинуясь его легкому движению, прильнула к нему, и он поцеловал ее, а потом, дотянувшись до полотенец, набросил одно из них ей на плечи.

Прохладный ветерок, предвещающий дождь, наполнял комнату свежим ароматом созревших манговых плодов и тонкой сухой пыли, а чуть влажные простыни казались теплыми и приятно успокаивали кожу.

Они оба не спали. Он слышал ее дыхание, оно было легким и свободным, но временами тяжелый вздох вырывался из ее груди, и тогда она чуть сильнее сжимала его руку. Он бездумно смотрел вверх на пятно света от керосинового фонаря с прикрученным фитилем, и ему казалось, что это освещенное закатным солнцем окно, которое паук оплел черной паутиной. Хуана теперь дышала глубоко и ровно, как дышат спящие.

Баако встал и бесшумно оделся. На улице моросило, но это был скорее очень плотный туман, чем дождь. Шагая по толстому слою слежавшейся пыли под манговыми деревьями, Баако вышел на дорогу и свернул к реке. Он шел медленно и чувствовал, что его лицо покрывается мелкими капельками влаги. А спину холодил понемногу подсыхающий пот.

В полумиле от него, у переправы, беспокойно мигали огоньки керосиновых фонарей. Сзади послышались шаги, и, оглянувшись, он увидел Хуану. Они взялись за руки и пошли к реке.

На берегу все было совсем не так, как днем. Темную тишину не нарушали ни проклятия осатаневших, потных людей, ни надсадный рев двигателей. Ветер, тянувший с реки, разгонял влажный туман и тушил то один фонарь, то другой. Шоферы — их тут собралось человек во-

семь,— изредка обмениваясь негромкими репликами, отводили от причала машины. Потом один грузовик подъехал к самому берегу, и его фары ярко осветили черную воду.

Когда Баако подошел к группе шоферов, кто-то из них досадливо крикнул:

— Эй, господин, вы бы не мешались под ногами!

Баако посторонился. Ему хотелось воскликнуть: «Ну какой же я вам господин?» — однако он удержался и, положив руку на плечо прогонявшему его шоферу, сказал только:

— Да я ведь думал помочь.

Ответом ему было угрюмое молчание. К бамперу грузовика с включенными фарами привязали две веревки, потом один из шоферов обмотал их концы вокруг талии, залез в речку, подплыл к тому месту, где утонула машина Скидо, и нырнул, чтобы закрепить их. Водитель грузовика завел мотор, дал задний ход, и одна из веревок сразу же оборвалась.

— Намочите их,— сказал Баако.— Намочите обе веревки.

Прогонявший Баако шофер недоверчиво посмотрел на него, но все же отвязал веревки и, подойдя к берегу, окунул их в воду. Грузовик опять подъехал к реке, веревки привязали снова, и водитель, включив заднюю передачу, начал осторожно прибавлять обороты. Грузовик медленно сдвинулся с места и, чуть пробуксовывая, съезжая вбок, отполз на несколько ярдов назад. По реке побежали круговые волны.

Два человека прыгнули в воду и, добравшись до центра расходящихся кругов, несколько раз нырнули. После четвертой попытки они тяжело поплыли к берегу, и Баако понял, что они нашли тело Скидо. Утопленника вытащили, и свет фар раздробился в каплях воды на его черной коже.

Хуана нагнулась, чтобы осмотреть труп.

— Чего ей тут надо? — раздался из темноты мужской голос.

— Так она, может, доктор,— откликнулся другой голос, женский.

— А-а.

Хуана подняла голову и подозвала Баако.

— Помоги мне перевернуть его,— сказала она.— Надо, чтобы вытекла вода.

Баако присел рядом с утопленником и подсунул руки под его холодное плечо. Из темноты выдвинулись еще двое мужчин, и один, отстранив Хуану, взялся за ноги, а другой, вместе с Баако,— за плечи. Покойника подняли, и фары полностью осветили его. Раздавленная плоская голова свесилась вниз, и третий шофер подошел, чтобы поддержать ее. С тела утопленника частым дождиком капала вода, а когда его перевернули и положили на землю, из его открытого рта с бульканьем хлынул ручей и по отлогому берегу заструился к реке.

Высокая женщина, та самая, которая догадалась, что Хуана врач, сняла с себя кенте и накрыла им труп; было видно, как в свете фар блестит ее голая спина. Женщина не плакала. Она лишь тоскливо и словно про себя сказала:

— Эх, Скидо...

— Жена? — спросил Баако стоявшего рядом с ним шофера.

— А я откуда знаю? — со злобой ответил тот и торопливо отошел.

Начали расходиться и другие; вскоре на берегу осталось только два человека; они поблагодарили Хуану и Баако, а потом, подняв утопленника, вынесли его на дорогу и исчезли в ночной темноте.

Обратный путь показался Баако очень долгим. Его одежда, отсыревшая от мороси и холодной испарины, прилипла к телу, так что он продрог до костей.

Вернувшись в номер, Баако закрыл ставни, насухо вытерся и залез в кровать. Он тесно прижался к Хуане, стараясь согреться. Она приподнялась, дотянулась до лежащего в ногах одеяла и укрыла Баако и себя с головой. Потом прижала ладони к его щекам, и он, чувствуя себя совершенно обессиленным, поцеловал ее. Она сдавила пальцами его сосок, и ему стало больно, но желание, почти против воли, все же поднялось в нем. Хуана легла на спину и, прижав его к себе, сказала:

— Просто полежи так.

Она была теплой, и он как бы искал в ней защиты от холода и леденящего душу страха, но потом вдруг почувствовал, что она тоже дрожит. Они лежали обнявшись, и ни один из них не шевелился.

Глава восьмая

Огонь

Он спал очень крепко. Проснувшись и вспомнив, что ему не надо идти на работу, он с трудом подавил желание снова погрузиться в сонное небытие, а придя в себя окончательно, ощутил непреодолимую слабость. Тем не менее он встал и оделся. Выдвинув нижний ящик комода, он отложил в сторону несколько блокнотов и вытащил пачку машинописных листков. Это были его сценарии, и, поглядев на толстую пачку, он впервые осознал, какую уйму труда потратил впустую. Взяв всю пачку, он вышел из комнаты.

В кухне, у только что вздутого горшка с углями, сидели Наана и Эфуа.

— А-а, это ты, Баако,— сказала Наана.— Доброго тебе рассвета.

— Доброе утро,— ответил он.

— Тебе что-нибудь нужно? — улыбаясь, спросила Эфуа.

— Ты собираешься сейчас готовить?

— Пока нет. Тебе нужен огонь?

— Да, я хочу сжечь кое-какие бумаги.

— Твоя работа? — глянув на него исподлобья, спросила Эфуа.

Он кивнул и, нагнувшись, поднял горшок с углями. Наана догнала его уже во дворе.

— И что ты все за ним ходишь? — крикнула Эфуа.

— Ни за кем я не хожу,— твердо ответила Наана.— Я хочу быть рядом с огнем.

Она принесла табуретку и села неподалеку от горшка.

— Баако,— шепотом окликнула она внука.

— Да?

— Я ей наврала,— прошептала Наана и беззвучно рассмеялась.— Мне вовсе не холодно. Я хотела побыть с тобой.

— Что-нибудь не так?

— Я уж по твоему вопросу вижу, что ты удивляешься. Но я тебя еще больше удивлю.

— Сомневаюсь.

— Мое сердце тревожится за тебя, Баако,— проговорила старуха, прижав руку к груди,— и я рада, что была послана в этот мир намного раньше тебя. Если бы я пришла позже, нашей семье могло быть очень худо.

Баако засмеялся.

— Ему смешно! Он, наверно, думает, что его бабка сошла с ума. Ты еще очень юн, Баако. Молодые считают, что старые женщины не могут любить. Так вот нет же, могут! Просто их любовь засыпает, и нужен очень сильный дух, чтобы разбудить ее.

— Ну, мой дух вряд ли способен кого-нибудь разбудить,— сказал Баако. Взяв лежащий сверху сценарий, он разорвал его и бросил в огонь. Бумага покоробилась, потом потемнела и вспыхнула.

— Эфуа спросила, не твоя ли это работа,— продолжала Наана,— а ты не ответил.

— Я кивнул головой.

— Зачем же ты ее сжигаешь?

— Чтобы забыть о ней.

— Ты плохо ее сделал?

— Не знаю. Оказалось, что она никому не нужна.

Он бросил в горшок вторую стопку скрепленных листков и безучастно смотрел, как они горят и как зола, подхваченная горячим воздухом, кружится над огнем, а потом светло-серыми хлопьями медленно оседает на пыльную землю.

Но когда пришла очередь незаконченных сценариев, он понял, что не может бросить их в огонь не читая. Глаза, помимо его воли, выхватывали отдельные фразы, восстанавливая образы, когда-то созданные им, припечатанные к бумаге и вот обреченные теперь на сожжение. Он собрался с силами и положил на угли титульный лист с названием сценария — «Основа». Лист загорелся, а Баако не удержался и стал читать первую страницу рукописи:

РИТМИЧНЫЙ ПОВТОР ЗВУКОВ И ОБРАЗОВ:
СИМВОЛИКА НАСИЛИЯ — ОТТАЛКИВАЮЩИЕ, УСТРАШАЮЩИЕ, УГНЕТАЮЩИЕ ЗРИТЕЛЯ СЦЕНЫ;
ПРИТЕСНЯЕМЫЕ — РАСПЛЫВЧАТЫЕ, СЛИВАЮЩИЕСЯ, ЗЫБКИЕ ОКРУЖНОСТИ;
ЧЕРНЫЕ.
НАЛОЖЕНИЕ:
НОСИТЕЛИ НАСИЛИЯ — СИМВОЛИКА — РЕЗКАЯ НЕПРИЯТНАЯ МУЗЫКА — КОПЬЯ, СТРЕЛЫ,
ДЛИННЫЕ, ПРЯМЫЕ, ОТТОЧЕННЫЕ;
ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫЕ.
ТИТРЫ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ:
ЗВУК — МЯГКАЯ ФОНОВАЯ МУЗЫКА, ПЕРЕБИВАЕМАЯ ВИЗГЛИВЫМИ ДИССОНАНСНЫМИ НОТАМИ;
ИЗОБРАЖЕНИЕ — НОСИТЕЛИ НАСИЛИЯ, ПРОТЫКАЮЩИЕ КРУГИ ПРИТЕСНЯЕМЫХ ПРИ ВЗРЫВЕ КАЖДОЙ ДИССОНАНСНОЙ НОТЫ;
ПРИТЕСНЯЕМЫЕ, В ИХ РАСПЛЫВЧАТОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ, ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЮТ С ЭКРАНА ПОД УДАРАМИ НОСИТЕЛЕЙ НАСИЛИЯ;
ЗАТЕМ, КАК НЕЯСНЫЕ ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ОКРУЖНОСТИ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ВНОВЬ,
ОБВИВАЯСЬ ВОКРУГ КАЖДОГО ПРОЛЕТАЮЩЕГО ПО ЭКРАНУ ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛОГО СИМВОЛА.
КОНЕЦ ТИТРОВ; ОТЪЕЗД КАМЕРЫ —
ОБЩИЙ ПЛАН:
ЧЕРНЫЙ КРУГ — ПРИТЕСНЯЕМЫЕ,— СКВОЗЬ КОТОРЫЙ ПРОПЛЫВАЮТ НОСИТЕЛИ НАСИЛИЯ, СМУТНО НАПОМИНАЮЩИЕ ШЕРЕНГИ СОЛДАТ И — ПРИ ДРУГОМ РАКУРСЕ — КРЕСТЫ НА СОЛДАТСКОМ КЛАДБИЩЕ.
МУЗЫКА СТИХАЕТ.
ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ —
ОБЩИЙ ПЛАН:

ВИД СВЕРХУ — ПОЛУКОЛЬЦОМ У ЗАЛИВА ПРИТУЛИЛАСЬ ПРИБРЕЖНАЯ ДЕРЕВУШКА, ТИХАЯ, ТЕМНАЯ;
НОЧЬ;
ВДАЛЕКЕ, НА ХОЛМЕ,— БЕЛЫЕ КАМЕННЫЕ СТЕНЫ ПРИЗЕМИСТОГО РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ФОРТА.

СРЕДНИЙ ПЛАН:

ВНУТРЕННИЙ ДВОР ФОРТА,
СТВОЛЫ ОРУДИЙ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА ДЕРЕВУШКУ,
ПИРАМИДА ЯДЕР ВОЗЛЕ ОРУДИЙ,
ШАГАЮЩИЙ ЧАСОВОЙ.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНА:

ДЕРЕВУШКА,
ХИЖИНА С КРУГЛЫМ ОКНОМ, ИЗ ОКНА — ВИД НА УМЕНЬШЕННЫЙ РАССТОЯНИЕМ ФОРТ;
У ХИЖИНЫ СИДЯТ ТРИ ЖЕНЩИНЫ И ДВОЕ МУЖЧИН И БЕЗМОЛВНО СМОТРЯТ СЕБЕ ПОД НОГИ, В ЗЕМЛЮ;
ИЗ ОКНА ХИЖИНЫ ВЫГЛЯДЫВАЕТ РЕБЕНОК.

На производственном совещании, когда он читал свой сценарий, Асанте Смит прервал его в этом месте и спросил:

— Какую, собственно, тему вы разрабатываете?

— Рабство.

— А зачем?

— То есть как это зачем?

— Вы меня прекрасно понимаете, мистер Онипа,— сказал Асанте Смит и зевнул.— Вам не хуже, чем мне, известно, что мы живем в свободной и независимой стране. Перед нашим народом стоит гигантская задача — создание национального государства. Мы унаследовали великую культуру, развивать и умножать ее славные традиции — вот наш долг.

— Да, но рабство — неотъемлемая часть нашего культурного наследия.

Никто из участников совещания не пошевелился, не проронил ни слова.

— У вас есть что-нибудь еще? — внезапно спросил Асанте Смит.

— Я же не кончил читать.

— У вас есть другие сценарии?

— Я хотел бы дочитать этот.

— Послушайте,— сказал Асанте Смит,— давайте не будем терять время. В двенадцать у меня следующее совещание.

— Есть,— сказал Баако,— «Головня».

— Это о чем же?

— О попытке уцелеть.

— Мистер Онипа,— проговорил Асанте Смит,— ваша беда в том, что вы оторваны от жизни. Вот, например, все эти ваши отвлеченные идеи — рабство, какие-то головни, попытки уцелеть,— ну разве они имеют отношение к народной культуре?

— Самое прямое,— ответил Баако, пытаясь подавить бешеную злобу. Асанте Смит окинул его скучающим взглядом.— Надеюсь, вы знаете доктора Аггри?

— Еще бы! Доктор Аггри — старейшина нации,— сказал Асанте Смит и, улыбаясь, откинулся на спинку стула.— Основатель Ачимотского колледжа, в котором я учился... да и вы, кажется, тоже, мистер Онипа.

— Так вот, мистер Асанте Смит, название сценария и тема принадлежат доктору Аггри. «Я головня, уцелевшая в пламени»,— это он сказал.

— В самом деле?

— В самом деле. И он имел в виду именно то, что сказал.

— Видите ли, мистер Онипа,— с некоторой неловкостью проговорил Асанте Смит,— доктор Аггри был кристально честным человеком. Он отдал все свои силы делу народного образования и просвещения.

— Честь ему и хвала,— сказал Баако.— Между прочим, строка о головне взята мной из рассказа о его собственном образовании и просвещении.

— Н-да. Все это, конечно, прекрасно. Но что здесь общего с национальной культурой и направлением нашей работы?

— Но это же очевидно! Страной управляет образованная элита...

Асанте Смит промолчал, но хмуриться перестал и с удовлетворенной улыбкой кивнул головой.

— ...А поэтому,— продолжал Баако,— такой взгляд на вещи, взгляд доктора Аггри, необычайно важен. Он считал простых людей грешниками, обреченными на адское пламя, а себя и таких, как он,— счастливцами, уцелевшими в пламени, спасенными.

— Ладно, прочитайте, что вы там написали, мистер Онипа.

Над этим наброском он трудился гораздо больше, чем над предыдущим, и надеялся, что со временем у него получится по-настоящему совершенный сценарий; теперь, бросая листки в огонь, он невольно пробегал глазами каждый из них.

НА ЭКРАНЕ — ЧЕРНЫЙ КРУГ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ ОСНОВУ, СРЕДУ ОБИТАНИЯ УГНЕТЕННЫХ.

НАЛОЖЕНИЕ:

КВАДРАТ — ЧЕТКИЙ, ЯРКО-БЕЛЫЙ — УКРЕПЛЕННЫЙ ФОРТ УГНЕТАТЕЛЕЙ;

ВЫТЕСНЕНИЕ (БОКОВОЙ РАКУРС СНИЗУ) —

ОБЩИЙ ПЛАН:

ЛЕСТНИЦА, СОЕДИНЯЮЩАЯ АМОРФНЫЙ КРУГ УГНЕТЕННЫХ С ЖЕСТКИМ КВАДРАТОМ УГНЕТАТЕЛЕЙ.

КРУПНЫЙ ПЛАН:

ЭТО НЕ ЛЕСТНИЦА, А ПИРАМИДА, ОБРАЗОВАННАЯ СТАВШИМИ ДРУГ ДРУГУ НА ПЛЕЧИ УГНЕТЕННЫМИ.

СРЕДНИЙ ПЛАН:

ВВЕРХ, ПО СПИНАМ ЛЮДЕЙ, СОСТАВИВШИХ ПИРАМИДУ, КАРАБКАЕТСЯ ГЕРОЙ (ЛИЦО КОТОРОГО НИ РАЗУ НЕ ДАЕТСЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ): ЧЕМ ВЫШЕ ВЗБИРАЕТСЯ ГЕРОЙ, ТЕМ МЕНЕЕ УСТОЙЧИВОЙ ДЕЛАЕТСЯ ПИРАМИДА.

ПОДЫМАЯСЬ, ГЕРОЙ ДАЕТ КЛЯТВУ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ И — ОДНОВРЕМЕННО — САМОМУ СЕБЕ.

КЛЯТВА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОН ПОПЫТАЕТСЯ ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ УГНЕТЕННЫХ, КАК ТОЛЬКО ДОБЕРЕТСЯ ДО КВАДРАТА.

НАПЛЫВ:

МИТИНГ ЭНТУЗИАСТОВ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ГЕРОЯ КАК ФИЗИЧЕСКИ, ТАК И МОРАЛЬНО.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНА:

ГЕРОЙ ДОБИРАЕТСЯ ДО КВАДРАТА И,
ВЦЕПИВШИСЬ В ЕГО ОТВЕСНЫЙ КРАЙ,
ПОДТЯГИВАЕТСЯ,
А ПОТОМ ИСЧЕЗАЕТ
НАВЕКИ.

ВЕСЬ ЕГО ПОДЪЕМ ПО СПИНАМ ЛЮДЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ О ТОМ, ЧТО У НЕГО ПОЯВИЛИСЬ ПРИВЫЧКИ И СТРЕМЛЕНИЯ, НЕСОВМЕСТИМЫЕ С РЕШИМОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬ УГНЕТЕННЫХ.

ПЕРСОНАЖИ В ЭПИЗОДАХ.

СТАРИК. ЗАКОНЧЕННЫЙ ЦИНИК, ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОЛЕЖАВШИЙ НИЧКОМ, ЧТОБЫ, КАК ОН ОБЪЯСНЯЕТ, НИКТО НЕ ВСКАРАБКАЛСЯ НАВЕРХ ПО ЕГО ПЛЕЧАМ. НА МИТИНГЕ ЭНТУЗИАСТОВ ОН, НЕ МЕНЯЯ ПРИВЫЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ТВЕРДИТ С БЕСКОНЕЧНЫМ ТЕРПЕНИЕМ, ПОРОЖДЕННЫМ УВЕРЕННОСТЬЮ В СОБСТВЕННОЙ ПРАВОТЕ, ЧТО САМЫЕ СТРАСТНЫЕ КЛЯТВЫ РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО НЕ СТОЯТ, ПОТОМУ ЧТО ГЕРОЙ, ПОДНЯВШИСЬ ПО СПИНАМ ЭНТУЗИАСТОВ, ПРИВЫКНЕТ К ВОЗДУХУ ВЕРХОВ И ПОТОМ НЕ ЗАХОЧЕТ СПУСТИТЬСЯ ВНИЗ. ОН ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НИКАКОЙ ВРАЖДЫ К ТЕМ, КТО СТРЕМИТСЯ НАВЕРХ, НО С ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОДСТАВЛЯТЬ ИМ СВОИ ПЛЕЧИ — НЕТ, НА ЭТО ОН НЕ СОГЛАСЕН.

МУЖЧИНА СРЕДНИХ ЛЕТ ПО ПРОЗВИЩУ «ДЯДЮШКА ПРОГРЕСС». ЗАНУДЛИВЫЙ ОПТИМИСТ; УВЕРЕН, ЧТО УГНЕТЕННЫЕ СПАСУТСЯ, ЗАБИРАЯСЬ ПООДИНОЧКЕ В КВАДРАТ, КОТОРЫЙ, ПРОГЛОТИВ ВСЕХ УГНЕТЕННЫХ, БЕСКОНЕЧНО РАСШИРИТСЯ, И КРУГ САМ СОБОЙ ОТОМРЕТ.

СКОРБЯЩАЯ ЖЕНЩИНА, НА КОТОРУЮ НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНА НЕ ПЕРЕСТАЕТ ТВЕРДИТЬ, ЗАЛАМЫВАЯ РУКИ, ЧТО КВАДРАТ НЕ ПРИМЕТ В СЕБЯ УГНЕТЕННЫХ, ЧТО ОН ПРОСТО УНИЧТОЖИТ КРУГ; ПОРОЙ ОНА ГОВОРИТ ТАК, СЛОВНО УГНЕТЕННЫЕ УЖЕ МЕРТВЫ, НАЗЫВАЯ ИХ ПРИЗРАКАМИ, ДУХАМИ И ПР.

РАЗГНЕВАННАЯ ЖЕНЩИНА, ПОГРУЖЕННАЯ В СОМНАМБУЛИЧЕСКОЕ ОТЧАЯНИЕ. ВРЕМЕНАМИ ПРИХОДИТ В СЕБЯ И ПРЕДРЕКАЕТ КВАДРАТУ ГИБЕЛЬ.

МЫСЛИТЕЛЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, НЕОБЫЧАЙНО РАДИКАЛЬНЫЙ НА СЛОВАХ И РЕШИТЕЛЬНО НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ. СО СТОРОНЫ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН ВСЕ ВРЕМЯ ДУМАЕТ, ОДНАКО ОН НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ, БЛИЗКОМ К ТРАНСУ, И ВЫХОДИТ ИЗ НЕГО ЛИШЬ В МИНУТЫ ИНТУИТИВНЫХ ОЗАРЕНИЙ; ТОГДА ОН С ПАФОСОМ НАЧИНАЕТ РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАТЬ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ КВАДРАТА СИЛАМИ САМОГО КВАДРАТА.

ДВА ХОРА.

ПЕРВЫЙ — ОБИТАТЕЛИ КРУГА — ЧЕРНЫЙ, ТУПОЙ, ОБРЕЧЕННО ПОКОРНЫЙ.

ВТОРОЙ — ЖИТЕЛИ КВАДРАТА — БЕЛЫЙ, СВЕРКАЮЩИЙ, ПОБЕДОНОСНО САМОДОВОЛЬНЫЙ.

НЕКОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ КВАДРАТА, СОБИРАЯСЬ НЕБОЛЬШИМИ ПЛОТНЫМИ ГРУППКАМИ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СПУСКАЮТСЯ В КРУГ, ГДЕ ВЫСМАТРИВАЮТ КАНДИДАТОВ В ГЕРОИ, А КОГДА ТЕ ЗАБИРАЮТСЯ В КВАДРАТ, ИЗОЛИРУЮТ ИХ ОТ УГНЕТЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПОДАЧЕК И ЛЕСТИ.

В этом месте Асанте Смит громко закашлял и прервал Баако.

— У вас, знаете ли, весьма странные взгляды,— сказал он.

— Странные для кого? — спросил Баако, но никто ему не ответил. Глядя на лица своих коллег, он не видел даже проблеска заинтересованности... даже проблеска живой мысли. Все было мертво и безмолвно. Баако взял свой рабочий блокнот и, мгновение поколебавшись, захлопнул его.

— Во всяком случае,— сказал Асанте Смит,— мы не можем тратить пленку на кинодрамы.

— Нам как раз доставили новую партию пленки,— напомнил ему кто-то с дальнего конца стола.

— Я знаю. Но она уже распределена. Ведь приближаются великие национальные празднества. День рождения Основоположника, День свободы, Фестиваль свободной молодежи. Да и очередная годовщина Независимости не за горами. У нас будет много работы.

— Пленка понадобится на Главу правительства? — Баако вовсе не собирался задавать такой вопрос, да еще таким тоном, но реакция была мгновенной: все участники совещания просто окаменели, а сам Асанте Смит вытаращился на него с разинутым ртом.

— Да, мистер Онипа,— наконец отчеканил он,— государственная кинопленка понадобится для съемок Старейшин, завоевавших для нации свободу.

Гариба, Ариети, Самоа, Краббе, Еасильфие, Бейден, Ашонг, Ван дер Пуйе, Менса, Кофи — операторы, режиссеры, один сценарист, — все онемевшие, окаменевшие. Баако перевел взгляд на Асанте Смита.

— Кто-нибудь еще хочет высказаться? — ледяным тоном спросил тот.

Молчание.

— Значит, все. Мне надо идти,— спокойно сказал Асанте Смит. И — чуть помедлив: — Сегодня будут распределяться телевизоры. Первыми их получат работники Резиденции и Президентского совета, затем чиновники Кабинета министров, а то, что останется, будет роздано ответственным сотрудникам телекорпорации.

— А как... — начал Баако, но решил не продолжать. Однако Асанте Смит услышал начало фразы и, выжидающе глядя на него, спросил:

— Что вы хотели сказать, мистер Онипа?

— Как насчет плана распределения телевизоров по всей стране и установки их в деревнях?

— Да-да,— сказал Асанте Смит,— как насчет этого плана? — Он издевательски хмыкнул, встал из-за стола и вышел, подзывая на ходу своего шофера. Все облегченно зашевелились, но о только что закончившемся совещании никто не сказал ни слова. Глядя на ожившие, осмысленные лица людей, можно было предположить, что совещания просто не было.

Баако вышел из зала совещаний, спустился в центральный холл и по длинному коридору, разделившему первый этаж на два съемочных павильона, зашагал к выходу. Оказавшись во дворе, он увидел, что большие ворота левого павильона распахнуты настежь, а внутри стоят телевизоры в коричневых коробках, украшенных эмблемой какой-то японской фирмы — серебряный факел с молнией вместо пламени. У ворот длинной вереницей стояли персональные легковые машины и ведомственные грузовые фургоны, а несколько голых по пояс рабочих грузили в них телевизоры. Тут же топтался чиновник с воткнутым в шевелюру карандашом; он отдавал грузчикам отрывистые приказания и, забирая у шоферов ордера, иногда обменивался с кем-нибудь из них парой слов:

— Три штуки.

— Три.

— Пять.

— Пять.

— Один.

— Один.

— Двенадцать.

— Двена... А ну-ка постой! Чего ты там мелешь, какие двенадцать?

— Генеральный полицейский комиссар Крака, а ты думал, я кого вожу? Он сказал двенадцать — и гони сразу двенадцать. Бумагу-то видишь, бумага-то разве врет?

— Ладно, двенадцать.

— Четыре полковнику Блею.

— Четыре.

— Два.

— Два.

Машины, груженные телевизорами, отъезжали, и вся их медлительная вереница напоминала похоронную процессию. Баако завороженно глядел на это медленное гипнотическое движение, а когда уехала последняя машина, ему вдруг стало по-настоящему интересно, что же будет дальше. Он чувствовал себя совершенно разбитым и, привалившись к стене студии, просто следил за тем, что происходило у него перед глазами. Как только последняя машина отбыла, толпа ответственных сотрудников телекорпорации, словно по команде, наводнила павильон. Люди хватали телевизоры, вытаскивали их на свет и, осмотрев, несли к своим машинам. Одним из последних в павильон вбежал Гариба; он выбрал себе телевизор, вышел на солнце и, заметив Баако, остановился.

— Послушайте, приятель, бросьте вы переживать,— одышливо проговорил он.— А то прозеваете свою долю. Уж телевизор-то вам во всяком случае не помешает.— Он попытался улыбнуться, но Баако видел перед собой лишь странную маску стеснительного циника. Гариба поднял брови, хихикнул и, кренясь на один бок, пошел к своей машине.

В павильоне теперь остался только один телевизор. Кто-то из ответственных вынул его из коробки, но, видимо, глаза у него разбежались, и в конце концов он выбрал себе другой. Телевизор стоял на полу, и над ним чуть заметно струился ток нагретого воздуха. Из технического корпуса вышли двое мужчин и зашагали к зданию студии. Они оживленно беседовали и смеялись, но вдруг, как бы одновременно сообразив нечто очень важное, что есть духу помчались вперед. Первым, опередив своего товарища на несколько ярдов, к телевизору подскочил тот, что был пониже ростом. Но второй, массивный и грузный, не снижая скорости, набежал на Низенького, который уже склонился над телевизором. Он, однако, не упал, вернее, упал не сразу, а сначала отлетел к створке ворот, и Массивный, продолжая двигаться, с ходу навалился на него всей тяжестью своего грузного тела. В первую секунду Низенький ничего не понял. Он выглянул из-за Массивного с идиотски-счастливой улыбкой, и Баако даже подумал, что он сейчас рассмеется. Но потом он слабенько всхрипнул, болезненно застонал и, глядя на своего товарища с тихим, бессмысленным недоумением, сполз вниз, а по его рубашке медленно потекла струйка крови.

Массивный довольно расхохотался и, все еще не спуская глаз со своего соперника, обеими руками обхватил телевизор. У Низенького был такой вид, будто он больше даже и не помышляет о сопротивлении, но когда Массивный, любовно обняв телевизор, попятился к выходу, он нашарил на земле камень и с яростью отчаяния швырнул его в победителя.

Экран телевизора, едва успевший вспыхнуть в лучах солнца, мгновенно погас,— камень, вдребезги разбив полированное стекло, непоправимо размозжил медные кишочки телевизора.

Массивный остолбенело застыл, выпустил из рук телевизор, и наступившую было тишину взломал мучительный надрывный вопль. Бросив безутешный взгляд на свою искореженную, поверженную в прах мечту, страдающий победитель гигантскими скачками погнался за торжествующим врагом. Но тот, пронзительно визжа от истошного, хоть и счастливого ужаса, пустился наутек, легко оторвался от преследователя, выскочил на дорогу, увернулся от подъезжающей к студии машины Генерального директора и был таков.

Асанте Смит вылез из машины, жестом показал шоферу, чтобы тот ехал на стоянку, подошел к обломкам телевизора, внимательно оглядел их и пристально посмотрел Баако в глаза.

— Что тут произошло? — спросил он.

— Не знаю,— покачав головой, ответил Баако.

— Кто учинил это безобразие?

— Вот ведь забавно,— стараясь сохранить спокойствие, сказал Баако,— я как раз сейчас задавал себе тот же самый вопрос.

Асанте Смит подозрительно покосился на Баако и, увидев проходящего по двору рабочего, крикнул:

— Эй, как тебя! Убери это безобразие!

— Слушаюсь, сэр.

Асанте Смит поднялся в свой кабинет, а Баако вдруг необычайно отчетливо вспомнил ухмылку, с которой во время одного из предыдущих совещаний тот поглядел на него, когда он сказал, что хочет познакомиться поближе с образным мышлением и верованиями простых людей для обогащения своей творческой палитры.

Да, в общем-то директор был не таким уж дураком. Баако почувствовал, что по его телу разливается странная легкость. И одновременно ощутил непреодолимое желание выйти за ворота студии, свернуть на площади влево, потом, после Военного госпиталя, вправо, чтобы выбраться на Казарменную улицу, а заодно сбить прогулкой назойливо катящиеся в одном направлении горестные мысли. Дойдя до коттеджа Хуаны, он прилег на веранде, зажмурился, потому что косые лучи вечернего солнца били прямо в глаза, и стал ждать.

— Qué pasó?[1]

— Да ничего особенного.— Он вошел за ней в комнату, и она сделала коктейль ему и себе.

Он отхлебнул из своего бокала и спросил:

— Ты не разрешишь мне напечатать кое-что на твоей машинке?

— Боже мой,— сказала она,— что за официальность?

Она принесла машинку и стопку бумаги, но, испортив несколько листов, он встал из-за стола и проворчал:

— Ну и дерьмовое же у испанцев расположение букв!

— Что поделаешь, не всем ведь удалось попасть под владычество англосаксов. Давай уж я тебе напечатаю — если только это не десятитомная история Великого Имперского Наследия.

— Нет, тут немного,— сказал он.

— Ладно.— Она села за машинку и сменила лист.— Давай.

— Аккра, Канеши,— начал он,— улица Асафо, семь дробь три. Напечатала? Уважаемый господин Начальник отдела кадров, запятая. С новой строки: Я увольняюсь.

— Послушай, Баако,— сказала Хуана со смехом,— они там решат, что ты спятил.

— Пусть решают. С красной строки: Считайте, что предупреждение за месяц я сделал сегодня. С новой строки: Всегда ваш. С новой строки: Баако Онипа. Число.

— Господи, Баако,— воскликнула Хуана,— что все-таки случилось?

Языки пламени слизнули последнюю страницу и увяли, оставив на углях хрупкие невесомые лепестки, серые там, где огонь окончательно потух, и багровые в тех местах, которые касались раскаленных углей.

— Почему вдруг стало так тихо? — спросила Наана.

— Мне больше нечего жечь,— ответил он.

— Ты так и не объяснил мне толком, что это такое.

---

[1] Что случилось? *(Исп.)*

— Я хотел, чтобы люди увидели мои мысленные видения.
— Того же обычно хотят и прорицатели.
Он невесело засмеялся и встал.
— Не уходи,— попросила Наана.— Посиди со мной. Тебе ведь тяжело, правда? Я никак не могу понять, почему ты скрываешь от меня свои дела.
Он снова сел, и старуха успокоилась.
— Может, ты расскажешь мне? Не обязательно сейчас, я подожду.
— Непременно расскажу, Наана. Только не сегодня.

Глава девятая

Безумие

Он ощущал, что взгляд склонившегося над ним человека вливает в него какое-то упорное, устойчивое чувство. Но его собственные глаза — открытые или закрытые, это было не важно — тупо ломило, так же как голову, как все тело, он ни на чем не мог остановить помимо его воли блуждающие зрачки, и ему было непонятно, какие чувства таятся в устремленном на него взгляде — беспокойство, страх, любовь, неприязнь или ненависть. Он снова зажмурился, чтобы спастись от назойливого взгляда. Ему было бы трудно переносить сейчас чей угодно взгляд, а этот материнский, да еще как бы многократно усиленный яркой лампочкой на потолке, которую он мечтал потушить, действовал на него особенно угнетающе. Его усталое, измученное лихорадкой тело требовало покоя, больше всего на свете он хотел уснуть, хотя слабость, три дня назад приковавшая его к постели, тоже казалась ему невыносимой. Он перевернулся на живот, но и это движение было для него чересчур трудным, и липкая испарина покрыла все его тело.

Мать осторожно вытирала краем кенте бисеринки пота, выступающие у него на шее, на плечах. Однако ее легкие прикосновения причиняли ему нестерпимую боль, словно у него не было кожи. Уже чувствуя новую волну лихорадочного озноба, он с трудом подавлял желание сказать ей, чтобы она оставила его в покое.
— Ты очень болен, сынок,— сказала она, как будто только что это поняла.
— Конечно, болен. И от разговоров не поправлюсь.
— Тебе нужна помощь.
— Мне нужен просто отдых. Я отдохну и встану.
— Ты так же говорил, когда это только начиналось. А сам не отдыхал, и тебе стало совсем плохо.
— Не было у меня времени отдыхать,— сказал он, надеясь, что разговор наконец прекратится и ему удастся уснуть.
— Я знаю,— сказала мать.— Ты не спал много ночей, я слышала.
— Не так уж много.
— Даже и одна ночь — слишком много, если человеку нужен отдых. А ты все печатал, печатал — много ночей подряд.
— Я не давал тебе спать? — спросил он неуверенно.
— Да нет, машинка-то мне не мешала,— ответила мать.— Я сама не могла уснуть. У меня ведь тоже есть заботы. Твоя дверь была закрыта, моя тоже. Машинка стрекотала тихо-тихо, надо было вслуши-

ваться, чтобы ее услышать. Ну, вроде как разговоры термитов в сухом бревне.

— Разговоры термитов? Значит, по-твоему, они разговаривают? — Он чуть не расхохотался.

— Понимаешь, машинка стрекотала тихо-тихо, и все время не переставая. Вот я и подумала про термитов, а так-то мне до них и дела нет.— Ее объяснение окончательно рассмешило его, и он открыл рот, потому что ему было трудно и больно сдерживать смех,— звук получился похожим на тяжкий, долгий вздох.

— Я вижу, тебе стало получше,— сказала мать.— Ты вон даже смеешься надо мной.— Он кивнул.— Да-да, явно лучше, и потеть перестал. Только вот глаза... — Баако отвел взгляд и зажмурился. Шея очень болела. Ему хотелось заткнуть уши, но это было невозможно.— У тебя такой усталый вид,— услышал он.— Про что ты хоть пишешь-то?

— Так, кое-какие мысли.

— А ты постарайся не думать. Или думай поменьше.

— Как это так — поменьше?

— Ну, ты же сам знаешь,— сказала она.— У тебя даже аппетит пропал, когда ты начал печатать. А потом и сон ушел.

Смутная мысль проплыла в его сознании. Желание поймать ее, не упустить пересилило физическую боль. Он поднял с пола записную книжку, открыл ее на той странице, куда была вложена ручка, и снова начал писать.

«*Культ приносимых благ.* Здесь с этим тоже все как будто ясно. Чем же мы отличаемся от меланезийцев? Бытовой реализм, вот что это такое,— когда сегодняшние события осмысляются с помощью традиционных верований. Я бы сказал — принцип реальности. Два разных мира: здешний, прекрасно всем известный, и нездешний, знакомый лишь по легендам и видениям. Но таинственная область, соприкасающаяся с обоими мирами, зона смутных догадок, тоже осмысляется по-современному — не совсем правильно, быть может, зато вполне реалистически — через исчезающих людей и появляющиеся земные блага. Исчезают, то есть уходят в иной, нездешний, мир, главным образом люди. Они либо умирают по-настоящему — уходят к праотцам,— либо по ритуалу, условно (все эти возлияния и похоронные речи, которыми меня провожали на самолет — ведь почти каждого уезжающего провожают точно так же. Спросить у Нааны, как она понимает этот обряд). Во всяком случае, считается, что побывавший выбрал — или получил в награду — своего рода смерть. Весьма, между прочим, выгодную смерть, потому что, возвратившись, он приносит в этот мир земные блага. Причем не только имущественное богатство, но еще и влиятельность, могущество, почет, мгновенно возвышающие тех, кто больше всего страдал из-за ухода побывавшего. Как непринужденно, как натурально ведут себя люди (слезы, страх, надежда, гордость, счастье) в здешнем нелепом мире! Слишком натурально. Вообще-то говоря, ничего принципиально нового в возвращении побывавшего нет, а само это возвращение сразу придает культу приносимых благ вполне реалистический характер. Ведь, по мифологическим воззрениям, нет человека — посредника между небом и землей, умерший навсегда отправляется в другой мир. Его, если так можно выразиться, возвращение заключается в том, что он, оставаясь на небе, ходатайствует перед богами за живых: например, просит послать им дождь, ког-

да их посевы страдают от засухи, или, наоборот, прекратить дожди, если они слишком обильны. Короче, он удовлетворяет чисто земные нужды живых. Ну, и плюс заслуженный почет тем, кто понес утрату, семье ушедшего. Духи взяли, духи дали. И нынешний побывавший только подтверждает все эти верования. Он — дух во плоти, вернувшийся на землю, чтобы жить с людьми, причем могущественный дух — если, конечно, ведет себя как таковой (принесенные материальные блага и пр.) и если полностью соответствует хорошо известным, раз и навсегда установленным идеалам, то есть проявляет себя как могущественный дух (уточнить значение слова «призрак» в афро-американском лексиконе и слова «зомби» в мифах Вест-Индских островов) и естественно принимает на себя роль духа. Фактически побывавший и есть дух, средство получения земных благ. Не создатель, а посредник. Созидание отнимает слишком много времени, а посредничество приносит быстрые плоды. Круг, разумеется, сужается, но благодаря бытовому реализму наших мифов близкие побывавшего не видят в том ничего странного. Такова жизнь. Мысль, что дух может создавать — *неминуемо медленно* — материальные блага, во-первых, не устраивает тех, кто хочет поскорее использовать все возможности сложившейся системы, а во-вторых, отдает излишней гордыней. Ведь создатель есть бог. Человеческую гордость достаточно удовлетворяет посредничество между богами и смертными. Желание стать создателем может оказаться страшным, непростительным грехом. Колдуньи? Чрезмерная гордость. Так сказать, равнобожие. Интересно, есть ли такое понятие у меланезийцев? Съездить в Легон, порыться в библиотеке. Наиболее впечатляющим в этой системе является покорное приятие строжайшего разделения. Разделения труда, власти, миров, всего. Но сама древняя система не предполагала подобной покорности. Систему таким образом *переосмыслили* мои современники. В основном, мне кажется, для того, чтобы поменьше думать».

Пока он писал, его снова стало лихорадить, он чувствовал, как покрывается капельками горячей, но мгновенно остывающей, и поэтому знобкой, испарины. Все его тело, до самых подошв, было влажным, а когда он шевелил пальцами ног, то ощущал, что они липкие и скользкие. Однако ему казалось совершенно необходимым поймать уплывающую мысль, и он писал, пока не сформулировал ее окончательно, а потом, облегченно откинувшись на подушку, вдруг обнаружил, что жадно ловит ртом воздух, словно все это время не переводил дыхания. Его мать стояла рядом с кроватью.

— Где живут меланезийцы? — спросила она.

Оказывается, она читала его заметки, но ему не хотелось с ней разговаривать, и он надеялся, что она уйдет, ограничившись только одним вопросом.

— На тихоокеанских островах,— ответил он.

— А культ приносимых благ, это что же такое? — В ее голосе прозвучала интонация, которую он ненавидел, хотя и не совсем понимал из-за чего. Когда мать говорила, подделываясь под наивного ребенка, он, даже не видя ее улыбочки, наливался злобным раздражением. Во-первых, его злило это никому не нужное идиотское притворство... но сейчас он очень устал, и ему не хотелось копаться в своих ощущениях.

— Мне надо побыть одному,— сказал он, подняв на мать глаза.

— Конечно, конечно. Я сейчас уйду. Ну а все-таки — что это ты тут писал?

— Да просто записал кое-какие мысли.

— Для кого?

— Для самого себя.

— Вот, значит, как,— проговорила она раздумчиво. Он не стал ничего объяснять, считая, что выразился достаточно ясно.— Но ведь писать для самого себя — это все равно что говорить с самим собой.

— В общем... — начал он.

— Баако,— перебила она,— а когда ты болел, еще до возвращения, ты тоже так делал?

— Как?

— Ну... писал для самого себя.

В первую секунду он не нашелся с ответом; ему было ясно, что мать беспокоится о нем, но к беспокойству — это он тоже прекрасно понимал — примешивалось чувство, которое так его разъярило, что на мгновение он даже забыл о своей слабости.

— Эфуа, я хочу спать,— сказал он резко.

Мать поспешно и без единого слова вышла из комнаты, не притронувшись к выключателю. Он решил сам выключить свет и встал, но тут все его внутренности разом взбунтовались. Рот наполнился слюной, словно бы нагнетаемой туда под постоянным давлением. Глаза, как ему показалось, отделились от лица, выжатые потоком дующего изнутри горячего воздуха, который становился все горячее. Сверху в череп воткнулась раскаленная игла боли, а шею сдавил ледяной ошейник. Слюна переполнила рот и, не давая ему дышать, закупорила горло. Он уже не думал о боли или слабости, ему едва-едва удалось добежать до ванны, рухнуть на колени, свесить голову вниз, и сейчас же волны рвоты, сотрясая его тело, слишком слабое, чтобы сдержать их или ускорить, начали выплескиваться наружу, а он, с отвратительным привкусом собственной желчи во рту, с пылающей головой, нащупал кран душа, открутил его, чуть просунулся вперед, и холодные струи воды, немного остудив его пылающую голову, смыли рвоту в сток. Однако теперь горячим стало все тело, поэтому он залез под душ, быстро вымылся и, чувствуя себя освеженным, пошел обратно. У двери своей комнаты стояла мать; он улыбнулся, подмигнул ей и крикнул на ходу:

— Видишь Эфуа, я уже и встал!

Она улыбнулась ему в ответ, но на ее лице застыло все то же ошеломленное прозрение, которое так разъярило его десять минут назад.

Вернувшись в комнату, он выдвинул верхний ящик комода, взял полотенце и насухо вытерся. Теперь, после пробежки босиком по цементному полу и холодного душа, его охватил озноб; он залез в кровать, укрылся одеялом и сжался в комок. Ему хотелось погрузиться в спокойную дремоту, и свет не помешал бы ему, но мысль снова заработала, и, чтобы избавиться от нее, он опять был вынужден взяться за перо. Доставая блокнот, он услышал скрип калитки во дворе, но, решив, что ее открыло ветром — кто же мог прийти в такое позднее время? — не стал больше вслушиваться и начал писать.

«Культ приносимых благ как мировоззрение. Надежда на получение даров с неба от ушедших праотцев, милостивых духов. Там, за пределами здешнего мира, в стране духов царит полное изобилие — по крайней мере меланезийская мифология не оставляет на этот счет никаких сомнений. Ллевени Руве — что за чудесное название для пустой иллюзии. Теперь, когда под руками нет книг, я понимаю, что сле-

довало делать записи, да поздно. Однако надеющийся не должен бездействовать. Неотъемлемой частью надежды является демонстрация твердой веры в получение благ, то есть надежда непременно включает в себя активное действие. На Меланезийских островах — при постоянной нехватке питания — сжигают продовольственное зерно и забивают свиноматок, свято веруя, что праотцы, духи, накормят и спасут — если ритуальные действа обставлять с достаточной серьезностью. Поначалу я думал, что у нас ничего подобного нет, и считал поиски аналогий в нашем обществе напрасной тратой времени, но вот два — или уже три? — месяца назад был совершенно ошарашен рассказом одного ассистента режиссера о его вере. Странно, я почему-то забыл, как зовут этого беднягу... Он не мог представить себе, какой широкий пласт воззрений открылся мне в его безыскусном рассказе. Он объявил, что верит во Вселенскую последовательность. Я удивился и спросил его, что это значит, и он с удовольствием пустился в объяснения — рассчитывая, быть может, обратить в свою веру кого-нибудь из многочисленных слушателей. Должен признаться, меня поразило его точное определение Вселенской последовательности; он сказал, что все в мире связано, воздух является связующей субстанцией, а человек узлом сплетения связей. Вселенская последовательность означала у него всеобщую связь причин и следствий,— я не знаю, понимал ли он то, о чем рассказывал, или механически цитировал отдельные фразы из какого-то учения, но мне не хотелось перебивать его, хотя я видел, что остальные слушатели перестали улавливать суть его рассуждений, которым внимали, однако, с интересом и одобрением. Он привел пример — очень убедительный — правильного поведения человека, ортодоксально верующего во Вселенскую последовательность, и сходство такого поведения с активным ожиданием небесных даров ошеломило меня. В общем виде: молитва — это действие. А вот сам пример. Однажды утром верующий подсчитывает свою наличность и убеждается, что полностью разорен — лишь жалкие гроши отделяют его от нищенства. Однако он не сдается и не отчаивается. Наоборот, у него появляется возможность активно проявить свою веру, воплотив ее в надежду. Это звучит не совсем вразумительно, но в его системе превосходно срабатывает. «Так как же поступает истинно верующий?» — спросил я. Ассистент улыбнулся и ответил: «А очень просто, Он собирает последние гроши, идет к ближайшему перекрестку и разбрасывает их на все четыре стороны. Деньги должны вернуться к разбрасывателю, как посеянное зерно — к сеятелю». Тут он опять явно стал цитировать. Тогда, не принимая аналогию с зерном как доказательство, я спросил, почему же получится именно так, как он говорит. И он объяснил, что разбросанные деньги вернутся, многократно умножившись, благодаря Вселенской последовательности, потому что акт веры — причина — неминуемо повлечет за собой следствие — ожидаемые деньги, хотя неверующему, то есть слепому, такая связь представляется колдовством. Единственным — но совершенно необходимым — условием успеха является полная искренность. Разбрасыватель должен всей душой верить в разбрасывание, а иначе он разрушит всеобщие связи и тем непоправимо повредит самому себе. «Поверьте и проверьте»,— закончил ассистент торжествующе. Итак, не ища намеренно, я нашел здесь детальную разработку несколько измененного по форме культа приносимых благ. Расставайся с последними грошами, бедняк! Забивай свиней, жги зерно — и надейся, свято веруя в милостивых духов. Так насколько же мы близки к меланезийцам? Каждый из нас?..»

Расплывчатость концовки огорчила его, но он слишком устал, чтобы спорить с самим собой. Разумеется, позже он вернется к этому и все как следует обдумает. Ему было ясно, что он не в силах встать и выключить свет,— у него не хватало энергии даже на то, чтобы отвести взгляд от лампочки, и светящийся шарик породил в его голове пульсирующий звук, похожий на монотонное гудение поршневого двигателя. Между тем наступила глубокая ночь.

. . .

Он услышал шум проезжающей машины и думал, что она проедет мимо. Но странно — машина затормозила у их дома, хлопнули металлические дверцы, а через несколько секунд заскрипела открываемая калитка. И теперь уж было ясно, что открыл ее не ветер. Во дворе зазвучали человеческие голоса — сначала мужской, низкий, смутно знакомый, но как бы забытый, потом женский — голос его матери, и третий, тоже мужской, с вопросительными интонациями,— это был Квези. Голоса замолкли, и на крыльце послышались шаги. Угрюмо взвизгнула входная дверь, и вскоре кто-то нерешительно постучался к нему в комнату. Он спросил, кто там, и ему ответила только мать, но вошли все трое. Он перечитывал последнюю фразу в своей записной книжке и не сразу поднял глаза на вошедших. Его поразил их удрученный вид —казалось, они принесли необычайно мрачную, уже, впрочем, известную ему новость, и вот не решаются заговорить о ней, хотя понимают, что им все равно придется это сделать. На лицах ночных гостей отпечаталось какое-то ужасное, объединяющее их знание, и его кольнуло опасливое любопытство.

Все трое молчали, и ему пришлось спросить:

— Что-нибудь случилось?

Он понял, почему один из голосов показался ему смутно знакомым,— над кроватью склонился его дядя Фоли, которого он очень давно не видел. Резкие морщины не состарили, не иссушили дядино лицо, а только сделали его более грузным, и глубоко запавшие глаза походили теперь на две одинаковые капельки желтоватой, выцветшей крови.

— Да что ты, ничего, Баако, не бойся, совершенно ничего,— сказал Фоли с таким испуганным видом, что Баако на секунду умолк, прикидывая, правильно ли тот расслышал его вопрос.

— А тогда зачем вы пришли? — после паузы спросил он.

— Ты серьезно болен,— ответила мать.

Баако кивнул.

— Впрочем, завтра все будет в порядке,— добавил он.

— Тебе помогут, не тревожься,— Фоли даже задыхался от сострадания.— Мы отвезем тебя туда, где тебе обязательно помогут.

Последняя фраза лихорадочно закружилась в его сознании перемежающимися волнами знобящего страха и жаркой благодарности. Помогут ему, обязательно помогут, просто помогут, обязательно помогут. Людей, стоящих у его кровати, заслонило тревожное воспоминание, вызванное словами, которые он впервые услышал в песне, несколько раз потом приходившей ему на ум. Женский голос, высокий и чистый, пел в бездонной тишине о том, как желанная, жалея тебя, лживо клянется в вечной любви, но эти клятвы помогут тебе...

Решив почему-то, что сейчас очень важно выяснить все вопросы, связанные с культом приносимых благ, он спросил:

— А где Наана?

И тотчас пожалел об этом.

— Наана? — почти шепотом переспросила мать.

— Меня никуда не надо везти,— сказал он.— Я скоро совсем поправлюсь.

— Мы поедем с тобой,— сказал Фоли.

— Да-да, мы поедем с тобой,— сказал и Квези.

Игла боли опять воткнулась в его череп, а подступившая к горлу тошнота наполнила рот привкусом желчи. Он даже не мог вспомнить, когда последний раз ел мясо, но отрыжка у него была именно мясная. Его мутило, и легкие требовали свежего воздуха. Он попытался встать, чтобы открыть окно, но сейчас же бессильно опустил голову на подушку. Посмотрев вверх, он встретил три пары внимательных и теперь уже совершенно неумолимых глаз. Ему сделалось легче от того, что они пришли, он действительно нуждался в помощи.

— Я совсем разболелся,— удивленно выговорил он.

— Мы поедем с тобой,— сказал кто-то из пришедших.

Он одевался и думал, что не сумеет одеться до скончания века, так мало у него было сил. Он не мог идти без поддержки и несколько раз просил за это прощения, и никто из них ему не отвечал. В машине его снова стало мутить, и он был слишком слаб, чтобы сидеть ровно, но когда машина тронулась, ночной ветерок освежил его, и, сев нормально, он спросил:

— А куда мы, собственно, едем?

Ему ответила только мать — вернее, не ответила, а сказала просто:

— Все будет хорошо, сынок. Успокойся.

Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Шум мотора выплыл из черноты искривленным крутящимся колесом, которое однообразно приказывало ему: ус-по-кой-ся, ус-по-кой-ся, ус-по-кой-ся. Но вскоре он заметил, что команда, вроде бы и не изменившись, приняла странную, угрожающую форму: у-по-кой-ся, у-по-кой-ся, у-по-кой-ся — приказывало теперь искривленное колесо. Потом оно стало убеждать его, что ему по-мо-гут, по-мо-гут, по-мо-гут, и он опять вспомнил слова о желанной, которая лживо клянется в вечной любви, но его сил хватило только на то, чтобы открыть глаза и равнодушно, как ему казалось, спросить:

— А все-таки — куда же мы едем?

Вместо ответа Квези и мать — он сидел между ними — одновременно положили ему руки на колени. И тут до него дошло, что они сторожат его, как стражники — заключенного, а Фоли, который ведет машину, сидит впереди один. Доехав до площади, Фоли описал полуокружность и свернул влево. За окном промелькнуло бело-серое здание Ассоциации молодых христиан, потом темная глыба Архива, и машина выехала на площадь перед городской психиатрической больницей. Тогда, сжигаемый мучительным желанием вырваться из рук своих спасителей и глотнуть свежего воздуха, Баако, позабыв о том, что он еле держится на ногах, грубо навалился на Квези, мгновенно открыл левую дверцу и резко выкрикнул:

— Стой!

Завизжали тормоза, и машина остановилась в нескольких ярдах от кромки тротуара, и он, воспользовавшись минутным замешательством родственников, протиснулся мимо Квези, распахнул дверцу и выбрался на мостовую. Однако все трое мигом опомнились, выскочили вслед за ним, и мужчины начали осторожно приближаться к нему.

— Оставьте меня в покое,— сказал Баако. Они приостановились, и он спросил их: — Что вам нужно? Куда мы едем? — Ни Фоли, ни Квези не ответили, и оба, словно по команде, опять двинулись вперед.

Он глянул на мать. Вокруг было темно, только под фонарями лежали яркие круги света, но все же он заметил, что мать боится, хотя и не понял — его или за него. Мать тоже не проронила ни слова. В полном молчании двое мужчин неуклонно приближались к нему, а он, понемногу отступая, пытался с ними заговорить, спрашивал, что им нужно, и умолял оставить его в покое. Когда они подступили достаточно близко, Квези метнулся вперед, схватил его за руку и, выкручивая ее, попытался притянуть к себе. Фоли на секунду замешкался, однако тут же преодолел оцепенение и неуклюже подскочил к ним. Баако было заколебался, но, с ужасом подумав о том, как они его сейчас скрутят, в отчаянии коротко взмахнул свободной рукой, и от резкого удара по лицу Квези болезненно охнул, а Баако, не испытывая ни малейшего сожаления, угрюмо отметил про себя, что теперь, если ему не удастся удрать от них, он пропал. Двое преследователей снова начали подходить к нему — медленно и осторожно. Он повернулся и побежал.

Сначала ему было трудно, но вскоре он ощутил, что двигается необычайно свободно. Сзади раздавался тяжелый топот преследователей, и он, упруго отталкиваясь от земли, побежал вниз по улице, свернул у перекрестка не вправо, откуда они приехали, а влево и, пробежав еще немного, понял, что больше не слышит звуков погони. Он оглянулся на бегу и увидел только спины возвращающихся к машине родственников. Его тревога улеглась. Усталости по-прежнему не было, и ему почудилось, что он смотрит на себя со стороны, откуда-то сверху, как будто внизу, на далеком экране, повторяется все, что случилось с ним за последние полчаса. Мимо проплывали дома, переулки, невысокие ограды, а потом показалась неоновая вывеска гостиницы «Авенида».

Ему стало не по себе, когда он подумал, что это напоминает прокручиваемую назад киноленту. Однако он заставил себя успокоиться, перешел на шаг и неспешно двинулся вперед — по аллейке, которая запомнилась ему еще со дня возвращения домой. Вокруг было темно и пустынно. Ни шороха, ни огонька. Внезапно во мраке блеснули кошачьи зрачки, и, вздрогнув, он испуганно вскинул руку к лицу, на мгновение представив себе обнаженные когти, вцепившиеся в глаза беззащитной жертвы,— откуда явился этот образ, он так и не понял. Но город окутывало мирное безмолвие, казавшееся ему безграничным. И только один раз тишину нарушило болезненное, режущее слух завывание кошек. Во флигеле все окна были черными — путники уже спали, запоздавших среди них не было. Свернув налево, в узкий проулок между двумя оградами, Баако оказался на какой-то маленькой улочке и, миновав паутинное хитросплетение узких улиц и переулков, вышел к Адабраке; но, увидев, что тут все еще людно, он опять повернул и вскоре выбрался на Ринг-роуд — широкую и сейчас совершенно пустынную. Баако обогнали два полицейских джипа, а когда он переходил на другую сторону проспекта, проехал грузовик. И снова настала покойная тишина.

Он опять побежал, радостно ощущая, что может пробежать многие мили, не почувствовав ни малейшей усталости. Сжал на бегу кулаки, потом разжал их и пошевелил пальцами; попробовал, может ли, не останавливаясь, пошевелить пальцами ног, и это тоже удалось ему; послушные мускулы вливали в него счастливую, редкостную

уверенность в своих силах. Свободно, в два прыжка перемахнув на перекрестке через рельсы, он помчался дальше — мимо издательства «Гвинея», мимо кладбища, потом свернул направо и, добежав до площади, шагом пошел в гору по Межевой улице. И тут ему опять стало плохо. Вспотев во время бега, он ощущал теперь легкий озноб, и страх заставил его подумать о возвращении домой. Но даже и сейчас он был уверен, что может обежать всю Аккру. Только вот бежать-то ему хотелось в одно-единственное место, а Хуана, жившая в этом месте, все еще не вернулась из поездки в Америку. Ему сделалось грустно — от одиночества, от плохого самочувствия, от того, что Хуана ездит отдыхать в свою Америку... Но ее отпуск кончался через три недели, а кроме того, она говорила, что, может быть, вернется гораздо раньше.

В голове снова вспыхнула боль — маленькая дрожащая искорка. Он подумал, что, вернувшись домой, обязательно примет аспирин или что-нибудь в этом роде. Приближаясь к своей ограде, он увидел, что у калитки стоят теперь две машины, но сейчас ему было не до того. Боль разрасталась, и его начинало пошатывать. Когда он вошел в свою комнату, там никого не было. Он запер дверь, разделся и лег.

Ему не давал покоя тревожный вопрос: сколько у него осталось денег? Он постарался забыться, но не смог и, встав, вынул из брючного кармана бумажник. Из бумажника — он вытряс его содержимое на кровать — выпало несколько седи, использованные транспортные билеты да гладкая прямоугольная карточка. Он выключил свет, лег и постарался уснуть. В виске дергался пульс, и уснуть было невозможно. Пульс наливался болью и вспыхивал словами: ничего страшного, совсем ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, дурацкое происшествие, завтра все кончится, ничего страшного, ничего, ничего. Через некоторое время пульсация стала менее четкой, стихла совсем, слова погасли и в мозгу зажглось ровное серое безжизненное сияние — немое, но исполненное зловещего безжалостного смысла: все очень страшно, сегодня страшно, а завтра все будет еще страшнее, с тобой, со всеми, со всей страной, ты можешь спастись, ты не можешь, не можешь, ты не можешь спастись, тебе некуда деться, перестань думать, успокойся, спи, успокойся, да думай же, думай, не спи, во сне-то и начнется все самое страшное, страшное, страшное, страшное, страшное.

Свет в его мозгу был мертвенно-серым, но потом его оживили расходящиеся коричневые круги, потушившие безжалостное немое сияние тревожных и назойливых мыслей. Круги — вращаясь, увеличиваясь, умножаясь — закрыли слепящую мертвую серость и вспыхнули мягким гулом, таким же устойчивым, как свет, но теплым, баюкающим, без оттенка тревоги или страха. Повернувшись, он ощутил под боком какой-то твердый предмет. Он сунул руку под одеяло и вытащил карточку, покрытую люминесцентной краской. Прочитать можно было только центральную строку, напечатанную самым крупным шрифтом —

ГЕНРИ РОБЕРТ ХАДСОН БРЕМПОНГ, Б. Е. Н.[1]

Баако швырнул карточку на пол. Она отъехала к стене, и буквы на ней слились в слабо мерцающую зеленоватую полоску.

[1] Бакалавр естественных наук.

Утром Баако проснулся от страха, но его тотчас же охватило бездеятельное спокойствие. Весь дом, казалось, затопила атмосфера выжидательной неопределенности. Баако смутно чувствовал, что если он ни в ком не вызовет тревоги, ничего страшного не случится. Он спокойно пойдет в ванную, примет душ и вернется к себе, как в любой другой день. Самое главное — никого не напугать. Ему уже казалось, что он совсем поправился, но тут его опять начало знобить. Подождав, когда озноб сменится жаром, он перетерпел мучительную пытку огнем и встал.

Дверь ванной была заперта. Он вернулся в свою комнату и не выходил из нее так долго, что за это время по крайней мере два человека могли успеть вымыться. Скрипнула калитка, и, выглянув в окно, он увидел, что мать ушла на работу. Интересно, подумал он, кто были эти двое, которые сидели в ванной? Когда все в доме окончательно затихло, он решился принять душ.

Около кровати лежала его записная книжка, и, одеваясь, он попытался прочитать свои ночные заметки. Но фразы распадались на отдельные слова, и ему ничего не удалось понять. Какая-то новая мысль привлекла его внимание, и, чувствуя себя слишком слабым, чтобы думать, он решил записать ее. Потом, когда ему станет лучше, он во всем разберется.

Хуана говорила, что, может быть, она вернется не через два месяца, а раньше, задолго до конца отпуска. Значит, возможно, она уже здесь. Есть такая вероятность. Или ничего подобного не произошло. Тоже возможно. И ничего страшного в этом нет. Или, наоборот, все очень страшно? Надо выяснить. Позже.

Озноб волной легкой дрожи прокатился по его телу — от головы до пяток. Обдумывая только что написанные слова, он вдруг задал себе вопрос: а почему не сейчас, почему, почему? Жар еще не навалился на него, и он чувствовал себя сносно. Он выйдет из дома, сядет в такси и проверит, не вернулась ли Хуана.

Но пока он разыскивал бумажник, ему стало ясно, что, уволившись с работы, тратить деньги на такси крайне неразумно. Нет, деньги надо экономить. Он прогуляется пешком; автобусы от Линк-роуд до Казарменной улицы никогда не ходили, да и во время прогулки можно хорошенько, не торопясь, осмотреть город.

Открыв дверь, он столкнулся с дядей Фоли. Тот пытался улыбнуться, но улыбке мешал тревожный страх перед чем-то незавершенным.

— Ну как, Баако, поспал? — спросил Фоли, все же заставив себя улыбнуться.

— Поспал.

— Не очень, наверно, крепко?

— Обычно.

— Хм. Вон как.

Баако уже подходил к крыльцу, когда Фоли торопливо забежал вперед, загородил дверь и, настороженно глядя на него, крикнул:

— Коранкье!.. Кофи!

За спиной Баако послышались торопливые шаги. Пот, собираясь под мышками, струился по его бокам вниз. Его опять стало знобить. Он оглянулся и увидел смутный силуэт Коранкье Горбуна.

— А я и не знал, что Коранкье здесь,— сказал он.

— Да, он здесь,— сказал Фоли.

— Вот он я, хозяин,— сказал Коранкье. Он глядел в пол, как преступник, застигнутый на месте преступления.

— Здравствуй, Коранкье,— сказал Баако. Ему было совсем плохо. За Коранкье спешили еще двое мужчин — с таким видом, словно они ждут тайного и очень важного приказа. Он посмотрел на них, потом снова обернулся к дяде и спросил:

— А это кто?

— Друзья,— ответил Фоли.— Они помогут тебе. Успокойся.

Он понимал, что попался в ловушку— сзади, почти вплотную к нему, стоял Коранкье и двое незнакомцев, а выход загораживал Фоли; дядя и племянник в упор смотрели друг на друга. Его поразил ответ Фоли, но сейчас ему было не до расспросов. Он двинулся вперед, предполагая, что дядя отступит и пропустит его, но тот не пошевелился.

— Куда это ты собрался? — спросил Фоли. Баако приостановился, не зная, что ответить; Фоли закончил: — Может, тебе что-нибудь нужно? Так Коранкье сходит.

— Я и сам схожу,— проговорил Баако.

— Тебе нельзя,— мягко, но решительно сказал Фоли. Да, он не ослышался, Фоли сказал «нельзя».— Ты серьезно болен. Тебе надо отдохнуть, успокоиться. Мы отвезем тебя туда, где тебе обязательно помогут.— Баако уже не слышал конца фразы, потому что в его ушах снова зазвучали вчерашние слова: ничего страшного, все очень страшно, ничего, все, ничего, все, все очень страшно, страшно, страшно. Он закрыл глаза, надеясь, что захлестнувший его страх сейчас пройдет.

— Мне надо идти,— проговорил он спокойно. И сразу шагнул вперед, отстранив дядю к стене, чтобы протиснуться на крыльцо. Кто-то схватил его за руку — не очень, впрочем, крепко. Он вырвался и, обернувшись к четырем мужчинам, стоявшим в коридоре, сказал: — Оставьте меня в покое. Я никому из вас ничего не сделал. Не трогайте меня.— Они двинулись к двери, протягивая руки, чтобы схватить его. Он отступил, решив убежать на улицу, но Коранкье придушенно вскрикнул, тяжело проскакал по двору и, подбежав к калитке, запер ее на засов. Следом за ним уже спешили остальные. Почти не раздумывая, Баако метнулся к забору, подпрыгнул, ухватился за его верхний край, с ходу подтянулся и, прежде чем преследователи успели опомниться, оказался на улице. Откуда-то издалека до него донеслись приглушенные голоса, но он решил, что они не имеют к нему никакого отношения:

— Господи, перепрыгнул!

— Держи его!

— Через стену!

— Господи!

— Да как же он?

— Перепрыгнул!

— Перепрыгнул!

Он убегал, чтобы спасти свою свободу, но в его голове уже снова стучали ночные голоса, твердя, что теперь-то ему конец и сопротивляться бесполезно. Впереди на мостовой двое мальчишек играли в мяч, а их товарищи, столпившись вокруг, следили за игрой; они оглянулись, секунду раздумывали — и бросились собирать камни. Он пригнулся на бегу, но камни полетели так густо, что увернуться от них было невозможно, и один, пущенный очень умелой рукой, свистя и словно бы

подскакивая по воздуху, как по глади воды, угодил ему в коленную чашечку. Опять послышались приглушенные голоса, и теперь он вдруг понял, что они имеют к нему самое прямое отношение:

— Держи его!
— Лови его!
— Не пускай его!
— Хватай его!
— Ворю-у-у-уга!

Он бежал, подгоняемый воплями преследователей, и не мог даже посмотреть, течет ли у него из колена кровь. Мальчишки, расстреляв свои боевые запасы, опять торопливо собирали камни. Он резко свернул влево, съежился и, проскочив через узкий проход в колючей живой изгороди, помчался по красно-бурой неровной земле, поросшей кустиками сухой травы. Шум погони слышался совсем близко, и крики становились все ожесточенней. В голове у него ширилась болезненная пустота, горло пересохло, горькая слюна загустела и мешала дышать. Он не думал об усталости, у него просто не было на это сил — не только мышцы, но и мозговые клетки отказывались ему повиноваться. Он напряг волю, сосредоточился — и определенная, четкая мысль, выросшая из безотчетного страха, заставила его содрогнуться. Они могут гнаться за ним, пока он не свалится, а потом сделают все, что захотят. Ведь впереди, там, куда он бежит, у него нет решительно никакого убежища. Нет уж, лучше остановиться сейчас — и, может быть, Фоли пожелает наконец объяснить ему, в чем же все-таки дело.

Он остановился. Град камней застучал вокруг него по земле, и он почувствовал два или три болезненных удара. Однако нового залпа не последовало. Теперь, когда он не убегал, преследователи, вырвавшиеся вперед, почувствовали себя неуверенно. И только мальчишки, с камнями наготове, ни о чем не думая, стремительно приближались к нему. Но предостерегающий крик мгновенно остановил и мальчишек — каждого на том месте, где застиг его:

— Стойте! Если он вас укусит, вы и сами сбеситесь!

И через секунду еще кто-то из взрослых спокойно добавил тоном знатока:

— Да и если оцарапает — тоже.

Эти возгласы были слышны необычайно четко, и он подумал, что такого солнечного, такого ясного и прозрачного дня он, пожалуй, не видел ни разу в жизни. Казалось, между ним и погоней, между ним и всем, что его окружало, не было никакой преграды, даже воздуха, и пространство, от земли до самого неба, наполнял лишь тихий серебристый свет. Мальчишки уже опомнились и помчались назад, к взрослым, но, обнаружив, что он не гонится за ними, перешли на шаг. Он медленно сдвинулся с места, и мальчишки ускорили отступление, так что разделявшее их расстояние продолжало увеличиваться. Он внимательно всматривался в толпу и не видел ни одного знакомого лица. Он жил здесь целый год и ни с кем не познакомился. Мало этого — ему вдруг пришло в голову, что у него вообще нет друзей. Ни одного во всем городе. Сотрудники... но никто из них не вступился бы сейчас за него как друг. Хуана — другое дело. Но она в Америке... или еще только возвращается из своего слишком долгого путешествия. Ну, а здесь, среди соседей — ни одного знакомого лица, не то что друга.

Он думал, что, если ему удастся выбраться с пустыря на улицу, он сможет уехать на попутной машине. Кто-нибудь наверняка поймет, в чем тут дело, и увезет его от обезумевшей толпы; в городе он выпьет чего-нибудь освежающего и спокойно все осмыслит. Ему не препятствовали — он вышел на улицу и в нерешительности остановился, а преследователи окружили его широким кольцом. Первым по улице проехал красный «воксхолл». Он поднял руку, но водитель испуганно прибавил скорость и умчался. Белый «пежо» тоже не остановился, и Баако медленно опустил руку. На солнце набежало облачко. Оно сразу же растаяло, и тут его снова охватил озноб, но кожа покрылась горячей испариной; рубашка плотно облепила спину, а влажные трусы неприятно приклеивались к ягодицам. Кольцо вокруг него медленно сжималось, но никто пока не отваживался подойти к нему слишком близко. На него навалилось тупое, безразличное спокойствие.

Вдали показался черный, сверкающий свежим лаком «мерседес-бенц». Баако не стал подымать руку — он выскочил на мостовую, и водителю «мерседеса» пришлось затормозить. Баако отступил, чтобы подойти к боковому окну, но как только дорога освободилась, машина плавно тронулась с места. Он не успел разглядеть водителя, да это было ему и не нужно, потому что в его голове уже возник образ человека, равнодушно не замечающего мольбы о помощи.

— Подождите, послушайте! — крикнул он, надеясь, что машина остановится и ему удастся поговорить с ее владельцем. Но тот не отвечал, и «мерседес» неумолимо, хотя и медленно, набирал скорость.

— Бремпонг!..— Его неуверенный зов остался без ответа. Но он не дал машине уехать. Он вцепился в боковую стойку и побежал, заглядывая в окно водителя, а тот продолжал набирать скорость, и Баако приходилось бежать все быстрее, и он запнулся и безвольно поволокся за машиной, а его ноги, подскакивая на неровностях мостовой, болтались где-то сзади. Выпустив наконец стойку, он услышал рев выхлопных газов и гомон толпы:

— Господи! Он угробил себя!

— Нет, кажется, жив.

— А что с ним случилось-то?

— Враг наслал на него порчу.

— Нет, говорят, он сам себя довел.

— Книги его довели.

— Во-во! Книги.

— Книги.

Никто, казалось, не мог решить, что же теперь надо делать, и Баако, лежа на мостовой, слышал, как вокруг него усиливается шумная сутолока, а потом общую невнятицу голосов прорезал звенящий слезами крик, и он с тревогой узнал голос Арабы:

— Да сделайте же что-нибудь! Сделайте же что-нибудь, пока он себя не убил!

После недолгой тишины опять поднялся взволнованный говор; послышалось несколько вопросов и ответов:

— Сестра...

— Это сестра.

Через некоторое время всхлипывания Арабы затихли, и она сказала:

— Свяжите его.

Силы постепенно возвращались к нему. Он повернул голову и посмотрел на сестру. У нее были заплаканные, ввалившиеся от горя глаза с красными, как будто это их естественный цвет, белками. В глазах застыли жалость и злость, но Баако не понимал, кого Араба жа-

леет и на кого злится. Он встал и увидел, что к нему приближаются двое мужчин с длинными веревками в руках, а следом за ними идет третий, неся крученый шпагат,— где они все это добыли, Баако так и не узнал.

...Ему чудилось, что вот уже целый час он мечется в кольце обступивших его людей, прыгая и уворачиваясь от веревок.

— Не давайте ему отдыхать,— утомленно сказал один из охотников. Люди разобрали веревки и принялись кидать их ему под ноги; они не спешили, тщательно целились и внимательно наблюдали за ним. Под конец он сделался совершенно мокрым; его тряс озноб, но он продолжал отскакивать, уклоняться и судорожно отдергивать ноги от извивающихся веревок. Ненависти, да и вообще никаких чувств, ни он, ни окружающие его люди не испытывали — они деловито накидывали ему на ноги веревки, а он увертывался, понимая, что это бесполезно, и быстро теряя силы. Когда ему стало совсем уж невмоготу и он решил было сесть прямо на мостовую, один из охотников, прицелившись лучше других, удачно бросил веревку, дернул — и он упал навзничь. Ему уже не хотелось сопротивляться — он чувствовал только недоумение, озаряемое смутным страхом. Когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее, он увидел небо — оно походило на бескрайний алюминиевый лист.

Охотники действовали с проворством испуганных людей, которые поняли, что их страхам пришел конец. Человек в мягких сандалиях наступил ему на пальцы, чтобы он не мог никого оцарапать, и вмиг его руки и ноги были крепко-накрепко связаны. Шпагат мучительно врезался в кожу запястий.

— Пожалуйста,— начал он,— расслабьте немного...— Но никто уже не смотрел на него и не интересовался тем, что он может сказать.

Двое мужчин подняли его и понесли, настороженно следя, чтобы он не оцарапал или не укусил их, а дотащив до дома, оставили во дворе. Здесь вокруг него опять собралась толпа, и, лежа на спине, он видел, как люди переговариваются и покачивают головами. Они изливали на него потоки сострадания, настоянного, как ему казалось, на извращенной правде и бессмысленной лжи, а он ничего не мог сделать, чтобы остановить этот водопад.

— И, говорят, все из-за книг.

— В школе-то он был чуть ли не первым учеником.

— Побывавший, только год, как вернулся. Мать, значит, ждала, ждала, и вот ей подарочек.

— И ведь всегда был таким тихим.

— А правда, что он образованный?

— И образованный, и побывавший.

— Он ездил на автобусе, поэтому я и спросил.

— Образованный, будьте уверены. Уж я-то знаю.

— Как же это он без машины?

— Странно, и государственного коттеджа ему не дали.

— То-то оно и есть, что странно.

— То-то оно и есть.

Потом он услышал голос Нааны:

— Что вы с ним сделали? Что он вам всем сделал? Где он? — Но старухе никто не ответил, и он понял, что ее увели.

Зеленый микроавтобус задом въехал во двор, и Баако, лицом вниз, положили на металлический пол. Ему не удавалось поднять голову,

чтобы посмотреть, куда они едут. Потом он обнаружил в полу узкую щель, но сквозь нее был виден только стремительно убегающий назад серый асфальт. Один раз, забывшись, он попросил, чтобы его выпустили из машины, и вместо ответа кто-то прижал ему голову к железному полу. Выпустили его во дворе психиатрической больницы. Появилась сестра в голубом халате; она сказала, что если он никому не причинил вреда, то можно развязать ему руки, и печально добавила:

— Придется поместить его в отделение для самых тяжелых.

...Он проснулся и почувствовал, что лежит на теплом цементе. Солнце было все еще ярким, но уже склонялось к западу и скоро должно было скрыться за колокольней католического собора, который возвышался над рядами колючей проволоки, натянутой поверх больничной ограды. От большой группы сумасшедших отделилось двое. Один из них нес в руках раскрытую Библию и непрерывно сыпал словами священного текста. Второй молча шагал сзади. Они подошли к нему, одновременно, словно по приказу, остановились, в лад покивали головами, улыбнулись и пошли прочь. Он глянул им вслед и залюбовался багряными цветами какого-то вьющегося растения, которое дотянулось до крыши дома напротив. Его переполняло ощущение счастья.

Глава десятая

Эфуа

Одна и та же мысль, словно постоянно повторяющийся обвинительный кинокадр, мелькала в его сознании: правы, правы, все они правы, все они правы, правы, правы. В самом начале счастливая, исполненная надежды улыбка матери и ее разговоры — ласковые, радостные — о его будущей просторной обители в этом мире. А он, с идиотизмом новорожденного, твердил, что не нужны ему просторные обители, не желает он пыжиться ради того, чтобы занять побольше места. Надеялся ли он, что его упрямство будет понято, или упрямился без всякой надежды на понимание, когда отвергал немые просьбы матери и не отвечал на ее вопрос — все еще дружеский, все еще ласковый: «Разве орел не должен парить в поднебесье?»

Они были правы, правы, правы в своей уверенности, что он поступает чудовищно, отказываясь подыматься наверх и оставаясь — вместе с ними — там, откуда они всю жизнь мечтали вырваться. Нет, он поступал даже не чудовищно, а безумно — они были правы, правы и тут. Самоуверенности, хоть какого-то сходства с белыми, среди которых он так долго жил,— вот чего ему не хватало, чтобы спастись от собственной обреченности и успокоить близких.

Побывавшего пригласили за праздничный стол, чтобы он дал отдых утомленной душе и пищу усталому телу. Петухи, которых выбрал для обеда Фифи, были белыми, как велит ритуал,— так чего же, кажется, лучше? Напитки на столе пестрели заморскими этикетками, и люди, предвкушая пир, с упоением произносили трудные европейские названия яств, а потом... потом вернувшийся идиот спросил, зачем нужна вся эта показная мишура, и веселье стало угасать, а когда угрюмый слепец сказал, что радоваться особенно нечему, праздник умер.

Правы, правы, правы. Отказ от ритуального празднества явил им болезненную ущербность, скупую мелочность его расчетливой души, не способной одарить даже близких, даже родных. Если бы ветви умели разговаривать, что они сказали бы стволу, решившему себя засушить? Чего может ожидать от жизни человек, который гасит огоньки

надежд и старается затенить мираж, не только прекрасный, но совершенно реальный для его создателей?

Эфуа тоже была права, считая, что возвратившийся — взлелеянный ею колос — должен наконец порадовать ее полновесным зерном. Она видела, как колосья, взращенные другими, золотятся и наливаются силой, а ее — хиреет и чахнет... конечно же, она была права. За что, за какие грехи отняли у нее надежду? Да, он был обречен на одиночество — и на тщетные попытки понять, почему так случилось.

Теперь-то он прозрел — и обнаружил, что прозрел слишком поздно. Никакие видения больше не затуманивали его сознания — он ясно понимал каждое слово, каждое событие минувшего года, они слились воедино, вытянулись в зримую цепочку, словно кадры завершенного, полностью отснятого фильма. Он вспомнил предупреждения Нааны — слепая старуха была права, а он не обращал на ее слова внимания, так же как не замечал предсказаний своей матери. Да, мать тоже была права.

Однажды воскресным утром она сказала ему:

— Пойдем.

— Куда? — спросил он удивленно.

— Пойдем со мной, и ты увидишь.

Они дошли до перекрестка Виннеба и сели на землю, поджидая автобуса. Ему не терпелось поскорее узнать, куда они поедут, но ей было очень весело в то утро, она все время смеялась и упрашивала его набраться терпения.

— Нам многое приходится сносить в этой жизни,— говорила она со смехом,— но мы не должны забывать, что есть на свете и счастье.— Она замолчала, надеясь, что он откликнется на ее слова, но ему не хотелось разговаривать, и тогда она продолжила: — Сегодня я окончательно решилась. Мне надо очистить душу.

— От чего? — спросил он.

— От грязи,— ответила она так буднично, что ему стало смешно.— Правда-правда. То же самое было, когда я пошла к провидцу. Я проклинала тебя... вместо того, чтобы жалеть.

— За какие же мои грехи...

— Не в твоих грехах было дело,— перебила она его,— а во мне самой. Меня раздражало, что ты не принимаешь этот мир, не хочешь разобраться, где тут широкие дороги, а где тупики. Я боялась, что ты погубишь себя.

— Странные проклятия.

— И все же это были проклятия. Нет, тебе, пожалуй, не понять. Ты вел себя не так, как мне хотелось. А теперь я избавилась от своих желаний и надеюсь обрести счастье.

— Ты опять ходила к провидцу?

— Да нет. Он рассердился на меня — за то, что я исчезла, когда ты приехал. Ему не нравятся люди, которые веруют, только пока им что-нибудь нужно. Он довольно странный, этот провидец, и я к нему больше не хожу.

— Так, значит, ты нашла другого,— сказал он.

— Нет, просто стала умней,— сказала она, оглянувшись и поглядев на дорогу.— То я была как ребенок — сама смотреть не хотела, а тебя заставляла. И вот вдруг мне стало ясно, что ты — часть моего мира, мой тупик.

— Не понимаю.

— Значит, и не поймешь. У каждого человека есть свои тупики. И если он пытается идти напролом, то просто губит себя. Я хотела, чтобы ты принял этот мир, и, значит, хотела тебя погубить, а потом увидела, что ты часть моего мира, мой тупик.

— Знаешь, это очень странно — быть чьим-нибудь тупиком.

— Когда мне все стало ясно, я решила, что могу оставить тебя в покое. Началось мое очищение. И все же — втайне даже от самой себя — я была недовольна тобой.

Автобус так и не пришел, но их подвез шофер, ехавший в Сведру. Они вылезли из машины у развилки — шоссе здесь сворачивало вправо, а Эфуа пошла прямо, и Баако увидел железные ворота с натянутой поверху колючей проволокой, а за воротами — неровную дорогу, которая подымалась к большому недостроенному зданию, стоящему на вершине холма.

— Это дом спецуполномоченного Кункумфи,— сказала Эфуа.— Он бы мог давно его достроить. Только он слишком уж часто ездит в Европу да Америку и хочет угнаться за всеми заморскими новшествами. Посмотри-ка на него. Хорош, верно?

Они пошли дальше. Дорогу во многих местах рассекали дождевые промоины с обнажившимися зазубренными камнями, так что им приходилось внимательно смотреть под ноги. Один раз он чуть не наступил на расщепленную доску, из которой торчали ржавые изогнутые гвозди. Вскоре они подошли к большой строительной площадке, как бы заброшенной в тот момент, когда работа на ней шла полным ходом. Кругом, насколько хватал глаз, валялись искореженные, сломанные, сгнившие строительные материалы и инструменты. От недавно посаженных деревьев осталось несколько пеньков да худосочных прутьев со случайно сохранившимися полузасохшими листьями. Тут же догнивали обломки каких-то строительных приспособлений из досок, уже изъеденных термитами, высился скособоченный штабель бетонных блоков, виднелась большая куча припорошенного латеритовой пылью песка и груда растрескавшихся камней, привезенных из гранитного карьера. Баако приостановился.

— Идем, идем,— улыбнувшись, сказала Эфуа.

Дома фактически еще не было. Площадь его, судя по уже заложенному фундаменту, была огромной, но стену строители успели вывести только с одной стороны. Баако поднял голову. Высоко в небе, волоча за собой полупрозрачный шлейф, плыл серебристо-белый реактивный самолет, и рев его двигателей, почти не слышный на таком расстоянии, наполнял тишину едва ощущаемой тревожной дрожью. Эфуа тоже подняла глаза к небу и застыла.

— Они всегда напоминали мне о тебе,— сказала она, когда самолет пропал из виду.— Ведь тот, кто летает в небе, не может быть таким же, как мы, ползающие внизу по земле. И я думала о твоем возвращении. А теперь я только думаю, что мне уж не придется летать...

Эфуа шагнула внутрь дома через дверной проем. Он последовал за ней, пытаясь понять, для чего она привела его сюда,— спрашивать ему не хотелось.

— Видишь, прихожая, а вон там общая комната, потом кухня,— торопливо, на одном дыхании сыпала словами Эфуа.— Тут было тепло и уютно, как в прекрасном видении.— Она прошла мимо пучка погнутых ржавых труб, мимо треснувшего унитаза и дальше, вдоль низких стен, пока не добралась до еще одной комнаты с ободранной электропроводкой. Помнится, она задавала ему какие-то вопросы... что он ей отвечал?

— Ты поднялся так высоко, что тебе, наверно, смешно смотреть на нас. Мы-то навеки привязаны к земле. Но не смейся над нами. Если наши души разъедает грязь, то это потому, что мы тоже хотим летать...— Она долго кружила по едва намеченным комнатам, молча вглядывалась в очертания уже разрушающегося дома, словно прощаясь

с погибшим возлюбленным. И снова этот ласковый, смеющийся голос: — А знаешь, очищение оказалось не слишком трудным делом.

Он с удивлением разглядывал недостроенные, но уже полуразрушенные комнаты, переходы, тупики, а когда она снова подошла к нему, не удержался и спросил:

— Тебе никогда не казалось, что все это однажды привиделось тебе, да так тут и осталось?

И опять она рассмеялась, рассмеялась почти беззвучно — может быть, для того, чтобы ее прекрасный смех сохранился в его памяти, как зримый образ.

— Вот и завершилось мое очищение, сынок,— сказала она.— Ведь эту стройку-то я затеяла. Мне хотелось, чтобы дом не показался тебе слишком маленьким. Я думала, тебя порадует то, что я начала, да не смогла закончить, а ты достроишь наше будущее жилище. Но тебе все это было ни к чему. И я стала тебя проклинать. Прости меня. Теперь, когда мы оба здесь побывали, моему недовольству пришел конец. Я мать, Баако, и, признаюсь, ты очень удивлял меня. Но теперь и с этим покончено. Постарайся понять меня, Баако. А сейчас — поедем-ка домой.— Она счастливо посмеивалась, пока они возвращались к автобусной остановке и потом ждали под жгучими лучами солнца какую-нибудь попутную машину.

Глава одиннадцатая

Смерть

Ночью в палате было темно и покойно. Он лежал на спине, ощущая под собой бумажник, который так и не удосужился вынуть из заднего кармана. Ему было жарко, но цементный пол приятно холодил потную спину. Он не мог вспомнить, сколько уже дней не менял одежду и долго ли пробыл в больнице; да это и не волновало его, потому что он совершенно не представлял себе, куда пойдет, если его отсюда выпустят. Ему вспоминалась Хуана, вспоминалась бабушка. Женщины губят, женщины и спасают. Мысли торопливо ускользали от него. Был еще Окран, но этот образ вызывал противоречивые чувства; а главное, он понятия не имел, где его друзья и что они сейчас делают. Размышления о близких ему людях только тревожили, запутывали еще больше, и получалось, что обрести покой можно, лишь полностью смирившись.

Но уснуть он не мог. Палату наполняли привычные ночные звуки. Повернувшись на бок, он вынул из кармана слегка изогнувшийся плоский бумажник — кожа была приятной на ощупь и прохладной, хотя, когда он лежал на спине, бумажник казался ему теплым. Без особого интереса он пошарил внутри пальцами — денег там не было, нащупывались только какие-то бумажки да твердая карточка, вспыхнувшая зеленоватым мерцанием, когда он извлек ее наружу. Визитная карточка великого Бремпонга — а он-то был уверен, что выбросил ее. Но даже мимолетное воспоминание о прежней жизни отозвалось в его голове неистовой пляской болезненных, обрывочных мыслей. Сумасшедший, лежащий возле массивных дверей палаты, задергался и громко зарычал, отбиваясь от врагов, которые мучили его даже во сне, потом невнятно забормотал и наконец затих.

Наана, Хуана, Окран. Трое. Нет, был и четвертый — ребенок, его потенциальный преемник, уничтоженный родственниками... или он тоже участвовал в этом убийстве? «Очень уж ты поторопился»,— сказа-

ла тогда Наана, потому что она примирилась с потерей. Она просила его спасти ребенка, а он оказался слишком торопливым, да притом еще и неповоротливым — многое из того, что он должен был сделать, он так и не сделал.

Младенца положили в новенькую колыбель, убранную пестрым, сине-красно-зеленым кенте, вынесли колыбель на крыльцо, а рядом с ней поставили большой медный таз, сразу же ярко засверкавший в лучах утреннего солнца. Новый вентилятор тоже поставили рядом с колыбелью, и шут постарался не замечать его, не думать, зачем нужна здесь эта штуковина. Гости, по-воскресному нарядные и величественные, начали прибывать с утра, а Эфуа, как ребенок радуясь их великолепию, беспрестанно улыбалась и несколько раз выходила за калитку, чтобы полюбоваться длинной вереницей выстроившихся у их дома машин.

Зато его собственная роль казалась ему совершенно бессмысленной — а может быть, он уже и тогда не совсем осмысленно воспринимал окружающее. Он был назначен Распорядителем ритуала, и все гости, насколько он мог вспомнить, радостно величали его этим титулом — с полнейшей серьезностью.

...Эфуа подошла к колыбели, встала на цыпочки, посмотрела поверх ограды, насколько удлинилась шеренга машин, и потом, продолжая улыбаться, перевела взгляд во двор, заполненный гостями.

Да, тут было чем гордиться: гости сели на стулья и чинно застыли — двор напоминал яркую цветную фотографию. Шерстяные костюмы, блестящие башмаки на уверенно придавивших пыльную землю ногах, сверкающие перстни на пальцах, скрещенных поверх круглых животов, настоящие американские и европейские непромокаемые плащи, перекинутые, как у путешественников, через руку, там и тут — жилеты, шелковые галстуки с серебряными зажимами... человек в университетской мантии, окруженный четырьмя почитательницами в белых кружевах... длинные переливчатые серьги, золотые ожерелья, поблескивающие ручные часы — пышное богатство, почти задушившее всех этих людей, рассевшихся на солнцепеке... но нет! — жара и пот предоставили гостям новую возможность: они радостно извлекли из карманов белые платки, и по двору поплыл густой аромат духов. Коранкье Горбун в цветастом кенте, обрамленный, словно яркая картина, стойками калитки, выглядывал на улицу и горестно вздыхал, когда какая-нибудь машина, не останавливаясь, проезжала мимо и ему не надо было приветствовать очередного сановника, прибывшего на празднество.

И среди всех этих величественных счастливцев слонялся одинокий болван, одетый по погоде — в рубашку и шорты.

— Ну хоть надень что-нибудь поприличней...

И слепой шут, нагло спросив: «А разве я одет неприлично?» — спокойно смотрел, как его мать, разнося на подносе пиво, пытается прикрыть растерянность веселой улыбкой.

Благоуханная молодая женщина, поднявшись на крыльцо, чтобы взять очередной поднос, остановилась перед шутом, слегка вздернув в немом вопросе брови; она стояла к нему так близко, что он ощущал на своем лице ее чуть припахивающее алкоголем дыхание — ароматное, чувственное, сдержанно страстное,— и, глядя на ее полу-

раскрытые губы, на слегка опущенные веки, впитывал в себя ее молчаливый, заговорщицкий, обещающий вопрос.

— Здравствуйте, мистер побывавший,— через несколько секунд выговорила молодая женщина.— Быстро же вы забываете своих поклонниц. У вас, я думаю, даже моего имени в памяти не осталось.

— Кристина?

— Правильно, мистер побывавший. Помнится, однажды вы пообещали мне приятную прогулку на вашем автомобиле и вот уже сколько месяцев прячетесь.

— Я не езжу на автомобиле.

Кристина рассмеялась — ее смех показался ему наивным, радостным, прозрачно-серебристым.

— Не надо меня бояться. Я ведь всего-навсего ваша поклонница. Пообещайте снова, что вы меня покатаете. Завтра, например.

— Я ничего вам не обещал.

— Не притворяйтесь, что у вас нет памяти. «Как только прибудет моя машина» — вот ваши слова. Мои свидетели Бог, Фиф и я сама. Не заставляйте меня привлекать вас к ответственности за нарушение клятвы, мистер побывавший. Мне даже снилась наша поездка. Видите, я и сейчас еще немного сонная.

Он захохотал, надеясь рассеять наваждение, но это было не так-то просто.

— Я не шучу, мистер побывавший. Вы нарушили ваше обещание.— Она игриво прикоснулась пальцем к его щеке.

— Я же говорил вам, что у меня не будет никакой машины.

— Конечно, мистер побывавший, конечно, говорили. А я, наивная девочка, поверила.

— Да ведь это правда.

Она опять рассмеялась:

— Во время празднества рты не должны пересыхать. Сейчас мне пора идти к гостям, а вы не вздумайте прятаться. Я все равно вас найду.

Она спустилась во двор и стала предлагать гостям напитки, а приблизившись к Фифи, сделала изящное танцевальное па, причем стаканы и бутылки на подносе даже не шелохнулись, склонилась к нему и что-то прошептала; Фифи ухмыльнулся и, подняв глаза, поглядел на шута.

Квези включил радиолу и присоединился к гостям; посыпались поздравления; он смущенно улыбался, благодарил и пожимал протягивающиеся со всех сторон руки.

— А вот и счастливый отец!

— Он всегда был достоин удачи.

— Ребенок принесет ему богатство.

— И счастье.

— Наверняка.

— За счастье отца!

— За процветание!

Разговоры текли рекой, но их журчание не заглушало музыку, а, сливаясь с ней, создавало мягкий звуковой фон, подчеркивающий спокойную прелесть солнечного утра.

На веранде появилась Наана — сдержанная, напряженная, сосредоточенная. Когда он подошел к ней, она улыбнулась и взяла его за руку.

— Ты-то мне и нужен, Баако,— сказала она. Он принес ей стул и поставил его рядом с низкими перильцами, на которых сидел.— Да я бы тебя и сама нашла.

— Каким образом?

— Я слышу, ты смеешься — значит, не веришь. А найти-то тебя легче легкого. Надо только прислушаться, где в этом гаме тихий островок. Там ты и окажешься.— Она засмеялась.

— Хочешь чего-нибудь выпить?

— Да, немного. Если можно, я просто буду иногда отпивать из твоего бокала.— Она сделала неторопливый глоток.— Приятный напиток и прохладный. А все же ты меня очень огорчил, Баако. Я же просила тебя спасти ребенка.

— Да с ним все в порядке, Наана.

— Ты говоришь, как будто и сам малое дитя. Где он?

— Они сделали ему колыбель, она стоит на крыльце.

— Как бы она не превратилась в гроб.

— С ним все в порядке, Наана, успокойся. Он прекрасно себя чувствует.

— Ты так думаешь? — Старуха притихла; казалось, она к чему-то прислушивается; но земные звуки явно не интересовали ее.— Они хоть совершили возлияние праотцам до того, как сами начали напиваться? Я что-то не слышала ни торжественной тишины, ни ритуальных слов.

— Возлияния не было, Наана.

— Не смейся надо мной, Баако. У меня от твоих слов чуть сердце не оборвалось.

— Я не смеюсь, Наана. Возлияния не было.

Она вздохнула.

— О Великий Друг, им уже нет дела до праотцев. Они забыли об ушедших — где уж им упомнить про входящего в мир! Что с ними творится, Баако?

— Они празднуют на новый лад, Наана.

— Да, похоже на то. Но ты ведь молод, Баако. Неужели ты не чувствуешь гнева?

— Что я могу сделать?

— Видали? Он уже заговорил со мной, как мудрый старец. Задает вопросы в ответ на вопросы.— Она улыбнулась.— Я слышу смех твоей матери.

— Она как раз сюда идет.

— Пора, Баако, пора,— подойдя к нему, зашептала Эфуа.

— Что пора? — спросил он.

— Позаботиться о пожертвованиях.

— Уже? А я думал, что это потом, после обеда.

— Нет-нет, пора,— сказала Эфуа.— Они выпили и теперь хотят есть. Самое время.

— Ладно.— Он слез с перил.— Я скоро вернусь, Наана.

— Деньги пусть кладут в медный таз,— сказала ему вслед Эфуа.

Он вышел на крыльцо, поднял таз и остановился рядом с колыбелью, опустив глаза. Музыка смолкла, разговоры утихли. Шут понимал, что от него ждут торжественной серьезности, но сразу же сбился с тона.

— Тут такое, значит, дело,— начал он.— Вот у меня в руках медный таз. Я поставлю его на ступеньки, и каждый, кто захочет, может бросать туда деньги.— Он облегченно вздохнул и рукавом рубахи вытер со лба пот. Потом отвернулся от гостей, собираясь снова включить радиолу. И увидел перед собой лицо матери — ошеломленное, растерянное. Однако она ничего не сказала ему. Она вышла на крыльцо, подняла сверкнувший таз и, взломав недоуменную тишину, громко проговорила:

— Дамы и господа, друзья! Настало время для всех и каждого, кто присутствует на нашем радостном торжестве, одарить щедрой рукой входящего в мир счастливого младенца. Чтобы гостям было удобнее, я буду по очереди называть имена и надеюсь, что каждый, кто подойдет сюда, одарит младенца от всего сердца. И, конечно же, я начну с наших особо уважаемых гостей. Итак... достопочтенный господин Чарльз Уинстон Черчилль Кесси, ответственный работник Протокольного отдела министерства иностранных дел, прошу вас, подойдите сюда и покажите вашу щедрость.

Искрящийся радостным самодовольством человечек в ярко-голубом костюме, который отбрасывал синеватые блики на его черное лицо, гордо выступил вперед. Торчащий из нагрудного кармана платок казался отблеском его белозубой улыбки. Он прошествовал к медному тазу, достал бумажник и начал по одной вынимать из него бумажные купюры достоинством в седи; бумажки зигзагами планировали на дно таза.

— Три... Четыре... Пять! — вслух считала Эфуа, и шуту пришло в голову, что она похожа на рефери, отсчитывающего секунды над поверженным боксером.— Ответственный работник Протокольного отдела пожертвовал пять седи. Похлопаем ему! — Когда аплодисменты затихли и сановник пошел было на свое место, Эфуа проговорила: — А теперь попросим миссис Кесси. Посмотрим, насколько щедра супруга ответственного работника.

Толстенький сановник, уже подходивший к своему стулу, вздрогнул, как подстреленное животное, и испуганно оглянулся. Однако он довольно быстро опомнился, опять вытащил бумажник и передал жене. Та взяла его и со скорбным лицом двинулась к крыльцу. Послышался тяжкий вздох, словно не одна женщина, а все гости одновременно перевели дыхание. И потом — странный хрустящий шорох.

— Что случилось? — спросила Наана.

— Да, по-моему, ничего,— ответил он.

— Там что-то зашумело.

И действительно. Посмотрев на гостей, он увидел неясное движение, торопливые руки, передающие деньги,— но это длилось лишь несколько секунд, и вскоре хрусткий шелест снова сменился приглушенным говором.

— Мудрые мужья давали своим женам деньги на пожертвование,— объяснил он Наане.

— Четыре седи! — выкрикнула Эфуа.— Похлопаем, друзья. Жена ответственного работника не поскупилась. Инспектор Данкен Афум!.. Инспектор полиции Данкен Афум, теперь ваша очередь. Покажите нам вашу щедрость, инспектор.

Эфуа поставила таз на пол, вытерла платком вспотевшее лицо, потом глянула на младенца, покачала головой и сейчас же включила вентилятор, повернув его так, что струя воздуха била прямо в колыбель.

— Что они там делают с этой воздушной машиной? — спросила Наана, сплюнув за перила веранды.

— Проветривают младенца,— ответил шут.

Наана засмеялась.

— Вернее, хвастают своим богатством,— сказала она.— Знаю я их, колыбель небось обмотана дорогой материей — вроде гроба, а теперь они еще напустили на него этот ветер.

Монотонное жужжание вентилятора время от времени прорезали выкрики матери, которая продолжала вызывать к тазу жертвователей. Ему казалось, что он смотрит на все это издалека, словно шут, глядящий на представление глазами зрителей. Из этого состоя-

ния его вывел плач ребенка. Сначала плач походил на нерешительный смех, но через несколько минут вдруг раздался громкий, отчаянный вопль, и шут, спрыгнув с перил, бросился к колыбели. Пытаясь выключить вентилятор, он запутался, нажал не ту кнопку, и массивные лопасти начали крутиться еще быстрее. Тогда он схватил его и остервенело дернул. Оттуда, где шнур был прикреплен к подставке, посыпались искры, а шут уронил все еще жужжащий вентилятор в медный таз, из которого выпорхнула стайка разноцветных бумажек.

На шум выглянула Араба — она слабо улыбалась и прижимала руку к животу; было видно, что ей еще трудно ходить. Не сказав ни слова, она унесла ребенка в дом, а растерянная Эфуа осталась на крыльце, среди разлетевшихся во все стороны денег.

Гости, дождавшиеся обеда, ели молча. Веселился только мужчина в университетской мантии. Он попытался затянуть хоровую песню, но забыл ее и несколько раз повторил первую строчку, надеясь, видимо, с ходу вспомнить остальные:

Все мы знаем — он славный малый...
Все мы знаем — он славный малый...

Когда двор опустел, его окликнула Наана.

— Очень уж ты поторопился, Баако,— сказала она.— Теперь все пропало.

Через три недели после похорон мать обратилась к шуту за помощью, и он милостиво согласился узнать, чего она хочет.

— Пришло время дать объявление в газетах. Про ребенка.

— Зачем?

— Как это так зачем? Ты же знаешь, что мы должны попрощаться с ним. В газетах.

— Попрощаться с ребенком в газетах?

— А что?

— Вам еще не надоела показуха?

— Баако, я устала от вечных препирательств. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь написать прощальное объявление? Это ведь всего-навсего стишок.

— Вряд ли я с этим справлюсь.

— Что ж, значит, ты отказываешься нам помочь.

Просматривая газету, он не сразу узнал племянника. Сначала он вообще не обратил внимания на эту фотографию, но потом заметил вентилятор на заднем плане и тогда прочитал объявление:

Месяц прошел с тех пор,
Как нас разлучила Смерть.
Удар был тяжким и горьким,
Но мы не забудем тебя,
Пока наш Господь Вседержитель
Не прикажет нам встретиться вновь.
Успокойся, Дитя,
Спи.

Скорбящие:

М-с Эфуа Онипа, дипломированный воспитатель, детский сад «Светлый путь», Аккра.

М-р Баако Онипа, бакалавр гуманитарных наук, ответственный работник, Ганская телекорпорация, Аккра.

М-р Квези Бейден, техник, компания «Алюмин-Вольта», Тема.

Жизнь

Больничный двор окружали высокие стены. Он сидел неподалеку от палаты для особо тяжелых, откинувшись назад и упираясь локтями в землю. Подойдя к нему, Хуана невольно оглянулась и посмотрела по направлению его взгляда — там, за западной стеной, видна была только колокольня католического собора. Ей тоже пришлось сесть прямо на землю; двое больных с любопытством поглядели на них и подошли поближе. Он не пошевелился, и она испугалась, что он опять ее не узнает, и с тоской вспомнила множество прежних свиданий, когда их короткие осмысленные разговоры перемежались бездонными провалами его полнейшей пассивности, и ей вдруг страстно — до молитвенного отчаяния — захотелось, чтобы все это уже было позади, чтобы она снова могла с ним нормально разговаривать,— ей казалось, что тогда она сумела бы вернуть его к жизни.

На этот раз он заговорил первый:

— Как там Скидо?

— Скидо?

— Ну, ты видела его. Он-то не похож на меня. Он вез людям полную машину земных благ — пищу,— и его не надо было убивать.

— О ком ты говоришь, Баако?

— Ты же знаешь. Я знаю, что ты знаешь. Ты пытаешься его спасти — и правильно делаешь. Но теперь тебе нечего опасаться. Я ведь друг, а его все равно уже нет.— Он улыбнулся и снова канул в бездонное молчание.

— Я опять разговаривала с твоим врачом,— сказала она.

— Он ничего.

— Он считает, что скоро тебя можно будет перевести в палату для выздоравливающих.

— Да ведь я ничего.

— Баако, попытайся рассказать мне, что все-таки случилось.

— Спроси у других. Они всегда правы, вот в чем дело.

— Ты про родственников, да? Я расспрашивала их, но они тоже ничего не смогли мне объяснить. Один раз, когда я пришла к ним, со мной захотела поговорить твоя бабушка. Я не поняла ее, но, кажется, она считает, что они хотели тебя убить.

— А-а, Наана. Знаешь, она назвала меня слишком торопливым. И она была права.

— Что же случилось?

— Они сказали тебе правду. Я не подумал о земных благах для них — пожадничал.

— Баако, это же я, Хуана.

— Да, тебя зовут Хуана. Ты мой друг Скидо. Тебе бы надо поостеречься. Никуда нельзя являться с пустыми руками. Это ошибка... нет, преступление.

— Ты захочешь пожить у меня, когда выйдешь отсюда?

— Да я ничего. А вот тебе надо поостеречься. Есть такой один город, где мы ни разу не были — Бибиани.

— Однажды я была там, еще до знакомства с тобой.

— Тебе наверняка никто не говорил, что значит это название.

— Да я никогда и не думала об этом. Название как название.

— Это значит — «Бееби ара ни».

— Подожди-ка. Где-то... нет — везде...

— «Это — всюду».

К ним подошла сестра с кувшином и какими-то таблетками. Баако упрямо покачал головой, но прежде чем сестра разозлилась, Хуана взяла у нее таблетки и налила в чашку воды; сестра ушла.

— Мне рассказывали о том, как тебя сюда привезли. Здешние врачи считают, что все было сделано из рук вон плохо.

— Люди правы. Я безумец.

— Твой врач сказал, что как только ты согласишься пройти курс лечения, он тебя выпишет. Надо, чтобы ты успокоился и начал принимать лекарства. Перестань упрямиться. Ты никого здесь не переупрямишь.

— Мне бы об этом раньше догадаться. До сумасшедшего дома.

— Так что же все-таки произошло?

— Неужели ты еще не поняла? Земные блага, только и всего. Разве можно возвращаться с пустыми руками? Кому здесь нужны идеи?

— Почему тебе так хочется себя обвинить? Ты же не преступник. Тебе хотелось сделать что-то полезное. Люди вовсе не всегда правы, пойми.

— Все это гордыня. Только человек, одержимый гордыней, может пойти наперекор всеобщим желаниям.

Она задумалась, пытаясь найти веские возражения — но не смогла, потому что в глубине души и сама была не согласна с приходящими на ум аргументами, все они оправдывали бегство от жизни, духовную изоляцию. Она прекрасно знала, что это гибельный путь. Но любой другой путь — особенно здесь — тоже таил в себе смертельную опасность, тоже был гибельным. Могла ли она успешно врачевать его отчаяние, если ей не удавалось победить свое? Стоило ли выводить его из одного тупика, чтобы завести в другой?..

Она взяла его за руку и стала поглаживать ее; нежность, которую она не могла выразить словами, прорвалась в этой безнадежной ласке. Он почувствовал ее и придвинулся поближе. Упрямая отчужденность, звучавшая во всех его словах, была побеждена. По его лицу опять потекли слезы.

— Я буду ждать тебя,— сказала она.— И не стану удерживать, если ты захочешь потом уйти.

Он улыбнулся ей.

— А знаешь,— сказал он,— я ведь думал, что они пичкают меня лекарствами, чтобы я окончательно спятил.

— Это хорошее лекарство,— сказала она.

Он сам захотел принять таблетки, потом положил голову ей на колени и притих, а она гладила его руки; оба молчали.

Когда сестра привела Окрана, он, ни слова не говоря, постоял над ними и сел рядом с Хуаной.

— Ну, Онипа, как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— Да все так же,— ответил Баако.— Но преступнику обещали амнистию.

— По-моему, ты больше похож на влюбленного.

— Что ж, Хуана мой единственный друг.

— А меня, значит, ты другом не считаешь?

— Вы учитель, это совсем другое дело. С учителем трудно сойтись по-дружески. Какая-то дистанция всегда остается. Впрочем, я и с вами повел себя глупо. А вам не следовало подпускать меня так близко.

Она перехватила взгляд Окрана и догадалась, о чем он думает; но сразу же отвернулась и долго смотрела на собор.

— В прошлый раз меня поразили твои слова,— говорил между тем Окран.— Я не мог понять, как ты дошел до таких мыслей. Но теперь, кажется, понял. Меня всегда пугала полная откровенность с самим собой — я старался не глядеть на себя со стороны.— Он взял чашку и допил воду, которой Баако запивал таблетки.— Хотя шел той же дорогой, что и ты. Но все дело в том, что когда знаешь, чего хочешь, нельзя судить себя судом чужих мнений.

— Но от этого суда никуда не спрячешься.

— Надо просто выкинуть чужие мнения из головы. Иначе ты не сможешь ничего сделать. Не сможешь даже найти своего призвания в жизни.

— Я думаю, что без них — без всех остальных — тоже ничего нельзя сделать.

— В общем, ты прав,— сказал Окран.— Но если ты с самого начала пойдешь у них на поводу, то неминуемо кончишь самобичеванием. Неужели тебе и правда нравится банковский служака, про которого ты говорил в прошлый раз, и этот, как его... ну, бюрократ из конторы по организации труда?

— Бремпонг.

— И ты хочешь на них походить?

— А иначе здесь не проживешь. Если б я знал об этом раньше, меня бы сюда не засадили. Я бы не был преступником.

— Нет, Онипа, ничего у тебя не выйдет. Когда ты рассказывал про них, мне сразу вспомнилась Акосуа Рассел. Тебе не удастся под них подделаться.

— Если бы я решил...

— Послушай, Онипа,— резко сказал Окран.— Они ничего не решали. Они такие. И если захотят измениться, то просто перестанут существовать.

— Ну, не знаю.

— Нет, знаешь. А не знаешь, так подумай. У тебя же хорошая голова, так работай ею. И перестань ты считать себя преступником. Тем более, что никому до этого и дела нет. Если бы у всех этих людей была хоть капля твоего таланта, им бы не понадобилось становиться делягами.

— И тем не менее они приносят пользу.

— Смотря что называть пользой. У каждого из нас есть родственники, которые мечтают, чтобы мы, как твой Бремпонг, волокли бы из-за границы вещи для удовлетворения их чванства да пристраивали на тепленькие должности. Но имеешь ли ты право тратить на это время и силы? Страна и так кишит людишками, презирающими всех, кроме себя.

— Я думал об этом,— сказал Баако.— Это совершенно естественно.

— Так подумай еще. Погляди попристальней на тех, кому для самоутверждения нужны земные блага. Должности, связи, машины, парики, коттеджи, деньги. Если они всего этого лишатся, от них просто-напросто ничего не останется. А у тебя есть призвание, дело. Ну и забудь о других, иди своей дорогой.

— Вы думаете, это легко — лишить надежды...

— Родственников, ты опять о них? Конечно, отчасти ты прав: глупо осуждать их за стремление к благам земным. Но еще глупее казнить себя за то, что не можешь полностью удовлетворить их желаний. Да этим желаниям и конца не будет — стоит только решить, что ты обязан ломать свою жизнь в угоду их алчности. Между прочим, твои-то надежды, твои желания их совершенно не интересуют — об этом ты думал? И еще. Люди, вроде Бремпонга, тебе и таким, как ты, не страшны. Они любят земные блага и умеют их добывать. Алчных неудачников — вот кого ты должен остерегаться. Им тоже нужны земные блага, но как до них дотянуться, они не знают. И пытаются найти добытчика. Ты хочешь им стать? Хочешь положить свою жизнь на добывание благ для своих родственников?

— Что ж, это бремя побывавшего,— проговорил Баако.— Да и все люди помогают друг другу, иначе не проживешь.

Окран беспомощно посмотрел на Хуану. Ей очень не хотелось, чтобы разговор оборвался, и она поспешила вмешаться:

— Если ты захочешь помогать родственникам и одновременно делать что-нибудь полезное для всего общества, то неминуемо придешь к разладу с самим собой. Интересы семейства и общества почти никогда не совпадают. И не так-то легко решить, что важнее.

— А решить нужно,— со вздохом сказал Окран.— Вы уж извините меня за резкость, но человек, если он хочет остаться человеком, должен сделать однозначный выбор. Пойми, Баако, у тебя и твоих родственников несовместимые стремления. Ты переполнен творческими идеями, а их гложет внутренняя пустота. Так ведь тебе-то не надо возмещать духовную пустоту богатством. Ты же не делец, Баако!

Но тот уже перестал слушать своего бывшего учителя. Он демонстративно, как показалось Хуане, отвернулся от Окрана и глядел в небо; лицо его было безучастным; но он беспомощно и нежно сжимал ее руку, словно пытаясь внушить ей, что не все его чувства умерли.

За больничной стеной, в соборе, размеренное бормотание, постепенно набирая силу, переросло в распевный речитатив, слышимый здесь как безудержный плач по неосуществимой мечте, которая, никогда не сбываясь, лишь скрашивает вечной надеждой самое горькое отчаяние и успокаивает мятущуюся душу — этот покой явственно прозвучал в заключительной ноте, и Хуана легко вспомнила слова молитвы:

Et expecto
resurectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi
Aaaamen! [1]

И Окран, и Баако молчали. Вскоре после того, как стихло церковное пение, из палаты вышла сестра и сказала, что время утреннего свидания заканчивается. Хуана очень утомилась. Поцеловав Баако, она подождала, пока он распрощается с Окраном, и вместе со старым учителем вышла на площадь.

[1] И чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! *(Лат.)*

— Замечательно, что вы опять пришли,— сказала она.
— Я расстроил его.
— Не уверена. Он знает, что вы друг.
— Надеюсь.
— Я бы ни за что не смогла поговорить с ним так откровенно,— призналась Хуана.— И ведь понимаю, что нужно, а не могу. У меня никогда нет полной уверенности в своей правоте. Баако называет меня за это католической язычницей.
— Что ж, ему виднее,— сказал Окран.— В нем очень силен миссионерский дух.
— Это еще не самое худшее.— Она попыталась скрыть горечь, но голос выдал ее.— Когда человек одинок, спасение души превращается в пустую иллюзию.
Окран засмеялся.
— Ну, в толчее его тоже не обретешь. Надо побыть наедине с собой, чтобы понять, кто ты и чего стоишь. А уж потом...
Они шли рядом. Он умолк, обнял ее за плечи, на мгновение прижал к себе и, резко отстранившись, зашагал туда, где оставил свою машину.

На обратном пути Хуана почувствовала, что ее сковала тяжкая тоска. Приехав домой, она долго сидела, ничего не делая и пытаясь собраться с мыслями; но думать не хотелось, в голове проплывали лишь обрывки грустных и тревожных воспоминаний да чуть тлелась благодарность Окрану за то, что он сегодня навестил Баако. Хуана встала, бесцельно обошла коттедж — холодный, безжизненный... и неожиданно поняла, что пора привести в порядок пустующую комнату.

Глава тринадцатая

Наана

Время настало. Я готова завершить свой земной путь, и земной мир готов к моему уходу. Готовность уйти постигает нас, когда мы убеждаемся, что никому не нужны, и не можем найти пристанища в здешнем мире. Если человек не нужен людям, его дух жаждет воссоединиться с духами ушедших раньше, которые ждут его с радостью и надеждой. Я превратилась в осколок поспешно забытого прошлого, а те, кого я носила под сердцем, хотят поскорее загнать меня в могилу и торопливыми ступнями сровнять ее холмик с землей. Они наполнили мою страсть горечью и обидой, но я не нахожу в себе слов, чтобы пристыдить их.

Я ничего не знаю про нынешнюю жизнь. Мои глаза перестали быть окнами в мир — их задернула плотная, словно слепая плоть, пелена. Уши почти не улавливают земных звуков, и я чувствую, что скоро мою душу, запертую в темнице тела, окутает безмолвная тьма полного одиночества.
Мне удалось подготовить свой рассудок к близкому концу — меня не гнетут сожаления, а глаза не наполняются слезами.

Да и чего мне жалеть? О чем плакать? Земные события только тревожат мой дух, и покойная радость понимания мира не посещала меня уже многие годы.

Я жила слишком долго. Не только старейшины, но и спутники, пришедшие на землю вместе со мной, давно вернулись к праотцам, а я все еще блуждаю в этом огромном, чуждом мне мире, как будто опять превратилась в беспомощного ребенка и вот не могу найти дорогу домой. Я испуганно жмусь к обочине, но жизнь, которая проносится мимо меня, порождает таких чудищ, что мой покой разлетается вдребезги. Здешний воздух содрогается от бесноватого грохота, и моему рассудку непонятно, что этот грохот означает. Если бы меня не постигла глухота и слепота, то незримые безымянные опасности, таящиеся в безмолвных ночах, и зримые страшилища шумных дней свели бы меня с ума, так что ставни на окнах, сквозь которые мир проникал в мою душу,— это благо, ниспосланное мне милостивыми духами. Ставни почти захлопнулись, и если есть еще люди, которые не пожалеют золота на бесполезную старуху, им почти не придется тратить его, чтобы полностью отгородить меня от мира. Такая мысль и сама по себе порождает немало сомнений, но я не хочу больше мучиться и не стану об этом думать.

Мой дух стремится к новой жизни — в мире, где не нужны земные глаза и где прощальные напутствия, которых никто мне здесь не скажет, обернутся радостными приветствиями, а конец моего нынешнего пути окажется лишь началом новой дороги.

Многие путники, которые пришли сюда в пору моего расцвета, а теперь стали для меня лишь смутными тенями, бродят в этом мире так же неуверенно, как я, незрячая, и даже не узнают друг друга, когда встречаются. Поэтому я никогда не обращалась к ним с мольбой о помощи. Мольба слепой старухи остается невысказанной, потому что ее все равно никто не услышит.

Я с трудом, как сквозь мутную пелену, различаю их расплывчатые фигуры, а они меня просто не видят, хотя у них здоровые, зрячие глаза. Всеобщая связь земных событий, которая наполняла смыслом каждый наш шаг, каждый поступок, бесповоротно распалась много лет назад. Я вижу только осколки и не могу собрать их воедино, чтобы понять смысл нынешнего существования. Целостность мира дробится все сильнее и сильнее. Я давно уже не пытаюсь мысленно слепить из осколков целое, чтобы осознать, куда мы идем,— иначе к моей слепоте прибавилось бы еще и безумие.

Я металась, словно загнанный в западню зверек, пока не поняла, что не смогу ничего понять. Да-да, как свалившийся в охотничью ловушку зверек, который вслушивается, принюхивается, всматривается, не догадываясь, что случайные запахи, звуки и образы не помогут ему узнать, куда он попал и почему. Я не видела смысла в разрозненных событиях, и мне казалось, что я невнимательно смотрю или плохо обдумываю то, что открывается моим глазам. Я всматривалась пристальней, но видела только новые непостижимые загадки, и моя тревога становилась все мучительней. Меня преследовали зыбкие, бесформенные образы, я пыталась осознать их, мой рас-

судок бежал от всеобщей бессмысленности, метался, как затравленная хищниками антилопа, которая бросается то в одну сторону, то в другую, пробует прорваться вперед, кидается назад, но везде встречает оскаленные клыки преследователей... и наконец я отчаялась обрести покой понимания мира. Жизнь шла своим чередом — мимо меня, но зато мои страдания кончились, а теперь завершается и мой земной путь.

Я смирилась. Мне до сих пор вспоминаются юные женщины, погибшие в дни моей молодости. Так погибают яркие цветы, неразумно распустившиеся среди однообразной жухлой зелени,— их замечают жестокие глаза, к ним протягиваются жадные руки, сжимают их в смертельных объятиях, которые почему-то называются любовными... да, цветы были уничтожены из-за их прекрасного совершенства. Однажды, когда погубили непохожую на других женщину, я спросила, как распознают колдуний, и мне ответили, что по слишком ярким глазам, которые светятся днем и бешено сверкают ночью. Я думала о колдуньях, оживляющих жухлую зелень, о цветах, озаряющих сумрачные ночи, пока могла видеть и размышлять. Теперь мои глаза мертвы, а рассудок спит. Но темница тела не помешает моему духу найти дорогу домой.

Еще совсем недавно мысль о близком уходе вызывала у меня сожаления. Один раз надежда вспыхнула особенно ярко, но вскоре угасла и едва ли зажжется вновь: если тут что-нибудь и переменится, так только к худшему.

Да, его возвращение вселило в меня надежду. Но алчные земные видения сородичей слишком тяжким грузом легли на его плечи. И вот еще один дух затравлен, замучен людьми, которые забыли, что дары побывавшего, как и земные плоды, должны созреть,— жажда родственников поскорее получить новые блага и по-новому насладиться ими чуть не погубила вернувшегося.

О Великий Друг, я ничего здесь не понимаю. Мне пора отправиться туда, где понимание принесет покой моему усталому духу.

Если бы я еще надеялась, что понимаю этот мир, я постаралась бы обнажить глубинные корни, питавшие болезненное беспокойство вернувшегося путника и злобу его родственников, которая заставила их назвать его безумцем. Он был очень спокойным, но мне казалось, что в нем тоже ощущается готовность уйти. Правда, когда я была юной, старейшины говорили нам, что уходящий наделяет собственной готовностью всех живых. Мой земной путь близится к концу, скоро я стану духом и постараюсь защитить вернувшегося путника, а если моих сил не хватит, мне помогут другие, сильнейшие духи.

Ребенок, пришедший слишком поспешно, тоже вернулся к духам — его выгнали родственники; но я прекрасно знаю, что мне никто не поверит. Его торопливо и грубо выволокли в здешний мир — так срывают плод, не дав ему созреть. «Духи матери не удержали его в чреве»,— вот о чем твердят Эфуа с Арабой, чтобы скрыть преступление, совершенное в угоду их алчности. Выход в мир был преждевременным и слишком шумным — битье посуды, громкие, бессмысленные клятвы, притворный смех и крикливые споры, шипящие

шепотки и восхваление каждого нового подарка... да еще этот искусственный ветер, направленный на неокрепшего путника... Я была бессильна, потому что не понимала нового могущественного культа, занесенного к нам чужаками; наша древняя мудрость отступила, и теперь люди радостно прислуживают вновь сотворенному идолу. Они перестали верить ушедшим раньше — но какая слепая сила заставила их забыть, что ребенок, слишком рано выведенный в мир, обречен на смерть? Какой глупец, какой сумасшедший может этого не знать? Они принесли ребенка в жертву новому идолу, странно похожему на того, древнего, которому поклонялись наши предки — да не будет им прощения во веки веков! — когда, на погибель себе и своему народу, подымали племя на племя, предавали и продавали друг друга белым пришельцам с жестокими глазами, калечили людей, торговали, наживались... и вот теперь их потомки готовы продать любую женщину первому встречному белому, чтобы потом самим погибнуть в бешеной погоне за земными благами, за богатством, которого мы сами не умеем и не хотим создавать.

Маленький путник ушел; скоро он, как старший, будет встречать свою прабабку в мире духов. Вернувшийся тоже исчез: утонул в злобных воплях людей, которые хотели его убить,— но, по счастью, ему покровительствует какой-то очень могущественный дух. Я надеюсь, что он не исчерпал своей судьбы, но если он и оправится, то наверняка уже после моей смерти. Я не знаю, где он, от меня это скрывают. Я не могу сказать ему перед уходом, что мой дух будет помнить о нем, что я желаю ему счастливых свершений и мирной старости.

О Нананом, мой земной путь окончен. Часто и много думала я о возвращении в твое лоно. Когда я болела — душой или телом, когда было тяжко на сердце, я упрекала тебя за то, что ты не откликаешься на мой зов. Ночами, когда, устав от долгого и трудного пути, мой дух мечтал сбросить с себя оковы плоти, которая не давала ему ничего, кроме страданий, ты являлся мне в видениях, таких ясных и ярких, что они затмевали здешнюю жизнь. Мои уши ловили звуки твоих голосов, похожих на ласковый шелест листьев перед дождем, или на тихий плеск дождевых капель, скатывающихся с ветвей, или на торопливый журчащий говор ручья... но чаще всего ты говорил со мной мощным и спокойным голосом всей земли: шумом лесов, уходящих в неизведанную даль, и бездонным молчанием необъятного ночного неба. Да, я много думала о тебе, Нананом.

Я не знала, легким ли будет возвращение в твое лоно. Ночные мечты и видения не раз уносили меня к тебе, но обычно это случалось со мной, когда земная жизнь была мне в тягость. Болезни, страхи, страдания — только они направляли к тебе мои помыслы.

Теперь я вверяюсь тебе, Нананом. Будь милостив. Ты знал меня, когда я умерла, чтобы войти в мир, который представляется нам таким прочным, а оказывается лишь хрупкой, временной оболочкой вечного духа.

И все же возвращение в твое лоно страшит меня. Не смейся надо мной. Ведь ты знаком мне только по ночным видениям, и я так долго пробыла в этом мире, что страх перед возвращением прочно угнездился в моем рассудке.

Смерть. Как долго это слово пугало меня. Но теперь смерть кажется мне возрождением — так же, как появление нового ребенка в этом мире отзывается слезами прощания в мире духов. Не суди меня слишком строго за любовь к вещам, которыми я услаждала плоть; мне казалось, что я привязана к ним крепчайшей пуповиной,— и порой они приносили мне столько радости! Зачем ты насылаешь на нас счастливую слепоту земной жизни, если наша цель в ней — смерть?

Я упрекаю тебя. Не гневайся. Я видела завесы жизни, разделившие бесконечность мирового круга на крохотные участки, которые мы считаем огромным миром и единственным временем жизни; мы отчаянно держимся за наш жалкий участочек, пока не перерастаем очередную завесу. Представляю себе, как ты смеешься, когда мы немного подрастаем и узнаём, что наш мир, казавшийся нам необъятным и великим,— лишь ничтожная песчинка в беспредельности круга; мы чувствуем себя дураками и все же цепляемся за лохмотья изжитой жизни, пока не входим в следующий, на этот раз по-настоящему беспредельный, как мы думаем, мир — чтобы снова обмануться и почувствовать свою глупость именно в то мгновение, когда мы опять возомнили себя мудрецами.

И вот я стою перед последней завесой. Прими меня. Я готова. Твое лоно — конец пути. Начало. Бесконечность. Я возвращаюсь к тебе, Нананом.

■

Критика

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО

ОПЫТ ЦЕННЫЙ И МНОГООБЕЩАЮЩИЙ

Естественно и закономерно крепнет братское содружество социалистических стран, «все более многоплановыми и глубокими становятся объединяющие их связи, совершенствуется их сотрудничество и взаимодействие в различных сферах...» [1]. Обогащаются новыми формами и взаимодействие социалистических художественных культур этих стран, сплоченных — при всем многообразии национально-исторических особенностей каждой из них — своей преданностью делу социализма, марксистским идейно-эстетическим принципам.

Литературно-теоретическая мысль в странах социалистического содружества устремлена сегодня к проблемам, имеющим животрепетный общий интерес, хотя, разумеется, это общее приобретает те или иные нюансы и акценты в конкретной национально-литературной ситуации. В центре внимания исследователей — новые жизненные процессы в странах социализма, выдвигающие новые задачи и перед социалистической культурой, перед литературой социалистического реализма. Их подход к конкретным явлениям характеризуется, как правило, широтой и масштабностью взгляда, что соответствует ведущей роли социалистических литератур в сегодняшнем литературном развитии.

Изучение неоценимого творческого опыта литератур нового мира, во главе с многонациональной советской литературой, раскрытие его глубоко новаторского характера, утверждение принципов социалистического реализма, ленинской партийности и народности искусства — все это предполагает широкий интернациональный контекст и прежде всего четкую, наступательную позицию в идеологической борьбе, во всемирном сегодняшнем споре между реализмом и противостоящими ему течениями.

Из года в год множатся формы дружеской совместной работы литературоведов и критиков социалистических стран. Коллективный художественный опыт, накопленный литературами стран социалистического содружества, настоятельно побуждает к коллективному его осмыслению, не исключающему, понятно, и товарищеских дискуссий по недостаточно выясненным вопросам. Объединению творческих усилий в данной области немало способствовали, в частности, давно уже вошедшие в практику двусторонние и многосторонние встречи, симпозиумы, конференции исследователей и критиков, посвященные актуальным проблемам литературного развития стран социализма (недавний тому пример — состоявшаяся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького научная конференция на тему «Общее и особенное в литературах социалистических стран Европы», в которой приняли участие видные литературоведы Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии).

Очевидно, теперь мы подошли к тому этапу, когда становится не только возможным, но и необходимым коллективный исследовательский труд, направленный на решение важнейших вопросов современного литературного процесса. Об этом свидетель-

[1] Из выступления Л. И. Брежнева на VII съезде ПОРП («Правда» от 10 декабря 1975 года).

ствует и появление книги «Литература в изменяющемся мире. Актуальные проблемы современной идейно-эстетической борьбы» [1], созданной учеными Советского Союза, Болгарии, Венгрии и ГДР. Изданная в Москве книга вышла под совместной редакцией видных представителей литературной науки этих же стран. Как указывается в редакционном введении, сборник, о котором идет речь, является первым опытом подобных исследований, начатых по инициативе Института мировой литературы им. А. М. Горького и издательства «Художественная литература».

Проблематика книги широка и многогранна: шестнадцать объемистых статей, составляющих ее, тематически почти не повторяют друг друга. Но уже, пожалуй, с первых страниц — и особенно в анализе конкретных вопросов — улавливаешь то, что определяет пафос этих работ: идею интернационального единства социалистических литератур, их духовной и эстетической общности, чуждой, разумеется, какой-либо нивелировки, но определяющей принципиальные, исторически новые пути их развития. В обширной статье В. Р. Щербины «Великая сила единения» разнообразным буржуазным концепциям, которые сводятся к утверждению либо неизбывно обособленного развития национальных культур, либо их растворения в неком «универсальном» космополитическом стереотипе «электронной эры», противопоставлен убедительный опыт советской многонациональной литературы как единого и вместе с тем блещущего живыми национальными красками социально-духовного организма. Действительно, только социализм, как отмечает автор, является реальной исторической силой, «объединяющей творческую деятельность миллионов людей, способной сплотить народы общностью основ культурного, всего духовного бытия».

Об этом же убежденно говорят авторы, представляющие другие страны.

Литература социалистических стран, пишет Ганс Кауфманн (ГДР), «с самого начала — как и само рабочее движение — является сознательно интернациональной», противостоя также и в этом смысле буржуазному «модерну» в разных странах. Поэтому становление и развитие социалистической литературы в Германии (автор высказывает интересные соображения о проблемах изучения ее истории, как и истории всей немецкой литературы первой половины XX века) можно рассматривать лишь в тесной связи с опытом международного социалистического движения, с разносторонним идейным воздействием советской культуры. Перед историками и теоретиками, таким образом, встает задача «исследовать многочисленные формы и связи, недоступные пониманию с точки зрения одной только филологической науки», чему и призвано помочь тесное сотрудничество ученых разных профессий и стран.

К сходным выводам приходит автор статьи «Некоторые проблемы социалистической литературы» Ласло Иллеш (Венгрия). Каждая социалистическая литература рождалась из социальной борьбы *данного* народа, отвечала на вопросы, рождаемые обстановкой в *данной* стране,— и вместе с тем крепла и развивалась благодаря широкому комплексу интернациональных взаимосвязей; самым значительным фактором в этом комплексе «было необычайно сильное влияние, которое молодые социалистические литературы различных стран испытывали со стороны советской литературы».

Правильное понимание соотношения общего и национально-особенного — условие первостепенной важности для любого исследователя, как и любого работника социалистической культуры в любой стране, и о нем настойчиво напоминают авторы, размышляющие на эти темы. Тот же Л. Иллеш, отвергая тенденции к национальной обособленности, к преувеличению «сугубо национальной» специфики, справедливо утверждает, что «если та или иная литература претендует на то, чтобы называться социалистической, то она не может отказаться от некоторых общих принципов, связывающих воедино все социалистические литературы мира, какие бы различия их ни разделяли».

Мысль точная и весьма своевременная. Ведь и поныне можно встретиться с попытками не только утверждать какую-то особую, национально-исключительную форму социалистического реализма, о чем пишет автор, но и «доказывать» возможность развития социалистической литературы... без социалистического реализма и в противовес ему, даже без реализма вообще и вопреки ему...

Не везде еще последовательно и остро вскрывается подлинная сущность разных теоретических маневров, преследующих цель «примирить» в духе модной на Западе теории конвергенции социалистическое искусство с буржуазным модернизмом и его эстетикой.

Внимание большинства авторов сборника сосредоточивается на насущных вопросах общей теории социалистического реализма и тех исторически новых особенностях, которые он приобретает на современном этапе (работы Тодора Павлова, Б. Л. Сучкова, Бела Кёпеци, Васила Колевского, Вернера Миттенцвая, Я. Е. Эльсберга, Андраша Диосеги и др.). Все они, несомненно, солидарны со старейшим болгарским философом и эстетиком Т. Павловым, который предупреждает о вреде «принципиальной» подмены понятия «литература социалистического реализма» понятием «социалистическая литература», ибо это может лишить литературу социалистического общества художественно-методологических, а в конечном счете и мировоззренческих, идеологических ориентиров.

В книге с очевидностью проявляется качественная особенность нашей литературной мысли сегодня — стремление рассмат-

[1] «Литература в изменяющемся мире. Актуальные проблемы современной идейно-эстетической борьбы». М., «Художественная литература», 1975.

ривать основные эстетические категории социалистического реализма в их динамической взаимосвязи, в их системной целостности и взаимозависимости. Принципы партийности и народности — основополагающее начало, живая душа всей эстетической системы социалистического реализма; с глубоким пониманием этого исследователи подходят к любым вопросам литературной теории и практики сегодняшнего дня. Б. Сучков в статье «Современные аспекты теории социалистического реализма» приводит в этой связи высказывание венгерского критика Деже Тота: «Социалистический реализм невозможен без партийности. В случае недостаточной разработки категории партийности как реализм, так и народность могут утратить свою историческую и социальную конкретность».

Известно, что и в социалистических странах есть писатели и критики, которые избегают понятия «партийность», предпочитают пользоваться термином «ангажированность».

В таком случае мы имеем дело с прямой или бессознательной попыткой ухода от научного понимания отношения искусства к социальной действительности. И даже если иметь в виду лишь морально-психологическую сторону дела, то ангажированность, по верному замечанию Б. Сучкова,— лишь временный контракт, «который может быть и расторгнут», в то время как партийность — это жизненное убеждение художника, неотъемлемое свойство его мировоззрения. Различие, что и говорить, весьма существенное в такой области, как искусство. К этому можно добавить, что в связи с 70-летием исторической статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» еще раз — и с большой силой — была[3] подтверждена вся непреложность принципов партийности и народности, которые в художественной культуре социализма не являются чем-то внешним, «обязывающим» и «указывающим» со стороны, а *внутренне необходимым* и органически присущим ей началом.

Неразрывная связь общественно-политических, идеологических и собственно эстетических факторов в искусстве хорошо показана — в том числе и на многих примерах, которые дает литературная ситуация в его стране,— венгерским исследователем Б. Кёпеци в статье «Современность социалистического реализма». Подвергнув обстоятельному критическому анализу фетиш «модерности», который упорно противопоставляется буржуазной эстетикой передовому реалистическому искусству, автор приходит к твердому выводу: «...развитие венгерской литературы подтверждает ту истину, согласно которой показателем современного в искусстве второй половины XX века является следование методу социалистического реализма». При этом Б. Кёпеци подчеркивает — надо сказать, буквально вместе со всеми авторами книги — необходимость понимания этого метода как явления, исторически развивающегося и предполагающего должную широту эстетической платформы.

В статьях советских ученых и их коллег из братских стран неоднократно упоминается о вреде схематизирующих, догматических истолкований тех или иных аспектов теории социалистического реализма; существенно, однако, что речь о подобных явлениях идет, как правило, в прошедшем времени — грамматическом и историческом,— и это в основном соответствует нынешнему положению вещей. Главный акцент ставится на другое — на позитивную разработку выдвигаемых современным литературным развитием проблем, которая ведется в активной полемике с враждебными и чуждыми концепциями, а также с остатками упрощенческих взглядов. Все шире развертываются и товарищеские дискуссии по недостаточно выясненным вопросам — отголоски этих дискуссий явственно слышатся на многих страницах книги «Литература в изменяющемся мире».

Одним из центральных тезисов, например, уже упоминавшейся капитальной и действительно «многоаспектной» работы Б. Сучкова является утверждение о том, что социалистический реализм — целостная, динамическая, непрерывно развивающаяся и неисчерпаемо богатая по своим художественным возможностям *эстетическая система.* Для характеристики этой системы исследователь употребляет также эпитет «открытая» — имея в виду ее чувствительность ко всему новому и плодотворному в мировом художественном развитии. В свете этого положения автор рассматривает сохраняющий несомненную актуальность вопрос о соотношении в искусстве социалистического реализма и жизнеподобных форм, а с другой стороны — условных форм художественной изобразительности. Споря со сторонниками «непременного жизнеподобия»,— а они действительно имеются, хотя их ряды в последнее время довольно заметно поредели,— автор пишет:

«Ограниченность подобной точки зрения становится особенно очевидной ныне, когда мы рассматриваем социалистический реализм как эстетическую систему, как искусство всего социалистического содружества, как искусство, которое распространяется и за его пределы, и входит в художественный опыт ряда стран, имеющих эстетические и культурные традиции, не всегда и не обязательно сводящие образность только к рамкам жизнеподобия».

Это важная мысль, мысль действительно *сегодняшняя,* и Б. Сучков, конечно, прав, подробно ее развивая и обосновывая,— и прав тем более, когда ему приходится защищать от довольно странных обвинений именно «по этой линии», скажем, страстное революционное творчество Кете Кольвиц.

Правда, когда вспоминаешь, что в основном вокруг этих вопросов — широта «эстетической программы» социалистического реализма, его художественное многообразие, соотношение жизнеподобия и условности,

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО
ОПЫТ ЦЕННЫЙ И МНОГООБЕЩАЮЩИЙ

реализма и романтики — шли у нас в последние годы коллективные обсуждения и теоретические споры, то невольно задумываешься: а нужно ли еще — в новых терминах и с некоторыми новыми аргументами (и действительно, при известном повышении общего уровня разговора) — объяснять и растолковывать то, что в народе, как говорится, уже достаточно понято и усвоено?

Видимо, проблематика такого рода дискуссий нуждается в дальнейшем расширении. Нет надобности, например, доказывать, с какой новой степенью сложности встают перед литературой в эпоху формирования человека коммунизма «старые», но неизменно актуальные вопросы о типизации характеров, о ее социально-психологической и философской глубине, о цельности и противоречивости, определенности и многогранности героев, об эстетическом единстве изображения «человека творящего» и «человека духовного» и многом другом, связанном, в частности, с социально-нравственной сферой бытия современников, в которой литература социалистического реализма ведет сейчас особенно настойчивую «проходку». «Уже и сегодня социалистическая литература более интеллектуальна и психологична,— замечает в этой связи Андраш Диосеги (Венгрия), автор статьи «Положительный герой как эстетическая проблема»,— в будущем же это направление лишь укрепится. При этом развитие пойдет не в ущерб изображению общества — напротив, важнейшие вопросы сегодняшнего социалистического общества найдут подлинное выражение... на самом высоком уровне художественной конкретности».

В этой связи внимание привлекают статьи Я. Эльсберга «О некоторых особенностях литературы в развитом социалистическом обществе» и Ефрема Каранфилова (Болгария) «Творческое начало в социалистическом труде и в нашей прозе».

Я. Эльсберга, например, хочется поддержать в одном из основных его наблюдений, которое представляется существенным для характеристики современной советской литературы. По его мнению, сегодняшняя проза, как, в сущности, и вся наша литература, сосредоточивает свое внимание на обыденной, «массовой» жизни советских людей, изображаемой «со всеми ее противоречиями, но таким образом, что через будничное и бытовое выступают революционные процессы всемирно-исторического значения». Глубинное содержание этих процессов — усвоение и творческое созидание в самой гуще народной массы современной социалистической культуры, понимаемой в широком смысле: и как культура политическая и гражданская, и как культура труда и образованности, и как культура новых человеческих отношений, мыслей и чувств. Убедительно изображая, как входит новое «в культуру, в быт, в привычки» людей (Ленин) — входит подчас нелегко, с противоречиями, с причудливыми изломами и «зигзагами», — такие писатели, как Айтматов и Шукшин, Кожевников и Распутин, Битов и Ткаченко (имена, называемые в статье, конечно, лишь одни из многих), включаются тем самым во всемирный сегодняшний спор о судьбах культуры и человека, о сущности и перспективах двух образов жизни — социалистического и буржуазного. Напоминаемые Я. Эльсбергом мысли В. И. Ленина из его последних работ («О кооперации» и др.) ярко освещают общественно-историческую значимость литературного отражения малозаметных подчас, «будничных» процессов нашей современности.

Сочетание конкретного анализа с широким философско-публицистическим разлетом мысли отличает интересную статью Е. Каранфилова. «Когда в конце труда стоит мещанская цель, он превращается в бескрылый и скучный, однообразный и серый. Но когда в конце труда стоит идеал, он становится не только вдохновенным усилием, но и радостным творчеством. Пока у нас есть идеалы, механизации и кибернетической сухости не удастся поломать крылья творческих порывов»,— говорит в одном месте критик, отвечая, по существу, на главные вопросы, встающие перед современной гуманистической мыслью. Творческое начало в социалистическом человеке автор рассматривает в тесной связи с нравственным сознанием и, главным образом, с категорией героического, подтверждая свои размышления обильным материалом современной болгарской литературы.

Непримиримое противостояние реализма — прежде всего социалистического реализма — и буржуазного декаданса, противостояние и борьба эстетических концепций — одна из сквозных тем книги, освещающей конкретные размышления и методологические подходы разных ее авторов. Есть в ней и специальные работы, посвященные этой теме, скажем, статья Иштвана Кирая «О некоторых проблемах модернизма», а также содержащие критические характеристики некоторых школ современной литературной науки на Западе статьи Пантелея Зарева (Болгария) «Об актуальных проблемах литературоведения и структурализма» и Роберта Вайманна (ГДР) «Проблема оценки и развитие буржуазного литературоведения» — работы обстоятельные и глубокие. Но главное, повторим,— общая нацеленность авторского коллектива на раскрытие всемирноноваторской роли социалистического реализма, растущего и утверждающего себя в бескомпромиссной борьбе с декадентством и неоавангардизмом, равно как и с «массовой литературой», рассчитанной на тотальное отупление «рядового» потребителя.

Все работы, вошедшие в книгу, в том числе и такие, где речь идет, казалось бы, о сугубо «внутренних» творческих проблемах социалистических литератур, по своему существу активно спорят с враждебными нам идеями — и спорят убедительно, давая свои варианты позитивного решения действительно сложных вопросов. Хотелось бы еще раз упомянуть талантливую и умную статью Г. Кауфманна: направленная против исторических схем буржуазного литературоведения и в его либеральном и в

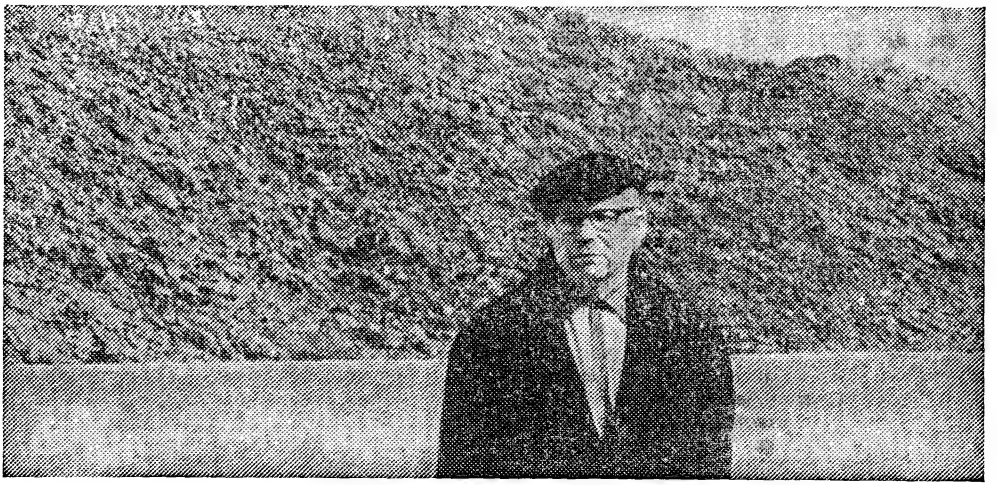
откровенно реакционном обличии, она привлекает вдумчивым и свежим подходом к анализу явлений не только немецкой, но и других западноевропейских литератур XX века, да и вообще историко-литературного процесса. Достаточно указать хотя бы на соображения автора о принципах периодизации литературы или об изучении течений, направлений, группировок.

В статьях Эрхарда Хексельшнайдера и Антона Хирше (ГДР), а также А. Л. Дымшица рассматривается тема «Советская литература за рубежом». Это — разговор «о борьбе идей за рубежом вокруг советской многонациональной литературы», как гласит название второй из них. Два критика из ГДР подробно проанализировали отношение к советской литературе различных политически-литературных течений в ФРГ и, подчеркнув общий рост интереса к нашей культуре в этой стране, несомненное усиление тенденций к объективной ее оценке, на множестве фактов показали, с одной стороны, каковы политические цели профессиональных советологов, использующих литературу лишь для антисоветской пропаганды, а с другой — сколь противоречивы суждения многих исследователей, стоящих на позициях отвлеченно «эстетического» истолкования творчества советских писателей. Как и в других своих работах, точен, доказателен, политически остер А. Дымшиц, разоблачающий клеветнические нападки «специалистов» вроде Элены фон Сахно или Н. Струве на современные литературы народов СССР и ленинскую национальную политику КПСС.

Книга «Литература в изменяющемся мире», без сомнения, найдет внимательного и отзывчивого читателя.

Новизна, отличающая этот коллективный труд, не только в обильном и еще во многом недостаточно известном советскому читателю фактическом материале, но в углубленной разработке важнейших аспектов теории социалистического реализма: его принципиальной противоположности буржуазному модернизму, его эстетического богатства и многообразия, особенностей утверждаемых им концепций современного человека. Но на мой взгляд, недостаточно оценивать сборник лишь как «явление в себе», как одну из очередных полезных и нужных книг. В качестве коллективной работы литературоведов социалистического содружества она — одно из первых у нас и поэтому многообещающих изданий, на очереди, видимо, новые — и разнообразные по тематике — коллективные труды подобного рода, которые станут убедительным свидетельством нашего дальнейшего продвижения вперед в разработке актуальных проблем марксистско-ленинского литературоведения.

◆



И. МЛЕЧИНА

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН И ЕГО «ЗЛЫЕ КНИГИ»

В начале 50-х годов в ФРГ один за другим вышли три романа Вольфганга Кёппена — «Голуби в траве», «Теплица», «Смерть в Риме»[1], принесшие ему мировую известность. Однако в собственном отечестве Кёппен так и не стал популярным автором, произведения его не значились в списках бестселлеров. Западногерманская критика, за немногими исключениями, встретила эти романы с холодным недоброжелательством, даже откровенной враждебностью.

Кёппен с самого начала слыл «неудобным» писателем — подобно Кетенхейве, герою романа «Теплица», он был «вирусом беспокойства», «крупинкой соли» в затхлой атмосфере обывательского равнодушия. Его произведения резко контрастировали с общей духовной ситуацией в ФРГ 50-х годов — они будоражили, они апеллировали к совести западногерманского бюргера, всех тех, кто старался вытеснить из памяти, предать забвению времена фашизма. Кёппену не могли простить сатирической непримиримости по отношению к тому реакционному политическому курсу, который был навязан Западной Германии правящими кругами. «Его агрессивность по отношению к нацистскому наследию, его настойчивое возвращение к прошлому не соответствовали новому стилю начинавшейся «эпохи процветания»,— констатировала газета «Ди цайт».

После разгрома фашизма передовая интеллигенция рассчитывала, что развитие страны пойдет по демократическому, миролюбивому пути. «Благодаря невероятному благу тотального поражения Германия обладает силой для тотального преобразования»,— писал Альфред Андерш. Как известно, такая коренная перестройка не состоялась, «благо», о котором говорил Андерш, не было использовано, и это вызвало крайнее разочарование, душевную боль, скепсис у многих демократически настроенных писателей-антифашистов. Они с тревогой наблюдали за начинающимся процессом реставрации: недобитые гитлеровцы с почетом возвраща-

[1] Эти романы составили однотомник произведений В. Кёппена, вышедший в русском переводе в 1972 году (серия «Мастера современной прозы» издательства «Прогресс»).

лись на свои места, избежавшие возмездия нацистские преступники уютно устраивались на новых должностях; на книжный рынок хлынула волна мемуаров гитлеровских генералов, обелявших вермахт и прославлявших доблести «германского солдата». Вместе с растущим «просперити» в стране на долгие годы укоренялась атмосфера «непреодоленного прошлого»; определяющими тенденциями политической жизни становились милитаризация и реваншизм. В этой ситуации литературная деятельность Кёппена была, по справедливому замечанию критика Стефана Райнхарда, «одной из важнейших контрпозиций».

Кёппен ощущал себя свидетелем, обязанным сказать правду — правду о пережитой катастрофе, о чудовищных заблуждениях немцев, о безумии и варварстве, правду, которая должна была стать предостережением. В автобиографических зарисовках писатель так передает свое жизнеощущение тех лет: «...я удивился, как много появилось невиновных, которые всплыли откуда-то и уткнулись в свои кормушки, виновных, которые сохранили или улучшили свои позиции, всех тех, кто ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знал и ничему не научился. Я жил. Мне было плохо. У меня была свобода и свобода голодать... Однажды ко мне пришел Генри Говертс, издатель. Он спросил меня: «Почему вы больше ничего не пишете?» Тогда и я задал себе вопрос: чего я ждал все эти годы?..»

Вольфганг Кёппен, которому в этом году исполняется семьдесят лет, был одним из первых западногерманских писателей, кто с такой искренней тревогой и такой разоблачительной силой заговорил об опасности «непреодоленного прошлого», об угрозе, которую таили невырубленные корни нацизма в общественной и политической жизни ФРГ, в человеческом сознании. Нас и сегодня потрясает политическая прозорливость, гражданская непримиримость, беспощадность сатирического гнева, с каким он обрушился на реакционные круги западногерманского общества, увлекавшие страну на чреватый новыми катастрофами путь.

И хотя творчество Кёппена не свободно от слабостей, коренящихся во внутренней противоречивости его мировоззрения, мы видим сегодня в его произведениях послевоенной поры — оценивая их с уже значительной временной дистанции — прежде всего яркий талант сатирика, силу художника, честно и непримиримо сказавшего правду о своей стране, ощущаем боль и гнев его сердца, слышим его беспощадный голос, осуждающий милитаризм, варварство, бесчеловечность.

■

Кёппен родился в 1906 году в Грейфсвальде, детство его прошло в Восточной Пруссии, на Мазурах. После гимназии он изучал философию, театроведение, историю литературы, много путешествовал, объездил Италию, Францию, Нидерланды. Он пробовал свои силы в театре — был актером, помощником режиссера; потом обосновался в Берлине — работал в газете «Берлинер Берзен-курир» до 1934 года, когда неугодный фашистским властям орган печати перестал существовать. Кёппен писал репортажи, рецензии на спектакли, на фильмы и книги. Это был, кстати, единственный период в его жизни, когда он имел постоянную, «штатную», работу.

В Берлине Кёппен много общался с писателями, художниками, актерами, журналистами, был завсегдатаем берлинского «Романского кафе», где собиралась художественная интеллигенция. В знаменитом эссе «Кафе» (1965) он метафорически воспроизводит историю немецкой интеллигенции этого периода, трагедию людей, на которых обрушился ужас нацистского террора. «Романское кафе» предстает в этом эссе (занимающем четыре страницы и состоящем из одной фразы) как символ творческого духа, как обетованная земля немецкой культуры, где сконцентрированы ее традиции, где живет дух свободы. И вот разом все сметено, словно смерч пронесся над старым берлинским зданием — смерч нацизма: «...посетители кафе рассеялись по всему свету, или были посажены в тюрьмы, или были убиты, или покончили с собой, или покорились...» Для Кёппена как художника и человека фашизм означал гибель всего живого, был равнозначен рабству и смерти: «...и я знал, что я умер, в это время, в эти годы, хотя я и не был повешен, или убит, или сожжен...» Это трагическое жизнеощущение навсегда определило характер мышления и творчества художника.

В 1934 году Кёппен выступил со своим первым романом «Несчастная любовь». Известный критик Герберт Иеринг назвал его тогда «шедевром прозы, обещанием художника, великолепной книгой». Другой критик, «коричневого» толка, заявил, что автора надо за эту книгу отправить в «трудовой лагерь». Через год появился второй роман Кёппена — «Стена качается». Писал его Кёппен в Голландии, куда уехал вскоре после прихода Гитлера к власти. Там же был написан и еще один роман, рукопись которого пропала. Больше Кёппен в годы фашизма не опубликовал ни строки.

■

Первые романы Кёппена уже дают весьма точное представление как об особенностях его творческой манеры, его взгляда на действительность, так и о характерных противоречиях его мировоззрения. В то же время — и это важно подчеркнуть — произведения довоенной и послевоенной поры, вышедшие из-под его пера, не сопоставимы по художественному уровню, по зрелости мысли.

Сюжетную основу первого романа составляет история любви юноши Фридриха к актрисе второразрядного варьете Сибилле. Любовь эта, безграничная и тоскливая, заставляет героя колесить по свету, переез-

---

И. МЛЕЧИНА

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН И ЕГО «ЗЛЫЕ КНИГИ»

жать через границы, метаться по «чужим странам», чтобы увидеть возлюбленную, встретиться с ней хотя бы на короткое время — без надежды на взаимность.

Выходец из мелкобуржуазной среды, Фридрих испытывает неодолимое влечение ко всему, что противостоит буржуазному началу,— коллизия, которую переживают едва ли не все кёппеновские герои. Сцены юности Фридриха, его работы на заводе, его полунищенского быта вызывают ассоциации с мотивами Кафки. Здесь та же атмосфера смутного отчаяния, необъяснимой внутренней напряженности.

Юноша ощущает склонность «ко всему цыганскому», его, словно Алеко, притягивает «цыганский табор» — бродячие актеры, среди которых живет Сибилла. Она и воплощает в его глазах эту свободную стихию, эту несвязанность, неподвластность нормам буржуазного общества.

Одиночество предстает здесь как непреодолимое, исконное человеческое состояние. Любящих разделяет «стеклянная стена», и эта неоднократно повторяющаяся метафора наиболее точно выражает суть романа — мысль о разобщенности или, говоря современным языком, о неконтактности, некоммуникабельности.

Та же незримая «стеклянная стена» отделяет Фридриха от остальных людей. Он мечтает о торжестве добра, о теплоте человеческих отношений. На миг, словно видение, мелькает перед его глазами картина таких идеальных отношений: в поезде его случайные попутчики, молодые матросы, бережно и целомудренно охраняют сон молодой девушки, невесты их отсутствующего товарища. Это зрелище западает в душу впечатлительного Фридриха как реализованная идея чистой любви, добра. Сам он и не помышляет о том, чтобы добиться возлюбленной силой, ибо не желает «счастья победителя», счастья, «завоеванного ценой растоптанного достоинства другого человека». В этом уважении к человеческому достоинству, к личности — гуманистический смысл романа. Нащупанная уже тогда, остро прочувствованная писателем тема человеческого одиночества таит в себе, хотя пока и не оформленный, элемент будущей яркой социальной критики.

В художественном отношении «Несчастная любовь» — это проба пера, несущая на себе печать таланта, но в то же время и неопытности, незрелости автора. Однако уже здесь по эмоциональной напряженности прозы, образности и метафоричности, пристрастию к символике угадывается будущий Кёппен, ощущается характерное для его послевоенного творчества сочетание внутренней энергии и меланхолии, трезвого наблюдения и экспрессионистского экстаза, брызжущего темперамента и элегической медлительности, сухой, почти очерковой деловитости и патетики. Обращает на себя внимание точность композиционного построения, редкая для начинающего писателя.

В романе «Стена качается» возникают некоторые сходные мотивы и характеры. Действие происходит во время первой мировой войны — метафорическое название откликается на эту эпоху крушения и ломки: стена старого мира качается, дает трещину, а вместе с ней близок к краху «буржуазный век».

Герой романа, архитектор Иоганнес фон Зюде, «еще очень молодой человек порядочных трезвых убеждений», обладающий в то же время особым «взглядом художника»,— выходец из старой, верной прусским государственным устоям чиновничьей семьи. Он с детства привык почитать понятие «долг», служение долгу представляется фон Зюде, следующему семейной традиции, едва ли не высшей формой нравственности. И все же молодой архитектор — уже не тот беспрекословный исполнитель приказов, какими были испокон веку другие представители этого семейного клана. Он пытается как-то конкретизировать содержание этого понятия и приходит в конце романа к выводу, что само по себе оно не имеет ценности, что смысл ему может придать лишь достойное содержание. Впрочем, забегая вперед, надо сказать, что «высший смысл» долга так и остается чем-то расплывчатым, до конца не проясняется.

В поисках нового, неизведанного Иоганнес фон Зюде едет в некую «южную страну». Возникает прямая аналогия между положением в фашистской Германии и ситуацией в этой вымышленной стране. И здесь и там господствуют террор, атмосфера недоверия, страха и ненависти: «Ты знаешь, о чем шепчут здесь за занавешенными окнами и законопаченными дверными щелями, когда обсуждают дела правящих и те беды, которые несут они с собой?.. На людях — ни одного откровенного разговора, ни одного открытого лица. Выражение лиц сразу становится безразличным, все делают вид, будто идут по своим делам. И все же живее, чем собственная жизнь, вкус крови на языке каждого, кто подумает об умерщвленных, о забитых и униженных. Но каждый не доверяет каждому. Повсюду грозит предательство. Друг больше не верит другу, и только те, кто уже связан пролитой кровью, кто вступил в заговор, раскрывают друг другу правду о том, что они думают...»

Герой знакомится во время путешествия с людьми, каких не встречал прежде. Это «заговорщики», стремящиеся «отменить порядок», «нарушающие покой». Среди них — молодая девушка Орлога, общение с которой многое меняет в системе представлений фон Зюде. Орлога пылает ненавистью к богачам, к людям, которые озабочены «своим золотом», но никогда «не спрашивают о жизни и воле народа». Мысленно герой ощущает себя рядом с Орлогой и ее товарищами, но его, как и Фридриха от окружающих, отделяет от этих людей незримая граница, перешагнуть которую он не в состоянии.

Роман проникнут настроениями смутного антибуржуазного протеста, расплывающегося в романтической патетике. Кёппен выступает здесь, как, впрочем, и повсюду в своих произведениях, в защиту слабых, преследуемых, угнетенных. Однако позитивные представления героев чрезвычайно

зыбки, размыты нечеткостью мысли самого автора. Характерно, что Кёппен запретил переиздание этого романа после войны — такой запрет недвусмысленно свидетельствует о том, что писатель отошел, «дистанцировался» от провозглашенных им здесь идей.

И хотя в его творчестве после 1945 года слышны отголоски прежних мотивов, тем не менее Кёппен, каким он предстает в романе «Голуби в траве» (1951),— это, по существу, уже писатель другой темы, пишущий на ином, неизмеримо более высоком идейно-художественном уровне. Произведения послевоенной и довоенной поры отделены друг от друга не просто шестнадцатью годами молчания автора — между ними пролегла целая эпоха, изменившая сознание художника, наложившая отпечаток на его мировоззрение, стиль, образы.

■

В романе «Голуби в траве» возникает впечатляющий срез западногерманской действительности первого послевоенного периода. Его сюжет складывается из множества параллельных эпизодов, происходящих в оккупированном американцами Мюнхене, и охватывает один день 1948 года. Город еще не успел залечить раны, нанесенные войной, а уже зловещими ростками проступает прошлое — расовые предрассудки и ненависть к инакомыслящим, тоска по сильной руке и «старым добрым временам». Дух прошлого кажется неистребимым, настойчиво лезут из всех щелей остатки «коричневого рейха», и смутно, но ощутимо возникает угроза новой бойни, новой бесчеловечности, грядущей катастрофы.

Однако мало кто из персонажей романа способен сделать выводы из прошлого. Большинство покорно и бессмысленно бредут навстречу неясному будущему — жители послевоенного Мюнхена, солдаты американской армии, белые и негры, старики и дети, актеры, писатели, мелкие буржуа, темные дельцы. Они бездумно гонятся за лихорадочным темпом возвращающегося к жизни большого города — люди, для которых главной фигурой становится «Меркурий с полным кошельком».

Словно «голуби в траве», подвергаясь опасности попасть в силки птицелова, порхают они, «гордясь своей вымышленной, ничего не дающей, кроме нищеты, свободой». Так интерпретируется — устами писателя Эдвина — смысл метафорического заглавия романа, слова Гертруды Стайн о «голубях в траве». Образ этот близок мироощущению самого Кёппена — не случайно эпиграфом к следующему роману он сделал слова Гарольда Никольсона о «людских умах и сердцах», которые бьются, «подобно беспомощным коноплянкам в силках».

И все же, хотя внешне поступки кёппеновских героев кажутся бессмысленными и случайными — «голуби в траве»,— каждая из судеб здесь обусловлена вполне конкретными историческими обстоятельствами — в этом наиболее заметно то развитие, которое проделал писатель со времени «Несчастной любви», где фигуры существовали как бы вне связи с социальными и политическими реалиями. Герои романа «Голуби в траве» — порождение своего времени, люди, несущие на себе неизгладимую печать национальной трагедии: писатель Филипп, разучившийся писать под влиянием пережитой катастрофы, потерявший веру в себя, в свое слово, в людей; молодая вдова Карла, полюбившая негра Вашингтона и ждущая от него ребенка, будущее которого в мире расового неравноправия страшит ее; сам Вашингтон, добрый и честный человек, полный любви и надежд, мечтающий о мире, где все равны и где никого не преследуют за цвет кожи; эмигрантка Генриетта, спасшаяся в Америке от фашистского концлагеря и не желающая возвращаться в Германию... Жизнь всех этих людей изуродована, деформирована фашизмом и войной, миром, где господствуют предрассудки, жажда наживы и ненависть. И все они одиноки, «некоммуникабельны» — прежний кёппеновский мотив «стеклянной стены» звучит здесь снова, но обретает более четкий социальный смысл.

Судьбы персонажей романа, многие из которых не ведают друг о друге, переплетаются и скрещиваются: люди встречаются в оживленном уличном потоке, в потоке жизни, сталкивающей и разъединяющей их. Эта параллельность и синхронность действия находит отражение в структуре романа, который представляет собой монтаж из коротких главок-эпизодов — их около ста десяти.

Для романа «Голуби в траве» характерно широкое применение стилевых средств кинематографа (Альфред Андерш говорит о «глазе кинокамеры», которым пользуется Кёппен): монтаж, постоянная смена угла зрения и дистанции к изображаемому, синхронная передача действия. При этом эпическое повествование от третьего лица, авторский комментарий сочетаются с внутренним монологом, к которому особенно охотно прибегает автор. Он считает, что этот прием «наиболее соответствует нашему восприятию, нашему сознанию, нашему горькому опыту».

Кёппен мастерски пользуется техникой современного письма, отдельные элементы которой почерпнуты им у Альфреда Дёблина, Дж. Джойса, Дос Пассоса. Напоминающие манеру Джойса ассоциативные перечисления, нанизывание существительных, глаголов, целых частей фраз, объединение их в длинные комплексы стилистически соответствуют передаваемому в романе настроению лихорадочно бегущего потока жизни, текучести времени, напряженности, тревоги. Как и у Джойса в «Улиссе», действие сконцентрировано в пределах одного дня, ограничено пространственными рамками большого города, где скрещиваются человеческие судьбы, где картина, сложенная из мозаичных деталей, передается через восприятие различных персонажей. В какой-то мере ощущается и сходство с романом

Дёблина «Берлин, Александерплац». И все же этот роман — а последующие в еще большей степени — со всей отчетливостью подтвердил, что Кёппен учился не только у Джойса, Дёблина и Дос Пассоса, но и у великих реалистов прошлого, в частности у русских, у Достоевского, которого он чрезвычайно высоко ценит.

Роман «Голуби в траве» заключал в себе не только сигнал опасности, предупреждение об угрозе, но и таил еще робкую надежду — на то, что будущее все же окажется мирным, достойным человека, надежду слабую, тускло мерцающую сквозь частокол человеческих трагедий, на фоне четко обозначившейся угрозы — «время дорого, оно лишь промежуток...». В «Теплице» (1953) на смену этой робкой надежде приходит отчетливый скепсис, общая интонация романа — более напряженная, более драматическая.

Местом действия становится Бонн — его улицы и дома, коридоры и залы бундестага, редакции газет, кабинеты политиков. Перед нами в точных и ярких красках оживают политические будни Федеративной Республики, уже вполне определенно и недвусмысленно ставшей на путь ремилитаризации и реванша. На сей раз это не намек, а трезвый, лишенный всяких иллюзий анализ боннского политического курса. С большой художественной выразительностью передан климат западногерманской столицы, атмосфера начинающейся эры потребления, забвения позорного прошлого и нового бряцания оружием.

Герой романа Кетенхейве, по характеристике автора,— «человек совести и, таким образом, источник всяческих неприятностей». После разгрома фашизма он вернулся из эмиграции на родину, чтобы участвовать в перестройке общества, способствовать рождению антифашистской демократической миролюбивой Германии — «создать для нации новые основы политической жизни и демократической свободы». Однако вскоре он понимает, что ему не выиграть битвы против возродившегося безумия: в Западной Германии снова властвует ненавистный ему дух милитаризма, снова заправляют генералы — «раковая опухоль на теле народа». В бундестаге предстоят дебаты о вооружении: «Игра опять началась. Старая игра? Старая игра». Эта зловещая «игра» означает новые войны и новые могилы.

В характере Кетенхейве отчетливо подчеркиваются и ставятся на первый план донкихотские черты — он друг униженных, человек, жаждущий добра, и он должен понести наказание за свою доброту и стремление помогать страждущим. Своим сочувствием к угнетенным, бесправным Кетенхейве весьма близок другим героям писателя — Фридриху, фон Зюде, особенно Филиппу. Но Кетенхейве в то же время — первый из кёппеновских героев, кто стремится преодолеть свою пассивность, порицает себя за то, что «стоял в стороне»,— равнодушие, безучастность выглядят в его глазах преступлением. К тому же его «всегдашнее отвращение к злу» носит не абстрактный характер, как у Филиппа. Зло воплощено для Кетенхейве в боннской столице с ее «тепличным климатом», в котором нет «ни молодости, ни здоровья», где «все прогнило, состарилось», где все источает яд, все губительно для человека. Зло воплощено в милитаризме, в невыкорчеванном до конца нацизме, националистическом чванстве, в германской военщине, в политиках, возвращающих страну на старые рельсы. Он видит интриги внутри партий и парламента, оппортунизм своих коллег, фальшивый блеск фасадов, продажность прессы, ложь государственных мужей, цинизм, жажду наживы, отсутствие моральных принципов. Люди, которые его окружают,— это сборище злых духов. Многие из них сделали карьеру в нацистские времена и благополучно продолжают свою деятельность в боннской «теплице». Кетенхейве с ужасом наблюдает, как активизируются и наглеют все эти «ловкачи, стреляные воробьи процедурных вопросов, киты регламента», члены комитетов, похожие на игроков, сидящих за рулеткой,— только игра здесь ведется «на людей, на крупные суммы, на будущее». В отличие от «Голубей в траве», где монтаж эпизодов воспроизводил фрагментарные картины жизни множества персонажей, в «Теплице» картина действительности передается через восприятие одного героя, преломляется через его сознание.

Раздираемый противоречиями, герой воображает себя в разных социальных ролях, иронически «примеривает» разнообразнейшие жизненные маски. Он до конца не теряет этой способности наблюдать за собой со стороны, беспощадно оценивая свои поступки, жесты и даже мысли с точки зрения существующих общественных норм. Он с издевкой смотрит на себя глазами этого общества, представляет, как окрестила бы его пресса, какой заголовок придумал бы бойкий журналист, пытаясь придать афористичность своей речи. При этом Кёппен с блеском обыгрывает рекламные лозунги, официальную пропагандистскую лексику, расхожие газетные штампы. Выступая в бундестаге, Кетенхейве мысленно называет себя «героем экрана»; заказывая бутылку вина — «великим пьяницей»; познакомившись с юной Гердой — «другом детей»; узнав, что его хотят отправить в Гватемалу, чтобы избавиться от него,— «посланником, его превосходительством».

Изображение в романе предельно субъективировано. Мироощущение Кетенхейве трагично, и трагедия его усугубляется неспособностью увидеть те силы западногерманского общества, которые могут противостоять «коричневой угрозе». И тем не менее такая сосредоточенность на переживаниях героя, на его внутреннем мире не препятствует созданию весьма многогранной картины боннской действительности, отражению вполне конкретных социально-политических явлений. В восприятии критически настроенного, разочарованного че-

ловека образнее, зримее предстает политический и нравственный климат ФРГ.

Сатирически-гневное, яркое изображение боннской сцены делает этот роман выдающимся художественным документом времени. Соотнесенность с политическими реалиями, придававшая ему абсолютную злободневность в начале 50-х годов, не снимает эффекта актуальности и в наше время, подтверждает его художническую прозорливость и глубину видения.

Злая сатира на боннское государство с характерными для того времени неонацистскими и реваншистскими тенденциями содержится и в следующем романе Кёппена — «Смерть в Риме» (1954)[1]. По силе и беспощадности обличения это одно из самых впечатляющих и ярких произведений западногерманской литературы.

На сей раз автор переносит действие в итальянскую столицу, но судьбы, действия, размышления героев неразрывно связаны с Западной Германией. Роман стилистически близок к двум другим послевоенным романам Кёппена — та же густая, метафорически насыщенная ассоциативная проза. Кёппен создает здесь строгую и точную новеллистическую композицию, которая соответствует его стремлению представить судьбы различных людей, встречающихся в «вечном городе»,— непосредственное действие охватывает всего несколько часов. Люди, которых Кёппен сводит в Риме, воплощают характерные социальные и политические группировки ФРГ.

Одной из центральных фигур романа автор делает нацистского преступника, эсэсовского генерала Юдеяна, заочно приговоренного в Нюрнберге к смерти и скрывающегося в одном восточном государстве, по заказу которого он закупает в Риме оружие. Он и сегодня еще убежден, что поступал правильно, служа фюреру и рейху, оправдывает совершенные им массовые преступления, с садистским наслаждением вызывает в своей памяти образы замученных им людей, фотокадры, запечатлевшие нагих женщин на краю рва, груды мертвых тел, убитых детей и стариков. Юдеян — палач, от него веет «трупным запахом»: «Сам он был смертью, грубой, подлой, неповоротливой, бездарной смертью».

Если Юдеян — фигура демоническая, чудовищно-гротескный символ, воплощение зла, разрушения, смерти, то его родственник Пфафрат, с которым он встречается в Риме,— личность подчеркнуто заурядная, лишенная всякой исключительности. Юдеян погибает в конце романа (охваченный приступом садистской ненависти, он убивает жену всемирно известного дирижера Кюренберга Ильзу и сам умирает от удара). Пфафрат же, этот малоприметный и столь заурядный тип, благоденствует: бывший «распорядитель финансов фюрера» теперь снова на коне, он бургомистр, «отец города», обладает властью и связями. Он вездесущ, таких, как он, множество, они проникли во все поры боннского государственного аппарата, заняли руководящие посты, они направляют страну по опасному пути. Пфафрат лелеет надежду вернуть зловещего вояка в ФРГ, снова «интегрировать» эсэсовского палача в боннскую систему, и сам этот план, который вовсе не кажется ему нереальным, полон чудовищного смысла: западногерманское общество созрело для того, чтобы снова принять в свое лоно «блудного сына», которому чудом удалось избежать петли.

Достойное место в ряду этих чудовищных последышей рейха занимает и верная жена Юдеяна Ева, слепо преданная «фюреру», мечтающая о возвращении «старых порядков». Фанатичная в своей ненависти к человечеству, в своей вере в фашизм, она, подобно Юдеяну, предстает как устрашающая аллегория зла, оставаясь в то же время живой фигурой, достоверность которой подтверждена самой историей Германии[1].

Таково «поколение отцов». Что же представляют собой сыновья? В Рим — на конкурс современной музыки — приезжает сын Пфафрата Зигфрид, талантливый молодой композитор, порвавший со своей семьей, ненавидящий Юдеяна и все, что он воплощает,— фашизм, войну, казарменный дух, насилие. Зигфрид — персонаж, наиболее близкий автору. События в романе, характеры, их отношения в значительной мере представлены именно его глазами — через внутренний монолог Зигфрида, через прямое повествование от его лица. Зигфрид не может простить Юдеяну, Пфафрату, всему их поколению, что они «развязали войну и принесли людям ужасные страдания... безжалостно все разрушили и превратили нашу отчизну в такую страну, где царит нетерпимость, глупость, мания величия, в страну тюрем, солдафонов и виселиц». Не может простить им, что они «убивали людей или преспокойно сидели в своих уютных домах, зная, что людей убивают».

Зигфрид духовно близок другим излюбленным персонажам Кёппена — Фридриху, в чем-то Кетенхейве, но особенно Филиппу: тот же тип художника, который с болью ощущает диссонансы человеческих отношений, не находит контакта с обществом, испытывает глубокий страх и разочарование. Подобно Филиппу, Зигфрид — сторонний наблюдатель, человек, который видит пороки, страдания, ложь, но который убеж-

[1] Опубликован в «Иностранной литературе» № 10 за 1965 г.

[1] Характерно, что спустя почти полтора десятилетия другой западногерманский писатель, очень, кстати, высоко ценящий Кёппена, создал женский образ, во многом, как нам кажется, близкий Еве Юдеян. Речь идет о жене полицейского Иепсена, матери Зигги, из романа Зигфрида Ленца «Урок немецкого»: тот же слепой фанатизм, та же жестокость и беспрекословная вера в фюрера и рейх, которая заставляет ее не щадить родных детей, бешено преследовать и травить собственного сына, дезертировавшего из вермахта.

И. МЛЕЧИНА

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН И ЕГО «ЗЛЫЕ КНИГИ»

ден в тщетности всяких попыток изменить этот мир.

Он не верит ни во что, кроме музыки,— веру отнял нацизм. Порой в нем еще вспыхивает надежда, возникает жажда общения — ему хочется почувствовать в молодежи, которую он видит на римских площадях, своих друзей, но слово «камрад» навсегда отравлено навязанной ему с детских лет казармой: «Гитлер, Юдеян, мое семейство, нацистская школа — они отняли у меня веру в любое объединение». Мотив человека, порвавшего с семьей, окружением и избравшего артистический путь, многотрудный путь художника в мире коммерции и подлости, еще не раз повторится в западногерманской литературе. Этот конфликт, многократно возникающий в мировой литературе, обрел в условиях Западной Германии особый смысл, коренящийся в недавней истории: за ним стоит расчет новых поколений с преступным прошлым отцов.

Автор приводит в древнюю столицу, в «вечный город» и других «сыновей», сверстников Зигфрида. Среди них и младший отпрыск Пфафратов Дитрих, родной брат Зигфрида, фигура совсем иного плана. Многообещающий молодой карьерист вполне уютно чувствует себя в обществе отца. Его мало тревожат нравственные проблемы, мысли о преступном прошлом. И даже Юдеян не очень смущает его: сегодня, пожалуй, дядюшка не лучший козырь, но расчетливый Дитрих уже точно прикинул, что близко то время, когда такое родство окажется почетным. Дитрих предстает как символ возродившегося прошлого, тупого, рабского казарменного духа — «представитель порядка, государства и твердой власти». Юный Пфафрат и его папаша воспринимаются как прямые наследники Дидериха Геслинга из «Верноподданного» Генриха Манна.

В трилогии Кёппена — и это уже отмечала советская критика—проступает и заметная ограниченность его взгляда на реальность. Проявляется она в неспособности художника увидеть и показать активные, живые, противостоящие реакции силы западногерманского общества. Его герои — Кетенхейве, Зигфрид — предельно изолированы, они не находят и не ищут единомышленников; в этом источник их трагедии.

■

«Смерть в Риме» — последний из написанных Кёппеном романов. В конце 50-х — начале 60-х годов он выступает с несколькими книгами путевых очерков. По манере и стилю, сатирически-отчуждающему взгляду на действительность, способности замечать и воспроизводить мельчайшие детали повседневности очерки эти непосредственно связаны с романами Кёппена — они написаны с позиций того же взволнованного и неравнодушного наблюдателя, искренне озабоченного состоянием человека в окружающем его мире. Жанр путевого очерка оказался естественным, органичным для Кёппена — его героями владеет жажда «перемены мест», все они презирают оседлый образ жизни, ощущают себя эмигрантами и чужеземцами повсюду, прежде всего у себя на родине.

Наиболее интересной, значительной по содержащемуся в ней социальному обобщению представляется книга очерков «Путешествие в Америку» (1959). Кёппен создает здесь яркую мозаичную картину, складывающуюся из отдельных сцен, набросков, коротких эпизодов. Обилие наблюдений не вытесняет направляющей мысли художника. Взгляд его проникает вглубь явлений, и тогда за благопристойностью и благополучием американского образа жизни открываются глубокие социальные противоречия и конфликты.

Писатель снова и снова подчеркивает полную и нераздельную власть капитала в жизни американцев, этой «расы покупателей», которые «с благоговением говорят о долларе». Внимательно смотрит Кёппен на эту страну, содрогается перед трагедией ее расовых конфликтов, взаимной ненавистью, разделяющей обитателей белых и негритянских кварталов. В Новом Орлеане расовая вражда особенно бросается в глаза писателю: «В Новом Орлеане было что-то испорчено, в Новом Орлеане улица настраивала на печальный лад». В этом городе, где «белые таксисты — для белых, черные — для черных», он вспоминает о Фолкнере, об «отчаянии», о «темных штатах расового разделения». В Вашингтоне на границе между белыми и негритянскими кварталами он испытывает острое чувство одиночества — «особое американское одиночество, которого американцы боятся и которое ненавидят...».

Вспоминая историю Америки, размышляя об ее трагедиях, о гибели людей ради золота, Кёппен признается: «Я не стал бы завоевывать Америку, даже сегодня, даже из надежного купе поезда она казалась мне непреодолимой в своем величии, своей пустоте, своем одиночестве, своей противоречивости и черствости, своем бесчеловечном величии и своей естественной необузданности».

Повсюду в путевых очерках Кёппена — описывает ли он путешествие во Францию, Голландию, Испанию или другие страны — возникает мысль о войне, о разрушениях, о бессмысленной гибели людей, о преступлениях фашизма, и самые мирные картины вызывают у него воспоминания об ужасах учиненной нацистами бойни. Оглядывая спокойные «игрушечные ландшафты» Голландии, парки, сады, цветы голландских городов, он вспоминает Роттердам, разрушенный во время войны: «Роттердам был после Варшавы первым памятником позора, первым большим европейским городом, который в один день, за несколько минут превратился в развалину, и ужас сковал мир...» Тени второй мировой войны еще не рассеялись — Кёппен не устает напоминать об этом.

■

Кроме фрагментов и немногочисленных публикаций в журналах (отметим среди них материалы «С рабочего стола» писателя — отрывки, черновики, фрагменты, записи, опубликованные в 1972 году в журнале «Текст унд критик»), Кёппен ничего не напечатал за годы, минувшие после выхода в свет его путевых очерков. Писать для газет он отказывается, он отклонил предложение журнала «Штерн» совершить и описать путешествие в Японию, страну, которая его всегда привлекала. В отказе печататься, писать «по заказу» сказывается нежелание Кёппена приспосабливаться к нравам и нормам буржуазного «литературного производства», отвращение к «паблисити», к необходимости «выходить на рыночную площадь» и «продавать себя». Это его нежелание «писать за деньги» проявилось и в истории с неоконченным и заброшенным «развлекательным» романом, который он попытался однажды написать по заказу. Это было, пишет Кёппен, «много лет назад, когда наступил экономический подъем, а я голодал. Меня порекомендовали редактору одного иллюстрированного журнала, который был очень любезен и предложил мне написать развлекательный роман. Чтобы продать себя, я выбирал сферы действия, по большей части мне чуждые: автогонки, светская жизнь, спорт, сенсации, мечты богачей. Я ориентировался на интересы читателей, как их изобразил мне редактор. Так или иначе я сочинил эту историю. Она провалилась вместе со мной... Работа эта показывает муки писания за деньги...»

В прессе ФРГ в последние годы не раз мелькали сообщения о том, что Кёппен заканчивает работу над новым романом, действие которого должно происходить в Америке (рабочее название «Бисмарк и все наши слезы»). Однако роман пока так и не появился.

Всегда нелегко разобраться в причинах кризиса, переживаемого художником, и все же некоторые из них, видимо, можно назвать. Натура впечатлительная и ранимая, откликающаяся на боль и страдания людей, Кёппен трагически воспринял разрыв между своими надеждами, представлениями о будущем страны и фактическим развитием ФРГ в 50-е годы. Враждебная реакция критики тоже мало способствовала творчеству. И хотя Кёппен, по его собственным словам, воспринял это недоброжелательство спокойно, однако мысль, что он не понят, крепнущее ощущение непреодолимого конфликта между художником и враждебной действительностью самым отрицательным образом отозвались на его работе. Это подтверждают сегодня и западногерманские литературоведы, один из которых прямо пишет о том, что «непосредственная реакция на его книги» помешала Кёппену «осуществить свои задачи».

К трудностям творческим присоединяются трудности житейские — крупнейший писатель ФРГ живет в материальной нужде, которая надламывает его. «Я без сил,— пишет он своему биографу Кристиану Линдеру,— я без сил сегодня, завтра, послезавтра. Я пытаюсь окончить свою книгу, а в остальном все рушится вокруг меня; на большее у меня нет сил, хотелось бы надеяться, что их хватит хотя бы на это, на литературу». В последнее время он все чаще говорит о «закате», «конце», о приближающейся старости, о неспособности «хоть как-то обеспечить себя»: «У меня нет ни пенсии, ни состояния, ни ренты, ни больничной кассы, ни страховки — все это вещи, которые в буржуазном смысле можно обозначить как закат или, по меньшей мере, как угрозу заката...»

В 1967 году автору настоящих строк удалось увидеться в Мюнхене с Вольфгангом Кёппеном — слово «удалось» употреблено здесь потому, что уже тогда Кёппен редко встречался с журналистами, почти не давал интервью. Он произвел впечатление чрезвычайно скромного, застенчивого, мягкого и деликатного человека. Кёппен охотно ответил на вопросы о своей работе, о творческих планах. Забегая вперед, скажу, что, встретившись с писателем спустя три года в том же Мюнхене, я уже почти никаких сведений о его работе получить не могла. Он казался мрачнее и был неразговорчив. Это наблюдение полностью совпадает с тем, что отмечают западногерманские критики: они говорят о затрудненности общения с Кёппеном, его нежелании беседовать о собственных проблемах.

Но тогда, в ту первую встречу, писатель довольно подробно рассказал о том, что работает над двумя книгами. Одна из них должна быть, по его словам, посвящена «политической теме, точнее — политическому убийству». Действие второй будет происходить в Германии в период с конца первой до конца второй мировой войны — речь шла о человеческой судьбе на фоне событий истории. «Трудность, с которой приходится бороться,— сказал Кёппен,— заключается в том, что в этом сюжете слишком много автобиографического. Впрочем, оттого он мне и ближе. В этой книге будет много нищеты и отчаяния, много безнадежного и абсурдного, потому что безнадежны и абсурдны были украденные Гитлером годы. Это будет «роман воспитания», написанный без всякого сожаления к самому себе и своим близким. Это будет очень злая книга — признание, откровение, письмо к богу...»

«Меня очень волнует тема противоречия между человеком и действительностью здесь у нас, в ФРГ,— продолжал Кёппен.— Эта тема всегда остается, ибо действительность враждебна художнику, враждебна личности. То коренное изменение, которого мы ждали с конца войны, с момента крушения национал-социализма, так и не наступило... Я видел недавно киноленту — засня-

---

И. МЛЕЧИНА
ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН И ЕГО «ЗЛЫЕ КНИГИ»

то было собрание неофашистов. Это действительно опасность. Пока их мало. Но если будет что-нибудь не в порядке с нашим «вольштандом», нашим благополучием, вот тогда это станет серьезно...»

Разговор происходил накануне рождества, и Кёппен с огорчением говорил о коммерческой суетливости, в которую выливались рождественские приготовления. «Это стало у нас чисто коммерческим делом — на рождестве обогащаются бизнесмены, торговцы. Каждый несет свои последние деньги и покупает вещи, которые ему, собственно, не нужны. Кстати, и книготорговцы живут теперь почти исключительно рождеством. Это единственное время в году, когда широко покупаются книги. Если человек не знает, что дарить, он дарит книги. Читают ли их — дело другое. Кто, безусловно, много читает, притом серьезную литературу, это студенты. В то же время в стране огромное число людей не имеет ни одной книги и не читает вообще. Похоже, что наступает конец эры грамотных и начало эры безграмотных, рабов телевидения...»

Мы коснулись и темы, которая — как стало ясно позднее — уже тогда очень волновала Кёппена: материальное положение писателя в ФРГ. «Чтобы быть писателем в Западной Германии и жить этим, надо быть или очень везучим, или очень богатым, например, получить наследство, или таким убежденным в своих писаниях человеком, чтобы жить в материальной нужде и отказываться от благ «общества потребления». Обычно люди идут на компромиссы, и это очень грустно...»

Кёппен говорил о своих книгах с надеждой, с уверенностью человека, близкого к завершению работы. Он сказал тогда, в частности, что роман о «политическом убийстве» намерен закончить в 1968 году. Как мы знаем, он не вышел в свет до сих пор...

«Молчание Кёппена должно привлекать наше внимание больше, чем любая книга, объявленная «событием»,— пишет критик Кристиан Линдер.— Это молчание человека, которого многие считают важнейшим немецкоязычным политическим писателем современности, но которому, кажется, угрожает судьба Генриха Манна: что его забудут, перестанут признавать, принимать всерьез, не будут слушать, короче, спишут со счета...»

Признание это симптоматично. Здесь вряд ли место подробно говорить о том, как сложилась судьба наследия Генриха Манна в ФРГ, но многое в утверждении критика безусловно правильно. В силу специфических особенностей послевоенного развития Западной Германии, в ходе которого долгое время почти полностью отвергались многие плодотворные и ценные гуманистические, реалистические традиции немецкой литературы, творчество Генриха Манна замалчивалось или отметалось господствующей критикой, оставаясь достоянием лишь сравнительно небольшого круга прогрессивных писателей, учившихся у него,— к их числу принадлежит и Кёппен, продолживший традицию политического романа. Характерно и другое: об угрозе забвения говорится применительно к двум крупным художникам непримиримой гражданской позиции, которые — при всем различии их творческой манеры, подхода к действительности, художественного видения — гневно выступали против самых реакционных и агрессивных сил империалистической Германии.

И даже оказанные Кёппену в 60-е годы (когда в стране обозначились некоторые перемены в политическом и духовном климате) литературные почести — писателю был присужден ряд премий — мало что изменили в положении этого художника и в отношении к нему официальной критики.

Кёппен четко и недвусмысленно заявил о себе как писатель острой политической темы. «Мы все живем в политике,— говорит он,— являемся ее объектами, может быть, уже ее жертвами. Речь идет о жизни и смерти. Как же может писатель подражать страусу и кто же, если не писатель, будет играть в нашем обществе роль Кассандры?..» Конечно, Кёппен не склонен переоценивать возможности литературы, ее способность влиять на общественное сознание и порой даже говорит о ее «бессилии». Однако он верит в то, что и созданное им внесет лепту в преобразование, в улучшение жизни современного общества: «Чего я себе желаю — чтобы мои писания помогли изменению жизни, мышления, сознания...» И в другом месте: «Каждая строка, которую я пишу, направлена против войны, против угнетения, бесчеловечности, бессердечности, убийств. Мои книги — мои манифесты. Как человек я чувствую себя бессильным, как писатель — нет».

Эти слова могли бы служить девизом его творчества, беспощадно разоблачающего милитаризм, фашизм, бескомпромиссно направленного против жестокости, обывательского духовного застоя, интеллектуального конформизма. И потому хочется верить: Кёппену не может угрожать забвение.

◆

Интервью

ТЕОДОР СОЛОТАРОФФ: «ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ОБЯЗЫВАЮТ НАС ОБРАТИТЬСЯ К РЕАЛЬНОСТИ»

Наш гость — Теодор Солотарофф, главный редактор «Американ ревью», популярного в США литературного журнала, основанного им в 1967 году. Солотарофф считает себя русским по происхождению: родители его отца и матери эмигрировали в конце прошлого века в США из-под Одессы. И поэтому, говорит Солотарофф, ему так близка русская литература и те идеи, которые она несет. Теодор Солотарофф — автор ряда литературно-критических эссе, объединенных в сборник «Докрасна раскаленный вакуум» (издательство «Атенеум», 1970).

Публикуемая ниже беседа свидетельствует о его взглядах на литературу, живом интересе к общественной и нравственной проблематике наших дней. И хотя советские исследователи американской литературы, возможно, не во всем согласятся с ним, думается, что высказанные им мысли представят интерес для нашего читателя.

Мы просим нашего гостя рассказать о его журнале.

— В отличие от обычных литературных журналов США, «Американ ревью» выходит в виде книжек в мягких обложках, что снижает себестоимость журнала и облегчает его распространение. Технология массового производства (обложка журнала, например, печатается одновременно с девятнадцатью другими книжными обложками) обеспечивает себестоимость одного номера, равную 20 центам. Обычный же литературный журнал, содержащий, как правило, вполовину меньше текста, стоит в пять раз дороже. По той же причине и само распространение журнала не ограничено сравнительно небольшим числом специализированных книжных магазинов. Как всякая книжка в мягкой обложке, он продается в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, в магазинах, табачных киосках и т. д.

Однако и у нас есть свои проблемы. «Американ ревью» приходится конкурировать на рынке, где такие вещи, как, например, «Крестный отец» М. Пьюзо или «Гавайи» Дж. Миченера пользуются большим спросом, чем, скажем, книги Сьюзен Зонтаг или Томаса Пинчона. Другими словами, печатать произведения высокого литературного уровня, рассчитанные на сравнительно подготовленного читателя в условиях так называемого «массового рынка», довольно сложно. Вот почему продолжительность жизни нескольких подобных журналов, выходивших до «Американ ревью», а среди них были превосходные издания, измерялась, как правило, пятью номерами. И сам факт существования «Американ ревью» на протяжении восьми лет — а за это время вышли двадцать четыре «книжки» — позволяет сравнивать его с еженедельником «Нейшн», который издается уже свыше ста лет.

Поэтому мне так интересен разговор о наших уважаемых журналах. Одно обстоятельство заставляет меня зеленеть от зависти. Тираж «Американ ревью» около 50 ты-

сяч, он раз в пять превышает тираж любого литературного журнала США и раз в десять выше тиража большинства из них. Но по советским стандартам — это капля в море. Например, тираж «Иностранной литературы» раз в десять больше, и это еще не самый высокий тираж в СССР. Население вашей страны не намного больше нашей, очевидно, и число образованных людей у нас сравнительно одинаково — однако популярность наших литературных журналов столь несоразмерна.

Можно, конечно, объяснить это тем, что в США, в отличие от России, нет укоренившейся традиции чтения. И другие средства информации — телевидение, кино — конкурируют у нас с литературой более активно. Но при этом, например, «Жалобы Портного» Ф. Рота или новый роман Э. Л. Доктороу «Регтайм» расходятся в количестве 4—5 миллионов экземпляров. Кстати, оба романа были представлены читающей аудитории журналом «Американ ревью». Таким образом, у литературы есть обширный потенциальный рынок, но он весьма изменчив и освоить его нелегко. Время от времени отдельным книгам удается господствовать на нем — таким как «Уловка-22» [1], «Армии ночи» Н. Мейлера, «Ариэль» (сборник стихов талантливой поэтессы Сильвии Плат, в 32 года покончившей жизнь самоубийством. Сейчас С. Плат — кумир молодых американок). Но, как правило, чтобы книга стала бестселлером, нужно особое стечение обстоятельств.

— Можете ли вы сказать, что с годами тираж журнала вырос?

— Нет, в лучшем случае он держится на одном уровне.

— Как известно, в США ни одно издание не может существовать без поддержки рекламы...

— В последних трех номерах «Американ ревью» публикуется реклама. Это один из приемов стратегии выживания, которую я вынужден применять. Главным образом это книжная реклама. Я помещаю ее в журнале по просьбе моих личных друзей из издательств, которые хотят, чтобы «Американ ревью» продолжал существовать. И не потому, что боятся, как бы их приятель — то есть я — не лишился куска хлеба, а потому что считают «Американ ревью» как бы форпостом литературы будущего. Престиж журнала заставляет и самих писателей стремиться к тому, чтобы реклама их книг появлялась на его страницах. Именно престиж является нашим главным завоеванием, благодаря ему существует журнал.

Позвольте мне пояснить эту мысль. За восемь лет журнал сменил трех издателей, все они хотели популярности, хотели открывать новые таланты. Каждый считал, что принесет журналу успех. Поэтому иногда я чувствую себя прелестной женщиной, чья жизнь нелегка, но многие мужчины готовы разделить с ней тяготы ее жизни. И когда через три года меня покинул мой первый издатель, несколько других выстроились в ряд, поправили галстуки и заявили: «Приди в мои объятья. Я знаю, как сделать тебя счастливой». И я согласился, но вскоре выяснились два обстоятельства. Во-первых, как нередко бывает в ситуации с прелестной и желанной женщиной, вы обнаруживаете, что она не изменила вашу жизнь столь существенно, как вы предполагали. И коль скоро вы получаете неограниченную возможность появляться с ней на людях, ее очарование начинает меркнуть. В переводе на язык литературных отношений — вы публикуете нескольких молодых писателей, но популярности они не приобретают. Во-вторых, как всякая очаровательная женщина, я дорого стою. Конечно, издатели знают это, но вначале они склонны недооценивать сей факт. И вот еще через два-три года мне предлагают, «если я не возражаю», поискать себе нового покровителя. Другие издатели начинают звонить мне, и все повторяется сначала.

Это звучит несколько цинично. На деле я вполне счастлив со своим теперешним патроном, издательством «Бентам букс», для которого я стал к тому же хорошим домоправителем, отредактировав несколько книг, которые имели большой успех и не имели никакого отношения к «Американ ревью». И все же нужно признать, что в Америке настоящей литературе приходится вести непрестанную борьбу за широкую читательскую аудиторию.

Учтите, мне мало просто выжить. Я стремлюсь увеличить тираж, чтобы журнал был полезен бóльшему числу людей. Как редактор литературного журнала я чувствую себя педагогом, который помогает читателю пополнить свое литературное образование, знакомясь с лучшим из того, что публикуется — хотя бы в одном журнале. Вместе с тем я хочу, чтобы чтение помогало современному человеку осмыслить его жизненный опыт. Мне близка мысль Мэтью Арнольда[1], назвавшего литературу «критикой жизни»,— это лучшая форма критики, которой мы располагаем. Я считаю, что литература, подобно энергии воды или электричеству,— одно из важнейших достояний человека. Поэтому я ориентируюсь не на поклонников авангардистских литературных культов и кружков или на сторонников теории искусства для искусства, а на более широкую интеллектуальную аудиторию. Я публикую прозу, эссе и стихи, понятные и интересные, дающие пищу для размышлений вдумчивому, но не обязательно филологически образованному читателю. Ибо для меня литература — прежде всего духовная пища. Возможно, это говорят мои русские гены.

— Как вы объясните необыкновенную популярность вашего журнала? Просматривая его номера, мы встретили всего два известных имени и обратили

[1] Джозеф Хеллер. Уловка-22. М., Воениздат, 1967 *(Здесь и далее — примечания переводчика).*

[1] Мэтью Арнольд (1888—1922) — английский поэт, педагог и критик.

внимание на подзаголовок — «Журнал новой литературы». Думаете ли вы, что популярность «Американ ревью» объясняется тем, что вы стремитесь открывать новые имена?

— Возможно, этим же объясняется и некоторая его непопулярность. Во всяком случае, как бы там ни было, я скорее склонен публиковать «прибывающих» писателей, чем «уходящих» или тех, кто просто стоит на месте.

— Справедливо ли утверждение, что для таких писателей, как Доктороу, ваш журнал — единственная возможность напечататься и стать известным? В таком случае вы берете на себя благородную миссию.

— Как каждый редактор, я, разумеется, считаю, что делаю благородное дело. Что же до знакомства читателя с новыми талантами, его, как и всякое благое дело, следует начинать в собственном доме. Но если вернуться к серьезному разговору, то в США молодому писателю добиться известности в действительности нелегко. Скажем, перед Дж. Д. Сэлинджером эта проблема не стоит, а Доктороу приходится ждать и ждать. Первый его роман вышел году в 1960-м, и только теперь, с выходом четвертой книги, он получает наконец, что называется, признание. Иногда «Американ ревью» может несколько приблизить приход если не материального благополучия, то известности. Нужно иметь в виду, что и другие американские журналы, такие как «Атлантик», «Нью-Йоркер», «Эсквайр» и даже «Плейбой», тоже печатают настоящую литературу. Но это всегда проблема. Например, «Нью-Йоркер». Его тираж во много раз больше «Американ ревью» — почти 500 тысяч. Но он публикует сравнительно мало новых писателей, и все они отличаются одним качеством, которое я назвал бы «благонадежной ироничностью». Или «Эсквайр» и «Плейбой». Здесь встает проблема контекста. Рассказ Набокова соседствует со статьей о том, как лучше подражать Хемфри Богарту[1], или проспектом спортивных машин 1976 года, что, безусловно, стирает, снижает впечатление от рассказа Набокова. Аналогичное явление можно порой наблюдать и в «Нью-Йоркере», где литературный уровень, как правило, высок. Так, к чести журнала, он опубликовал повесть Джеймса Болдуина «В следующий раз — пожар!» — правдивый и потому страшный рассказ о том, что значит жить в Гарлеме. Но в «Нью-Йоркере» эта повесть об отчаянной бедности и других страданиях, составляющих удел черных американцев, превратилась в колонку текста между двумя полосами рекламы. Одна предлагала бриллианты ювелирной фирмы Тиффани, другая — отдых на Багамских островах. Подобная форма подачи, несомненно, оказывает свое искажающее воздействие, хотя в случае с Болдуином она и дала эффект горькой иронии. Писатели любят печататься в «Американ ревью», потому что знают, что там они попадут в круг своих собратьев и эссе одного будет усиливать впечатление от рассказа другого, создавая возможность сравнительно объективного восприятия. Иными словами, статья о деморализации молодежи после 60-х годов усилит впечатление от рассказа о девушке, пребывающей в плену наркотических галлюцинаций.

— Какой из своих «находок», мы имеем в виду новые имена, вы больше всего гордитесь?

— Я не люблю выделять кого-либо. Я чувствую себя многодетным отцом. Но, чтобы начать разговор о новых талантах, могу назвать Роберта Кувера, которого я без конца печатаю. Наверное, вы скоро услышите о нем, потому что должен появиться его роман, который, как мне думается, будет иметь успех не меньший, чем «Регтайм» Доктороу. Называется он «Публичное сожжение Юлиуса и Этель Розенберг. Историко-романтическая повесть». Большая часть этой книги, рассказывающей о последних четырех днях жизни Розенбергов, написана от лица Ричарда Никсона. Это редкий образец подлинно творческого воссоздания исторического материала. Я опубликовал в свое время первую главу диссертации Кейт Миллет, ставшую потом частью ее «Политики секса» — книги, которую можно назвать первым залпом, возвестившим начало Движения за освобождение женщин. Или еще один пример — статьи Джорджа Деннисона по вопросам образования. Они вошли в его работу «Жизнь детей», вдохновленную, в частности, и идеями Толстого о воспитании. В своей области эта книга стала классикой.

— Таким образом, вас интересуют и социальные проблемы?

— Мне представляется, что «Американ ревью» отражает жизнь творческой мысли в широком значении этого слова. Меня в равной степени привлекают авторы, способные творчески отобразить нашу политическую ситуацию, и те, кто талантливо пишет о собственном внутреннем мире. Вот еще пример: я участвую в подготовке нового издания «Смерти Ивана Ильича» (в «Бентам букс»). Дело в том, что в сознании современного американца феномен смерти занимает совершенно особое место. Моя жена называет это явление «освобождением смерти». Мы обнаружили, что в американской культуре смерть была одной из наиболее ревностно оберегаемых тайн. И лишь теперь нам открывается истина. Мы начинаем понимать, что смерть — неотъемлемая часть человеческого бытия. Одно из наиболее ярких тому, на мой взгляд, свидетельств — «Смерть Ивана Ильича» Толстого. Я и посоветовал издательству опубликовать это произведение. По моему же совету оно обратилось к английскому психиатру Р. Д. Лэнгу с просьбой написать предисло-

[1] Известный голливудский киноактер.

вие, ибо он, как мне кажется, должен глубоко понимать повесть Толстого и ее значение для нашего времени. Конечно же, я напечатаю его эссе в «Американ ревью».

Итак, я стремлюсь знакомить читателя с работами по вопросам науки, социологии и истории, написанными на том творческом уровне, который присущ художественной прозе и поэзии. Литература существует не в башне из слоновой кости, она — порождение культуры в целом. А культуру нельзя понять, не разбираясь в политике, общественных, экономических отношениях.

— Отдавая должное творческому гению Толстого, что́, кроме размышлений о жизни и смерти, привлекло ваше внимание к повести «Смерть Ивана Ильича»?

— Иван Ильич не жил, он просто существовал. То была жизнь человека, целиком подчиненного окружающим его вещам, они руководили им, они давали удовлетворение. Положение в обществе волновало его больше, чем близкие, и, безусловно, больше, чем собственная внутренняя жизнь, жизнь собственного духа. Поэтому, несмотря на весь комфорт, влияние и солидное положение в обществе, у Ивана Ильича не было внутренних ресурсов. И, когда настал его час, ему нечем было встретить смерть: у него не было ни веры, ни философии, ни даже любви к самому себе. Смерть была для него просто физической агонией. И лишь в последний момент, когда в его памяти возник момент счастья, пережитый в детстве, его сердце начало пробуждаться, ему открылись человеческие чувства. И тогда из некоего робота он превратился в человека. И пробудившиеся духовные силы облегчили ему уход из жизни.

Толстой показывает, что мы умираем — как живем. Я думаю, смысл повести, ее урок таков: каждый день должен быть прожит так, словно он — последний день нашей жизни. Для этого нам придется коснуться глубинных пластов нашего «я», того, что мы называем «душой». Вот почему столь важна повесть Толстого.

— Печатали ли вы еще что-либо значительное из зарубежной литературы?

— Одной из самых важных работ, появившихся на страницах «Американ ревью», был отрывок из последней книги Гюнтера Грасса, посвященный А. Дюреру и его знаменитой гравюре «Меланхолия». Грасс пишет о меланхолии не как о чувстве, владеющем одним человеком, а скорее как о доминирующем мироощущении, с которым ему пришлось столкнуться в Германии и Европе. Это меланхолия людей, в ряду горьких истин открывших для себя, что материальное благополучие не может быть смыслом человеческой жизни.

— Судя по американской литературе последних лет, вслед за периодом бурного увлечения технологией, якобы способной разрешить все проблемы, стоящие перед человеком, мы сегодня являемся свидетелями проявления небывалого интереса к сфере духа. И понятие «работа» является ключевым в широком потоке поисков каких-то позитивных ценностей.

— Это очень тонкое наблюдение. Как утверждал писатель Джон Шар в недавно напечатанном «Американ ревью» эссе «Круги уотергейтского ада», Уотергейт был не просто кризисом правительства, возглавляемого Никсоном, но кризисом американского общества в целом. По существу, Уотергейт явился выражением господства мировоззрения, которое Шар называет «прайветизмом»[1]. Это понятие противоположно по своему значению «республиканизму». Америка была основана как республика, а центральным по значению в слове «republic» является его корень «public». Таким образом, «республика» предполагает государство, в котором интересы общества ставятся выше личного блага. «Прайветизм» же означает: «Со мной — порядок. Я мечу на высшую ступеньку. И плевал я на всех». А когда люди все больше и больше думают только о себе и все больше забывают об общественном благе, мы пожинаем плоды «прайветизма». А Ричарда Никсона можно, без сомнения, назвать архангелом «прайветизма».

Джон Шар опубликовал еще одно эссе — «В защиту патриотизма», что было довольно смело с его стороны, ведь оно появилось в 1970 году, когда слово «патриотизм» было непопулярно у либералов и радикалов. А Шар заявил: «Вы неправы, мы должны постараться положить в основу своей политики подлинный патриотизм. Для этого необходимо выявить очень существенную разницу между «патриотизмом», означающим любовь к своей стране и ее изначальным демократическим принципам, и «национализмом». Последний не предполагает любви. Это скорее высокомерная убежденность в превосходстве нашего народа над всеми остальными. Настоящие патриоты хотят трудиться для своей страны и воплощать в жизнь ее идеалы. И если мы хотим претворить дух 60-х в политическую и социальную реальность, мы должны взяться за работу». Шар говорил, что самым большим дефицитом являются сегодня в Америке не нефть или что-нибудь другое из полезных ископаемых, а достойные общественные задачи, которые могли бы увлечь молодежь. Подобные мысли и работы представляются заслуживающими публикации. Ведь это и есть настоящее творчество. Мне думается, статьи Шара вскрывают реальную основу, на которой только и может развиваться новая, здоровая литература. Мы устали от отчуждения. Мы устали от цинизма, мы устали от абсурда и черного юмора. Литература, помогающая человеку жить, нужна нам больше, чем литература, порочащая жизнь, оплевывающая наш мир. Но прежде необходимо создать такое общество, которое перестало бы принижать человеческий

[1] От английского слова «private» — частный, личный.

дух, или хотя бы создать предпосылки для такого общества.

— Стремится ли ваш читатель видеть литературу именно такой? Заинтересован ли он в ней?

— О, да! Многие журналы подхватили и распространили идеи Шара. Видите ли, в Америке сегодня существуют по крайней мере два четко разграниченных состояния умов. Во-первых, деморализация или, вернее, разочарование, потому что в 70-е погибли многие из ярких надежд, которые в 60-е годы связывались с «духом перемен». С другой стороны, многие понимают, что история, возможно, и не станет ждать, пока мы соберемся с духом. Если перефразировать известные строки Т. С. Элиота, можно спросить: «Как же кончится мир — взрывом или всхлипом?» «Взрыв» — это, конечно, ядерная бойня, а «всхлип» — голос миллионов голодающих, который сегодня уже отчетливо различим в некоторых частях света. Грандиозные требования времени обязывают нас обратиться к реальности. Все мы живем на маленькой и в известном смысле истощенной планете. И мы должны помнить об этом, если хотим сохранить на ней жизнь. Вместе с тем это одна из причин, делающая разрядку столь насущной. Если разрядка восторжествует, мы сможем использовать часть наших национальных ресурсов, которые мы пока вынуждены тратить на оборону, а именно 60 или более процентов на социальные нужды. Тогда и достижения науки и техники смогут быть поставлены на службу людям, помогут решить проблемы голода, нехватки жилья, медицинского обслуживания, образования — все те насущные задачи нашего времени, которые взывают к нам, словно протянутые руки. Мне думается поэтому, что тот, кто сегодня интересуется только художественной литературой и поэзией, подобен страусу, зарывающему голову в песок.

— Вернемся к американской литературе 60-х и 70-х годов. Каковы, по вашему мнению, те новые черты, тенденции, которые проявляются сегодня? И еще один вопрос: как соотносится литература 60-х и 70-х годов?

— Это два сложных, но связанных между собой вопроса. В начале века, выражаясь военным языком, было предпринято «грандиозное наступление», и потому литературную ситуацию после второй мировой войны можно охарактеризовать как «закрепление захваченных позиций». То, что происходило в литературе предыдущего периода, можно сравнить с великим подвигом пионеров, открывающих новые земли, а 50-е стали эрой колонизации, освоения «пространств», открытых Паундом, Прустом, Джойсом, Т. Манном и др. Писатели, пришедшие в литературу после второй мировой войны, во многом находились под влиянием Хемингуэя, Фолкнера, Джойса, Андре Жида, Кафки. А большинство молодых поэтов этого времени старались следовать Т. С. Элиоту, Роберту Фросту, Эзре Паунду или У. Б. Йитсу и Уоллесу Стивенсу. Многие из произведений тех лет были написаны с подлинным блеском, но в целом эта литература была подражательной, над нею часто довлел авторитет предшественников. Литературную ситуацию 60-х я бы изобразил таким образом: молодой писатель опоздал на прием, происходящий в переполненной комнате. В центре ее находятся великие писатели — Йитс, Фолкнер, Мальро, Валери и др. А вокруг теснится толпа их истолкователей и критиков. И молодые поэты, такие, например, как А. Гинзберг, сказали: «К черту! Я ухожу!» И за ним последовали многие. Таким образом, в 60-е годы ряд писателей, которые начинали как вполне традиционные современные романисты, такие как Норман Мейлер, Джон Барт, Филип Рот, стали все настойчивее искать самобытную, неповторимую литературную манеру. В целом в 60-е очень многие писатели использовали выражение из жаргона молодежи — «я сам большой», и в то же время 60-е были великим десятилетием демифологизации и подрыва авторитетов, вызванных убежденностью в том, что и жизнь и литература стали слишком организованными, жесткими и тусклыми. По меткому выражению Дэвида Рисмена [1], мы стали «одинокой толпой», более того, многие из основных американских мифов оказались ложью, а уцелевшие разрушаются на наших глазах. Движение за гражданские права показало, что мы не страна свободы, а Вьетнам — что мы не родина справедливости, что наше общество повинно в серьезных преступлениях, а мы дошли уже до того, что стали преступниками в глазах всего мира.

Все это породило состояние сознания, при котором большинство авторитетов — правительство, общество, университет и даже семья и родители, не говоря уже об уважении к культуре,— было подорвано. Например, в освоении Запада, которое всегда считалось героическим эпизодом нашей истории, усматривается теперь едва ли не акт геноцида, жертвами которого были американские индейцы. Выяснилось, что «фронтир» был одним из первых шагов американского империализма. Таким же образом получается, что война во Вьетнаме бросила тень на все войны, которые вела Америка — корейскую войну и даже вторую мировую войну. Вот почему самой популярной книгой 60-х годов была «Уловка-22», для героя которой представители его собственного командования опаснее нацистов. И вместе с тем такая книга, как «Уловка-22», была прямым вызовом авторитету признанных произведений современной литературы.

— В связи с тенденцией демифологизации истории, о которой вы упомянули, какие романы вы поставили бы в ряд с «Бэрром» Видала и «Заговором» Херси?

[1] Известный американский социолог. Автор книги «Одинокая толпа» (1952) и др.

— Совсем недавно появился роман Томаса Пинчона «Радуга земного притяжения». Автора мало занимают реальные исторические события и причины второй мировой войны. Война перерастает в романе в некое параноическое видение современного мира. Из символа войны ракета превращается в эротический символ; в обобщенное воплощение мирового зла, силы которого направлены на разрушение жизни человека и в рядах союзников и у их противников — фашистов. В том же ключе написаны произведения Курта Воннегута, «Признания Ната Тернера» Уильяма Стайрона, «Регтайм» Доктороу, новая книга Кувера о Розенбергах.

В 60-е годы Америка пережила своеобразную культурную революцию, люди страстно желали разобраться в том, что же происходит на их глазах. Поэтому студенты твердили: нам нечему учиться у истории, и отчасти они были правы. В основном искусство 60-х — музыка «рок», так же как и поэзия и драма,— отражало изменения и катаклизмы, имевшие тогда место: демонстрации, новые формы взаимоотношения полов, новые формы общественных отношений, новые веяния в образовании и искусстве, не говоря уже о беспорядках, убийствах и других приметах и симптомах происходящих общественных сдвигов.

В 70-е мы проникаемся сознанием, что одно только настоящее не может стать основой будущего,— ведь и в жизни человека настоящий ее момент относительно малозначим рядом с опытом прошлого. И сегодня литература обретает историческую перспективу, перспективу, открывающую не только события 60-х годов, но и уводящую нас в гораздо более отдаленное прошлое. Так, «Регтайм» Доктороу по существу представляет собой попытку демифологизации частицы американского прошлого. Писатель показывает, что Америка начала века, с 1900 по 1914 год, не была страной счастливых, цветущих работяг-иммигрантов. Скорее перед ней стояли тогда довольно сложные и серьезные проблемы, которые породили многие явления, характеризующие жизнь сегодняшней Америки. В самом начале романа Доктороу описывает знаменитое убийство видного американского архитектора Стенфорда Уайта, названное прессой «преступлением века». Прочитав в 1906 году сообщение об этом событии, одна из активных участниц общественного движения того времени, Эмма Голдман, подумала: «До конца века осталось еще девяносто четыре года».

До сих пор я говорил о деморализации, царящей среди американцев. Вместе с тем у нас ощущается горячее стремление действовать, стремление к патриотизму, желание создать лучшее общество. Так, например, мне довелось участвовать в знаменитом марше у стен Пентагона в 1967 году. Это была необыкновенная, полная драматизма ситуация. Лицом друг к другу стояли молодые демонстранты и молодые солдаты — два полюса одного поколения. Молодые демонстранты пели «Моя прекрасная Америка» и другие патриотические песни. Они были так дружелюбны: делились едой и питьем, разговаривали, подбадривали друг друга. Один юноша читал стоящим вокруг него Гомера на древнегреческом. По другую сторону стояли молодые солдаты, по существу, не понимавшие, зачем они здесь; они пришли сюда по приказу. Итак, там были студенты, чьим единственным оружием была солидарность, объединявшее их сознание значительности цели. А молодых солдат, судя по всему, объединяло только их оружие.

И я сказал себе: вот они, две Америки. Вот молодежь, которая говорит: мы хотим вернуть себе свою страну, мы хотим вернуть Америку, чьим идеалом была свобода и справедливость для всех. И здесь же стоят молодые солдаты, представители военного государства, которое поддерживают националисты, исповедующие современный вариант идеологии «Америка превыше всего». И я подумал, что ведь эта молодежь живет в нашей стране. И при соответствующем руководстве она была бы готова сделать все, чтобы отвоевать страну у националистов. Мне думается, что в основе неприятия молодежью современной Америки лежит поруганная любовь.

Недавно Джон Гарднер сказал, что настало время перестать писать об отчуждении и отвращении к жизни и обратиться к нашей повседневности. Это добрая примета. В наследство от 60-х нам осталось еще много разочарований, но думается, что у нас есть и большие запасы подлинного патриотизма, которые ждут своего применения. И если они будут использованы, я уверен, что литература станет уделять добрым переменам все больше внимания. Если же этого не произойдет и мы будем по-прежнему пребывать в дантовом аду «прайветизма», наша литература останется горькой, ироничной и нигилистической, несмотря на то, что мы уже поняли, что цинизм разрушает личность.

Перевод с английского Т. РОТЕНБЕРГ

◆

Заметки на полях

ДРЕВНОСТЬ НА СЛУЖБЕ СОВРЕМЕННОСТИ

«Критическое обсуждение» романа «Речные заводи» в КНР

Вот уж действительно с пекинскими пропагандистами не соскучишься. Давно ли страницы газет и журналов пестрели инвективами против Кун-цзы, более известного у нас под именем Конфуция, и его последователей, причем древнего мудреца обвиняли во всех смертных грехах и обличали куда более страстно, нежели ныне здравствующих империалистов. Пробушевав примерно полтора года, кампания явно выдохлась. На смену пришла кампания по «изучению теории диктатуры и ограничению буржуазного права», о последствиях которой для литературы и искусства наш журнал уже рассказывал («Еще удар по культуре», № 12, 1975). Вся пропагандистская машина маоистов повернулась к темам современности, трактуя их, разумеется, на собственный лад.

И вдруг 23 августа в центральной газете «Гуанмин жибао» за подписью двух военнослужащих появилась статья о романе «Речные заводи», объявлявшая этот популярнейший в народе шедевр средневековой литературы всего-навсего «негативным учебным материалом». В противоположность устоявшемуся в китайском литературоведении — и до, и после «культурной революции» — взгляду, согласно которому в романе прославляется крестьянское восстание, авторы статьи заявили, что в книге проповедуется «капитулянтство перед классовым врагом» и что необходимо развернуть «критическое обсуждение» романа, дабы «помочь народу распознать капитулянтов».

С самого начала было ясно, что речь идет не о партизанской вылазке двух чрезмерно «бдительных» армейцев, что затевается новая кампания. Практика прошлых лет убеждала в том, что за ней скорее всего стоит сам «великий кормчий». Но раньше о его инициативе сообщалось не сразу, иногда — лишь спустя несколько лет. На сей раз (годы торопят!) соответствующее «высочайшее указание» было обнародовано менее чем через две недели. Вот оно:

> «Книга «Речные заводи» хороша именно тем, что в ней описывается капитулянтство. Она служит негативным учебным материалом, позволяющим народу распознавать капитулянтов. Председатель Мао Цзэ-дун сказал также: «Речные заводи» выступают только против алчных чиновников, но не против императора. Чао Гай не включен в список 108 предводителей, Сун Цзян капитулировал, встал на путь ревизионизма, переименовал учрежденный Чао Гаем Зал собрания справедливых в Палату преданных и справедливых и сдался на милость властей.

Борьба между Сун Цзяном и Гао Цю есть борьба одной группировки внутри помещичьего класса против другой. Капитулировав, Сун Цзян пошел на Фан Ла» («Жэньминь жибао», 4 сентября 1975).

Для расшифровки этих речений необходимо вспомнить основные факты, касающиеся самого романа и его героев. Согласно современным научным представлениям, роман — точнее, книжная эпопея — «Речные заводи» был создан в середине 14 века Ши Най-анем (возможно, при участии Ло Гуань-чжуна) и повествует о событиях, происходивших при династии Сун около 1120 г. Империя в тот период уже шла к упадку, в разных ее частях вспыхивали народные восстания. Очагом одного из них была местность Ляншаньбо на востоке страны. В исторических документах того времени этому восстанию уделено всего несколько строк, но по каким-то причинам именно оно привлекло к себе особое внимание народных сказителей и певцов, а затем и профессиональных литераторов, авторов драм и повестей. Эти устные предания и письменные памятники и легли в основу эпопеи Ши Най-аня. В ней рассказывается, как люди разных сословий — крестьяне и уездные чиновники, монахи и мелкие военачальники,— спасаясь от притеснений и беззакония, стекались в Ляншаньбо, чтобы вместе бороться за справедливость. Сначала их предводителем был Чао Гай, а после его смерти — Сун Цзян вместе со 107 своими сподвижниками. Они долго вели успешную войну с императорскими войсками, которыми командовал Гао Цю. Однако Сун Цзян подчеркивал, что восстание направлено не против верховной власти, а лишь против ее бесчестных слуг. Ему удалось добиться от императора амнистии для повстанцев, армия которых перешла на службу правительству и участвовала в борьбе с его внешними и внутренними врагами, в том числе в подавлении восстания под руководством Фан Ла.

В чем же тогда расхождение между нынешним вердиктом Мао и прежними оценками романа? Ведь и раньше прогрессивные литературоведы отнюдь не восхищались деяниями Сун Цзяна после того, как он пошел на мировую с властями. Однако они считали главным в романе и в образе Сун Цзяна иное — воспевание духа борьбы с неправдой и деспотизмом, сочувствие автора страждущему люду, прославление братства и взаимовыручки всех, кто поднял оружие за правое дело. Именно эти черты и привлекали к роману на протяжении веков такую поистине всенародную любовь и обеспечили ему место в сокровищнице мировой литературы (он переведен на ряд языков, включая русский; в СССР его издали также в переложении для юношества). Судя по высказываниям Мао прошлых десятилетий, которые сейчас в Китае, конечно, никто не вспоминает, он и сам раньше разделял такую оценку. Не так давно, на Лушаньском совещании (июль 1959 г.), он говорил:

> «Сун Цзян грабил богатых, чтобы помогать бедным, и мог забирать все, что хотел, поскольку справедливость была на его стороне. Он отбирал лишь то, что принадлежало деспотам, поэтому его образ действий был правильным..»

Сейчас же Мао и его присные делают поворот на сто восемьдесят градусов и утверждают, будто суть романа — воспевание «капитулянтской линии», а его единственное достоинство заключается в том, что книга помогает распознавать нынешних последователей «ревизиониста»(!) Сун Цзяна. Чем-либо иным, помимо стремления превратить средневековый шедевр в инструмент борьбы группы Мао Цзэ-дуна со своими политическими оппонентами, такую постановку вопроса объяснить трудно.

Разумеется, команда была услышана, массированная обработка населения началась. С начала сентября газеты и журналы КНР заполонили статьи, в которых пережевывались и подкреплялись специально подобранными примерами содержащиеся в «высочайшем указании» установки. Как правило, это делалось в почти идентичных выражениях, так что немногих образчиков будет достаточно, чтобы познакомиться со стилем и терминологией всей этой лавины материалов.

> «Партия революции во главе с Чао Гаем представляла класс крестьян и отстаивала линию на крестьянское восстание; партия капитулянтов во главе с Сун Цзяном представляла помещичий класс и проводила капитулянтскую линию. Однако в «Речных заводях» Сун Цзян и его капитулянтская линия представлены как ведущая сторона противоречия, пронизывают книгу от начала до конца, и это определяет ее основную направленность.

«Речные заводи» всеми возможными способами приукрашивают Сун Цзяна: бесстыдный ренегат воспевается как «милосердный властитель» Ляншаньбо; императорский холоп именуется в книге красивым именем «Благодетельный дождь» (прозвище Сун Цзяна в романе.— **В. В.**), который-де «может спасти все живое»; реакционная капитулянтская линия изображена правильной линией, соответствующей «велениям неба» и «желаниям людей», фарс заключения мировой с властями подается как большой праздник революционной опорной базы в Ляншаньбо» («Жэньминь жибао», 6 октября 1975, статья Ань Цюня).

Читая подобные пассажи — а они повторяются из статьи в статью,— часто трудно поверить, что речь идет о Китае 12 века,— настолько осовременены все понятия и сама логика рассуждений. Достаточно вместо Чао Гая и Сун Цзяна подставить имена каких-либо деятелей 20—30-х годов нынешнего века — и статья об аграрной революции в современном Китае почти готова. Вот еще пример:

«Осуществление ревизионизма и капитулянтства в области политики неизбежно влекло за собой раскол в организационном плане, подрыв революционного единства. Ради превращения Ляншаньбо в оплот капитулянтства Сун Цзян, прибегая ко всевозможным коварным интригам, оттеснял партию революционеров и переманивал на свою сторону всех ренегатов, готовых ему служить» (там же).

Это уже похоже на публикации периода «культурной революции», когда маоистам пришлось вести борьбу с разъедавшей их ряды фракционностью. Но «перекличка» с современностью отнюдь не ограничивается терминологией. Уже в первой установочной статье журнала «Хунци» (№ 9, 1975) было указано, что «капитулянтами» следует считать всех, кого маоисты обвиняют в «ревизионизме», то есть всех, кто в тех или иных вопросах стоял или стоит на отличных от маоистов позициях. Конкретно называются имена впавших в немилость бывших руководителей КНР Лю Шао-ци и Линь Бяо, которые якобы «проводили классовое капитулянтство внутри страны» и «пошли на капитулянтство» перед Советским Союзом. Журнал недвусмысленно напоминает всем инакомыслящим о постигшей этих деятелей участи и призывает вновь раскритиковать

«линию Линь Бяо, чтобы довести до конца борьбу в области надстройки».

Позволительно усомниться, однако, что филиппики против «капитулянтов» адресованы только этим двум, уже давно устраненным из общественной жизни фигурам. В зарубежной печати высказывалось немало предположений о том, кого из ныне действующих лиц в верхнем слое пекинского руководства следует понимать под «капитулянтом» Сун Цзяном, оттеснившим «революционера» Чао Гая. Гонконгский журнал «Чжунго пинлунь» обращает внимание на следующие утверждения пекинской печати:

«Сун Цзян с помощью интриг и коварных ссылок на то, что «старшему брату не подобает совершать неосторожные поступки», ограничил свободу действий и лишил Чао Гая реальной власти, забрав ее в свои руки. После гибели Чао Гая он сел в «первое кресло» и прежде всего переименовал Зал собрания справедливых в Палату преданных и справедливых (этот эпизод, которому авторы статей вслед за Мао придают такое значение, занимает в романе две строки.— **В. В.**), превратив тем самым линию Чао Гая... в капитулянтскую линию» («Жэньминь жибао», 11 сентября, 1975).

«Усевшись в первом кресле, Сун Цзян повесил в главном зале поминальную табличку с надписью «Дух Небесного князя Чао Гая, властелина Ляншаньбо», стал воскурять перед ней фимиам и подносить цветы, но полностью изменил его (Чао Гая) линию...» («Хунци» № 9, 1975).

По этому поводу гонконгский еженедельник замечает:

«Всякий, внимательно читавший «Речные заводи», знает, что в Ляншаньбо не было двух противостоящих линий Чао Гая и Сун Цзяна и тем более не было «лишения Чао Гая реальной власти и перехода ее в руки Сун Цзяна». И если авторы статей в пекинской прессе сознательно изображают дело таким образом,

значит, их цель — использовать древние события для намека на нынешние, имея в виду новую группировку, стоящую у власти» («Чжунго пинлунь» № 503, 1975).

Под «новой группировкой, стоящей у власти», журнал подразумевает так называемых «прагматиков», роль которых в китайском руководстве заметно возросла в последние годы и в чьих рядах есть лица, сурово критиковавшиеся в ходе «культурной революции» за отход от маоизма. Ортодоксальные маоисты, по мнению журнала, считают, что эта группировка уже сейчас лишает Мао свободы действий и отнимает у него реальную власть, а после его «встречи с богом» оставит лишь внешние приметы культа Мао Цзэ-дуна, осуществлять же будет свою, отличную от маоистской, линию.

Разумеется, рассуждения гонконгского журнала — лишь одна из мыслимых гипотез. В ее рамки не укладываются некоторые из тезисов кампании — так, неясно, кого следует понимать под «императором», против которого не ведут борьбы «капитулянты». Несомненно одно: и самого дряхлеющего «кормчего», и его приспешников крайне беспокоит проблема утверждения и продолжения маоистского курса после ухода со сцены его вдохновителя. Ведь сколько раз уже отходили от Мао его «ближайшие соратники» и «преемники», и это при его жизни, так чего же ожидать в будущем? Здесь можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все анафемы «капитулянтам» и «раскольникам», с течением времени все большее число людей в Китае будет убеждаться в несовместимости маоистских постулатов с реальными потребностями страны.

Центральным звеном кампании вокруг «Речных заводей» стала, как ясно из сказанного, критика «капитулянтства» Сун Цзяна. Однако многие, читавшие роман, вправе спросить: о какой капитуляции идет речь? Разве книга не кончается сценой победы повстанцев над императорскими войсками и распределением должностей между удальцами из Ляншаньбо? Чтобы разрешить это недоумение, придется вновь обратиться к творческой истории книги. Все, что говорилось до сих пор, относилось к раннему, полному варианту романа, насчитывавшему 120 или 100 глав. Но в середине 17 века литератор Цзинь Шэнтань издал новую редакцию книги из 71 главы, где действие обрывалось в момент наибольших успехов восставших и лишь зловещий сон, приснившийся одному из героев, предрекал всем героям гибель, но ничего не говорилось о примирении Сун Цзяна с императором. Эта-то версия, обладавшая несомненными стилистическими достоинствами, и стала самой распространенной в народе. Она переиздавалась и после создания КНР (была лишь снята глава о «зловещем сне», которой Цзинь Шэн-тань явно заплатил дань ортодоксальной идеологии). С нее же делался и русский перевод книги. Полная версия тоже была переиздана, но круг ее читателей был неизмеримо уже.

Как бы то ни было, существование двух сильно разнящихся между собой версий романа поставила перед нынешними его критиками нелегкую проблему. Ведь они уверяют, что роман на протяжении столетий использовался правящими классами для проповеди «классового примиренчества», символом которого является переход Сун Цзяна на сторону двора, и борьбы против крестьянских восстаний. Но как же быть, если в том варианте, который имел хождение в народе, никакой капитуляции нет?

Пытаясь разрешить это противоречие, некий Чжао Ань-тин — представитель «грамотной молодежи», высланный в свое время из города в деревню, но получивший позднее разрешение вернуться, пишет:

> «Воспев Сун Цзяна, автор романа раскрыл свое подлинное лицо и вызвал бдительность революционного народа в отношении изменников типа Сун Цзяна... Живший при Цинской династии реакционный ученый муж Цзинь Шэн-тань оказался хитрее... Благодаря проведенному им сокращению романа его сюжет затемнен, облик изменника Сун Цзяна в нем полностью не раскрывается... Если мы станем читать сокращенный вариант романа, это как раз будет на руку Цзинь Шэн-таню и тем, кто его нанимал» («Хунци», № 9, 1975).

Вот те на! Оказывается, «феодальный господствующий слой» был заинтересован в распространении того варианта романа, где воспевается вовсе не капитуляция, а борьба повстанцев с правительственными войсками... Логика более чем странная.

И что, собственно говоря, имеют в виду критики под «прославлением капитулянтства» в романе? Ведь и в полной версии романа большинство главных персонажей, на-

чиная с Сун Цзяна, не получают выгод от своего перехода на сторону двора. Выполнив поручения правительства по борьбе с внешними и внутренними врагами, они в большинстве своем погибают насильственной смертью. Самого Сун Цзяна по приказу одного из сановников заставляют выпить медленно действующий яд. Такой финал больше походит не на «прославление» капитулянтства, а на предостережение тем, кто был склонен ждать милостей от двора, хотя Ши Най-ань, вне сомнения, разделял со своими героями и феодальную концепцию преданности сюзерену, и веру в «доброго государя».

Далее. На чем основано утверждение, что феодальные правители были заинтересованы в распространении «Речных заводей»? Исторические свидетельства говорят лишь о том, что книга много раз запрещалась и осуждалась за прославление «разбоя», то есть восстания, и за содержащиеся в ней «бесовские речи, смущающие народ». Они подтверждают также, что руководители многих крестьянских восстаний 17—19 вв. использовали лозунги и тактику описанных в романе удальцов из Ляншаньбо. Но ни одному из нынешних критиков романа не удалось еще привести случая, когда чтение романа привело бы крестьянского вожака к мысли о капитуляции.

Дабы оттенить «предательство» Сун Цзяна, многие авторы противопоставляют ему Ли Куя по прозвищу «Черный вихрь» — одного из немногих героев романа, вышедшего из крестьян. Много говорится о его решительности, бескомпромиссности, отваге. Ли Куй, несмотря на свою грубоватость и недалекость, на самом деле является одним из самых привлекательных и популярных героев книги. Но когда «Гуанмин жибао» или «Хунци» цитируют его призыв: «пойдемте, ворвемся в столицу, захватим этот паршивый трон», они «забывают» привести окончание фразы: «и заживем там в свое удовольствие». А ведь оно достаточно ярко показывает, насколько «зрелой» была «программа» этого персонажа. Да и могло ли быть иначе в те далекие времена? Но критики примеряют роман не к исторической действительности изображенной в нем эпохи, а к догматам маоизма.

Всевозможными передержками и противоречиями пестрят писания маоистских критиков. Правда, иногда появляются и статьи известных литературоведов и историков. В них ставятся вопросы о закономерностях классовой борьбы крестьянства в феодальном Китае, о влиянии тех или иных идейных течений на автора «Речных заводей», даются комментарии к эпизодам романа. Но необходимость согласовывать свои выводы с высказанными «кормчим» оценками довлеет и над этими авторами, во многом обесценивая их статьи.

Между тем действительно научное обсуждение проблем, связанных с «Речными заводями», могло бы иметь большое значение для изучения китайской средневековой культуры. Необходимо, в частности, уточнить вопрос о классовом характере изображенного в нем восстания. Безоговорочная оценка его как крестьянского, в чем сходятся и исследователи 50-х годов, и нынешние критики, вряд ли правомерна, даже если крестьяне и составляли большую часть повстанцев. Но это должно быть именно научным обсуждением, а не подыскиванием аргументов для обоснования готовых ответов.

Хорошей иллюстрацией маоистского подхода к классике и применения часто повторяемого лозунга «ставить древнее на службу современности» могут служить слова уже упоминавшегося Чжао Ань-тина. «Речные заводи», пишет он, книга вредная, но

> «...нужно ли изымать все вредное и пагубное? Нет... Даже негодные, сгнившие вещи могут приносить пользу. Экскременты дурно пахнут и загрязняют одежду, но после пребывания в компостной куче превращаются в полезное для крестьян удобрение. Так и «Речные заводи»: хотя вред от них очень велик, при умелом подходе их можно использовать...» («Хунци» № 9, 1975).

Другие авторы облекают эту же мысль в менее «красочные» выражения, но суть дела от этого не меняется. Вновь, уже в который раз, маоисты в своих эгоистических интересах, исходя из соображений внутриполитической борьбы, не гнушаются очернением замечательных памятников культуры китайского народа. И если уж говорить о «негативном учебном материале», то им являются статьи пекинских пропагандистов с «разбором» романа «Речные заводи»: они учат тому, как не надо обращаться с классическим наследием.

В. ВОЛЖАНИН

◆

Публицистика

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

КОЛЮЧАЯ РОЗА

Перевод с болгарского ЛИДИИ БАША

ИДЕТ ВРЕМЯ — НЕСЕТ БРЕМЯ

В юные годы заплаты на штанах были одной из причин моих страданий. Я весь цепенел, когда учительница вызывала меня к доске или даже когда мне надо было идти к чешме за водой. А теперь мой сын нарочно скребет свои новые джинсы куском черепицы, нашивает на них латки, замачивает в хлорке — чтобы слиняли — и прежде, чем надеть самому, дает их поносить младшему брату.

И в те же времена, когда заплаты были не в моде, если за трапезой невзначай падал со стола кусочек хлеба, тот, кто его уронил, должен был, подняв, поцеловать и попросить о прощении. В селах люди присягали и клялись хлебом. Говорили: «Хлебушко, ты — наш кормилец, отец наш родной!», «Ослепнуть мне от хлеба насущного, ежели неправду говорю!» «Уж не считаешь ли ты себя поважнее хлеба?» — говорили, когда кого-то приглашали к столу, а тот не садился. «Хлеб поцелую, ежели ты мне не веришь» — и так далее. У нас это извечное для вчерашнего и для всех предыдущих поколений божество, называемое хлебом, выбрасывают в мусорные ведра, никому даже в голову не придет, что хлеб — это человеческий труд и муки. А в селах его скармливают скотине.

Да и вообще наш нынешний горожанин даже как-то враждебно смотрит на хлеб, потому что он, мол, одна из основных причин его ожирения.

«Хлеба и зрелищ!», «Хлеб и народовластие!», «Мир, хлеб и свобода!» — эти призывы звучали на протяжении всей тысячелетней истории человечества. Сейчас в цивилизованных странах о хлебе говорят мало — теперь там вызывают тревогу... воздух и вода.

Когда-то людей больше всего волновало — уродится ли хлеб, не будет ли засухи или затяжного ненастья, теперь же — будет или не будет атомная война.

Такая смена тревог произошла лишь за два-три последних десятилетия — молниеносно, на наших глазах. Говорю «молниеносно», потому что никогда еще мир не менялся так быстро, как ныне. В доисторические времена люди выделывали из кости крохотных — с палец — божков-идолов. По форме они почти все одинаковы, с той лишь разницей, что одни из них украшены на груди точками, а другие — черточками. Установлено, что мода на «точечных» идолов, например, держалась около двух тысяч лет. Две тысячи лет были в моде одни и те же идолы, пока не назрела — бог его ведает отчего и почему — необходимость заменить точки черточками.

Примерно в таком же бесконечно медленном для нас, современных людей, рит-

ме совершались и перемены в орудиях труда и вообще в экономике и быте. Медные котлы, называемые у нас «бакырами»[1], в которых, можно сказать до вчерашнего дня, носили из чешмы домой воду мои односельчане, были изобретены более чем двадцать веков назад точно такой же формы, и ничего, или почти ничего, в них с тех пор не изменилось. Минуло несколько тысячелетий, пока человек придумал соху и заменил ею мотыгу с наконечником из оленьего рога. Около пяти тысяч лет длилась эпоха деревянной сохи с металлическим сошником, пока на смену ей не пришел в начале нынешнего века железный плуг, который в наши дни, на наших глазах был вытеснен трактором.

Когда-то целым поколениям доводилось прожить свой век, не видя существенных перемен ни в духовной, ни в материальной сфере жизни, а сейчас мы от всех этих перемен не можем просто перевести дыхания: в наше время, на наших глазах примитивные стенные шкафчики были сменены в сельских домах полированными гардеробами, железные печурки — электрическими плитами, бревна и деревянные балки — основной строительный материал — бетонными плитами, серпы — комбайнами, деревянные сохи — тракторами, полоски нив — неоглядными кооперативными полями, фаэтоны — автомобилями. Не говоря уж о технических чудесах, которые, вторгшись в нашу жизнь, изменили ее коренным образом, так что от прежней, можно сказать, ничего и не осталось.

Телефон, патефон, радио, магнитофон, телевизор, о которых мы еще не так давно и слыхом не слыхали, стали в нашем домашнем быту предметами первой необходимости. А в сферу труда машины вошли так стремительно, что мы, все еще ошеломленные и привыкшие к ручному труду, недоумеваем, куда нам девать свои руки. Возможности быстрого передвижения увеличиваются столь неограниченно, что расстояния, вчера еще нас поражавшие, мы считаем сегодня за ничто. Теперь уже каждый может поглядеть на Землю с достаточной высоты, чтобы самолично убедиться в том, что она — просто шар средней величины.

Не стоит гадать, кто счастливее: человек, не видевший никаких перемен на своем веку, или же мы — дети современной, каждый миг меняющейся технической цивилизации? Что касается меня, то я готов отвесить земной поклон этой цивилизации, которая дает нам возможность и летать куда быстрее орла; и видеть, что происходит на трех континентах, находясь на четвертом; гонять мяч, пока машина пашет и жнет вместо нас, и возвращать к жизни людей, уже ступивших одной ногой на тот свет.

Да, я готов сделать это! Но вместе с тем я не могу забыть, что жить в наш атомный век — это не только привилегия, что «роза», называемая цивилизацией, имеет и шипы, что если одной рукой она нам дает, то другой она же у нас и отбирает; что если одной рукой она нас ласкает, то другой хватает за горло; что вместе со всеми теми благами, которые она нам предлагает, она порой угрожает нашей жизни физически, в прямом смысле слова, и угроза эта стала уже фактом «постоянного присутствия» в нашем духовном мире. Я заметил — в самые светлые, даже счастливые мгновенья вдруг ни с того ни с сего оборвется что-то внутри от леденящей мысли: а не ослепит ли тебя нежданно-негаданно обрушившаяся молния, не уничтожит ли, не сметет ли однажды с лика этого чудесного «божьего» мира ядерный вихрь в тот самый момент, когда ты будешь лежать на полянке и любоваться голубым небом...

Эта присущая нашему времени неуверенность не только унижает тебя сознанием зависимости от какого-то изобретения, от чьей-то чужой воли или даже прихоти; она не только тебя пугает и возмущает — неуверенность словно вползает в твой внутренний мир. Правда, на свете всегда было полно всяких страхов. Мы допускаем, что наш далекий предок, живший в каменном веке, испытывал ужас перед пещерным медведем, но он все же знал, что может уцелеть, если выследит медведя, если успеет загородить вход в его логово, чтобы сжечь его там или убить. Этой роскоши — надежды на самозащиту — большой или малой — практически лишает современного человека ядерная бомба. Он устрашен глобально, вместе со своими близкими, своим поколением, со всем человечеством, и не на день и не на два поселилась в нем эта тревога, а до тех пор, пока атомные, водородные, кобальтовые или кто его знает какие еще ядерные бомбы существуют хоть в какой-то точке земного шара.

Верно, всему миру известно, что на свете есть главная сила, противодействующая применению атомной бомбы,— Советский Союз, все знают, сколь последовательна и упорна, сколь неустанна борьба, которую он ведет за запрещение ядерного оружия. Но можем ли мы быть уверены в том, что при фатальном стечении обстоятельств ядерная война все же не вспыхнет? Такой уверенности еще нет. Вопрос о «гарантиях» начал изучаться еще в январе 1946 года (спустя всего лишь несколько месяцев после взрыва первой атомной бомбы над Хиросимой) в новосозданной тогда Организации Объединенных Наций, но столь желанное для миролюбивых сил абсолютное запрещение ядерного оружия все еще не достигнуто. А готовые для взрыва сотни, может быть и тысячи, ядерных бомб продолжают висеть над человечеством как дамоклов меч. Известно, что их вполне достаточно для того, чтобы многократно уничтожить жизнь на нашей планете. Так что мы можем с умилением вспоминать меч изобретательного Дамокла, способный отсечь лишь одну голову и опустошить силой ужаса лишь одну человеческую душу, тогда как ядерный меч нависает одинако-

[1] Бакър *(болг.)* — медь *(прим. перев)*.

вой угрозой над каждым из трех миллиардов человеческих существ.

Некогда в нашем старом болгарском журнале «Природа» один из авторов, обсуждая проблемы будущей «воздушной войны», выражал сожаление, что человеку придется тогда умирать не под звуки полкового оркестра, а под гул аэропланного пропеллера и грохот взрывов авиабомб. В другой книге — «Война двухтысячного года» — другой автор изобразил кульминацию этой войны в картине смерти главного героя (японца), который с криком «Банзай!» выбрасывался из кабины аэромобиля, чтобы дать возможность своему товарищу набрать необходимую для схватки с противником высоту.

Эти представления о «войне будущего» выглядят в наши дни не просто наивными, но смешными, ибо теперь перед глазами всегда встает грибообразный огненный вихрь взрыва, который за несколько секунд смел с лица земли Хиросиму, расплавив с одинаковой легкостью людей и железобетон.

По сравнению с таким способом уничтожения средневековые ужасы Столетней и Тридцатилетней войн кажутся идиллией. Потому что в те времена даже самые жестокие наемники выбирали жертву своего копья и могли проявить милосердие хотя бы по отношению к детям или беременным женщинам, тогда как во власти слепой ядерной молнии уничтожить всех подряд и сверх того еще отравить землю радиоактивными осадками, почитай, на вечные времена.

Проникающая в наше сознание и подсознание ядерная угроза способна исподволь удручающе изменить окраску нашего духовного мира. Мешая нам верить времени, полагаться на время, она незаметно подтачивает нас, заставляя пользоваться нетерпеливо, поспешно, порой даже грубо дарами жизни и нарушать «естественный порядок естественных вещей».

Но кроме наносимой людям психологической травмы, ядерная угроза травмирует нас и физически — в самом прямом смысле этого слова — продуктами радиоактивного распада, которые, распыляясь в атмосфере, выпадают затем в виде «осадков» во всех частях земного шара. Как известно, один из самых опасных элементов радиоактивных «осадков» — стронций-90. Упав на траву, стронций-90 через молоко попадает в человеческий организм, накапливается в костях и начинает поражать своими бета-частицами костномозговые клетки, которые воспроизводят красные кровяные тельца.

После атомного взрыва в Хиросиме дождь из стронция-90 оросил землю американцев, первыми сбросивших атомную бомбу, проник в пищу и стал причиной резкого роста заболеваний злокачественной анемией в США. Всем известно: если продолжать испытания атомного оружия, будет продолжаться накопление количества стронция-90 в корме для скота, затем в пище человека, а вместе с ней он попадет в человеческий организм.

Благодаря воздушным течениям радиоактивным стронцием-90 «награждаются» все народы мира. Точно установлено, что ядерные взрывы в атмосфере разрушают одну из самых ценных подкладок атмосферной «шапки» Земли — озонную оболочку, которая нас укрывает от смертоносных космических излучений. Каждый атомный взрыв в атмосфере разрывает то тут, то там эту и без того очень тонкую озонную броню, и, таким образом, наша земная «голова» становится все более открытой, незащищенной.

«Да! Все это так,— возражают оптимисты,— ядерная техника в самом деле несет человечеству серьезные неприятности, но ведь атом роковым образом связан с нашим будущим как самый перспективный источник энергии, и именно в драматический для нашей цивилизации момент, когда традиционные источники — уголь и нефть — уже находятся на грани истощения».

Это, разумеется, верно: овладение ядерными процессами даст действительно отличную возможность получать необходимую и к тому же дешевую энергию на атомных электростанциях, которые уже усиленно строятся во всем мире. Строятся настолько усиленно, что если энергия, выработанная ими, в 1970 году составляла лишь 2% мирового производства электроэнергии, то через 25 лет уже составит 50%. Ядерная энергия, несомненно, будет играть важную, более того — незаменимую, роль для человека, во всяком случае до тех пор, пока наука не найдет способов использования других видов энергии — солнечной или океанической, вулканической, энергии ветра или же, наконец, энергии, которую, как предполагается, можно будет использовать при водородном синтезе.

Все так. Но светлая атомная перспектива омрачается обстоятельством, которое ставит нас перед новыми тревогами и новыми трудностями. Работа современной атомной электростанции связана — это тоже известно — с производством нового, не существующего в природе элемента, названного плутонием, который распадается подобно урану-235 и может быть использован не только как горючее для атомных электростанций, но и как «материал» для изготовления атомных бомб.

Значение плутония с этой точки зрения становится еще очевиднее, если принять во внимание, что одна АЭС мощностью в 500 мегаватт электроэнергии обеспечивает производство 120 килограммов плутония — количества, вполне достаточного для изготовления 12 атомных бомб, по своей мощности равных той, которая смела с лица земли злосчастную Хиросиму.

Согласно авторитетным прогнозам в 1980 году атомные электростанции во всем мире произведут плутония в количестве, достаточном для изготовления 1000 бомб, а в 2000 году, когда, как предполагается, число АЭС достигнет двух-трех тысяч, количество произведенного в них плутония составит около тысячи тонн ежегодно и может обеспечить изготовление уже многих тысяч атомных бомб.

На практике это означает, что все страны, которые имеют АЭС, смогут вооружиться атомными бомбами, потому что секрет атомной бомбы уже давно стал секретом полишинеля. А число стран, которые будут иметь АЭС или даже только атомные реакторы для научных целей, составит несколько десятков... Более того — по мнению известного атомного физика Теодора Тейлора — изготовление атомных бомб станет тогда по силам «каждому толковому студенту-физику, если он будет располагать 10—12 килограммами плутония и заброшенным гаражом для конструкторской работы». При том способе хранения ядерных веществ, который существует в Америке, как утверждает Тейлор, снабдить себя плутонием — дело куда более легкое, чем ограбить банк, и одной самодельной бомбой, размером с апельсин, можно преспокойно уничтожить сотни тысяч людей. И вот она, беда: когда ядерная бомба станет доступной для многих стран, если не для всех, ограничить ее использование будет слишком трудно, чтобы не сказать — невозможно. Достаточно такому оружию попасть в руки диктатору-психопату вроде Гитлера. Теперь никто не сомневается, что Гитлер взорвал бы не одну атомную бомбу, успей только он их изготовить. Исключена ли возможность появления завтра какого-нибудь нового его собрата, который, снабдив себя необходимым количеством плутония, не сделает рокового шага ко всеобщей ядерной войне?

А не может ли случиться и так, что атомная бомба попадет в руки самого обыкновенного гангстера и мы услышим однажды, что над Парижем, например, кружит самолет с тремя вымогателями, которые предупреждают, что через несколько минут город будет уничтожен, если Национальный банк не предоставит свои сокровища уполномоченному ими лицу.

Чтобы закончить разговор о тревогах, вызываемых у нас «атомной кухней», коротко отметим ее не совсем безобидное свойство оставлять очень большие количества радиоактивных и, следовательно, опасных для жизни в самом прямом смысле слова отходов. Некоторые из этих отходов почти «вечны». Как известно, углерод-14, например, распадается за 5000 лет, йод-120— за 20 миллионов лет, а уран-238— за 2 миллиарда лет, притом только наполовину. Одни прячут эти вечные яды глубоко под землей в заброшенных штреках рудников и шахт. Но есть ли гарантия, что эти подземные галереи при каком-то перемещении пластов земной коры не окажутся вдруг на поверхности и не вынесут туда снова то, что с таким старанием пытались упрятать? Другие делают бетонные капсулы и опускают их в океан. Но кто может гарантировать, что они выдержат необходимые 20 миллионов лет, пока бессмертный йод-120 не станет безопасным?

И все же не в поисках могилы для ядерных отходов — самая большая наша беда; изобретательная наука, вероятно, сможет что-то придумать, чтобы обезопасить их. Сложнее обстоит дело с зараженной водой после ее прохождения через «атомную кухню». Эта вода, насыщенная порой только «следами» атомного яда, уходит в реки, из рек в моря. И тут происходит нечто весьма неприятное; оказывается, что рыбы, водоросли и планктон как магнит притягивают и накапливают в себе радиоактивные вещества. Так, радиоактивность водорослей в реке Колумбия (США) оказалась в 5000 раз выше, чем радиоактивность воды, в которой они развиваются. В реке Клинч (США), зараженной атомным заводом, планктон в 10 000 раз более радиоактивен, чем ее вода, а рыбы — в 20—30 тысяч раз. Вот так пресноводные, и морские животные, и растения становятся действительно опасными для человека, а надежды на использование планктона как белкового резерва и вообще как «пищи будущего» внезапно омрачаются все возрастающим отравлением океана промышленными отходами и радиоактивными веществами. Попадая через посредство морских продуктов в человеческий организм, радиоактивная «зараза» накапливается в нем и вызывает генетические изменения, которые ведут к вырождению, к раковым и другим заболеваниям.

И вообще зловещий огненный «дух Хиросимы», который как будто был уже загнан в бутылку, стал проявлять способность к различным перевоплощениям. Некоторые из них были в самом деле привлекательными своей «кротостью» и полезностью, другие — были ужасны.

Но все, в конечном счете, зависит от нашего, от человеческого духа, от того, сколь высоким окажется разум (и мораль) людей, которые держат в своих руках атом,— на уровне ли каменного века или же на высоте современной технической цивилизации. От того — и это отнюдь не в последнюю очередь,— будут ли парализованные страхом люди сложа руки наблюдать за «атомными процессами».

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БЕЗДНА

Одними из первых, кто заглянул в эту бездну, чтобы не сказать первыми, были Джеймс Д. Уотсон и Френсис Крик. Эти ученые в 1953 году впервые установили, каково строение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, кратко называемой ДНК.

Это открытие послужило основой так называемой «генной инженерии», которая в последнее время так нашумела, поразив нас невероятными перспективами, обрадовав своими фантастическими посулами и испугав неожиданными возможностями вмешаться в структуру ДНК и изменить ее.

После того как был открыт «основной строительный блок в генетике» — молекула ДНК,— биологи соблазнились возможностью «вырезать» ее отдельные ступеньки, в которых содержатся одни задатки, и пересаживать на их место другие ступеньки, с другими индивидуальными характеристиками

(например, сменить рыжий цвет бороды на черный).

Конечно, это шутка, потому что, возмечтав о таком виде генетических пересадок, биологи имели в виду характеристики куда более важные, чем цвет бороды. Основное свойство мечты — то, что она крылата. Поэтому полет мечты биоинженеров достиг таких пределов, что некоторые, более торопливые, уже задумываются над полной перестройкой человеческой природы, над генетическим улучшением человека, по крайней мере в тех точках, которые они считают «ошибками природы». Другими словами, они решили стать корректорами близорукой, по их мнению, природы.

Готовясь к решению этой ошеломляющей задачи, ученые сумели достигнуть действительно поразительного — они создали химическим путем искусственный ген. Ген, который обусловливает красный цвет человеческой крови, например, синтезирован в пробирке в начале 1972 года.

Затем они приступили к экспериментам с простейшими организмами — вирусами и бактериями, у которых генов меньше и, следовательно, они легче поддаются генной инженерии.

При помощи энзимов словно хирургическим ножом срезают молекулу ДНК у вируса, удаляют из нее некоторые части, добавляют ей новые и «монтируют» таким образом вирус с новыми способностями и свойствами. Затем заставляют этот искусственно образованный вирус проникать и размножаться в некоторых бактериях и создавать новое поколение вирусов-бактериофагов, с новыми, желательными для человека свойствами.

Создавать такие новые вирусы можно не только путем срезания их ДНК при помощи энзимов, но и путем химического воздействия на гены бактериофага. Ученые при этом способе разрушают вирусную ДНК и превращают ее в кучку безжизненных руин — материал. Затем генохирурги отбирают из этого материала нужные им «части», соединяют их с помощью специальной техники и создают новые, агрессивные, способные к нападению и размножению бактериофаги.

Что все это означает? А то, что агрессивная молекула ДНК вируса-бактериофага может быть разрушена, «умерщвлена», а затем снова воскрешена. Это означает, что человек уже прикоснулся кончиками пальцев к тайне, называемой «жизнь», что он может создать **новые существа**, каких нет в природе. Итак, человек становится сам чем-то вроде бога, который, дунув на горсточку глины, может соорудить из нее пока вирус, а завтра — черт его знает что.

Следующим шагом будет взятие наследственной крепости бактерии и создание бактерий с желательными для человека свойствами, что, несомненно, и произойдет.

Соединение генов родственных бактерий в одной молекуле, которая, будучи пересаженной в третью бактерию, начинает развиваться как совершенно новая, стало ныне научным фактом. Уже известно такое достижение науки, как пересадка генов стафилококков другому виду бактерий, именуемых кишечными палочками, и получение гибрида, который сочетает характеристики обоих видов. Успешно ведутся опыты с генными гибридами посредством так называемых молекул-«химер», которые представляют собой дееспособные размножающиеся «соединения» бактерий с животными генами (химеры, согласно греческой мифологии,— чудовища, соединяющие в себе черты и части различных существ). Эти микрочудовища уже существуют, действуют и обогащают разнообразие естественно созданного мира живого новыми, неизвестными природе экземплярами, чье значение — к добру или не к добру они — теперь лишь предстоит выяснить и оценить.

Все эти успехи генной инженерии дают основания надеяться, что если она поставит перед собой цели производственные, то человечество обретет ту сказочную скатерть-самобранку, которая наконец-то накормит его все целиком досыта. Одна из возможностей в этом направлении — это скрещивание (прививка) бактерий, которые синтезируют атмосферный азот, с бактериями, которые живут в корнях пшеницы и кукурузы. Полагают, что с помощью этого нового вида бактерий можно будет решить поистине сказочным образом вопросы обогащения почв без минеральных удобрений.

Недавно ученые Института биологии развития Академии наук СССР с помощью генохирургии создали шелковичного червя только мужского пола, с той выгодой для человека, что он будет давать шелка-сырца на одну треть больше, чем женские особи. Сообщалось также, что это достижение советских ученых применяется уже на практике.

Надежды на генохирургию возлагают и фармацевты в связи с производством антибиотиков, а также и врачи. Обсуждается вопрос о лечении диабета путем заселения кишечника человека специально выращенными молочно-кислыми бактериями или же бактериями, которые будут вырабатывать инсулин в тех случаях, когда выходит из строя предназначенная для этого железа.

Но пока это только еще обещания и надежды. Правда, недавно пришла, наконец, поразительная новость: американским ученым из Института Карнеги удалось ввести гены лягушки в кишечную палочку.

Поразительное тут состоит в том, что было совершено как бы бракосочетание между лягушкой и бактерией, но неизвестно, каково будет поведение новой, генетически преобразованной бактерии в кишечнике человека, где она обретается. Разве может быть кто-нибудь уверен в том, что это не окажется причиной прободения кишок? И, наконец, не приведут ли в один прекрасный день дальнейшие опыты с новыми, преобразованными молекулами ДНК в клетках животных и бактерий к созданию совершенно нового типа инфекционной бактерии, которая повлечет за собой новую, еще неведомую эпидемию, и она расправится со всем человечеством?

Эта действительно серьезная опасность, вовремя понятая прежде всего самими биоинженерами, стала причиной того, что группа их во главе с самим открывателем ДНК Джеймсом Уотсоном обратилась с предложением ко всем ученым добровольно отказаться от опытов, связанных с пересадкой генетического материала в различные организмы. Национальная академия наук США присоединилась к этому обращению и призвала ученых всего мира отказаться от генетических «прививок», которые могли бы привести к «созданию новых типов инфекционных элементов, чьи биологические свойства невозможно предсказать».

На фотографии, датированной 1953 годом, Д. Уотсон и его коллега Френсис Крик — это еще совсем молодые люди, почти юноши; они застенчиво улыбаются, стоя перед макетом, на котором впервые изображена ими структура молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Подозревали ли в эту счастливую для них минуту оба молодых ученых, каковы будут последствия их открытия,— не знаю, но то обстоятельство, что сам Джеймс Уотсон теперь выступает против опытов генетической гибридизации, достаточно ясно свидетельствует, насколько он встревожен скрытым «острием» генохирургии. Мы не знаем, каков будет практический эффект их призыва отказаться от опытов генетической гибридизации, но в одном можем быть вполне уверены: молекулярная инженерия поставила человека перед новыми серьезными искушениями и испытаниями.

Одних будет соблазнять — если уже не соблазнила — возможность изобрести новое бактериологическое оружие; другие воодушевятся желанием наживать на этом прибыли; третьи захотят действительно помогать человечеству; четвертые захотят его изменить, обновить и улучшить. Уже слышатся, правда еще робкие, голоса: «Незачем задаваться вопросом, каков человек есть, надо думать, каким его следует сделать». (Если, конечно, он после всех опытов останется жив и невредим.)

Некоторые предлагают уничтожить отныне то досадное качество человека, которое называется агрессивностью — причину бесчисленных бед и в личной и в общественной жизни. Но, как показывают опыты с животными, подавление агрессивности видоизменяет весь «характер» животного, потому что в его душевном равновесии агрессивность играет определенную и притом незаменимую роль.

И потом, прежде чем приступить к «исправлению» человека (позволю себе немного забежать вперед в рассмотрении этого вопроса), нам следовало бы уяснить основной момент: убеждены ли мы в том, будто все, что природа сделала с нами, людьми, на протяжении двух миллионов лет естественного отбора, есть оптимальный вариант того, что можно было с нами сделать? Если допустить, что она не сделала всего, что требовалось, создав нас одновременно и плохими и хорошими, и агрессивными и кроткими, трусливыми и отважными, веселыми и мрачными, милосердными и бездушными, глупыми и умными, порой жадными до безобразия, в других случаях готовыми на самопожертвование,—тогда, быть может, действительно следует начать эту «операцию».

Интересно, что идея оперативного вмешательства в человеческую природу приходила на ум людям и до изобретения генохирургии. В одной из сказок Максима Горького речь идет о человеке, который хотел достигнуть совершенства и заключил с дьяволом сделку, чтобы тот избавил его от претящих ему страстей. И начал дьявол их у него изымать. Изъял одну, другую, третью: избавил от страха, зависти, жадности, избавил и от склонности к «первородному греху»,— и тогда стремившийся к совершенству увидел, что он уже не человек, а просто жалкие лохмотья оболочки, из которой выпотрошили все, что в ней было.

Я читал эту сказку Горького давно и передаю ее в общих чертах, но основная мысль ее вполне ясна и, я бы сказал, назидательна.

Едва ли стоит сомневаться в том, что придет время, когда, не вступая ни в какие сделки с дьяволом, станет возможно с помощью генохирургии производить такие операции с человеком, которые избавят его от того или иного качества, от одной или другой его страсти, от той или иной его склонности; когда станет возможно генетическое преобразование даже целых поколений людей, после которого они, к примеру говоря, никогда не вспылят, не возразят, не разозлятся, не расстроятся, не увлекутся и не ошибутся. Вполне возможно, что удастся получить такую удобную во многих отношениях породу людей. Но в одном я уверен — такая человекоподобная пластмассовая конструкция не будет иметь ничего общего с тем, кого сейчас мы называем Человеком — Человеком с большой буквы, да и вообще с привычным, традиционным понятием «человек».

Может быть, кто-то и верит, что этот новый вид человека будет более высокой ступенью лестницы нашего развития. Все равно это будет совершенно другое существо, подчиненное другим закономерностям, другим волям, а не воле природы. А мы свои человеческие вольности и дерзости опять-таки приписывали матери-природе, с которой не впервые сталкиваемся и схватываемся в единоборстве.

УРБАНИЗАЦИЯ

Слово это не так уж ново для нашего языка, но в последнее время оно употребляется все чаще и чаще, по мере того как усиливается явление, которое оно обозначает, ну и, кроме того, еще и в силу нашей болгарской склонности к употреблению

иностранных слов. Но вернемся к теме: что же это за явление, обозначаемое словом «урбанизация»? Это быстрое развитие современного города, а также сопутствующее этому развитию и вызванное им превращение в горожан большей части сельского населения.

Кажется, это Сенека писал в одном из своих трудов: «Хвали в человеке то, что никто не может у него отнять. А что же это? Душа и разум. Чего требует от человека разум? Самого легкого — жить сообразно природе...»

«Самое легкое»,— сказал мудрец, а мы, хоть и никакие не мудрецы, позволим себе добавить: «И самое тяжелое» или, вернее: «Самое трудное». Почему?.. Потому что пусть мудрец встанет из могилы и скажет мне: как могу я не дышать загрязненным городским воздухом, если я живу в городе? Как я могу не слышать скрежета трамваев, трескотни мотоциклов, грохота автомобилей, гула самолетов? Как могу я укрыться от обрушивающегося на меня ливня тихих и оглушающих звуков, которые составляют нормальный городской шум, не говоря уж о ненормальном — о грохоте, когда продувают, например, печи теплоцентралей или когда над головой пролетают сверхзвуковые лайнеры?

Как же мне жить сообразно природе?

Разве в моих силах не попасть на улице в клубы смрадного и ядовитого сизого дыма, которые выпускают на ходу прямо мне в нос бесчисленные автомашины? А городская аэрозольная мгла, которая не позволяет хоть когда-нибудь увидеть, какое над тобой небо и звезды на нем, не говоря уж о том, что эта пыльная мгла начинает всерьез заслонять от нас солнце? Могу ли я изгнать из города автомобили, которые заставляют меня вздрагивать на каждом перекрестке, которые вынуждают меня перебегать улицу, уподобляясь преследуемому животному, когда они, построившись по обеим сторонам пешеходной «зебры» в колонны, нетерпеливо переминаются на месте, прежде чем стремительно броситься вперед?

Можно ли, спрашиваю я знаменитого философа, жить сообразно природе, если я — горожанин и должен существовать в городской атмосфере, под городским небом, в компании сотен тысяч хищников, называемых автомашинами, с которыми вынужден делить тишину, воздух и даже тротуары (об улицах уже никто из пешеходов и не заикается)?

Да и кто не знает, что из труб теплоцентралей, металлургических и других заводов в Софии и ее окрестностях, которые все еще недостаточно снабжены необходимыми очистительными установками, над нашими жилищами — а ведь это же столица! — ежегодно выпадает двести тысяч тонн (не килограммов, нет!) пепла и семь тысяч тонн серного ангидрида? (Пишу эти числа словами, чтобы не произошло недоразумения.) Выпадает вопреки установленным правительственными документами защитным нормам и обязательному сооружению очистительных установок на промышленных предприятиях и т. д.

Загрязнению воздуха в Софии и вообще в городах в последнее время особенно способствует размножившийся до несметного числа легковой автомобиль, называемый некоторыми

«ЖЕСТЯНАЯ ПРОКАЗА»

Двигатель его выбрасывает около ста различных, главным образом ядовитых, веществ. В Софии уже более ста тысяч автомобилей. За пятилетку их количество увеличится в стране еще на 600 тысяч штук; можете себе представить то колоссальное облако чада, в который мы будем погружены и который мы будем вдыхать — хотим мы того или не хотим,— вопреки Сенеке, вместе с канцерогенными бензопиринами и распыленным в отработанных газах свинцом? Вместе с ядовитыми альдегидами и еще более ядовитой окисью углерода, выделяемыми двигателями внутреннего сгорания.

Установлено, что в Лос-Анджелесе 80% ядовитых веществ, имеющихся в воздухе, поступает из выхлопных труб легковых автомашин. Сколько ядовитых веществ, попадающих в воздух из выхлопных труб ста тысяч легковых машин в Софии, еще не подсчитано, но бесспорно то, что присутствие этих ядов начинает все сильнее давать себя знать в участившихся за последние годы сердечно-сосудистых, легочных и других заболеваниях...

В Америке число заболеваний эмфиземой легких удваивается каждые пять лет, а жертв рака легких становится больше жертв всех остальных раковых заболеваний. И все это из-за растущего загрязнения городского воздуха. (В США только 3% населения — «сельское», остальное составляют жители городов!)

Особенно вредно загрязнение городского воздуха свинцом. Попадая в организм человека с автомобильными газами, он накапливается там, нанося непоправимый вред кроветворным центрам в костном мозге, главным образом у маленьких детей, а также нервной системе и детей, и взрослых. Некоторые ученые считают свинец самым сильным невротоксином. Шотландские ученые произвели обследование 154 детей, установили, что только половина их развивается нормально, а у остальных развитие заторможено и что причиной слабоумия у этих детей является повышенная концентрация свинца в крови (25,4 миллиграмма на 100 кубических сантиметров).

Из-за сильного загрязнения воздуха отработанными автомобильными газами в Париже собаки не могут жить более пяти лет, если они находятся ниже третьего этажа. Загрязненный воздух губит и растения — они быстро чахнут и засыхают. По данным Стенфордского исследовательского института в США ущерб, причиняемый гибелью растений от загрязнения воздуха, достигает суммы в 132 миллиона долларов ежегодно.

В Токио регулировщики движения на

главных улицах вынуждены каждые полчаса освежаться, вернее приводить себя в чувство с помощью кислородного аппарата. Там же на улицах установлены автоматы, которые продают тебе глотки чистого воздуха, словно стакан лимонада...

В таких городах, как Нью-Йорк и Токио, только три четверти солнечных лучей проникает сквозь аэрозольную завесу. В Кёльне однажды после сильного дождя, насыщенного парами соляной кислоты, содержащейся в воздухе, у прохожих начали распадаться зонтики и чулки. Особенно показательна судьба Луксорского обелиска времен Рамсеса II, перенесенного из Египта в Париж в 1836 году. Оказалось, что насыщенный ядовитыми веществами и аэрозолями влажный парижский воздух разъедает гранитный обелиск с устрашающей силой, так что примерно за сто лет своего пребывания в Париже обелиск оказался поврежденным в десять раз больше, чем за два тысячелетия существования в Египте.

Такая же угроза нависла и над афинским Акрополем, мраморные колонны которого начали в последнее время крошиться, как брынза, и наши соседи греки считают, что лишь чудо может обезопасить Акрополь от разрушительного действия ядов, содержащихся в воздухе.

Если загрязненный воздух действует так на мрамор и гранит, то что можно сказать о куда более хрупких и нежных тканях человеческих легких, где оседающие химические пылинки, называемые аэрозолями, вершат свою зловещую работу?.. И вообще аэрозоли подтверждают правило, что

МАЛОЕ НЕ ВСЕГДА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

Аэрозоли — это распыленные в воздухе жидкие и твердые химикалии: бензиновые пары, капли серной, соляной и азотной кислот, альдегиды, хлорид свинца, мельчайшие частицы сажи и других того же рода и вида ядовитых и полуядовитых продуктов механических и химических процессов. Они поступают из труб промышленных предприятий и главным образом из выхлопных труб автомобилей, собираются над городами и промышленными зонами и, если нет ветра, который рассеивает их, застаиваются над ними на целые дни, недели, а часто и месяцы в виде серо-желтой пелены.

Аэрозолинки эти очень малы, микроскопичны, невидимы, а потому коварны и опасны. С одной стороны, они заслоняют солнце и ухудшают освещение Земли, а вместе с тем и зависимый от солнечного света фотосинтез; и как естественное последствие этого уменьшается количество кислорода, выделяемого растениями в процессе фотосинтеза. Это означает, что уменьшается на Земле количество энергии и живой массы, зависящей от энергии.

Другое зло пылинок, называемых аэрозолями, в том, что они притягивают к себе водяные пары и образуют капли, которые обрушиваются дождем тогда, когда ему вовсе не время быть. Поэтому над промышленными зонами и особенно над городами вместе с подъемом технической цивилизации увеличились и выпадения осадков. Примером может служить наша София, которая вся пропиталась сыростью от дождей, поливающих ее слишком часто в последние годы. (Установлено, что в местности Ла-Порт, штат Индиана, расположенной в 30 милях от сталелитейных заводов «Гери», за последние 14 лет выпало осадков на 31% больше, чем прежде, и на 38% больше было бурь, а облачные дни случались намного чаще по сравнению с соседними областями.)

Аэрозолей стало настолько много, что они начинают мешать естественному движению воздушных масс в атмосфере и влияют на воздушные течения, потому что они постепенно разносятся по всей земной атмосфере и увеличивают облачность. Только от работы реактивных двигателей облачность над Атлантическим океаном увеличилась с 10 до 15 процентов.

Некоторые ученые высказывают мнение, что если аэрозоли будут продолжать накапливаться, то это может вызвать всеобщее охлаждение Земли, потому что, как отмечалось выше, они превращаются во все более плотную преграду для проникновения солнечных лучей — света и тепла — на земную поверхность, а значит, теоретически возможно и новое оледенение планеты, искусственно вызванный ледниковый период. Другие же ученые, напротив, полагают, что накопление аэрозолей может вызвать потепление, и это будет такое потепление, что растают ледники и уровень воды в океанах повысится настолько, что произойдет, так сказать, новый всемирный потоп...

Если добавить к уже установленным и вероятным бедствиям, причиняемым аэрозолями, еще и тот вред, который они наносят здоровью людей, становится ясным, что это действительно серьезная и коварная напасть.

А что уж говорить об устрашающе возросших примесях окиси углерода в воздухе?!

С начала индустриальной эры содержание углекислого газа увеличилось в нем на 10%. И это, несомненно, оказывает влияние на химическое равновесие планеты. Сколь всеобъемлюща эта опасность, говорит то обстоятельство, что даже в атмосфере Южного полюса обнаружены все вредные отходы и «продукты» индустриализации. А содержание в ней углекислого газа непрерывно возрастает...[1]

При таком положении вещей тревогу о состоянии воздуха вполне закономерно можно назвать тревогой «всемирной». Когда отца кибернетики Норберта Винера спросили, что он может сказать о тех ог-

[1] Этого мнения придерживаются не все ученые *(прим. редакции)*.

Н. ХАЙТОВ
КОЛЮЧАЯ РОЗА

ромных переменах, которые наступили в природной среде в результате вмешательства человека, он ответил: «На этот вопрос мы узнаем ответ скоро или вообще его не узнаем, потому что нас уже не будет».

Известно, что в Рурском промышленном бассейне из-за загрязнения воздуха и почвы самым трудным делом стало вырастить дерево. А люди там живут и растят детей (как растят — это уж другой вопрос). Поэтому в Декларации, недавно подписанной Швецией в связи с загрязнением воздуха, где говорится, что «впервые в истории человечества будущая жизнь на Земле находится под страшнейшей угрозой...», нет никаких преувеличений.

ДЫХАНИЕ — ПРОБЛЕМА

Именно так и есть! Дыхание, особенно для городов,— это проблема. Воздержимся пока от определения степени ее значимости — проблема номер один это или номер два? — важно то, что она уже вынуждает нас искать выход.

Один из первых камней преткновения на пути ее решения — а в т о м о б и л ь. Одна-единственная автомашина расходует на пробег в 900 километров столько кислорода, сколько человек за целый год жизни. Согласно статистике, автомобили в США выбрасывают ежегодно в воздух более миллиона тонн свинца, а ведь, как известно, автомобили есть не только в США. И неудивительно поэтому, что в снегах Гренландии содержание свинца с начала автомобильной эры (1870 год) до наших дней увеличилось в 500 раз.

Академик Виноградов недавно сообщил, что 100 миллионов автомобилей в США ежегодно поглощают кислорода в два раза больше того количества, которое американская природа успевает выработать.

«Став массовым явлением, автомобиль пожирает наше жизненное пространство и заражает его жестяной проказой. Современный город — этот транспортный ад — просто самоуничтожается в результате автомобильной газовой смерти, адского шума и духоты»,— пишет Ницон, один из самых ярых противников легковых автомобилей, и, надо сказать, не без оснований. Эксперты установили, что 35% загрязнения атмосферы городов и почти 85% содержащихся в ней окислов мы обязаны автомобилям, а окись углерода, как известно, разрушает гемоглобин в крови. Так что рычащая колымага, именуемая автомобилем, пугает нас не только угрозой быть сшибленным или раздавленным им (это еще не самое зловредное его свойство) и не только шумовой бомбардировкой, которая обрушивается на несчастных городских жителей, не только вонью и пожиранием кислорода, а прежде всего ядами, которые автомобиль изливает на нас, можно сказать, в неограниченных количествах.

«Но автомобиль и полезен и необходим!» — возразят нам его приверженцы. Верно, но только за чертой города. Потому что, например, в таком большом, буквально набитом машинами городе, как Париж, средняя скорость в часы «пик» составляет всего лишь 6 километров, и легковая машина поэтому утрачивает свое основное преимущество — скорость, она становится бессмысленной, а городское движение превращается в настоящий бедлам. Между тем усовершенствованная электровозная (трамвайная и троллейбусная) сеть может превосходно справиться с проблемой внутригородского транспортного сообщения.

Шведское правительство приняло решение усилить требования, обязывающие автостроительные фирмы снизить выхлоп отработанных газов у машин, которые будут производиться в стране после 1976 года. Но это лишь полумера, которая никак не скажется на автомобильном нашествии. Конечно, можно было бы найти выход в электроавтомобиле, но, хотя о нем говорят уже давно, он все еще практически не появился на городских улицах и, вероятно, не появится до тех пор, пока традиционный бензиновый будет иметь полную свободу неограниченно размножаться и совершенствоваться.

Сейчас в мире насчитывается свыше 250 миллионов автомашин. Сколько их будет завтра — неизвестно, но с уверенностью можно предсказать одно: «ЛИБО ЛЮДИ СДЕЛАЮТ так, что в воздухе станет меньше бензиновой гари, либо БЕНЗИНОВАЯ ГАРЬ СДЕЛАЕТ ТАК, ЧТО НА ЗЕМЛЕ СТАНЕТ МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ» (слова эти принадлежат Луи Батэну).

Разумеется, кислородная проблема не связана только с автомобилем и зависит не только от него. Недавно в одном из своих выступлений президент Академии наук Болгарии А. Балевский сказал: «Если индустрия до конца нашего тысячелетия будет развиваться все так же, она будет поглощать 132 миллиона тонн кислорода, а природа за год производит его 140 миллионов тонн, или же, другими словами, ВЕСЬ ОН УЙДЕТ НА НУЖДЫ ИНДУСТРИИ».

Такова перспектива двухтысячного года.

Но к двухтысячному году по прогнозам некоторых ученых уже можно будет излечивать рак (называют даже дату — 1997 г.).

К тому же двухтысячному году предполагается создать эффективные препараты для лечения диабета, болезни, которую можно будет полностью подавить; обычными станут пересадка человеческого сердца и изготовление искусственной крови... Предвидится, и даже не в 2000 году, а в 1992-м, что слепые смогут видеть на расстоянии пяти метров, а глухие еще в 1991 году смогут разговаривать по телефону.

И лишь одно-единственное добавление превращает эти блестящие перспективы в бессмыслицу: ЕСЛИ В АТМОСФЕРЕ ЕЩЕ БУДЕТ ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ.

А будет ли воздух в 2000 году (и в дальнейшем) — зависит не только от исхода борьбы с автомобильным нашествием, но и от того — справится ли человек с промышленным загрязнением воздуха, идущим от заводских труб.

Вопрос — по силам ли человеку и в воз-

можностях ли современной науки обезопасить себя от вредоносных последствий индустрии? — совершенно излишен. Человек способен, может сделать это. Если он заставил атом трепетать в своей руке, если он навесил на вирусы звонки и может командовать луноходом — какой шаг, в какую секунду тот должен сделать,— для такого человека будет просто игрушкой изобрести очистительные установки, кстати сказать, он их уже изобрел. Недавно в печати появилось сообщение, что в Харькове создана аппаратура для очистки выбрасываемых через заводские трубы вредных газов, которая уже смонтирована на заводе «Азовсталь» (город Жданов, Украина), и что эта аппаратура имеет возможность с помощью воды и нагретых до 2000 градусов воздушных вихрей «устранять» из загрязненного воздушного потока самые малые частицы металлических окисей, а также и окись углерода». Более того, эта очистительная аппаратура будет ежегодно приносить заводу около полутора миллионов рублей экономии.

Вот это и есть глубокочеловечное, высокотехничное и научное достижение!

Когда подобным видом очистительной аппаратуры будут снабжены все заводы, мы сможем ходить по городским улицам, не прикрывая рта платочками и не загрязняя воду в ванне проникшей в наши поры сажей. И не ужасаться темным цветом того, что выходит у нас из груди, когда мы откашливаемся по утрам.

Тогда нам останется одно — мечтать о том, как нам успешно бороться с

ТИРАНОМ ДВАДЦАТОГО ВЕКА — ШУМОМ

Это сказал много лет назад Роберт Кох, когда тишину в городах нарушал лишь стук колес экипажей: «Наступит день, когда человеку придется вступить в беспощадную борьбу с шумом — злейшим врагом его здоровья, точно так же, как он боролся против холеры и чумы в прежние времена». А Томас Эдисон пророчествовал: «Человек в городах, испытывающий постоянное воздействие шумов, стоит перед неизбежностью родиться глухим». В том же духе писал и профессор Анохин: «Когда сверхзвуковой транспорт войдет в наш быт, я опасаюсь, что он будет перевозить на нашей планете полуглухое население».

Пока сверхзвуковые самолеты губят только оконные стекла: при освящении новой Академии авиации в Колорадо «загремели» более двухсот окон, когда над зданием пролетали эти самолеты. Окна, конечно,— это малая беда: дело в том, что сильные шумы тоже «убивают» человека, хотя и не сразу, а постепенно. Воздушные вибрации поражают, подобно взрыву, нервные клетки, разрывают молекулы, разрушают энзимы, от которых зависят важнейшие внутриклеточные процессы. Под воздействием шумовой бомбардировки, связанной также еще и с уменьшением внутриклеточного содержания калия, дело доходит до глухоты и до самых разных других, главным образом психических расстройств. Вибрирующая шумовая энергия поражает и кровяную плазму, уничтожает в ней аскорбиновую кислоту, что тормозит деятельность надпочечников, которые... и так далее и тому подобное. Можно до бесконечности пополнять список связанных с шумом опасностей, на каждом шагу подстерегающих человека...

И не только человека!

Установлено, что сверхзвук умертвляет и планктон, и личинки пчел, парализует белые кровяные тельца, а хлоропласты погибают после пятиминутного воздействия на них сильным звуком.

Не случайно в одной из самых шумных стран мира — США — зарегистрировано наибольшее количество психических заболеваний, вызванных шумом.

А вот и некоторые цифры, которые объясняют нам эту «психоэпидемию» в США: на аэродромах в Чикаго в 1967 году приземлилось и взлетело 573 506 самолетов, а в Нью-Йорке — 609 413 самолетов. Ныне число посадок и взлетов самолетов приближается там к миллиону. На практике это означает, что каждую секунду несколько самолетов с громыханием проносятся над Нью-Йорком, что шумовой ураган, вызываемый грохотом авиамоторов, вообще не утихает!

«Нельзя, чтобы культ машины погубил человека!» — говорил Фолкнер, и, вероятно, он имел в виду именно машины, производящие шум. А машины эти самые разные: начиная с электрической бритвы и тикающих часов и кончая самолетом. Все вокруг нас производит шум: лифт, вентилятор, телефон, телевизор, транзистор, миксер, кофемолка, холодильник, не говоря уж о моторах автомобилей, о бешеной трескотне стремительных мотовелосипедов и мотоциклов, об издающем звуки оборудовании парового отопления — о тысячах разного рода приборов и приспособлений, рассеивающих суперзвуковую энергию вокруг нас повсюду.

Куда бы ты ни удалился — шумы настигают тебя. В какую бы ты нору ни зарылся, туда все равно проникает высокочастотная вибрация — неуловимая в большей своей части нашими ушами,— которая стреляет по нашим клеткам, взрывает молекулы, «испаряет» калий, уничтожает гормоны; калечит энзимы, оглушает, вызывает различные заболевания, сводит с ума.

Не случайно по законам Минг-Ти осужденных на смерть умерщвляли непрерывным колокольным звоном. «Преступника нельзя вешать,— гласил этот кошмарный закон,— от непрерывного звона тимпанов, флейт, колоколов он должен обезуметь, а затем умереть».

В одной фонотеке в Теннесси поместили корзину с морскими свинками, заставив их таким образом беспрерывно слушать музыку, заказанную посетителями фонотеки. Че-

---

Н. ХАИТОВ
КОЛЮЧАЯ РОЗА

рез 88 часов 25% клеток внутреннего уха свинок были убиты... звуками рок-н-ролла силой в 120 децибелов...

Я не знаю, сколько клеток, пораженных шумом, умирает в наших ушах каждый день, каждый час, но установлен тот факт, что сильные и постоянные шумы повышают кровяное давление, вызывают сердечные и пищеварительные нарушения и что большая часть «нервных перегрузок», на которые мы часто жалуемся, обязана опять-таки шумам, проникающим «со взломом» в наши клетки во время работы, или прогулки, или... во время сна. Одна-единственная автомашина может разбудить в Париже 300 тысяч человек! Лишь однажды пронесясь с необходимой скоростью и неизбежным воем.

Четырнадцать миллионов англичан подвергаются в своих домах воздействию шума, громкость которого превышает 65—70 децибелов, то есть границу безопасности для восприятия шума. И что особенно неприятно: болезненные последствия воздействия шума, хотя проявляются иногда и не скоро, но проявляются в с е г д а. Они могут запоздать, но никогда не дадут о себе забыть — в чем и заключается коварство этого тирана и инквизитора, ставшего уже постоянным спутником и угрозой современного жителя нашей планеты.

Шум представляет опасность уже и для нас, болгар, как это показывают его измерения, произведенные на перекрестках некоторых софийских улиц... Эти измерения говорят о том, что уровень уличного шума в Софии, благодаря главным образом автомобилям, уже превышает границу безопасности и превращается в угрозу.

Как же человечеству отвести от себя эту угрозу?

Прежде всего надо, видимо, сделать наши машины менее шумными. Уже испытываются шумоглушители для реактивных самолетов. Но только этим проблемы не решить, пока по городским улицам будут свободно мчаться, обгоняя друг друга, автомобили...

Не знаю, имели ли вы случай побывать в последние годы в Пловдиве и прогуляться по его старой главной улице, где теперь запрещено проезжать автомобилям. Вы идете по ней, как давно уже не ходили, прогуливаетесь по ней, как давно уже не прогуливались, ощущая невыразимое счастье пешехода просто от одного сознания, что вам не придется на каждом шагу вздрагивать и озираться по сторонам, что вы можете слушать с полным вниманием своего спутника, и ничто вокруг не трещит и не гремит, раздирая вам уши.

ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЮ ГОРОДА

может очень способствовать зелень и прежде всего наш старый испытанный друг — дерево. Даже оставляя в стороне то, что зелень дает возможность отдохнуть глазу, уставшему от каменного однообразия города, что деревья вбирают в себя уличную пыль подобно пылесосу и очищают воздух, они ведь обладают еще и свойством значительно «гасить» городской шум и тем самым также способствовать очеловечиванию города.

Однако в Софии мы еще не относимся должным образом ни к деревьям, ни к паркам. Мы вырубили более трети деревьев в Парке Свободы, чтобы построить на их месте здания, стадионы, спортивные площадки. Мы продолжаем строить — и, естественно, продолжаем вырубать деревья. Недавно снова поднялся шум из-за того, что принялись рубить тополя на бульваре Толбухина; поступили даже запросы на телевидение, но кончилось все тем же — мы остались без деревьев.

Перед Агрономическим факультетом был прекрасный сад, но и его тоже отдали под застройку, хотя возведенные тут здания могли быть с равным успехом сооружены по крайней мере еще в десяти других местах Софии, а прекрасный старый сад — этот зеленый остров среди каменных громад — не был бы погублен... В проектах застройки новых районов города были предусмотрены парки, но отведенные для них площади тоже были пущены под строительство. В итоге будущие зеленые острова исчезли, даже не родившись. И никто так и не понял — почему, как?..

Одни задумывались над тем, что произошло, другие допытывались, как это могло произойти, третьи вздыхали — на этом все и кончилось... Неужели есть еще люди, которые не понимают, что значат для города деревья, парки, бульвары — эти зеленые расщелины в каменном массиве? Не стоит ли им напомнить об этом?

В Дании государственным законом установлено: когда строят жилище, каждое растущее на этом месте дерево должно быть сохранено, а если деревьев на месте застройки нет, то строительная организация должна их посадить возле возведенного здания в таком количестве, сколько в доме насчитывается новоселов... Сажают там деревья и в честь каждого ребенка, пошедшего учиться в школу.

Придет время (1992 год), когда и слепые прозреют... Будем надеяться, что тогда наши возможности видеть позволят нам в полной мере осознать роль деревьев, этих источников кислорода, в очеловечивании «чудовища» — города.

Уж такой-сякой он, этот город, но мы — свидетели того, как все живое бежит, устремляется к нему. Между прочим, так получается потому, что в нашей стране города все еще не дошли до такого состояния, в каком оказались, скажем, Париж, Мадрид или даже Дамаск. И машин в Софии до недавнего времени (1960 г.) было всего лишь 21 тысяча и их присутствие было едва заметно. И трубы Кремиковцев еще не работали тогда с полной мощностью. Не говоря уже о городах поменьше и городках куда более «девственных», чем наша столица. Поэтому, наверное, люди, которые переселялись в город, не думали ни о городском воздухе, ни о городском шуме, и получилось так, что если два с половиной десятилетия назад 80% болгар были кресть-

янами, то теперь они составляют даже менее 50%. Сельская Болгария стала на наших глазах Болгарией городской. Между прочим, это должно было произойти вполне закономерно, потому что для бурно развивающейся индустрии и строительства необходимы были рабочие, а они не могли упасть с неба. Селу это тоже было весьма кстати, потому что механизация сельского хозяйства высвободила там большую часть людей. Итак,

ПОЛНОВОДНАЯ РЕКА, НАЗЫВАЕМАЯ МИГРАЦИЕЙ,

потекла из села в город...

И продолжает течь в равной степени и из горных и из равнинных сел — там молодые люди задерживаются лишь как исключение. Не стоит ходить далеко за примерами: в моем родном селе Яворово, в Родопах, 25 лет назад было 1242 жителя, которые обрабатывали 242 гектара земли, стригли ежегодно шерсть с 6060 овец и 1084 коз, доили 300 коров. Теперь же там живет всего 241 человек, обрабатывают они 26,4 гектара земли; овец у них 200, коров — одна. А на окрестных полях и лугах могли бы пастись по меньшей мере десять тысяч овец и 500 коров! Травы там по колено! Они просто плачут по косьбе и выпасу...

Так же примерно обстоит дело и в других горных селах. Остаются на насиженных местах главным образом там, где создана какая-нибудь промышленность (как в Смолянском округе). Но вот недавно читал я в статье о развитии сел в Родопах, что в Кырджалийском округе из общего числа 588 населенных пунктов «перспективными» объявлены 167, а остальные причислены к категории «селений с изменяющимся предназначением», или же, иначе говоря, это селения, которые к 1990 году должны влиться в другие, более крупные, перспективные.

В Смолянском округе из общего числа 278 селений перспективными объявлены только 98... А ведь почти во всех родопских селах и выселках — новые добротные дома, в большинстве своем они электрифицированы, с современным водоснабжением, и развиваются в экономическом отношении, по мнению автора статьи, хорошо. Да и рождаемость в них на 50% выше, чем рождаемость в крупных селах, а жители их вовсе не проявляют желания переселяться.

Тогда зачем же понадобилось причислять их к категории «с изменяющимся предназначением», то есть дожидаться, если не помогать, их сселения? Для того чтобы улучшить их торговое, коммунальное и культурное обслуживание (читаем в статье). Как будто нет в каждом таком селе магазина, хлебопекарни, кино и телевизора, читальни и книг!

В той или иной степени мы стараемся и этих крестьян сделать горожанами, а это означает — и их оторвать от земли, которую они до сих пор обрабатывали, от возделывания табака и картофеля, которым они до сих пор занимались, от овец, которых они до сих пор стригли и доили, от леса, где они работают как лесорубы и возчики... Потому что известно: пока что еще ни один переселенец не возвращался из города, чтобы выращивать картофель или пасти овец на селе.

Урбанизация и вызванная ею миграция населения — в разумных границах — были неизбежны и необходимы. Но мы — уже почти на самой границе, где следует остановиться, оглядеться, хорошо подсчитать, какие села и в каком направлении изменять, надо ли подталкивать миграцию еще вперед или же пора ее задержать. Пока еще есть кого задерживать.

Урбанизация помимо экономической имеет еще одну, прежде всего психологическую, даже чисто психологическую, сторону, которая связана с соотношением: Человек — машина и, еще точнее, с избавлением человека от физического труда благодаря машине.

Избавление человека от тяжелого, именно тяжелого, физического труда — это, конечно, достижение прогресса и цивилизации. Благодаря тому, что человеку стала служить машина, у него остается больше времени, чтобы принадлежать самому себе, отдыхать и самосовершенствоваться. Значит ли это, что, полностью освободившись от физического труда, человек может быть счастлив, что он будет вполне удовлетворен туристическими прогулками, гимнастикой, посещениями матчей, сидением у телевизора? Скажу напрямик: не верю в то, что полное освобождение человека от физического труда может стать нашим идеалом, что гимнастические упражнения смогут заменить ему отсутствие физического труда и что нормальный человек сможет обойтись без творческой, ничем не заменимой радости, доставляемой ему тем, что он создал своими собственными руками. Труд не проходит для человека просто так, муки труда облагораживают его в самом широком смысле этого слова, и прежде всего тем, что он дает ему уверенность творца. Сам процесс изготовления чего-то, созидания чего-то — это высшее удовольствие для человека, особенно когда у него есть склонность к определенному виду творчества.

Каждое изделие рук человеческих доставляет этим рукам, вернее — сердцу человека, такое наслаждение! Оно озаряет радостью душу и отплачивает добром. Человек чувствует себя значительным, нужным, важным, только когда он что-то создает. Удовлетворяя творческий импульс, который являет собой благородную, неудержимую порой потребность человека, труд уравновешивает, обогащает человека, созидает его, делает его действительно человеком. Не только умственный труд, но и физический.

«Мы делаем шоссе, шоссе делает нас!»

П. ХАИТОВ
КОЛЮЧАЯ РОЗА

В этом банальном лозунге заложена глубокая истина.

Если не удовлетворен творческий импульс — один из самых могущественных импульсов,— в душе человека остается не заполненная ничем полость. Остается пустота, и, следовательно, эта пустота нарушает внутреннее равновесие, приводит к комплексам... Комплексы — это те клинья и клинышки, которые человек забивает в самого себя, чтобы укрепить нарушенное каким бы то ни было образом внутреннее равновесие. Комплексы — это душевная недостаточность, а иногда и душевное заболевание!

Верно, люди и сейчас трудятся — но больше умственно, а они испытывают потребность, естественную потребность в ручном труде! Работать руками — это же одновременно и умственный труд. Человек эволюционировал — в этом нет никакого сомнения — благодаря труду, и это не случайно. Во всяком, даже самом простом движении во время физического труда участвует едва ли не вся мускульная и нервная система, совершенствуется не только психомоторная часть организма, но и мозг, и множество почти неуловимых его душевных элементов — человеческая нравственность, человеческий характер. Поэтому в физическом труде — речь идет не о тяжелом, монотонном и разрушительном для здоровья физическом труде, а об умеренном, творческом, здоровом — есть нечто с воспитательной точки зрения незаменимое.

Какие адекватные ценности мы будем искать, чтобы уравновесить недостаток физического труда,— обращаясь к надлежащим образом поставленному трудовому воспитанию или же предоставляя полный простор человеческой «прихоти», как говорится, рыть землю,— не знаю. В одном, однако, я уверен, видя, как наша молодежь всячески избегает физического труда, как бурно разжигаются у нее потребительские склонности за счет склонностей творческих, что человеческая природа встает перед новым, серьезным испытанием...

Вопрос о биологическом тонусе человека, или — это все равно! — вопрос о сохранении его природной биологической целостности, самым непосредственным образом связан с вопросом о природной среде. Притом связи эти настолько многочисленны и порой так сложны, неожиданно важны и даже фатальны, что становится досадно: как это ты оказался настолько вовлечен в ту или иную зависимость? Таким представляется случай с

ВОЗВЫШЕНИЕМ И ПАДЕНИЕМ ДДТ

Два с половиной десятилетия мы истребляем клопов, и не только их, порошком ДДТ. С его помощью мы расправляемся с разными вредителями сельского хозяйства и не нарадуемся этому как будто невинному белому порошку, не подозревая, что вместе с полезным делом, которое выполняет для нас это средство, оно незаметно наносило и наносит нам удар ножом в спину.

Сам изобретатель этого «волшебного» в свое время порошка, швейцарский химик доктор Пауль Мюллер, утверждал, что ДДТ совершенно безвреден для человека, тогда как для мух, комаров, вшей, блох и клопов он смертелен, даже когда в воздухе лишь ощущается его запах.

И тогда мы начали щедро посыпать все и вся этим кротким, симпатичным порошковым препаратом, который освобождал нас от тирании самых неприятных и вредных насекомых. Мы сыпали его под кроватями, под подушками, сыпали на полях и в садах, под столами и под окнами. Осыпали им с удовольствием и радовались как дети его чудодейственным свойствам... Так препарат этот заполонил весь мир, или, лучше сказать, завладел всем миром, куда быстрее и с более громкой славой, чем Александр Македонский. И продолжалось так до поры до времени, когда вдруг люди стали замечать, что вокруг происходит что-то необычное. Начали гибнуть птицы, а также рыбы в реках, озерах, морях. Однажды озеро Мичиган все побелело от брюшек всплывшей на поверхность мертвой молоди семги — около полутора миллионов рыбин. В Европе как-то вдруг исчезли хищные птицы...

Принялись доискиваться причин этого явления и обнаружили их в ДДТ. Стало ясно, что этот химикалий отнюдь не безобиден, а напротив — он достаточно сильный яд не только для вредных насекомых. Британские ученые обнаружили этот яд в яблоках и картофеле, американские — нашли его даже в табаке, а также в 75% птиц и млекопитающих в самых разных уголках света, даже у пингвинов в Антарктиде. Количество ДДТ, которое шведские ученые обнаружили в рыбе, выловленной в Балтийском море, оказалось просто угрожающим для человека, употребляющего ее в пищу. Коллеги этих ученых установили присутствие ДДТ в материнском молоке молодых шведок, причем в концентрации, которая на 70% превышала безопасную для человека дозу. Оказалось, что даже тюлени, выловленные подо льдом Антарктиды, содержат в своем жире ДДТ. Более того, вместе с водой, рыбой, зеленью и молоком, сыром и плодами ДДТ незаметно проник и накопился в человеческом организме: у жителей Израиля была обнаружена самая высокая концентрация ДДТ — 19,2 *ppm*[1], столько же обнаружилось затем и у американцев, тогда как счастливые западногерманские жители могут похвастать цифрой в 2,2 *ppm*.

Исследования доказали, что попавший в человеческий организм ДДТ нарушает происходящие в нем окислительные процессы, поражает нервную систему, приводит к вырождению некоторых клеток, ухудшает память, нарушает мозговую деятельность в целом, а накапливаясь в больших количествах, воздействует и на гены, вызывая так

[1] Part per million — частица на миллион *(англ.)* — единица измерения концентрации.

называемые мутации, которые включаются в наследственную программу и передаются потомству.

Люди вынуждены всерьез задуматься над этой страшной опасностью! Академик Виноградов недавно сообщил, что из полутора миллионов тонн ДДТ, рассыпанного по всей планете, две трети по сей день продолжают представлять угрозу для «всех организмов». В Швеции издан запрет на употребление ДДТ. В ФРГ рекомендуется ограничить его употребление, но в других местах нашей планеты ДДТ продолжают применять по-прежнему, и таким образом количество его в человеческих организмах продолжает нарастать... и у тех, кто продолжает пользоваться этим препаратом, и у тех, кто уже отказался от него, потому что нет таких барьеров, которые могли бы остановить проникновение этого яда в трапезу всего человечества.

Но есть ли хотя бы во имя чего подвергать себя такому риску? Оправдались ли надежды, которые возлагались на ДДТ? Сыграл ли этот ядохимикат свою роль в истреблении вредоносных насекомых?

В том то и дело, что нет. Вот один из множества примеров для иллюстрации: в 1956 году лесохозяйственная служба в США опылила 350 тысяч гектаров хвойных лесов, чтобы уничтожить елового почкоеда, но уже летом следующего года опыленные ДДТ еловые леса подверглись новой, еще большей опасности — на них напали в фантастически огромном количестве акариды (разновидность клеща-паразита) и буквально начисто объели хвою елей и пихт... Оказалось, что ДДТ вместе с еловым почкоедом уничтожил врагов клещей, создав тем самым условия для бурного размножения этих вредителей.

Нечто подобное произошло в Конго и в Уганде. Там из-за опрыскивания ДДТ был уничтожен тот вид клопа, который питался клопами, паразитирующими на листьях кофейного дерева, и как последствие этого более устойчивый перед действием ДДТ лиственный клоп размножился в таких размерах, что превратился в настоящее бедствие для кофейных плантаций.

И тут, как говорится, метили в ворону, а попали в корову.

Да разве и у нас в Болгарии не произошло почти то же самое при борьбе с непарным шелкопрядом в дубовых лесах? Мы сбросили на них с самолетов тонны ДДТ и вызвали таким образом массовую гибель полезных птиц, которые питаются гусеницами непарного шелкопряда. А также и хищных птиц, которые питаются полезными... А непарный шелкопряд нашел какие-то щели в этом, казалось бы, сплошном фронте опыления ДДТ, уцелел и теперь, когда ему вздумается, снова размножается и снова угрожает нашим дубравам своим нашествием, даже еще сильнее, чем прежде, потому что синицы и поползни, которые обычно справлялись с этими гусеницами, не успели в эти же сроки размножиться в достаточной мере и восстановить прежнее количество.

Нам приходится прибегать все к новым бомбардировкам ДДТ, а тем временем в наше столкновение с вредителями вмешивается сама Природа, которая производит устойчивые к ДДТ «племена» (популяции) блох, клопов, комаров, клещей и т. д. с иммунитетом к этому виду ядов (иммунитет их создается особыми энзимами, которые разрушают яд.) Оказывается, Природа из десяти тысяч, к примеру сказать, комаров двух наделяет иммунитетом. Эти два уцелевших после опрыскивания ДДТ комара размножаются и дают начало целым племенам, устойчивым к ДДТ. Так же обстоит дело и с клещами, и с клопами, и почти со всеми насекомыми. Да и не только с насекомыми, а и с микробами, как в этом мы уже убедились в результате применения антибиотиков.

И получится так, что мы будем опрыскивать клопа ДДТ, а он будет ползать себе по стене и даже предпочтет ползать там, где опрыскивали (наподобие микробов, которые прежде погибали от пенициллина, а теперь некоторые из них даже питаются им). На картофельные поля возле моего родного села высыпаны для борьбы с колорадским жуком огромные количества ДДТ, но несмотря на это можно видеть и сегодня этого нахального диверсанта, с прежней неколебимой самоуверенностью разгуливающего по картофельным полям и наносящего им огромный ущерб.

Всего лишь через три года после первого опрыскивания ДДТ в Греции были уже «произведены» устойчивые к ядам племена комаров. В 1945 году только 12 видов насекомых проявили иммунитет к химическим ядам, но уже в 1960 году количество их возросло до 137, в том числе были малярийные комары, мухи, вши и клещи. Дело дошло до того, что специалисты из Всемирной федерации защиты растений объявили, что нет никакого смысла спорить о пользе и вреде ДДТ, потому что этот препарат безвреден для большей части вредителей растений.

Так наступил закат прославленного ДДТ, и он вынужден был сойти с арены, уступить свое место другим, новейшим химическим ядам... И вот начался долгий ряд наших встреч с

МНОГОЛИКИМ БОГОМ ХИМИИ

Речь идет о многочисленных, можно сказать прямо-таки бесчисленных, химических препаратах, которые сменили посрамленный ДДТ,— всякие инсектициды, фунгициды, гербициды и так далее. Говорю «и так далее», потому что только в США и только в 1958 году были выданы патенты на 58 831 химический препарат.

Международный рынок буквально наводнен химическими препаратами для борьбы с вредителями растений, которые согласно

Н. ХАЙТОВ
КОЛЮЧАЯ РОЗА

их паспортным данным не представляют опасности для человека. Я не берусь перечислять здесь названия химикалиев, употребляемых одним только земледельческим кооперативным хозяйством в моем маленьком родопском селе,— все эти «гексахлораны», «деделины», «аспоры», «манебы», «фербаны», «линданы», «экатины», «тиофенины», «димикрионы», «Бл-58», «фофатоксы», «Агрии-1050», «Агрии-1060», «фекамы трибофоны», «вотекситы» и так далее. (Я даже не уверен, что вышеупомянутые химикалии действительно называются именно так. Я лишь передаю, как они звучат в устах моих односельчан.) Одни из них в самом деле оказались не столь стойкими и опасными для человека, как ДДТ, другие — еще того менее, а относительно третьих утверждают, что они просто безвредны. Но все равно — они обладают одним о б щ и м качеством: убивать наряду с вредителями-«вегетарианцами», которые паразитируют на сельскохозяйственных растениях, и их врагов-хищников, которые питаются «вегетарианцами». С той существенной разницей, что племена наших врагов — насекомых-«вегетарианцев» — восстанавливаются намного быстрее, чем популяции хищников, потому что хищники волей-неволей должны дожидаться размножения «вегетарианцев», чтобы иметь, чем питаться. Таким образом естественное равновесие между одними и другими все более видоизменяется в пользу наших врагов.

Это одно, и второе: нарушенное равновесие на одном участке вызывает цепную реакцию, затрагивающую всю биосистему, и последствия этого порой бывают такими, что вредители, против которых направлен химический удар, численно увеличиваются, вместо того чтобы исчезнуть.

В Онтарио, например, после опрыскивания инсектицидами черных мух число их увеличилось в 17 раз. Другой случай из американской практики: после опрыскивания ядохимикатами вредителей вяза частицы химикалиев попадают в дождевых червей, на которых этот яд не действует, но зато гибнут весенние дрозды, которые питаются этими червями. В США погублены таким и ему подобным образом 86% дроздов.

У нас, в Болгарии, опрыскивание ДДТ дубовых лесов в целях борьбы с гусеницами непарного шелкопряда гибельно отразилось на синицах, которые питаются его личинками, и количество их катастрофически уменьшилось. Одним из последствий этого было неимоверное размножение некоторых видов гусениц, существующих в зависимости от синиц, что стало для нас поистине бедствием.

Цепочка протянулась еще дальше. Поедая отравленных химикалиями мелких птиц — синиц, дроздов, воробьев, а то и мелких зайцев,— гибли и хищные птицы. Исчезла (конечно, и с помощью охотников, которые планомерно убивали их) большая часть наших ястребов, орлов и так далее. И получился удивительный результат: вместо того чтобы с повсеместным истреблением, например, ястребов куропаток становилось больше, численность их, и особенно кекликов (каменная куропатка), все сокращалась, без ястребов у кекликов не происходит нормального развития. Ведь ястреб может настичь прежде всего старых и больных кекликов, выполняя тем самым роль н е о б х о д и м ы х санитаров.

Миллионы лет живут совместно кеклики и ястребы, львы и антилопы, зайцы и лисы, волки и серны и т. д., и т. п., но никогда конфликты между хищниками и их жертвами не приводили к исчезновению слабых пород, потому что Природа позаботилась наделить их такими преимуществами, что равновесие между ними и хищниками было прочным.

Именно вот это природное равновесие было грубо нарушено с помощью пестицидов: агрономы атаковали, например, листовертку, которая терроризировала виноградники, расположенные в пловдивском «воротнике» у подножия Родоп, и действительно справились с нею. Но вслед за тем здесь размножились в невероятном количестве клещи, чьи враги были, вероятно, уничтожены одновременно с листоверткой, и теперь здешние виноградари в полной растерянности, не зная, как справиться с клещами.

Вообще наши победы в борьбе с вредными насекомыми в известных случаях бывают и могут быть «пирровыми победами». Теперь уже ясно, что всякое резкое нарушение установившегося равновесия может привести порой к бурным взрывам с неожиданными последствиями на том или ином участке биосистемы.

Приведенные уже примеры говорят, что мы вообще еще не можем определить с уверенностью конечные результаты ни одной химической победы над вредителями. При таком положении вещей лично мне кажутся не слишком убедительными утверждения некоторых специалистов, будто благодаря химической борьбе мы спасаем столько-то и столько-то процентов производимой растениями продукции. Лишь в очень редких случаях мы можем быть уверены в итоговом результате данной «химической операции», потому что ее последствия, как мы уже убедились, отнюдь не единовременны, многосторонни, сложны и порой совершенно неожиданны... Каждое опрыскивание химикалиями, которое протекает теперь по цепи, раскрывает иногда свои побочные действия много лет спустя.

Нет нужды рассматривать тут ставший уже банальным вопрос о том, как пестициды отравляют почву, воды, травы, пищу и людей, в какой степени и с какими последствиями. Скажу только, что после того, как наша контрольно-санитарная служба начала обнаруживать в сельскохозяйственных продуктах хлорорганические соединения, появившиеся в результате обильных опрыскиваний гексахлораном, употребление этого химикалия было запрещено. Опыт подсказывает нам, что химия — многолика, и мы

не всегда успеваем сразу распознать, каким ликом она к нам обернулась или обернется в следующий миг.

Мы, конечно, знаем, что химия применяется с добрыми намерениями и по необходимости, а не ради удовольствия агрономов, что возрастающее население нашей планеты требует, да еще во все больших размерах, продуктов питания и мы не можем позволить себе роскошь бросаться этими продуктами. Сие известно всем. И если у нас все же возникает какая-то тревога, то она вызвана тем, что мы не всегда умело пользуемся химическими средствами, да еще преувеличенным порой оптимизмом (чтобы не сказать легкомыслием), проявляемым приверженцами химической борьбы. Вот что писал недавно один из таких специалистов в журнальной статье: «Несколько талантливых полемистов, склонных к эмоциям, романтике и мистике, сумели убедить многих людей, в том числе и лиц, занимающих различные высокие посты, что пестициды и особенно ДДТ опасны и что их необходимо запретить... И дело дошло до того, что НЕОБОСНОВАННО были приняты меры против ДДТ и других пестицидов».

Выходит, что вся беда была в нескольких талантливых полемистах, «склонных к эмоциям, романтике и мистике», что не существует доказательств опасности ДДТ и того, что он накапливается в организме человека. Что хлорорганические препараты не вредны, что их присутствие не обнаружено ни в яблоках, ни в картофеле, ни в брынзе, ни в молоке.

Именно такие «специалисты», сказал бы я, и делают химическую борьбу и химикалии опасными...

Выход? Ученые уже его указывают.

«В Учкурганском колхозе «Москва» (читаем мы в одном журнале) создана биолаборатория для культивирования энтомофагов (насекомоядных). В ней выращивают полезных насекомых — трихограммов и габробраконов,— которые используются в борьбе с сельскохозяйственными вредителями».

И далее сообщается, что во время опытов на гектар поля было выпущено по 100 тысяч маленьких мушек трихограммов и они успели полностью истребить вредителей хлопчатника. Причем обработка каждого гектара полей хищными насекомыми (энтомофагами) обошлась всего в семь копеек, тогда как обработка такой же площади химикалиями стоила бы 7 — 8 рублей.

Конечно, никто не думает, что опыт колхоза «Москва», использовавшего мушек в качестве биологического оружия, решает все проблемы защиты растений, но истинно одно: будущее — в биологической борьбе. Она, и только она, избавит нас от необходимости иметь дело с многоликим Янусом, чьи добрые дела не всегда уравновешивают причиняемые им бедствия, когда мы пытаемся сделать его своим союзником в борьбе за изобилие.

Вот это и есть то, на что надеемся мы, «романтики», потому что, как сказал однажды биолог профессор Комонор, «мы располагаем всего лишь одним десятилетием для открытия спасительного инструментария». И чем скорее это произойдет, тем лучше. Ведь пестициды истощают почву, так как уничтожают в той или другой мере в ее микромире полезные микроорганизмы, главным образом бактерии, которые связывают азот, снижая тем самым ее плодородие, а иногда и полностью стерилизуя ее.

А ведь почву с полным правом называют «ареной жизни», потому что жизнь поистине держится главным образом на ней. Сейчас на этой арене возникает борьба, от исхода которой зависит, быть или не быть самой почве, потому что она подвергается страшной опасности, порождаемой и неправильным использованием химических удобрений, и неправильным ее орошением, и отравлением промышленными отходами и т. д., и т. п.

Ясно одно — пришло время нам, людям, задуматься над судьбой Земли, которую мы заставляем терпеливо выдерживать не только тяжесть наших тел, но и наше удивительное порой легковерие и легкомыслие...

АХ ТЫ, ЧЕРНОЕ МОРЕ, ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ГРОМКО СТЕНАЕШЬ?

Участь почв и участь воды тесно связаны, зависят друг от друга, потому что рано или поздно то, что находится в почве, уносится реками и подпочвенными водами в моря.

На этот раз начнем не с далеких краев света, а с мест более близких — с Черного моря. Из статьи Л. Неменова, опубликованной в популярном журнале «Вокруг света», мы узнаем, что комплексная экспедиция Одесского отделения Института биологии южных морей СССР обнаружила в Черном море «обширный район, где мидии и другие обитающие на морском дне организмы вымерли за последние годы».

Почти одновременно с сообщением Л. Неменова были обнародованы сведения о том, что Г. Г. Поликарпов из Украинской академии наук обнаружил очень высокую концентрацию ртути и других радиоактивных веществ в нижнем течении некогда голубого, а теперь мутно-желтого ДУНАЯ. Так что не трудно понять, почему именно погибли в Черном море два с половиной миллиона центнеров мидий. Почему сотни тысяч рыб и раков выбрасывает море на берег. Почему чахнут и умирают водоросли. И почему, наконец, бесценные микроорганизмы, называемые бактериями, которые разлагали до сих пор попавшие в море органические отходы и таким образом очищали его, уже не успевают справляться со своей важной задачей.

Н. ХАИТОВ
КОЛЮЧАЯ РОЗА

Этому бедствию способствует, разумеется, и огромное количество отходов, которые попадают в море из зон, облюбованных курортниками. Они также вносят свой «вклад», и, надо сказать, немалый, в неблаговидное дело загрязнения вод, ведущее к серьезному «заболеванию» нашего моря.

Прошлым летом в Созополе, когда однажды море сильно разбушевалось, я собственными глазами убедился в этом. Волнение подняло со дна отбросы, которых было столько, что вода не просто потемнела, а почернела от них. Консервные банки, бутылки, арбузные корки, персиковые косточки, обрывки бинтов, корки хлеба, помидорные очистки, куски пластика, пластмассовые ложечки и стаканчики из-под мороженого — все это перемешалось во взбаламученной морской воде, выплескивалось волнами на берег, обдавая людей, словно море хотело утопить их в собственных нечистотах.

Стенает море, пенится, бьется о берег, пока так не облепит шелковистый песок помидорными объедками, нейлоновыми пакетами и мазутом, что не останется на берегу даже крохотного местечка, не оскверненного этой липкой, все чернящей массой. Когда я возвратился с пляжа, ноги мои были сплошь покрыты мазутом. Я пытался смыть его мылом — тщетно. Соскребал его кухонным ножом, но пятна все же остались. Мне посоветовали купить жидкость для снятия лака, потому что, мол, только ею можно до конца смыть мазутные пятна. Но этой спасительной жидкости достать не удалось — ее буквально расхватали, и мне пришлось скрести куском черепицы зловонные черные пятна.

Я не прибавил ничего к тому, что видел и пережил. Если загрязнение моря мазутом будет продолжаться в прежних масштабах, то через год-другой нам придется купаться в море в чулках, со скафандром на голове и загорать на пляже в противогазе.

Что и говорить, наше Черное море еще не самое отравленное. С Балтийским дело обстоит куда хуже, потому что в него сливается гораздо больше ядовитых отходов.

Действие отравляющих веществ все сильнее начинает сказываться и в океанах, которые всегда считались чем-то необъятным. Коралловые рифы у Майами (США) поражены тяжким недугом, рыбы, обитающие вокруг, тоже болеют и меняются, подобно тому как изменилась вся жизнь кораллового рифа. Концентрация ртути и радиоактивных веществ в океанах и реках, в озерах и морях возрастает, постепенно умерщвляя животные организмы и планктон. Видимо, у известного исследователя морских глубин Кусто было достаточно оснований заявить, что «в мировых морях и океанах можно наблюдать уже первые признаки приближающейся экологической катастрофы. А когда нет жизни в океане,— продолжал он,— не может быть жизни и на суше».

Что хотел сказать Кусто, произнося эти зловещие слова? Он имел в виду то обстоятельство, что 60% кислорода на земном шаре производит в океане планктон и только 40% его — зеленая растительность суши[1]. Морской кислород получается при фотосинтезе растительного планктона, следовательно, все, что мутит воду, отнимает свет и умерщвляет планктон,— уменьшает и количество кислорода.

Тридцать пять миллионов тонн рыбы дают ежегодно человечеству моря и океаны и, кроме того, обещают (пока что лишь обещают) давать в будущем, в форме планктона, огромные количества белка, чтобы можно было накормить сильно возросшее население нашей планеты.

Другими словами, океан — это надежда человечества, если, конечно, надежда эта не будет отравлена...

Но раз уж над океаном нависла такая угроза, то что тогда говорить о реках? Ведь 80% воды в реках США уже непригодны для питья из-за их сильного загрязнения и отравления вредными промышленными отходами! Но незачем ходить далеко за примерами: рыба, выловленная в Марице, настолько пропиталась запахом нефти, что кажется, будто она на ней поджарена. В 1974 году во время одного из проливных дождей вся рыба в реке Эрма (Смолянский округ) была отравлена — дожди смыли с окрестных полей содержащиеся в почве пестициды.

Не говорю уж о реках, полностью умерщвленных промышленными отходами,— число их увеличивается с каждым годом.

Советский ученый академик Виноградов заявил в одном из своих выступлений, что «кардинальное решение вопроса о загрязнении вод промышленными отходами можно искать только в одном направлении: в переходе индустриальных предприятий к «замкнутому циклу работ, без каких-либо вредных для окружающей среды отходов».

И это — в той или иной степени — уже делается; в ГДР не вступает в строй действующих ни одно новое промышленное предприятие, если оно не оснащено специальными очистительными установками... В Японии издан закон — первый подобный закон в капиталистической стране,— который определяет загрязнение окружающей среды как п р е с т у п л е н и е...

Наш закон об охране природы — один из самых взыскательных, государство наше отпускает значительные средства для сооружения очистительных установок (600 миллионов левов, если не ошибаюсь, только в одном 1974 году), но общественная ответственность в связи с охраной окружающей среды у нас еще не на надлежащей высоте, и некоторые руководители предприятий предпочитают платить штрафы, вместо того чтобы «бросать средства» на строительство очистительных сооружений. Суды все еще слишком благоволят

[1] Сейчас есть данные, что соотношение это выглядит наоборот: 40% — планктон и 60% — растительность суши (*прим. редакции*).

к этому роду преступлений, и проблема очищения рек остается открытой.

А бывают и такие случаи: составили на директора предприятия X в Асеновграде акт за то, что отходами своей фабрики он отравил в реке рыбу, и направили в суд. Однако при разборе дела в суде выяснилось, что те, кто проектировал фабрику, не предусмотрели очистительной установки, так что предприятие это надо либо закрыть, либо перестроить почти заново, чтобы оно было безопасно для окружающей среды.

Тут мы уже сталкиваемся не с техникой, а с полутехникой (некачественной, несовершенной техникой), которая одно производит, а другое разрушает. Производит, скажем, бумагу, а разрушает целые реки... Во всем этом, конечно, повинна не наука, а полунаука.

ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД?

В результате именно неполного овладения наукой и техникой и неполного же приложения их мы, люди, нарушили природное равновесие в биосфере, в растительном и животном мире. Уничтожили, или почти уничтожили хищных птиц, но возникающие в последнее время эпидемии среди некоторых полезных пернатых подсказывают нам, что нет абсолютных вредителей, что «наука» в этом отношении малость подвела.

Мы — по выражению академика Балевского — «уничтожили, или, по меньшей мере, помогли уничтожить, черноморских дельфинов», «перетопить» их на жир, а теперь присматриваемся, прикидываем, как бы их разводить, потому что в морской биосфере наступили такие перемены, которые заставили нас внимательнее отнестись к оценке значения дельфинов.

В Лондоне уже нет воробьев. Стали исчезать они и в Софии. Есть опасность, что с лица Земли исчезнут 105 видов млекопитающих и 73 вида птиц. Трудно предвидеть все последствия этих бурных перемен в животном мире, если иметь в виду, что не только отдельные животные связаны между собой гармоническим равновесием, но весь животный мир связан с миром растений в общей замкнутой биосистеме. Эта биосистема образует огромный кибернетический организм, богатый обратными связями, которые поддерживают ее равновесие и предохраняют от катаклизмов.

Мы, люди,— всего лишь одна из составных частей так называемой биосферы. Действительно важная составная часть, но все же часть. Миллионы лет мы развивались в полной зависимости и гармонии с неорганическим, органическим и космическим мирами... До какой степени мы «дети» Природы, Земли, Вселенной, свидетельствует то обстоятельство, что каждый миг мы находимся под воздействием космических сил, которое прямо или косвенно сказывается не только на нашем здоровье, но и на нашем настроении. В последнее время я встречал в прессе сообщения, что когда, например, в Вене дует так называемый «фён», хирурги воздерживаются от операций. Что во время солнечной активности увеличивается количество инфарктов. Установлен и факт биосвязи Луна — человек. Недавно были опубликованы результаты исследования годичных колец нескольких тысячелетних деревьев из высокогорных районов; они с полной достоверностью показали, что три вспышки «новых» звезд в истории человечества были «зарегистрированы» упомянутыми деревьями резким замедлением роста годичных колец.

Если космическая энергия, которая изливается на нас каждый миг, таким образом воздействует на деревья — организмы куда более примитивные, чем мы,— то каково же ее воздействие на несравнимо более гибкую человеческую плазму?

Я позволил себе это небольшое отступление, чтобы сделать очевиднее то, что «жизнь — это нечто целостное, а человек только одна из его частей», что нарушение гармонии в природе ставит человека перед многими мрачными неизвестностями.

В сущности, человечеству угрожают отнюдь не техника и цивилизация вообще, а недостаточное овладение техникой и неправильно понятая цивилизация. Если индустриальная технология будет усовершенствована — не станет ни отравляющих дымов в небе, ни автомобильных газов в атмосфере, ни ядов на земле и в воде, ни безжизненных рек и агонизирующих морей.

Мы часто с гордостью заявляем в том или ином случае о своей победе над природой и при этом все еще не сумели справиться с промышленными отходами и заводскими мглистыми дымами. От подобных, с такой легкостью оповещаемых «побед» над Природой в Токио человек уже едва может дышать его воздухом, а окружающая среда меняется столь быстро, что он не успевает приспособиться к этим почти что молниеносным переменам, и канат между ним и окружающей средой начинает угрожающе натягиваться.

«Надо спасать нашу планету!» — заявил знаменитый японский кинорежиссер Акира Куросава, когда журналисты спросили его, какие проблемы он считает самыми важными для современного киноискусства.

«Необходимо выработать генеральную стратегию для поведения индустриального общества в природе,— заявил недавно советский академик С. С. Шварц.— Эта стратегия должна основываться на ясном понимании законов, которые управляют развитием живой оболочки Земли».

Президент Болгарской академии наук академик Балевский назвал вопрос за-

---

Н. ХАЙТОВ
КОЛЮЧАЯ РОЗА

щиты окружающей среды «жизненно важным и даже фатальным, если он не будет своевременно решен».

Иначе говоря, главное — уцелеть. А это означает — сохранить нашу биосферу, пока единственную, в которой человек может существовать, оберегать ее чистый воздух, природный свет, чистую воду, тишину, простор, зелень.

Эйнштейн в свое время предупреждал: «Забота о человеке и его судьбе должна быть главной задачей технической цивилизации». Слова Эйнштейна — это позднее эхо предупреждения, сделанного человеку еще Аристотелем,— остерегаться машин, которые угрожают ему порабощением.

Около двадцати трех веков прошло с тех пор, а предупреждение афинского философа звучит так, словно оно относится не к древним грекам, а к нам, современным жителям планеты Земля. И мне хочется снова повторить: никто не строит себе иллюзий, будто цивилизация и прогресс — благодатная для человека цивилизация и благоприятный для здоровья прогресс — могут обойтись без помощи машины.

Машина умножает нам силы, удобства, она дала нам современное производство, от которого зависит наше существование. Это ясно. Речь идет (повторю уже в третий раз) о колючих шипах благоухающей розы — цивилизации, о технике, еще несовершенной, которой мы еще не овладели до конца и которая нам угрожает, тиранит и отравляет нас... И еще — о науке, если она выскользнет из рук человека и превратится в неконтролируемую силу...

Вот поэтому советские ученые и предлагают разработать «генеральную стратегию поведения индустриального общества в Природе». Речь идет о человечестве как о целом, а не о том или другом государстве, потому что, если в Рурском бассейне заводские трубы будут продолжать выбрасывать в атмосферу угольный дым, воздушные вихри разнесут его повсюду и отравят легкие всего человечества. Потому что, если одна страна решит взорвать ядерную бомбу, весь мир наглотается продукта ядерного распада — стронция-90. Если американцы увеличивают число своих автомобилей, то они высасывают кислород из мирового кислородного баллона за счет остальных жителей Земли.

Не говоря уж о том, сколь всеобща опасность ядерной войны. Или роковой ошибки в генетической хирургии, в результате чего может быть произведен вирус-«химера», который даже без чьей-то злой воли отправит раз и навсегда к праотцам все человечество.

Без генеральной стратегии, без всемирного соглашения о контроле над ядерным, генетическим и химическим оружием невозможно ни сохранить природу в масштабе всей Земли, ни дать человеку уверенность в его завтрашнем существовании... Правда, выработать и принять такую единую генеральную программу развития мирового индустриального общества — дело сложное, связанное с серьезными объективными и субъективными трудностями, которые проистекают прежде всего из стихии наживы, присущей капиталистическому миру.

Чтобы стало яснее, о чем идет речь, приведу высказывание Рэчел Карсон, автора широко известной книги «Безмолвная весна», в связи с химической борьбой. Рэчел Карсон задает вопрос: «Почему, после того как стали так убедительны преимущества биологической защиты растений перед химической, биологическая защита развивается совершенно недостаточно?»

«Почему же так происходит?» — спрашивает автор «Безмолвной весны» и отвечает: «Крупнейшие химические компании дают бешеные деньги университетам для ведения исследовательских работ над инсектицидами. Создают привлекательную перспективу аспирантуры для молодых людей, завершивших высшее образование, и доходные должности для преподавателей. Исследования в области биологической борьбы никогда не получат такой помощи по той простой причине, что они никому не обещают материального благополучия, которое обеспечивает им работа на химическую промышленность. Биологическими исследованиями занимаются лишь институты штатов и федеральные, где зарплата очень мала.

Только тем и объясняется озадачивающий нас факт,— продолжает Карсон,— что некоторые известные энтомологи находятся среди тех, кто возглавляет приверженцев химической борьбы. Установлено, что научно-исследовательская программа многих из них финансируется также химической индустрией. Их профессиональный престиж, а порой и сама их служба зависят от увековечивания химических методов. Можно ли ожидать, что они укусят руку, которая в буквальном смысле слова их кормит?»

Выводы ясны: интересы кучки бизнесменов, производителей ядохимикатов, диктуют поведение целой отрасли науки — науки о биологической защите растений,— потому что она попросту угрожает их предприятиям и прибылям.

Те же прибыли, те же торгашеские интересы — причина сознательного сокрытия информации, связанной с наболевшими проблемами по охране окружающей среды в капиталистическом мире.

Вот что пишет по этому вопросу один известный американский биолог в бюллетене общества «За социальную ответственность науки»: «Необратимые и далеко проникающие последствия разрушительного влияния техники на природу необходимо видеть, чтобы поверить в них. Правда об этом безжалостно процеживается и контролируется теми, для кого это выгодно. На истинные знания они смотрят как на грех, а вместо них распрост-

раняют невежество». Это гневное обвинение тех темных сил, которые, заботясь о своих прибылях, пытаются приуменьшить последствия разрушения природной среды...

В условиях капитализма, системы, все беспощадно подчиняющей интересам наживы и прибыли, есть и будут люди, могущественные благодаря своим миллионам, которым нет расчета снабжать заводы и фабрики дорогостоящими очистительными сооружениями. Для производителей легковых машин каждый намек на несовершенство их продукции звучит как оскорбление...

«В Японии горстка магнатов, которые ожесточенно гонятся за прибылями, отравила всю страну»,— заявил в интервью режиссер Акира Куросава. Именно эта горстка магнатов, обладающих политическим влиянием в Америке, Японии, Англии, Франции, в ФРГ и других странах, своей ожесточенной погоней за прибылью препятствует и будет препятствовать созданию каких бы то ни было норм, ограничивающих их образ действий, способных затронуть их личные интересы и доходы...

Их не пугают предупреждения таких ученых, как Жак Пикар, заявивший, что «ныне человечеству угрожает тотальная гибель...»

Они не интересуются (если судить по их поведению до настоящего времени) ничем другим, кроме... денег, под гипнозом которых они бодро шагают вместе со всем человечеством к волчьим ямам, вырытым для нас полутехникой, полунаукой и занимающей не последнее место безмерной жадностью...

Хорошо, что есть на свете страны социалистические! Хорошо потому, что при социализме накопление денег и вообще прибыли не имеют того решающего и рокового, я бы сказал, влияния на общественную, государственную жизнь, как при капитализме. Потому что при социализме самая главная государственная цель — это благополучие, счастье людей. И что особенно важно — во имя их благополучия государство может включить все необходимые (технические, финансовые и прочие) средства для осуществления того или иного начинания, направленного на предотвращение надвигающейся экологической угрозы.

Эти преимущества социалистической системы дают нам надежду, что рано или поздно (лучше рано, чем поздно) техносфера будет усовершенствована и использована не для того, чтобы рыть пропасть между человеком и природой, а для их полного и — будем верить в это — вечного примирения.

Есть, кажется, у арабов такая поговорка: «Если яйцо ударит камень — жаль яйцо. Если камень ударит яйцо — жаль яйцо».

Пусть только кто-нибудь не вообразил бы, что мы, люди,— «камень», а Природа — «яйцо»!

От редакции

Ф. Энгельс в свое время писал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых» [1].

Наши дни приносят все новые свидетельства того, насколько актуально и остро звучит это предупреждение сейчас.

Как обеспечить гармонию между индустриальным развитием и биологической устойчивостью окружающей человека природной среды? Правомерен ли сегодня девиз «покорения дикой природы»? Почему столь насущна необходимость преодолеть «потребительское» к ней отношение? Что следует предпринять, чтобы не только мы, но и будущие поколения имели возможность пользоваться незаменимыми благами природы?

Среди многих волнующих современное человечество жизненно важных проблем вопросы эти выдвигаются на одно из первых мест.

Сохранить природную среду, чистый воздух и воду, плодородную почву, всю биосферу с ее сложным, отработанным на протяжении геологического времени механизмом самосохранения и саморегулирования, гарантировать подлинно научный, с позиции комплексности и цельности природы, подход к этой проблеме — эти задачи встают сейчас остро, как никогда раньше. В конечном счете речь идет о судьбах мира.

В публикуемом выше очерке «Колючая роза» известный болгарский писатель Николай Хайтов, рассматривая в свете социалистического гуманистического идеала основные последствия бурного развития техники, приводящие к серьезным нарушениям равновесия в природе, в острой публицистической форме включается в обсуждение этой проблемы общечеловеческого значения. На ряде практических примеров исследуя характер и способы вмешательства человека в самое здание природы, он ставит вопрос об их надежности, о степени их обоснованности современным уровнем знаний.

Н. Хайтов указывает на несовместимость капиталистического миропорядка, самой его сущностью запрограммировавшего хищническое стремление к прибылям, наживе

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 495—496.

любой ценой, с принципами разумного природопользования, особо подчеркивая значение усилий в этом направлении, предпринимаемых странами социалистического лагеря, и в первую очередь Советским Союзом.

Именно социалистическое общество способно и призвано перестроить всю систему отношений между человеком и природой. Именно в этих странах, и прежде всего в Советском Союзе, задачи охраны природы возводятся за последние годы в ранг государственной политики. Свидетельства тому — постановления партии и правительства, соответствующие разделы государственных планов развития народного хозяйства СССР, повсеместно осуществляемые уже в духе решений XXV съезда КПСС реальные мероприятия, предусматривающие рациональное использование ресурсов природы, надежную гарантию безопасности для человека при внедрении в жизнь новейших достижений науки, овладевающей ее тайнами.

Интереснейшие примеры и суждения на эти темы содержит цикл статей, опубликованных в конце прошлого и начале нынешнего года журналом «Коммунист» («Экономика и экология: их взаимосвязь и зависимость», «Некоторые вопросы экологизации производства», «Идеологические аспекты экологических проблем», «Генетика на пороге дальнейших открытий», «Атом и социализм» — материалы встречи в редакции с руководителями Института атомной энергии имени И. В. Курчатова). Рекомендуем нашим читателям обратиться к этим материалам [1], на новом — экологическом — уровне мышления обобщающим образцы последовательных усилий Советского государства, закладывающего основы качественно нового природопользования, сочетающего ближайшие заботы общества с интересами отдаленного будущего.

Однако радикальное решение всех этих проблем возможно лишь в глобальном масштабе.

Уже два десятилетия передовые ученые мира — участники так называемого Пагуошского движения — выступают за предотвращение мировой термоядерной войны, за безопасность, за сохранение окружающей среды, за широкое научное сотрудничество в этой области, притом многим из них приходится проводить исследования и изыскания в условиях далеко не всегда благоприятных.

Известно, какую последовательную борьбу ведут на международной арене Советское государство и социалистические страны за ограничение стратегических вооружений, запрещение производства всех видов средств массового уничтожения — бактериологического, токсинного, химического оружия, за предотвращение вредных последствий, связанных с ядерными исследованиями, за консолидацию усилий в этом направлении.

Читатель, без сомнения, заметит, что суждения нашего болгарского друга Николая Хайтова имеют много общего с выступлениями его советских коллег. Еще в 1970 году «Комсомольская правда» напечатала интервью с Михаилом Шолоховым, в котором прозвучал тревожный призыв защитить природу. Памятны всем выступления на эти темы Леонида Леонова, Василия Пескова, Виктора Чивилихина... Писатели социалистического мира (см., в частности, в «Иностранной литературе» № 4 за 1975 г. фрагменты из книги Иоана Григореску «Грязный рай») едины в своем чувстве ответственности за будущее человечества.

В дни, когда верстался этот номер, «Правда» опубликовала большую статью Юрия Жукова «Медлить нельзя», посвященную одной из проблем, рассматриваемых и в «Колючей розе» Николая Хайтова. В статье говорится об опасности, которой могут оказаться чреватыми новейшие исследования в отрасли биохимии,— казалось бы, самой мирной и весьма важной для человечества, так называемой «генной инженерии» или «генохирургии», способные, попади они бесконтрольно в руки военно-промышленных комплексов капиталистических стран, привести к созданию средств массового уничтожения, еще более разрушительных, нежели даже ядерные.

В статье приведено высказывание Л. И. Брежнева из его выступления 13 июня 1975 года перед избирателями в Москве. «Разум и совесть человечества диктуют необходимость поставить неодолимую преграду на пути появления такого оружия»,— говорил Л. И. Брежнев.

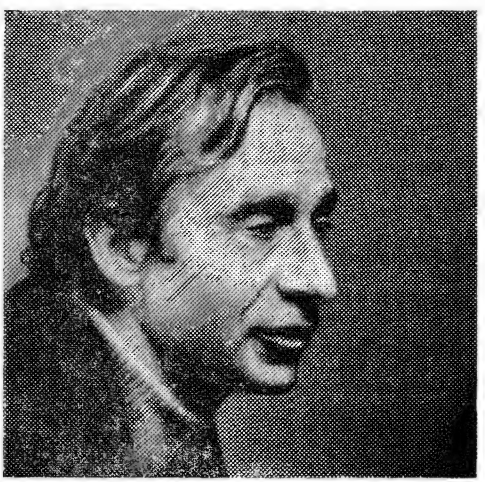
М е д л и т ь н е л ь з я — именно в этом призыве пафос убежденного, страстного до пристрастия, в лучшем смысле этого слова, выступления Николая Хайтова.

---

[1] Соответственно: «Коммунист» № 17 и 18 за 1975 год и № 1 за 1976 год.

◆

Наши гости



Урбану Тавариш Родригиш

(ПОРТУГАЛИЯ)

У нас в гостях побывал видный португальский писатель, имя и произведения которого знают не только на его родине, но и далеко за ее пределами. Познакомились с ним и наши читатели по рассказам, опубликованным в «Иностранной литературе» (№ 8, 1975).

Урбану Тавариш Родригиш — член Всемирного Совета Мира, действительный член Лиссабонской академии наук, профессор Лиссабонского университета — приезжал в Москву на международную встречу писателей, участники которой обсуждали очень важный вопрос: «Исторический опыт второй мировой войны и ответственность писателя за судьбы своего народа и человечества в условиях разрядки международной напряженности».

Участником второй мировой войны Урбану Тавариш Родригиш не был, но он, посвятивший свою жизнь борьбе против фашизма, остро чувствовал и чувствует ответственность за судьбы своего народа: в каждой его статье, в каждом произведении обличаются мрачные силы, стремившиеся — да и еще стремящиеся — увековечить фашизм в Португалии. За спиной писателя — годы, проведенные в застенках фашистской диктатуры, свергнутой 25 апреля 1974 года.

Судьба писателя тесно связана с судьбой его народа. Детство и юность Урбану прошли в провинции Алентежу — взволнованно вспоминает он родной край своей молодости в недавно написанном стихотворении, с которым нас познакомил:

О, Алентежу, край бедняков,
Царство скорби, царство отчаяния,
Гордость твоя — это твой народ,
Его печали, его чаяния...

Окончив университет в Лиссабоне, Урбану Тавариш Родригиш был вынужден покинуть свою страну, уехать в Париж, в Сорбонну; находясь по сути в эмиграции, он зарабатывает себе на жизнь преподаванием португальского языка. По возвращении на родину он занимается литературным трудом. Его перу принадлежит около пятидесяти книг, им написано много статей, очерков, эссе, литературоведческих работ. Высоко оценены читателями и сборники новелл и рассказов. Это — «Опасная жизнь», «Лиловая ночь», «Камнем в болото» (Национальная премия имени Рикардо Мальейроса), «Предрассветные птицы», «Дорога смерти», «Исправительный дом», «Рассказы об одиночестве» (написанные в тюрьме), повести «Непокоренные», «Утраченное время», «Бастарды солнца». Его книга «Суррo-

гат счастья», хотя и отмеченная Премией печати по вопросам культуры, была запрещена до 25 апреля 1974 года цензурой.

После свержения фашистской диктатуры в Португалии писатель завершил работу над романом «Распад», который был встречен с большим интересом как читателями, так и критикой.

— «Распад» — это своего рода открытая книга, обращенная ко всем,— сказал Урбану Тавариш Родригиш.— В ней, показывая распад сознания, мировоззрения интеллигента-неудачника, революционера-идеалиста, я одновременно хотел показать распад буржуазного общества, распад фашистского режима в Португалии. В текст произведения мною включены магнитофонные записи разговоров на улице с простыми людьми, вырезки из газет и журналов — все это создает социальную и политическую атмосферу, контрастирующую с переживаниями моего антигероя. А настоящий герой моего романа — португальский народ.

— Однако не затруднит ли восприятие романа столь сложная его структура? Разве подобное усложнение характерно для вашей творческой манеры?

— Нет, я всегда стремлюсь писать так, чтобы читатели меня поняли. Иначе зачем писать? И все же, по моему мнению, писать ныне так, как писались романы в прошлом, уже нельзя. Наше время требует нового языка, стиля, новой структуры — в общем, требует, чтобы художественное произведение было бы созвучным нашей эпохе, ее динамике. Я уже не говорю об идейных концепциях.

Вполне естественно всех нас интересует вопрос — каково положение в португальской литературе после свержения фашистского режима?

— Сложность политической обстановки в стране,— отвечает Урбану Тавариш Родригиш,— отразилась на определенной части старой творческой интеллигенции. В период фашистской диктатуры эта часть активно боролась с реакцией, а сейчас, видимо, выжидает. Не пишет... Другая часть, к которой принадлежу и я, находится в творческом поиске, ищет новые пути художественного выражения. Мы ставим перед собой задачу: сохраняя традиции нашей литературы, создавать произведения более глубокие, более многозначные — я говорю о полисемии,— адресуя свои произведения уже массовому читателю.

— Очевидно, круг читателей в Португалии расширился после свержения фашистского режима?

— Значительно расширился. У нас появился, можно сказать, новый читатель,— говорит Урбану Тавариш Родригиш.— Этот новый читатель — трудящиеся, которые ранее, при фашизме, были лишены возможности приобщаться к книге, к культуре. И меня, писателя, очень радует, что появился этот новый читатель. Да, теперь нужно думать о том, чтобы не приспосабливать нашу литературу к массовой аудитории, не снижать художественный уровень произведений и стараться писать, ориентируясь уже не на «избранных», а обращаясь к широкому читателю, к трудящимся. Это значит, что нам, литераторам, нужно совершенствовать собственное мастерство. В этом мы видим наш долг перед народом.

«Писать, обращаясь к широкой читательской аудитории...» — подчеркивает Урбану Тавариш Родригиш. И вновь напоминает, что его проза никогда не была нарочито упрощенной. Многозначность ее красноречиво подтверждает, например, новелла «Дядя-бог» (кстати, эта новелла, как и другие его произведения, в ближайшее время выйдет на русском языке). На первый взгляд, это не более как история двух мальчишек, живущих под опекой их дяди, жестокого «хозяина недвижимости, ключей, книг и даже звуков», и гувернантки, строго блюдущей интересы главы семьи. Однако проникая глубже в ткань произведения, читатель новеллы увидит Португалию диктатора Салазара, всеподавляющий гнет реакции, а также возникшую, точно мираж в раскаленной пустыне, и тут же исчезнувшую надежду на свободу после смерти дяди-бога.

— Вы сказали о появлении нового читателя, но дают ли о себе знать новые, вернее, молодые португальские литераторы?

— Конечно. За последние годы у нас в Португалии появилось немало молодых писателей. Они пишут много, пишут доступным для всех языком. Темы же произведений разные: антифашистское сопротивление, колониальная война, которую вела Португалия в Африке... Однако пока трудно издавать книги. Дело в том, что в Португалии существует два типа издательств: буржуазные и прогрессивные. Буржуазные молодых, как правило, не печатают, а прогрессивные издательства основное внимание сосредоточили на публикации политической литературы по актуальным вопросам. И к тому же у нас мало бумаги. О переиздании произведений остается лишь мечтать. Правда, прозу и поэзию еще печатают в журналах и приложениях к газетам. Трудностей еще много. И все же я уверен: года через три-четыре у нас, в Португалии, расцветет новая, молодая и прекрасная литература.

— А кто, по вашему суждению, всего ярче представляет литературу Португалии сегодня?

— Мне хочется отметить, что мы, португальские коммунисты, оценивая творчество писателя, воздаем ему должное независимо от его принадлежности к той или иной партии... Мне хотелось бы назвать имя Фернанду Наморы — хорошего, глубокого писателя-гуманиста. Бесспорным талантом обладает Вержилиу Феррейра,— хочу обратить внимание на его творчество. С исключительным чувством юмора написаны произведения Мануэла да Фонсеки. Тонким психологом показал себя Аугусту Абелайра... Писательницу Аугустину Беса Луиш можно считать нашим португальским Прустом... Знаток литературы Зеленого Мыса, блестящий критик — Мануэл Феррейра. Карлуш ди Оливейра — талантливый поэт и вместе с тем исключительно взыскательный к себе прозаик; кажется, что свои произведения он

способен отшлифовывать до бесконечности, например, роман «Пчела под дождем», который был не так давно экранизирован, он переписывал пять или шесть раз, и каждое следующее издание было, по сути, новым произведением. Среди поэтов я хотел бы прежде всего упомянуть нашего крупнейшего барда Жозе Гомиша Феррейру... И Мигела Торгу, получившего Нобелевскую премию, а также Жоакина Нараду, темпераментного поэта, всегда отстаивающего свои идеи. Интересно творчество нашей поэтессы Софии ди Мелу Брайнер Андерсен. Жоржи ди Сена — прекрасный поэт и прозаик, не без влияния испанского плутовского романа написал пользующуюся большим успехом книгу «Путешествие черта». Завоевал себе популярность очень своеобразный поэт, устный импровизатор Антониу Алейшу, он, между прочим, даже с трудом умел читать, к сожалению, недавно умер. Не оставляют равнодушным стихи находившегося в длительном заключении в тюрьме Пениши — Антониу Божеса Коэльу. Не могу не привести имя такого яркого поэта, как Мануэл Алегри.

Из поэтических жанров ныне особенно выделяется баллада. Возник этот жанр еще в годы антифашистского сопротивления и расцвел в дни после свержения фашизма. Прославился в этом жанре Жозе Афонсу — трубадур, как, скажем, Жак Превер. Полна боевой страсти политическая поэзия Жозе Жоржи Летрильи. Я очень люблю этого поэта, рожденного революцией, хотя творчество его несколько риторично...

Урбану Тавариш Родригиш рассказывает о своих коллегах по перу, об их произведениях, а перед нами предстает его родина — Португалия и тот край — Алентежу, который он воспел в уже цитированном выше стихотворении:

Серп жнецов твоих, Алентежу,
Я несу в своем сердце как знамя,
Знамя земли моей красной,
Священное знамя борьбы...

В борьбе — упорной, неустанной, в борьбе за мир и демократию, за торжество справедливости на земле активно участвует Урбану Тавариш Родригиш.

Писатель уже вернулся на родину, где решаются судьбы революции. Из Лиссабона пришли в Москву его новые книги — «Слова борьбы», «Этап революции», «Дневник отсутствия...». И красные знамена пылают на их обложках.

ЛИЛИАНА БРЕВЕРН

Вильгельм Гирнус

(ГДР)

Нашему гостю из ГДР Вильгельму Гирнусу, главному редактору журнала «Зинн унд форм», 27 января этого года исполнилось семьдесят лет. За его плечами почти полвека напряженной партийной работы (он вступил в Коммунистическую партию Германии в 1929 году), мужественной антифашистской борьбы. Двенадцать лет В. Гирнус провел в фашистских каторжных тюрьмах, концлагерях Ораниенбург и Заксенхаузен-Флосенбюрг. Сын рабочего-кожевника, он в настоящее время действительный член Немецкой академии искусств, профессор Берлинского университета им. Гумбольдта, известный ученый-литературовед, критик, публицист и художник, автор многих работ о творчестве И.-В. Гёте, Б. Брехта, И.-И. Винкельмана, У. Шекспира, И. Бехера, В. Гумбольдта, трудов по теории социалистического реализма и различным вопросам культуры и искусства. С 1964 года В. Гирнус возглавляет «Зинн унд форм» — один из самых популярных и читаемых литературно-художественных и критических журналов на немецком языке.

— Это издание,— как сказал в беседе с нами В. Гирнус,— такое же уникальное явление в издательской практике, как «Иностранная литература». Правда, у нас меньше аудитория, но если быть педантичным и сравнить, сколько экземпляров в наших странах приходится, скажем, на каждые сто тысяч человек, то разница вряд ли будет значительной. Но дело даже не в этом, и здесь я не боюсь повториться — дело в уникальности наших изданий. Вы представляете советскому читателю все многообра-

зие современной зарубежной литературы, а мы считаем своей задачей знакомить читателя, говорящего на немецком языке, с социалистическими литературами. На Западе нет столь серьезного, если можно так выразиться, журнала, как «Зинн унд форм». Это подтверждают письма зарубежных подписчиков. Примерно треть нашего тиража приходится на капиталистические страны, в основном ФРГ, США и Японию.

Вильгельм Гирнус отметил, что журнал публикует не только отдельные произведения писателей социалистических стран, но нередко посвящает целые номера национальным литературам. В частности, за последнее время были представлены литературы Венгрии, Болгарии, Армении, а сейчас — после поездки Гирнуса в Литву — готовится подборка о современной литературе этой советской республики.

Речь заходит о новых публикациях писателей ГДР, и здесь наш гость подробно останавливается на рассказе Фолькера Брауна «Неоконченная история» («Зинн унд форм» № 5, 1975), на новом романе Кристы Вольф, который готовится к печати, второй книге «Чудодея» Эрвина Штриттматтера, книге рассказов Германа Канта, повести Клауса Шлезингера «Старые фильмы», романе Гюнтера де Бройна об известном немецком писателе XIX века Жан-Поле Рихтере и многих других новинках.

— Мне хочется отметить, что сейчас в нашей литературе и литературной критике происходит своеобразное вызревание нового качества: в центре внимания все чаще оказываются проблемы человека развитого социалистического общества. Нынешний молодой человек шагает в ногу с научно-технической революцией, так сказать, физически ей соответствует. Но вот вопрос: успевают ли за его физическим и умственным ростом его моральные качества, соответствует ли духу времени эстетическое чувство? Ведь нашей задачей было и остается всестороннее формирование личности. Думаю, что в этом отношении у литературы необъятные возможности. Причем обращаться к читателю надо умело, так, чтобы он в принципе воспринял эстетическую позицию автора, чтобы, восприняв ее, он стал духовно богаче.

В. Гирнус высказался за расширение контактов между «Иностранной литературой» и «Зинн унд форм». Наш гость коснулся также проблемы освоения и освещения культурного наследия прошлого, которая уже много лет занимает общественность ГДР.

— Мы на страницах журнала очень резко выступаем против попыток некоторых деятелей культуры забывать в своей работе о культурных богатствах прошлого, против противопоставления, скажем, Гёте и Брехта, против рассуждений о том, что может дать, например, «безнадежно устаревший» Гёте современному молодому человеку. Подобный подход я считаю догматическим, надо видеть ценность классики для нашего времени, помнить о непрерывности реалистической традиции. Писатель не только свидетель, летописец, но и творец, и общие, основные гуманистические идеалы человечества, несомненно, присутствуют в лучших творениях прошлого. Нужно только уметь их правильно прочесть и осмыслить с поправкой на время и жизненную ситуацию.

М. ФЕДОРОВ

В. Гирнус. Дом Томаса Манна в Ниде.

Среди книг

Издано в СССР

ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ...

Мария Домбровская. Избранное. Составитель и автор предисловия Я. Станюкович. Москва, «Прогресс», 1974.

В серии «Библиотека польской литературы» вышло «Избранное» Марии Домбровской — писательницы, через творчество которой проходят основные силовые линии польской прозы двадцатого столетия. В этот сборник включены повести и рассказы Домбровской — от самых ранних до последних, фрагменты большого философского романа «Приключения мыслящего человека», а также ряд критических статей о литературе, аналитические страницы в них постоянно перемежаются публицистическими пассажами, а порой — отступлениями автобиографического характера, что превращает их в эссе, подкупающие доверительной интонацией: кажется, что соучаствуешь в процессе размышления автора, который говорит для тебя и обращается к тебе.

Такой хрестоматийный принцип полностью себя оправдывает. Когда мы закрываем книгу, у нас в сознании остается ясный и четкий образ созданного писательницей мира. Он многогранен, этот мир; его определяющие признаки — авторская доброта, не ослабляемая суровой трезвостью, поразительное богатство освоенного жизненного материала.

Свою задачу Домбровская видела в том, чтобы максимально полно отразить время. Что бы она ни писала, она стремилась прежде всего выявить фактуру изображаемого исторического периода, его духовную окраску, то, что Стендаль называл «цветом времени». Вглядываясь в меняющийся рельеф времени, Домбровская отмечала перемены, происходившие порой буквально день ото дня, — так, например, она описывала Варшавское восстание 1944 года. Каждый день его по насыщенности стоил месяца, а будущее с потрясающей наглядностью решалось не только соотношением боевых сил, но и соотношением веры и отчаяния в душе человека. Домбровская честно описывала все. Этический императив ее прозы заключался в безусловном предпочтении фактической правды (вплоть до опоры на «сырой» документ) всякой форме художественного вымысла. Фантазия занимает у нее второстепенное место. Достоверность является критерием художественности. Здесь можно было бы говорить о некотором намеренном самоограничении писательницы, но лучше сказать об ее обостренной честности. В годы неслыханных потрясений и открывшихся перед Польшей новых перспектив долг художника Домбровская видела в неподкупной честности и бесстрашной пристальности взгляда. И время у нее всегда преломляется через судьбу человека — участника истории, который осмысляет ее, сам осмысляется ею и отвечает за нее.

Особенно знаменательны в этом отношении «Приключения мыслящего человека». Домбровская тяготела к эпике, и этот роман — попытка эпического анализа социальной и духовной родословной польского интеллигента, своего рода «история моего современника», где действует множество героев, но главный герой остается подразумеваемым. Этот главный герой — совокупный «мыслящий человек», носитель коллективной биографии польской интеллигенции, который, пережив все «приключения духа» в бурном и запутанном времени, пережив войну с фашизмом, оказывается современником и строителем новой Польши. Домбровская подвергает всестороннему и неторопливому испытанию нравственные основы этого подразумеваемого героя; прослеживает этапы пройденного им пути, разбирает раз-

личные варианты — как могла сложиться (а в действительности часто складывалась) его судьба под влиянием воспитания, характера личности, «обусловленных историей сложностей польской психики», различных философских доктрин. Этот роман — традиционное реалистическое произведение. Но так как многое в нем — от духовной автобиографии автора, то он, при всей своей эпической обстоятельности, оказывается проникнутым исключительно сильной лирической атмосферой, элементами исповеди, воспоминаний. Личное и общее, время и душа рассматриваются в нем «при свете совести» — и читая роман, мы не раз вспоминаем страницы наших классиков, совестливые и суровые интонации Толстого приходят на ум.

Сама Домбровская часто говорила о том, как много значили для нее духовные поиски и нравственные достижения русской литературы. С радостью мы читаем в сборнике страницы, свидетельствующие об этом. И почти как символический воспринимается эпизод в одном из очерков, где Домбровская, описывая свое возвращение из эвакуации в столицу в последние дни войны, рассказывает, как в военном эшелоне она разговорилась с советским солдатом о русских писателях...

Особенно близкими себе Домбровская считала Гоголя и Чехова.

С Гоголем ее сближает, пожалуй, понимание письма как своего рода словесной живописи — яркой, одушевленной, чувственной, которая выразилась сильней всего в ранних деревенских рассказах, где есть удивительные картины, именно картины, рисующие человека и природу слитыми в тесном, неразрывном, взаимодополняющем единстве. Что же касается Чехова, с ним связи Домбровской тоньше, глубже, разнообразнее. Она переводила рассказы Чехова, она всегда вела с ним неослабевающий внутренний диалог. Как Чехов, никогда не сгущая краски и нисколько не идеализируя человека, она умела представить предельно достоверной картину испытаний, которые обрушивает на человека жизнь.

И «мыслящего человека» в романе, и героев других своих произведений Домбровская проверяет на право называться человеком, ставя в тяжелейшие условия, требующие напряжения всех душевных качеств, всех сил. И нередко у нее само поражение человека — знак его победы. В произведениях Домбровской постоянно присутствует мысль, что человека нельзя победить, если он сознает себя человеком. В рассказе «Победа Дионизия» несчастному горбуну, живущему, казалось бы, в бездне отчаяния, достаточно вспомнить о своем достоинстве, чтобы почувствовать себя почти счастливым.

Вера в беспредельные возможности человеческого духа — вот основной пафос творчества Домбровской, определяющий его непреходящее значение и актуальность для нашей сегодняшней жизни.

АЛЕКСЕЙ ЧАНЦЕВ

И ВСТАНУТ НОВЫЕ БОЙЦЫ...

Дэвид Чандлер. Стачка в зеленой долине. Роман. Перевод с английского В. Лимановской. Предисловие Б. Гиленсона. Москва, «Прогресс», 1975.

Хотя действие романа Чандлера «Стачка в зеленой долине» (1970) развертывается в годы не столь уж и отдаленные — конец 60-х, самый разгар «процветания»,— материалом своим, героями, атмосферой, событиями, многими сюжетными линиями, даже тональностью книга эта, повествующая о жизни и борьбе мексиканцев — одного из самых «униженных и оскорбленных» национальных меньшинств в США, удивительнейшим образом перекликается и с произведениями «разгребателей грязи» («Джунгли», «Король уголь» Э. Синклера), и с социальными романами 20—30-х годов, такими, как, например, «Гроздья гнева» Дж. Стейнбека.

Там и тут внимание писателей привлекают первые робкие ростки общественного и человеческого самосознания, попытки рабочих объединиться, борьба за улучшение условий труда, за первый коллективный договор, за гражданские права, встречающая ожесточенное сопротивление власть имущих и предпринимателей, готовых на любые крайности; там и тут стачка, венчающая противостояние труда и капитала. И мы наблюдаем, как в ходе борьбы пробуждается, распрямляется постепенно рабочая масса, а каждый из участников сражения обретает свое, неповторимое лицо.

Судьба Даниэля Гарсиа, главного героя романа, не совсем обычна. В отличие от подавляющего большинства своих собратьев, американских мексиканцев, он сумел получить образование, сделал неплохую карьеру, заняв ответственный пост в штаб-квартире Американской Федерации Труда в Вашингтоне. Всей своей жизнью он как бы призван свидетельствовать: общество предоставляет равные возможности преуспеяния всем своим членам, независимо от происхождения, цвета кожи,— только не ленись.

Но миллионы людей, хоть и работают, не разгибая спины, по-прежнему, как и десятки лет назад, едва сводят концы с концами.

И Даниэль постепенно прозревает. Он понимает запрограммированность, социальную изнанку своего благополучия. Сверху помочь соотечественникам невозможно: профсоюзные лидеры — деловые люди, мексиканцы, по их мнению,— чересчур невыгодное, ненадежное, непрестижное помещение капитала. И Даниэль в один прекрасный день покидает Вашингтон и возвращается туда, откуда вышел, в маленький калифорнийский городок — центр обширного сельскохозяйственного района.

Пребывание в штаб-квартире профсоюза не прошло бесследно: реформистский, бюрократический душок дает себя знать — на создание независимого профсоюза Даниэль

отводит два-три года, спешка ни к чему, считает он. Однако жизнь путает все его прекраснодушные планы — начинается стачка, и в силу обстоятельств Даниэль оказывается во главе движения.

Надо сказать, что «Стачка в зеленой долине» — роман не самых высоких литературных достоинств. Схематичен, местами тороплив, отдает репортажем. События, очевидно, настолько «подпирали», гнали автора, что главную свою задачу он видел в их фиксации и «забывал» о необходимости углубленных, выверенных социально-психологических мотивировок характеров ведущих героев.

Даниэль Гарсиа, например,— страстный, убежденный проповедник теории ненасилия, нет сомнений в том, что у этой теории, получившей значительное распространение, есть свои корни — социальные, экономические, исторические, национально-религиозные, психологические. Но зная, что Гарсиа не одинок в своей проповеди, не случаен как тип и за его спиной стоят вполне реальные фигуры, убежденность его мы воспринимаем скорее разумом, чем сердцем. И не потому, что образ столь уж раздираем внутренними противоречиями,— автор как раз стремился показать личность необычайно цельную, а прежде всего из-за недостаточной художественной разработанности образа: характер подчинен принципу.

Причем сам писатель, отдавая должное фигурам, подобным Гарсиа, убеждений их отнюдь не разделяет. Наоборот, он, может быть и недостаточно четко, последовательно, но вскрывает несостоятельность, противоречивость религиозно-философских взглядов Гарсиа, тупиковость его пути. В этом смысле гибель Гарсиа в конце книги от руки наемного убийцы в художественном отношении, пожалуй, и закономерна. Погибнув, он остается в глазах подавляющего большинства рабочих высоким нравственным образцом, являя собой пример бескорыстнейшего служения народу.

Но в почитании, которым окружен Гарсиа, все чаще и чаще пробиваются нотки истерии, экзальтации, слепого, фанатичного поклонения, вытесняющего естественный в рабочей среде демократизм отношений. Личность по-прежнему ведет за собой массу, но люди уже не распрямляются, не пробуждаются, они молятся. Даниэль близок к тому, чтобы из рабочего лидера превратиться в очередного идола, в мессию, благо темнота, невежество, забитость основной массы сельскохозяйственных рабочих-мексиканцев — благодатная для такой трансформации почва. Примечательно, что пресса, радио, телевидение, поначалу не «замечавшие» стачку, все больше уделяют ей внимания. Но пишут не столько о забастовке, сколько о Гарсиа. Тоже, между прочим, способ опорочить, расколоть, сбить с пути движение — превратить его лидеров в звезд, в телеидолов, сделать предметами потребления своего рода. Этот способ не отрицает старые, а скорее дополняет их в духе наиновейшего времени и его возможностей.

Один из ближайших сподвижников Гарсиа — Энрике Монтойя, молодой мексиканец, судьба которого тоже по-своему поучительна, даже символична. Дорогой ценой, ценой отказа от семьи, от своего народа, даже от собственного имени (мексиканские имена только отпугивают потребителя, и Энрике выдает себя за кубинца), он делает карьеру, выбивается в люди. Энрике — популярный певец, выпустил уже несколько долгоиграющих пластинок и в буквальном смысле живет припеваючи. Но вот — драка, спровоцированная молодчиками, распознавшими в «кубинце» мексиканца, и Энрике попадает в тюрьму. Возвращение на эстраду для него, уголовника, немыслимо. Да и у толпы уже давно новые кумиры.

Случайность? Нет, закономерность. Проклятие «низкого», мексиканского происхождения рано или поздно настигает отступника. Хорошо еще, что пробудился Энрике рано, а не поздно, пока он еще в состоянии понять, что, не освободив других, не освободишь и себя.

Энрике осознает и вред теории ненасилия, не столько собирающей, сколько развращающей, усыпляющей рабочих, и ограниченность, чрезмерный экономизм программы Гарсиа в целом: «Ну, добьетесь вы двадцати пяти центов в час... еще каких-нибудь уступок. Организуете общество взаимопомощи... И в кого превратятся тогда наши люди? Кем они станут? Мелкими буржуа. Стандартные домики, трижды перезаложенные, машина в рассрочку. И непосильные жертвы, чтобы дети могли учиться в школе. А все это вместе сплошной самообман — вот, мол, стали стопроцентными американцами, забыли, какая она на вкус, мексиканская пища...»

С такой вот страстной речью обращается Энрике к Гарсиа, и тот, признавая в душе его правоту, ничего вразумительного противопоставить товарищу не в силах и разрешает конфликт отнюдь не демократическим способом: по существу, затыкает Энрике рот. А затем, используя свой авторитет, просит Энрике «добровольно» выйти из руководства союзом. А ведь Энрике, несмотря на молодость, пусть еще и нерешительно, но с научных позиций пытается определить цели движения, соотношение классовых сил. И его бесцеремонно выставляют за дверь.

В романе выведен эпизодический, но очень выразительный образ профсоюзного босса Джо Джессепа, уже давно и прочно интегрированного системой. На профсоюз он смотрит как на деловое предприятие, а на профдеятельность — как на бизнес.

Гарсиа глубоко противен этот Джессеп, ему претят роскошь, в которой тот живет («носил костюмы за триста долларов, ездил в машине «континенталь», имел дом рядом с особняком кинозвезды и был известен... как любитель пожить на широкую ногу»),

его самодовольство, цинизм («нравится тебе наше помещение? Недурно для бедных пролетариев, а?..»). Неудивительно, что Даниэль, приехавший в штаб-квартиру профсоюза за поддержкой, уезжает ни с чем. Но разве сам он лучше обходится с Энрике, чем Джессеп — с ним?.. Недаром же говорят, что крайности сходятся. Экстремисты из мексиканской молодежи, недовольные медлительностью, мягкостью Гарсиа, планируют его убийство, чтобы тем самым расчистить путь «революции», плантаторы тоже стремятся обезглавить стачку; чистый, искренний, Даниэль Гарсиа, отвергая делячество, конформизм и приспособленчество Джессепа, сам, в силу своей политической и идейной ограниченности, смыкается с ним Как уже отмечалось, в гибели Гарсиа есть своя закономерность.

Правда, в жизни, отсветом которой и явился роман, было иначе: Чезар Чавес, видный деятель мексиканского движения, прообраз Гарсиа, был не убит, а ранен, он и поныне остается одной из значительных фигур на фронтах социальной борьбы, но у художественного произведения своя не менее, а то и более глубокая, поучительная логика развития, которой и следует Чандлер.

Перекликаясь во многом с произведениями «разгребателей грязи», «красного десятилетия» (перекличка эта не просто дань традициям социального романа, а диктуется самой жизнью), роман Д. Чандлера чутко улавливает (хотя и чересчур бегло художнически раскрывает) новое в противостоянии труда, капитала, власти. Там, где есть возможности прямой, беспощадной эксплуатации, она — налицо, даже ужесточается, но там, где рабочие — белые, черные, желтые — сумели организоваться, противопоставить фронту предпринимателей фронт труда, на это противостояние теперь набрасывается флер «человеческих отношений».

Новь и в том, что борьба рабочих, показанная в книге, постепенно перехлестывает свои же собственные первоначальные, узкоэкономические рамки, становится борьбой за честь, достоинство человека, за его гражданские права, в движение вливаются новые силы, учащаяся и студенческая молодежь, к нему примыкают и отдельные энтузиасты, адвокаты, журналисты, священники, учителя. Вокруг движения создается иная, чем в 20—30-х годах, атмосфера, иное общественное мнение, что в конечном счете способствует консолидации подлинно прогрессивных сил.

Финал романа — горько-оптимистичен: Даниэль Гарсиа погиб, новый лидер Энрике Монтойя — в тюрьме, но стачка набирает силы и решимость, которых ей так не хватало раньше. «Мы победим»,— поют собравшиеся под стенами тюрьмы рабочие.

«Стражники стащили его (Энрике.—**Б. А.**), он рухнул на каменный пол, но, даже когда они набросились на него, он улыбался. Он радовался, что там, на воле, люди поют, и он знал, что они на пути к победе».

БОРИС АНАШЕНКОВ

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

Г. П. Попов. Такин Кодо Хмайн. Жизнь и творчество. Ответственные редакторы А. Н. Узянов, Л. З. Эйдлин. Москва, «Наука», 1974.

Для того, чтобы эта книга получилась, ее автору пришлось преодолеть многие трудности, с которыми исследователям европейских или ведущих азиатских литератур сталкиваться не приходится.

Обращаясь к жизни и творчеству Диккенса, критик вправе предполагать, что читателю знакомы многие реалии английской жизни и литературы, что он читал «Оливера Твиста» и имеет представление о Лондоне. Исследователь же литературы и культуры Бирмы должен учитывать, что знания наших читателей об этой стране весьма ограничены.

Поэтому, взявшись за книгу о Такине Кодо Хмайне, бирманском поэте, драматурге, энциклопедисте, таланте многогранном и для Бирмы во многом уникальном, Г. Попов должен был писать не просто биографию художника, не просто литературоведческий труд, но искать способы познакомить нас, хотя бы в общих чертах, с развитием и спецификой бирманской литературы — создать тот фон, без которого образ центральной фигуры исследования потерял бы самобытность и убедительность. В результате получилась книга о стране, о ее судьбах, о литературе — выразительнице этих судеб — и, наконец, о самом Такине Кодо Хмайне, соединившем в себе и традиционность, и сохранившийся до глубокой старости юношеский революционный пыл.

Почти все жанры традиционной бирманской литературы были так или иначе отражены в творчестве Такина Кодо Хмайна, не только пробовавшего силы в поэзии и исторической хронике, но и внесшего в традиционные формы новое содержание. Объяснение этому лежит как в характере бирманского писателя, так и в особенностях его биографии, в специфике времени.

Десятилетний Лун (Такин Кодо Хмайн — псевдоним) был учеником монастырской школы, когда вошедшие в бирманскую столицу английские солдаты вывезли из дворца последнего царя Бирмы и выслали его из страны. Двадцатилетним Лун попадает в Рангун — новую, колониальную столицу. Он становится журналистом, приобретает известность как поэт и драматург: пишет пьесы для народного театра. Всего он создал около восьмидесяти пьес, некоторые были столь популярны, что обошли всю Бирму.

Это были удивительные пьесы в удивительном театре. Представление начиналось в сумерки и шло до рассвета, зрители, съезжавшиеся из соседних деревень, раскладывали под открытым небом циновки, ужинали, пили чай, спали, а тем временем обязательно несчастливый и влюбленный принц проливал слезы, министр строил интриги, а остальные действующие лица пре-

терпевали разного рода волшебные изменения. Как писал бирманский исследователь Кла Пе: «Им ничего не стоило превратиться в рыбу или слона, прекрасная девушка могла спрятаться в цветке лотоса, а мальчик — мгновенно стать чудесным юношей». Пьесы были сказочны, но актуальны — уличный театр и его драматурги быстро откликались на все, что волновало страну.

Луну исполнилось тридцать лет, когда в Бирме, в первые годы XX века, начало формироваться национально-освободительное движение, с лидерами которого он вскоре сближается.

Без преувеличения можно сказать, что Лун, упорный и последовательный борец против колониализма, был властителем дум бирманской молодежи. Именно в эти годы Лун возрождает тику.

В иных литературах не найти схожего явления. Словари определяют это слово как комментарий, поэтическую прозу, даже басню. Действительно, когда-то тики были своеобразными комментариями к буддийским трактатам, призванным показать образованность их авторов. Но Такин Кодо Хмайн взял лишь форму тики, позволяющей сплести повествование из фактов и вымысла. Для него тика — комментарий к современным событиям.

Значительную часть тик Такина Кодо Хмайна составляли его статьи и очерки, опубликованные в газетах. В каждой тике присутствует любимый герой автора—Маун Хмайн (литературный персонаж известного в Бирме плутовского романа, чье имя стало основой псевдонима писателя), который разъезжает по Бирме, ведет беседы, читает проповеди, спорит. Создание тики требовало от писателя большой исследовательской работы: подсчитано, что в «Новой тике о павлинах» содержатся ссылки на 129 книг бирманских авторов, цитируются произведения 112 историков, 86 писателей.

Тема тики всегда навеяна каким-то актуальным событием. К примеру, «Тика об обезьянах» была написана в начале двадцатых годов, в момент раскола национально-освободительного движения, когда столкнулись идеи, выплыли на поверхность личные амбиции политических лидеров, интриги, склоки. Тика наполнена горькой иронией — в обезьянах нетрудно было угадать известных политиков тех лет.

В начале тридцатых годов Кодо Хмайну уже за пятьдесят. Помимо пьес, стихотворений, исторических исследований и тик, он — автор известного романа «Пример вежливого наставления». Его пытаются умилостивить колониальные власти, предлагая титулы и награды,— писатель отказывается. Его хотят привлечь на свою сторону склонные к компромиссам «солидные» политики — он отходит от них. Один из немногих — он осмеливается открыто поддержать крестьянское восстание 1930 года, а когда через несколько лет в Бирме возникает движение «такинов» («такин» по-бирмански — господин, так следовало величать англичан, но молодые революционеры приняли это обращение друг к другу, чтобы показать, что именно они — настоящие хозяева страны), пожилой писатель безоговорочно присоединяется к ним и даже прибавляет к своему имени слово «такин».

В 1938 году Такин Кодо Хмайн опубликовал последнюю из своих тик — «Тику о такинах», в которой утверждал, что к будущему ведет путь, указанный молодыми революционерами.

После освобождения Бирмы в 1948 году Такин Кодо Хмайн посвятил себя борьбе за мир как внутри страны, где вспыхнула затяжная гражданская война, так и во всем мире. И в этом деле писатель оставался бескомпромиссным борцом — признанием его заслуг было присуждение ему в 1954 году международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Весь длительный жизненный путь и разносторонняя деятельность замечательного бирманского литератора нашли яркое отражение в книге Г. Попова, который не только изучил множество материалов и документов, но и долгое время работал в Бирме, неоднократно встречался с героем своего исследования, и это придает его монографии особую достоверность.

ИГОРЬ МОЖЕЙКО

Издано за рубежом

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Josef Ippers. Am Kanthaken. Frankfurt am Main, Fischer, 1974.
Hermann Spix. Elephteria oder die Reise ins Paradies, Frankfurt am Main, Fischer, 1975.
Heiner Dorroch. Wer die Gewalt sät. Frankfurt am Main, Fischer, 1974.
August Kühn. Eis am stecken. Frankfurt am Mein, Fischer, 1974.

Несколько лет назад в западногерманских книжных магазинах и газетных киосках появились небольшие, карманного формата книжечки в мягких цветных обложках, на которых чуть повыше имени автора отчетливо выделялась надпись: «Рабочее объединение — литература мира труда». Книги, выходившие в этой серии, сразу обратили на себя внимание читателей и критики.

Объединение «Литература мира труда» было создано в марте 1970 года по инициативе писателей Эразмуса Шефера, Эрики Рунге, Ангелики Мехтель — участников литературных кружков, существовавших на крупных промышленных предприятиях.

Объединение приняло свой устав и обнародовало идейно-творческую программу: «Разъяснять проблемы мира труда и способствовать изменению социальных условий в интересах трудящихся». Последнее, как отмечала в свое время гамбургская газета «Ди цайт», в ФРГ «не совсем безопасно».

И в самом деле, едва увидели свет первые подготовленные объединением документальные сборники «Строительный кран падает» (1970), «Сплошь работодатели» (1971), «Но вы идете на риск» (1971) и другие, как начались гонения на их авторов.

Бесхитростные, во многом художественно несовершенные репортажи, бытовые зарисовки и дневниковые записи были сильны своей правдивостью, волновали откровенным, без прикрас, изображением условий труда на западногерманских заводах и фабриках, в портах и на шахтах, произвола хозяев, унижающих человеческое достоинство рабочих и мелких служащих. И хотя авторы еще не поднимались до социальных обобщений, направляя критические стрелы в отдельных конкретных носителей зла, реакционная пресса завопила о «коммунистической опасности» и «угрозе общественным устоям». Предприниматели всячески запугивали рабочих-литераторов, пытаясь отбить у них охоту браться за перо, или переманить на свою сторону, превратив в своего рода «придворных хроникеров», подобных некоторым авторам ежегодного литературного альманаха «Завод и мы», издаваемого металлургическим концерном «Хёш».

От «строптивых» под любым предлогом старались — и стараются — избавиться. Так, например, в числе многих других участников объединения «Литература мира труда», был уволен рабочий Герд Зовка, автор талантливой пьесы «В центре всего — человек».

И все же задушить это литературное объединение западногерманской реакции оказалось не под силу. За последние годы в него влилось немало новых литературно одаренных людей, которых глубоко волнуют проблемы жизни рабочего класса. Среди них не только рабочие, так сказать, «от станка», но и занятые на производстве инженерно-технические специалисты, мелкие служащие, школьные учителя, библиотекари. Надо заметить, что не все руководители объединения понимали необходимость расширения его социальной базы. Некоторые из них придерживались сектантских взглядов на право вступления в члены рабочего литературного объединения, ориентировали молодых авторов на узкопроизводственные проблемы. В этой связи нельзя не вспомнить о критических замечаниях В. И. Ленина в адрес тех, кто «думают, что «для рабочих» достаточно рассказывать о фабричных порядках и пережевывать давно известное»[1].

Расширение круга участников объединения «Литература мира труда» сыграло несомненную положительную роль: обогатилась тематика произведений, творчески освоены новые пласты действительности, которым прежде не уделялось нужного внимания.

Упорную борьбу приходится вести объединению с попытками насадить в нем антиреалистические тенденции, толкнуть начинающих писателей на путь бесплодного литературного экспериментаторства. Возражая западногерманскому критику Йоргу Древсу, который объявил реалистическую литературу «анахронизмом», один из руководителей объединения, Юрген Альбертс, в газете «Дойче фольксцайтунг» писал: «Наше объединение стоит на четкой позиции марксистского общественного анализа. Реальность познаваема, и мы хотим, чтобы как можно больше людей распознали сущность капиталистического строя».

Учитывая все возрастающий спрос на произведения о жизни рабочих, одно из самых крупных в ФРГ издательств — «Фишер» стало регулярно выпускать книги, авторы которых являются членами объединения «Литература мира труда». С 1973 года издано 12 таких книг со средним тиражом около 30 тысяч экземпляров, что для условий западногерманского книжного рынка не так мало.

В отличие от ранее выходивших сборников, книги серии издательства «Фишер» принадлежат, как правило, какому-нибудь одному автору. Это не только документальные очерки и репортажи, но и повести, романы, пьесы, что свидетельствует о стремлении участников объединения освоить более сложные и многоплановые литературные жанры.

Познакомимся с некоторыми из этих книг.

Писатель Йозеф Ипперс — не новичок в литературе. С 1956 года в западногерманских газетах и журналах печатались его очерки и рассказы, в 1973 году он опубликовал свой первый роман «Улит». Все это время работал на производстве, был строительным рабочим, портовым грузчиком, моряком торгового флота.

Его новый роман — «На крючке» (1974) — посвящен жизни портовых рабочих Дюссельдорфа. Герой книги, молодой немец Франц Риттер, долгие годы скитался по стране, отсидел в тюрьме за бродяжничество, а теперь решил подзаработать денег в порту, чтобы потом снова пуститься в странствие.

Франц Риттер — бродяга «из принципа», его жизненное кредо в чем-то сродни «философии» горьковских босяков. Он не хочет связывать себя ни постоянной работой, ни постоянным местом жительства, ни семейными узами, чтобы, как он утверждает, «не потерять свою свободу». Рассказчик, от имени которого ведется повествование, поначалу с сочувствием и даже некоторой завистью воспринимает свободолюбивые устремления Франца. Однако, как убедительно показано в романе, все эти мечты о свободе — не что иное, как иллюзия, самообман.

В мире, где все держится на частной собственности, где все продается и покупается, защитить свою личную свободу, сохранить

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 39.

независимость в одиночку невозможно. А Франц и слышать не желает о политике, о профсоюзах, о том, что в ФРГ существует партия, отстаивающая интересы рабочего класса. Подобно многим другим, в конце концов он попадается «на крючок» соблазнов так называемого «экономического чуда»— действие романа происходит в пятидесятые годы — и становится благопристойным бюргером.

Иной путь развития проходит повествователь. При первом знакомстве он кажется не менее аполитичным, чем Франц, однако в дальнейшем мы видим, как под влиянием тех или иных событий происходит его духовный рост, оттачивается классовое самосознание. Он сближается с коммунистами, которые помогают ему многое понять. И хотя пока он еще далек от того, чтобы встать в ряды борцов за более справедливый социальный строй, но защищать капиталистические порядки он явно уже никогда не будет.

Автор не ограничивается изображением жизни в порту — рабочем месте своих героев. Действие романа раскрывается на широком фоне западногерманской действительности того времени. Йозеф Ипперс показывает, как под прикрытием крикливой антикоммунистической пропаганды велось наступление на жизненные интересы западногерманских трудящихся, осуществлялась милитаризация страны, подогревались реваншистские настроения. В этой атмосфере вольготно жилось недавним гитлеровцам вроде выведенного в романе мастера Куно Людеряна, который в годы войны добровольно вызывался расстреливать своих же товарищей, пытавшихся дезертировать из фашистского вермахта.

Хочется отметить, что роман «На крючке» отличается живостью и выразительностью языка, интересными сюжетными поворотами.

Герман Шпикс, учитель народной школы, посвятил свой первый роман «Элефтерия, или Путешествие в рай» (1975) острой для Федеративной Республики Германии проблеме — положению двух миллионов иностранных рабочих, проживающих в этой стране.

В центре книги — образ молодой гречанки Элефтерии, которой с ранних лет пришлось испытать трагедию фашистского произвола и насилия. Ее отец, партизан, был убит во время войны гитлеровскими карателями; отец ее мужа, тоже партизан, уже после войны был замучен в застенках греческой тайной полиции.

Подобно многим тысячам своих соотечественников, Элефтерия вместе с мужем, Димитриасом, в поисках хлеба и работы покидает родину и отправляется на далекие берега Рейна.

Первые же часы в Федеративной Республике Германии показали, что действительность совершенно не соответствует радужным посулам, на которые не скупились западногерманские вербовочные бюро в Греции. Вместо обещанной квартиры Элефтерию поселяют в убогий барак, где на каждой койке приходится спать посменно — кому днем, кому ночью. В такой же барак, только на несколько километров дальше, определили и Димитриаса. Взаимные посещения строжайше запрещены. Элефтерия вынуждена встречаться с мужем тайно, рискуя потерять работу и быть высланной из страны.

А в цеху неумолимый конвейер — ни минуты передышки. И вымогатель-мастер, которого надо задабривать, если не сумеешь отбиться,— любовью, а в лучшем случае шнапсом и сигаретами,— чтобы получить от него подтверждение о выполненной норме.

Автору хорошо знакомы условия труда на западногерманских предприятиях, на многих примерах он показывает, чего стоят пропагандистские побасенки о «равном партнерстве» хозяина и рабочего, о «народном капитализме» и т. п. Элефтерии и ее подругам регулярно недоплачивают деньги, одной из работниц отказывают в установленном законом отпуске по беременности, всячески экономят на защитных приспособлениях, которые могли бы предотвратить несчастные случаи на производстве, а хозяин фабрики тем временем вместе с семьей уезжает на шесть недель отдыхать в Рио-де-Жанейро и списывает расходы на эту поездку с суммы своего налога.

Убедительно раскрыта писателем тема интернациональной солидарности. Рабочие разных национальностей совместно выступают в защиту своих прав, распространяют листовки, организуют забастовки. Немецкая работница Герда Шульте помогает Элефтерии не утратить чувство человеческого достоинства, осознать свою принадлежность к братству людей труда.

Действие романа не замыкается рамками производства. Жизнь за воротами фабрики находит отражение на многих страницах книги. Вот после долгих мытарств Элефтерия находит квартиру, где наконец может жить вместе с мужем. Но как только у них рождается ребенок, хозяйка отказывает супругам в квартире. И в доказательство незыблемости «священного права собственности» выключает им свет, воду, газ. И ничего не поделаешь — таковы западногерманские капиталистические «порядки».

Но, к сожалению, объем информации, который автор хочет сообщить читателю, оказывается слишком большим для одного романа. Едва ли можно назвать проблему жизни и производства, которая не была бы затронута в книге. И нередко менее важные проблемы оказываются выдвинутыми на первый план, а значительные тонут в море мелочей.

Не на пользу роману и явное злоупотребление диалектом. Правда, находятся и защитники этого литературного приема. Так, западногерманский критик Эльвира Хегеманд-Ледвон полагает, что диалекты — это «подлинный язык рабочей литературы». С таким мнением трудно согласиться не только потому, что в нем проскальзывает известное пренебрежение к рабочей литературе как к чему-то второсортному. Необходи-

мость пробираться сквозь дебри диалекта может отпугнуть многих читателей, особенно тех, на кого в первую очередь и рассчитана эта книга.

Заслуживает внимания сборник очерков и репортажей «Кто сеет насилие» (1974), который опубликовал Хайнар Дорох, в недавнем прошлом слесарь-механик.

Это первая книга молодого писателя. Богатый жизненный опыт и несомненные литературные способности позволили ему несколькими броскими штрихами нарисовать правдивую картину положения рабочих в условиях сегодняшней западногерманской действительности. Не все произведения, вошедшие в книгу, равноценны. Написанные в сдержанной, скупой манере, очерки «В монтажном цехе», «Западногерманская рулетка», «Зависимые без прав», «Рынки рабов в Рурской области», «Контроль при выходе с завода» и многие другие отличаются внутренним динамизмом и политической остротой. Менее удачны репортажи вроде «Кто сеет насилие», не поднимающиеся над уровнем хроникальных газетных заметок.

Интересную и во многом успешную попытку создания криминального романа на производственном материале предпринял писатель Аугуст Кюн. Герой его романа «Эскимо» (1974), молодой служащий фирмы по производству мороженого Михаэль Эбнер, прилагает немало стараний, чтобы разоблачить темные махинации своих хозяев. Ему удается установить, что «эскимо», выброшенное на рынок этой фирмой, сделано отнюдь не из натуральных продуктов и представляет опасность для здоровья потребителей. Одновременно Эбнер организует борьбу рабочих за свои права, добиваясь создания производственного совета на предприятии. И хотя хозяева фирмы сумели расправиться с «возмутителем спокойствия», смерть Эбнера была не напрасной — она еще больше обострила ненависть рабочих к своим угнетателям, укрепила их боевую солидарность.

Названные нами книги — к числу их можно отнести и некоторые другие — свидетельствуют о несомненных успехах «Рабочего объединения — литература мира труда».

Нельзя, правда, не заметить, что у некоторых руководителей и участников объединения появилась тенденция монополизировать право изображения западногерманского рабочего класса, обособить литературу, создаваемую рабочими писателями, от всей остальной демократической литературы ФРГ. И опять хотелось бы вспомнить слова В. И. Ленина о том, что «необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки *«литературы для рабочих»*, а учились бы овладевать все больше и больше *общей литературой»* [1].

Будем надеяться, что «Рабочее объединение — литература мира труда» успешно преодолеет свои «болезни роста» и порадует читателей новыми талантливыми произведениями.

ВЛАДИМИР СТЕЖЕНСКИЙ

НАРОДНЫЙ РОМАН О ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ

Pierre Gamara. 72 Soleils. Paris, Les Editeurs Français Réunis, 1975.

«СВЕТЛЫЕ ГОЛОСА БРАТСТВА...»

Советским читателям давно знакомо имя Пьера Гамарра. Вот уже тридцать лет звучит его негромкое, убежденное слово, родившееся в годы Сопротивления. У истоков творчества писателя — наследие Виктора Гюго и Жорж Санд, мощное воздействие на Гамарра оказали Лев Толстой и особенно Максим Горький. «Горького читал с самых юных лет,— свидетельствует писатель.— В его романах меня потрясает не только исполненное пафосом жизнеописание всего современного ему общества, но и еще его стремление к переменам, его вера в грядущую победу... Мы находим в нем высочайшую способность великого писателя не только выразить внутренний пафос образа, но и полностью слиться с его живой и трепетной душой».

Слияние с живой и трепетной душой героев присуще и Пьеру Гамарра. Причем наследие Горького для него — не просто школа мастерства, а пример, идейная опора для решающего творческого самоопределения. Насыщенное романтикой народной борьбы против фашизма и против эксплуатации человека человеком, творчество Гамарра — поэта и прозаика — развивается в русле социалистического реализма. Во многих стихотворениях из книг «Эскиз проклятия» (1944), «Песня Арасской крепости» (1951), «Песнь любви» (1959) поэт гневно обличает ужасы войны, воспевает мужество антифашистов, призывает отстаивать мир. Как прозаик Гамарра обращается к разным темам и жанрам романа — социально-психологическому («Сады Аллаха», 1961), эпическому сказанию («Пиренейская рапсодия», 1963), детективу («Убийце—Гонкуровская премия», 1963), философско-фантастическому («Соло», 1964), остросюжетному («Шесть колонок на первую полосу», 1966),— но всегда с единой целью: пробудить у читателя социальную активность, сознание своей ответственности за судьбу человечества.

Творчество Гамарра своими корнями глубоко уходит в плодородную почву подлинной жизни и противостоит школе «нового романа», а также всем иным модернистским поветриям, оторванным от «земли людей» — этого неиссякаемого источника. О чем бы ни писал Гамарра, он стремится, чтобы в его книгах отразилась жизнь целой планеты и «зазвучали светлые голоса мира и братства»...

«Светлые голоса братства» трудящихся, восставших против старого мира, звучат и

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 39.

в новом романе художника «Семьдесят два солнечных дня» (1975), завершающем трилогию, две части которой уже давно вышли в свет — «Тулузские тайны» (1967), «Золото и кровь» (1971). В этой серии воссоздана атмосфера бесславной империи Наполеона III и героический эпос Парижской коммуны. Действие романа «Семьдесят два солнечных дня» сосредоточено в Париже. Время романическое совпадает с историческим — 4 сентября 1870 — 28 мая 1871 года. Это эпоха краха Второй империи и пора солнечных дней Коммуны.

Среди персонажей — исторические лица: императрица Евгения, Тьер, Фавр; коммунары — Делеклюз, Варлен, Верморель, Валлес, Домбровский и вымышленные герои — революционер Жак Берте, прозванный рабочими Жак-Солнце, его друг Эсташ, парижские гамены — Нестор и Теофиль, авантюристка баронесса де Фоблас, зловещий сыщик Верни, прусские агенты разного калибра.

«Семьдесят два солнечных дня» близки к народному роману Жорж Санд и Виктора Гюго с присущим этому жанру контрастным противопоставлением лагеря исторического добра различным воплощениям социального зла, острой интригой, чередованием массовых сцен с неожиданными поворотами в развитии индивидуальных судеб, романтической борьбы героической личности за новые условия жизни.

В книге воссоздан процесс роста политической активности народа, осознающего, что правительство Трошю действует, по сути дела, как правительство национальной измены. Сам ход событий выдвигает на арену истории таких народных вожаков, как Жак Берте. Он неустанно повторяет рабочим: «Объединяйтесь Один человек — ничего не может...» В Берте воплотилось движение истории от старого к новому миру, энергия созидания и борьбы за социальную справедливость. Он ненавидит поработителей народа; он великодушен, человеколюбив, самоотвержен.

Во всем облике Тьера, представителя противоположного лагеря, проступает агрессивное самодовольство политикана, который вообразил себя провиденциальной фигурой, будучи по существу ставленником испугавшейся революции узкой касты господ.

Глава «Тьер атакует» — одна из центральных в романе. В ней с документальной достоверностью и реалистической глубиной показаны коварство и жестокость врагов народа в борьбе за сохранение основанного на собственности строя. Образ Тьера в романе в своем классовом существе адекватен известной характеристике, данной ему Марксом: «Тьер был верен только ненасытной жажде богатства и ненависти к людям, создающим это богатство»[1]. В романе зримо воссоздан провал инспирированного Тьером «разбойничьего ночного похода»[2] линейных полков на Монмартр. Друзья Жака Берте вовремя подали тревогу: «Идут войска». Ударили в колокол, возвели баррикады, собрались батальоны национальной гвардии, женщины, рабочие — «всюду народ». Парижане отбили пушки, провозгласили Коммуну; наиболее прозорливые из революционеров — и среди них Жак Берте — предлагали сразу же идти на Версаль. Но возобладали осторожность, отсутствие опыта, переоценка сил противника.

Коммуна — первый опыт диктатуры пролетариата — мечтает, действует, спорит, сражается. Величие ее защитников и просчет ее руководителей воплощены в драматичнейшей главе «Измена в форте д'Исси»...

И вот уже версальцы вступили в Париж. Наступила «кровавая неделя». Повсюду расстреливали людей, молодых и стариков. Коммунары сопротивлялись. Жак Берте сражался на Пер-Лашез. Версальцы оцепили кладбище и вели прицельный огонь. «Жак вслушивался в щелканье пуль. Они дробили надгробие Бальзака, стелу Нерваля, нишу Нодье. Он думал, что даже у самых хищных животных нет такой жажды разбивать, разрушать, причинять страдание... И над этой безумной схваткой — белая голова... Бальзака, каменные глаза Нодье, колонна Нерваля...» Версальцы расстреляли у кладбищенской стены многих безоружных людей. И его настигла бы версальская пуля, если бы не Маргарет Фоблас, заслонившая его собой. Незнакомые люди помогли чуть передохнуть и переодеться Жаку... И вот он на последней баррикаде: «Дай мне ружье, гражданин...»

И вновь он думал о будущем: «Все, кто будет ходить по этим улицам, вспомнят ли они о тех, кто здесь пал. Нет ни одной улицы, ни одного квартала, не обагренного кровью... И однако, нужно, чтобы жизнь возродилась здесь, чтобы женщины пели и дети бегали по этим улицам...»

Ярко, увлекательно написанный и преисполненный светлой веры в завтрашний день, роман «Семьдесят два солнечных дня» был встречен французскими читателями с большим интересом. О том, что побудило Гамарра обратиться к эпохе Парижской коммуны и жанру народного романа, по просьбе редакции журнала рассказывает сам автор.

ВИКТОР БАЛАШОВ

ПОЗНАТЬ И ВОСКРЕСИТЬ ПРОШЛОЕ

Как романист я заинтересовался периодом Второй империи и Коммуны, потому что считаю эту эпоху ключевой для понимания нашей современной истории. Старый мир умирает в тот момент и рождается новый — наш мир После 1871 го — год 1917-й станет такой же ключевой датой, определившей лик нынешнего мира.

Этот новый мир, для которого характерно развитие промышленного капитализма, знаменателен также ростом пролетарского сознания, протеста против угнетения и экс-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин о Парижской коммуне. Москва, Политиздат, 1971, стр. 17.

[2] Там же, стр. 23.

плуатации трудящихся, веры в возможности союза и организации своих сил. Все мы по сути являемся детьми той эпохи.

С другой стороны, Коммуна — это исторический период, который у нас донельзя оклеветан и фальсифицирован. Только в самые последние годы появление целого ряда важных исторических работ таких историков, как Шури, Брюа, Сориа и других, позволило нам наконец лучше узнать подлинную Коммуну и самих коммунаров, чьи образы в глазах наших школьников и студентов были искажены издаваемыми у нас из года в год многочисленными учебниками.

Мне казалось, что как романист я могу способствовать познать это время, воскресить его и вдохнуть в него новую жизнь.

Конечно, когда я называю нас детьми Коммуны, это не означает, что я провожу параллели между тем временем и нашим. История никогда не повторяется. Но сколько уроков можно извлечь из событий, происходивших столетие назад, и на какие полезные размышления они нас наталкивают! Полезные именно сегодня: например, размышления о личной власти, о величии и в то же время слабостях рабочего союза.

Завоевания и конкретные свершения Коммуны, а также и ее ошибки позволяют нам более сознательно и глубоко оценивать события и людей сегодняшнего дня. Конечно, нужно соблюдать осторожность и внимание при сопоставлении прошлого с настоящим — поэтому так важно, так необходимо знать прошлое не хуже, чем настоящее.

И вот я решил посвятить целую серию романов периоду, начинающемуся приблизительно со Второй империи (I том) и завершающемуся Коммуной (III том). Исторические границы, которые должны были вместить мои книги, я определил заранее. Мне хотелось охватить историю как можно шире — я откровенно признаюсь в этом.

Я не историк, а всего лишь любитель истории. И работая над романами, я опирался на книги и труды настоящих историков. И задавал им множество вопросов. Особенно досталось Морису Шури, очень знающему исследователю, который не раз соглашался отвечать на мои вопросы — как общего, так и более частного характера. И я был просто счастлив, когда после выхода моего первого романа из задуманной серии свое удовлетворение мне выразил такой ученый, как Жан Брюа.

Повторяю, я не историк или, пожалуй, я из тех историков — во всяком случае, стараюсь таковым быть,— которых называют романистами. Случалось, я вызывал замешательство у ученых, задавая им неожиданные для них вопросы, над которыми сами они не задумывались в процессе своих изысканий.

К счастью, новые школы историков интересуются сегодня теми областями, которые традиционные исследователи своим вниманием не баловали. И зачастую это бывают именно те области, которые мечтает освоить и романист. Помимо знания исторической канвы, романист нуждается и в знании разного рода деталей. Для меня, например, было очень важно узнать, где находилась префектура полиции в эпоху Второй империи, где можно было приобрести униформу и за какую цену. Меня интересовало также, в какое время тогда завтракали и обедали, какие шли спектакли, как выглядели витрины лавочек и т. д.

Романисту, который стремится воссоздать какой-либо исторический период, необходимы эти мелкие детали повседневного быта, касающиеся еды, костюмов, городского и сельского уклада, средств передвижения, разговорной речи, привычек... Но для писателя существенно не только знать, с кринолином или без оного носили в те времена платья — еще важнее для него проникнуть в психологию и умонастроения людей той эпохи.

Историк прошлого не вникал во все эти тонкости. Он набрасывал историю более общими штрихами. Когда он описывал взятие Бастилии, он говорил об экономическом и социальном положении Франции и Парижа, он рассказывал, как устремился народ к древней и ненавистной крепости, и ему было не до «холодного» сапожника, который сидел себе спокойно в боковой улочке, набив рот гвоздями,— невольный свидетель исторического события. А романисту порой хочется знать, о чем думал этот никем не замеченный, совершенно безвестный сапожник...

Историк не может знать всего и не описывает всего. Иногда просто не хватает источников, чтобы почерпнуть нужные сведения. И право романиста самому обобщать и выдумывать. Выдумывать — как можно правдоподобнее, опираясь на уже хорошо известную и изученную почву. Романист должен отправляться в незнаемое, не забывая в то же время о своей ответственности — придумывать только возможное. В этом трудность его задачи, но в этом, быть может, и ее величие.

Бывает, что сочинение романиста получается необыкновенно увлекательным, не совсем при этом соответствуя исторической правде. Не случай ли это нашего великого Дюма, который учил нас истории совершенно по-своему?

Должен сознаться, что и мне приходилось много выдумывать, но все-таки я старался оставаться верным тем сведениям, которые почерпнул из книг уже упомянутых историков, которые мне во многом помогли своими знаниями, хотя я и часто спорил с ними.

Меня самого занимает вопрос: нужно ли различать труд романиста-историка и труд романиста вообще? Обычно писатель опирается прежде всего на то, что он знает, на окружающую его реальность. А затем в какой-то момент он вынужден прибегнуть к вымыслу и писать о том, что считает возможным, или о том, что подметил со свойственной ему проницательностью. Конечно, на первый взгляд, писателю 1976 года легче создать образы персонажей 1976 года, чем 1871-го... Но не уверен, что это так. Во всяком случае, если он допустит какую-ни-

будь ошибку, современники очень быстро уличат его в ней...

Приступая к работе, я опасался, что буду чересчур скован строгими рамками исторической действительности, и поэтому решил обратиться к старинному и в прошлом очень популярному жанру романа-фельетона, народному роману, что был так распространен в конце XIX и начале XX века, но сегодня почти забыт (не считая телевидения, хотя это уже другой вопрос, по которому можно поспорить.)

Конечно, правы те, кто высмеивает некоторые из романов этого жанра: однолинейность их персонажей, обилие стереотипов, поспешность и небрежность стиля, грубоватость и упрощенность структуры, схематизм. Но, вступая на этот путь, я решил взять на вооружение в первую очередь не просчеты, а достоинства народного романа. А он обладает такими достоинствами — динамичностью, экспрессией, увлекательностью, присутствием тайны, загадки, благородством героев, защитников слабых и обиженных, широкой доступностью и читабельностью.

Я говорю о том, каков был мой замысел, читателю же судить, удалось ли мне его осуществить. Мне хотелось, чтобы на фоне исторического контекста, как можно более точного и правдивого, мои герои, не схематичные, а живые и полнокровные, действовали и участвовали в событиях и приключениях, быстро следующих друг за другом. И меня не пугало, что я пишу роман в жанре, не только вышедшем из моды, но и даже отвергнутом.

Не скрою, что очень доволен тем теплым приемом, который оказали широкие круги читателей трем моим романам. Это не означает, что я во всем прав. Однако мне кажется, что современный опыт освоения обширной исторической материи с помощью средств, которыми обладает романист, возможен. И я верю в возрождение народного романа.

ПЬЕР ГАМАРРА

г. Париж

В ПОИСКАХ ДЖОНА БУЛЯ

J. B. Priestley. The English. London, Penguin books, 1975.

Джон Буль — типичный англичанин — уже сотни лет остается загадкой для всех иностранных наблюдателей: английские обычаи и нравы своеобразны и не всегда понятны чужим. О молчаливости англичанина, его хладнокровии, о странностях его шуток ходят анекдоты. Мнения разделились: одни подтверждают расхожие анекдоты, другие их решительно опровергают. Кто же прав? Каков Джон Буль в реальной жизни? На эту тему написано немало, и об этом продолжают писать. Идут поиски реального Джона Буля.

Известный английский писатель и драматург Джон Бойнтон Пристли решил принять участие в этих поисках. В публицистической книге под трудно переводимым заглавием — которое может означать и «англичане» и «английское» — он пытается обрисовать английский национальный характер. К попыткам разгадать национальный характер своего народа, дух его культуры Пристли не раз обращался и в некоторых прежних своих работах.

Естественно, что книга маститого писателя — в начале сентября 1973 года, когда вышло ее первое издание, ему исполнилось 79 лет — была встречена с большим интересом и менее чем через два года вышло ее новое, на этот раз массовое издание.

Интерес к книге оправдывается ее замыслом. Автор ставит своей задачей ни много ни мало — понять, по его словам, «английскость англичанина», раскрыть «английский секрет» (первая глава, в которой автор делится своими общими выводами, так и называется «Английский секрет»).

Книга Пристли написана в форме ярких, живых и непринужденных очерков в свойственной ему несколько насмешливой и сатирической манере. Блестящий стилист, признанный мастер английской прозы Пристли умеет одной фразой, метким сравнением, намеком выразить самую сложную мысль. В книге имеются интересные догадки, и даже там, где автор не убеждает, он наводит на размышления. И это особенно относится к главам, посвященным английскому искусству и юмору. Примером удачи может служить очень тонкая характеристика Вордсворта.

Рисуя различные стороны духовной культуры Англии прошлого и настоящего, создавая портреты видных деятелей, типичных, по его мнению, представителей своего народа и выдающихся английских женщин, автор стремится показать, как в них проявляется специфика национального характера. Свою главную задачу писатель видит в том, чтобы опровергнуть и рассеять представления об англичанах, которые он считает предрассудками.

В целом книга Пристли, в которой есть много очень точных наблюдений,— нечто вроде путеводителя по истории английской культуры. Но путеводитель этот порой слишком субъективен и носит черты личных симпатий и антипатий автора. Рецензент газеты «Таймс» несколько ядовито назвал книгу Пристли «конным галопом по прошлому Англии». Автор спешивается, пишет рецензент, только для того, чтобы «примерами доказать свою теорию».

Секрет английского национального характера, по словам Пристли, заключается в том, что англичанин — существо иррациональное. Мнение об англичанах как народе практическом, рассудительном и трезвом он категорически отвергает: «В английской психологии барьер, отделяющий сферу сознательного от сферы бессознательного, не постоянен, не высок и не прочен... так что

сознательное и бессознательное часто переходят одно в другое... Англичанин полагается на инстинкт и интуицию больше, чем другие западные европейцы». Поведение англичанина «формируется и окрашивается не рациональной мыслью, а инстинктивным чувством». В этом видит Пристли и специфику английского искусства.

Откуда взялось мнение о практичности и рассудительности англичан? Дело в том, уверяет автор, что однажды в своей истории — в «век разума», то есть в XVIII веке,— англичанин действительно захотел стать рациональным. «Поверив в то, что он живет в мире, похожем на часовой механизм, заведенный божественной силой и далее предоставленный самому себе, образованный англичанин попытался стать спокойным, холодным, вполне разумным, подобным гражданину Рима в его великую эпоху, человеком, которому выпала доля вновь владеть миром». Однако этот период длился недолго: в конце концов бессознательное, иррациональное в его природе взяло верх. Признаемся: эти «открытия» Пристли звучат крайне неубедительно. Можно ли сказать так о целом народе? И если вдруг англичане решили стать рациональными, то отчего могло появиться такое стремление? Случайность? На это Пристли не дает ответа. Кроме того, в ряде мест книги он, противореча себе, признает в английском характере черты рациональности, когда, например, говорит, что в Англии «сравнительно мало фанатиков, экстремистов и свихнувшихся правоверных».

В числе национальных черт английского характера Пристли называет также «врожденное классовое чувство». Впрочем, вскоре оказывается, что под этим автор понимает как раз отсутствие классового чувства, а именно уважение англичанина к закону и аристократии. Оно, по мнению автора, играло важную роль в истории страны, спасая ее от революции. А опасность эта возникала, говорит он, и неоднократно. Особенно опасным был конец XVIII века, когда нищета и бедствия масс стали невыносимыми, а политика аристократических властей провоцировала их на восстание. Однако и на этот раз характер народа спас страну. Дело в том, пишет Пристли, что за всеми политическими спорами и конфликтами в Англии «всегда остается, ожидая подходящего момента, терпимая, всегда мягкая рассудительность, исходящая из принципа: живи сам и жить давай другим!»

Утверждение Пристли о какой-то особенной «законопослушности» англичан, их почти врожденном уважении к аристократии не может не вызвать протеста. Против него свидетельствует вся история этой страны — и бурная революция середины XVII века, и многочисленные, подавленные силой выступления народных низов в последующие века. Не является это утверждение и новым: на протяжении десятилетий его повторяли историки вигской школы. Эту концепцию, давно опровергнутую, ныне решаются повторять даже не все консервативные историки.

Как уже говорилось, в книге немало противоречий. Бросается в глаза и непоследовательность автора в оценке свидетельств иностранцев об Англии и англичанах. В начале книги он их резко критикует, заявляя, что чтение их не оправдывает затраченных усилий: «Впечатления эти путанны и редко обнаруживают проницательность». Однако из текста книги мы легко можем убедиться, что автор сплошь и рядом опирается именно на свидетельства иностранцев, которых так осуждает. В книге повсюду фигурируют отзывы об англичанах, принадлежащие французам, американцам, испанцам. Однако только положительные. Очевидно, критика автора относится лишь к отрицательным высказываниям.

Столь же субъективен Пристли в своем отборе портретов типичных англичан, «англичан до мозга костей». В его списке за пять веков такие лица, как придворный авантюрист XVI века У. Рэли, чиновник XVII века С. Пепис, литератор XVIII века С. Джонсон, писатель первой половины XIX века Ч. Лэм, ученый М. Фарадей, исследователь Африки Р. Бертон и чемпион по игре в крикет Ч. Фрей... В то же время из этого списка Пристли исключил Питта-старшего, Дж. Чемберлена, Г. Асквита и У. Черчилля — по той причине, что он был якобы «наполовину американцем».

Автор отдает себе отчет в своей предвзятости и отсутствии объективности. «Я не сомневаюсь,— пишет он,— что в тексте этой книги есть предубеждения и непоследовательность. Но ведь я англичанин и пишу об англичанах, которые на протяжении веков были в плену предубеждений и всегда были смутно противоречивы». Рецензируя книгу Пристли на страницах газеты «Морнинг стар», А. Л. Мортон заметил, что Пристли «бродит по нашему прошлому и настоящему, давая выход своим предубеждениям». В этом же роде высказался и рецензент журнала «Нью стейтсмен», который заявил, что в сущности на страницах книги «под различными псевдонимами выступает сам Пристли».

Автор, конечно, и не собирался давать объективный, научный анализ английского национального характера. Более того, он вообще принципиально отвергает научный подход к изучению этого вопроса, высокомерно заявляя, что идти таким путем — значит «бродить по мелкой стороне вопроса». Он предпочитает иной раз путь, по его словам, более сложный и смелый, хотя и рискованный, а именно — прямое наблюдение и догадку, опирающуюся на интуицию: «Он мне кажется более привлекательным, и таким же, я думаю, он явится и для читателя».

Выбор метода — дело личное. Но автор ошибается, когда резко противопоставляет метод научного познания и путь, которым идет искусство: и наука, и искусство познают реальную действительность, хотя и разными путями. Поэтому они не противостоят, а дополняют друг друга.

Книга Пристли принадлежит к традиционному литературному жанру: попытки понять характер других народов и обрисовать его

восходят в Европе к Геродоту. В богатой литературе, посвященной характеристике отдельных народов, имеются глубокие и подчас справедливые догадки. Но в работах авторов, которые опирались только на одну интуицию, встречается много ошибок, классовых и национальных предрассудков. Подобные книги далеко не всегда помогают народам понять друг друга, а порою могут даже углубить непонимание.

Такой субъективный, импрессионистический характер носит и книга Пристли, который также надеется на одну интуицию. Набросок английского характера, сделанный им ярко и эмоционально, очень любопытен, оригинален и опровергает многие ходячие стереотипы. И все-таки книга не дает нам ключа к пониманию английского национального характера: писатель нарисовал не подлинного Джона Буля, а выразил лишь свои собственные представления о нем.

НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВ

ЭТА ГОРЬКАЯ ПРАВДА АФРИКИ

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ НГУГИ ВА ТХИОНГО

Ngugi Wa Thiongó. Secret Lives. London — Nairobi — Ibadan — Lusaka, Heinemann, 1975.

Книга называется «Неприметные судьбы». В ней собраны рассказы известного кенийского писателя Нгуги Ва Тхионго, опубликованные за двенадцать лет, начиная с 1960 года, в различных африканских периодических изданиях. Ко времени ее выхода Нгуги уже проделал большой творческий путь: выпустил три романа, пьесу, сборник литературно-критических и публицистических работ по проблемам африканской культуры. Имя его очень популярно в Кении и во всей Африке, оно стоит рядом с именами таких маститых романистов, поэтов, драматургов, как Чинуа Ачебе, Питер Абрахамс, Алекс Ла Гума, Воле Шойинка. Знают этого писателя и в Советском Союзе. На русский язык переведены два его романа — «Не плачь, дитя» и «Пшеничное зерно», несколько рассказов, а также ряд статей — исследований об африканской культуре.

По определению самого автора, новая книга представляет собой в некотором смысле его творческую биографию. «Цель моя,— отмечает он в предисловии,— заключалась в том, чтобы попытаться познать самого себя и свое место в обществе и в истории. Сочиняя свои рассказы, я вспоминал ссоры в доме отца; вспоминал мать, трудившуюся на земле, чтобы прокормить нас, одеть и дать хоть какое-нибудь образование; вспоминал старшего брата, скрывавшегося в лесах от преследований колониальной полиции и наставлявшего меня в своих письмах продолжать учиться, чего бы это ни стоило; вспоминал двоюродного брата, едва избежавшего виселицы после того, как его поймали с боевыми патронами в сумке; вспоминал и других жителей деревни, убитых за то, что они дали клятву верности своему народу; вспоминал замечательно мужественных мужчин и женщин Кении, не испугавшихся могущества и беспощадного террора британского империализма. Вспоминал я и тех родственников и односельчан, которые стали оруженосцами белого человека и помогали ему свершать его кровавые дела».

Открывается сборник рассказом «Мугумо» — самым ранним прозаическим произведением молодого автора, бывшего тогда студентом второго курса Макарере — колледжа в Уганде. Рассказ, очень лиричный по настроению, исполнен горячего сочувствия к молодой деревенской женщине, презираемой всеми за бездетность. Не выдержав побоев и оскорблений мужа, Муками — так звали героиню рассказа — бежит в лес, чтобы никогда больше не попадаться на глаза людям. Ночью в чащобе ее застает гроза. При вспышке молнии она видит вдали священное дерево мугумо, служащее местом жертвоприношений всевидящему богу Мугунгу. «Вот где мое убежище!» — с надеждой думает она и устремляется вперед. Достигнув заветной цели, оборванная, измученная, падает она на землю и засыпает под сенью густой листвы. Ей снится, будто судьба подарила ей ребенка, над нею склонился муж и ласково гладит по голове... Настало утро, и Муками очнулась. Тучи рассеялись, засияло солнце, женщину охватило предчувствие чего-то радостного. В тот же миг она ощутила у себя под сердцем биение жизни. Значит, у нее все-таки будет ребенок! Счастливая, гордая, Муками возвращается домой.

Незамысловаты по содержанию и два других ранних рассказа Нгуги на ту же тему, но они подкупают искренностью чувств автора и его героинь. В них женщина предстает перед читателем не только как жертва деревенских предрассудков, но и как олицетворение благородства и доброты.

В более поздних рассказах, выделенных в раздел под названием «Борцы и мученики», уже не ощущается тяготения писателя к мифологическим образам, религиозной символике; напротив, Нгуги показывает себя художником-реалистом, исследующим человека в процессе его борьбы (нередко, увы, борьбы неравной) с несправедливостью. Выросши в деревне и получив воспитание в миссионерской школе, Нгуги хорошо усвоил, в каком непримиримом конфликте находятся племенные традиции и религиозные верования его народа с христианской моралью, насаждаемой миссионерами,— конфликте, часто завершающемся трагической развязкой. Но писатель далек от преклонения перед древними обычаями своих предков. Противопоставление традиционной Африки христианской идеологии необходимо ему, чтобы доказать несовместимость этой идеологии с насущными задачами национально-освободительной борьбы.

В рассказе «Ночное свидание» юноша Джон — сын сельского христианского свя-

щенника — тайно встречается с девушкой по имени Вамуху, воспитанной по обычаям племени. Тайно, потому что Джон смертельно боится своего отца-изувера. Он знает: отец, выслуживающийся перед белым миссионером, ни за что не согласится на его брак с дочерью «язычника». Тем более что Джон скоро должен уезжать в Уганду, где его зачислили студентом колледжа. Зачем портить себе будущую карьеру неравным браком? И Джон решает порвать со своей подружкой. Но за несколько дней до его предполагаемого отъезда Вамуху объявляет, что ждет ребенка — его ребенка. Парень потрясен этим известием и пробует уговорить девушку отказаться от мысли о браке, сказать родителям, что забеременела не от него, а от кого-нибудь другого. Но Вамуху не соглашается. Джон предлагает ей деньги — двести, триста, пятьсот, тысячу, десять тысяч, сорок тысяч шиллингов... Девушка смотрит на него как на безумного — да он и в самом деле обезумел — и отрицательно качает головой. В исступленном отчаянии сын священника хватает ее за горло и убивает.

А вот шуточный рассказ «Сельский священник»: новоиспеченный честолюбивый пастор Джошуа в полной растерянности от того, что его молитвы не помогают спасти деревню от засухи. Крестьяне, убедившись в бессилии христианского бога, обратились за помощью к колдуну. Тот не преминул воспользоваться случаем продемонстрировать свое превосходство над конкурентом и, получив востребованную им «жертву» (черного барана), обещал дождь. И дождь действительно вскоре пошел. «Что же это за всемогущий христианский бог,— с горечью подумал Джошуа,— если он не сумел сделать того, что сумел колдун». Удрученный, разуверившийся в новой религии, пастор глубокой ночью отправился в лес, к священному дереву мугумо просить прощения у африканского бога Агикуйи. Но едва он произнес первые слова заклинания, как услышал из-за дерева злорадный смешок следившего за ним колдуна. Окончательно униженный, Джошуа кинулся вон из леса. А дома его поджидал миссионер Ливингстон. Дружески улыбаясь, он выслушал покаянную речь пастора и стал учить его, как теперь вести себя с крестьянами, чтобы вернуть их доверие. Цепкие же руки у белого миссионера!

В 1971 году Нгуги вернулся из поездки в США, где он в течение года читал лекции об африканской литературе. Шел седьмой год с того дня, как Кения провозгласила свою независимость. Но обрела ли она полную свободу? Этот вопрос не давал писателю покоя. Лучшие кенийские земли сохраняли за собой английские плантаторы, ключевые посты в экономике также занимали иностранцы, черные же, африканцы, попрежнему оставались бесправными, лишенными возможности учиться и участвовать в управлении государством. Разумеется, не все коренные жители страны находились в таком положении. Появились и стали набирать силу «счастливчики» из местной буржуазной «элиты», заимствовавшие у своих бывших европейских хозяев изощренные методы эксплуатации.

Бродя по родной деревне, по городским окраинам, вглядываясь в усталые, растерянные лица соотечественников, вслушиваясь в их разговоры, писатель приходит к печальной мысли: до полной свободы еще далеко.

«Я посещал места, где люди старались утопить в вине память о дне минувшем и страх перед днем завтрашним,— вспоминает Нгуги.— Заходил в бары Лимуру, где пил, распевал песни, танцевал, стараясь ничего не видеть и все забыть». Один знакомый рассказал ему историю официантки бара, которую арестовали за кражу денег у ее ночного клиента — пожилого торговца. Рассказчик особенно упирал на подробности этой «неумелой, непрофессиональной» кражи, внимание же писателя привлекло другое: похитив деньги, женщина не скрылась, а, накупив нарядов и украшений, пришла в тот самый бар, где прежде работала и откуда ее выгнал развратный деспот-хозяин; все время, пока за ней не пришла полиция, она восседала — шикарно разодетая, элегантная — за стойкой и с гордым и независимым видом красовалась на виду у богатых посетителей. В эти минуты она чувствовала себя (возможно, впервые в жизни) человеком.

История эта вдохновила Нгуги на написание рассказа «Миг торжества»; за ним последовали два самых значительных, на мой взгляд, произведения из включенных в сборник: «Венчание на кресте»[1] (история морального падения африканского дельца, достигшего богатства ценою измены народу в период борьбы за независимость) и «Погребальный «мерседес». Они создавались под впечатлением увиденного и пережитого автором после возвращения на родину.

«Шестидесятые годы были годами великих надежд,— говорит Нгуги устами персонажа, от лица которого ведется повествование в рассказе «Погребальный «мерседес».— Мечты, точно аромат цветов, разносились ветром по городам и селениям Кении и наполняли души людей предвкушением счастья. После того, как пролито столько крови... столько крови! И вот теперь, наконец, народ получил право на собственную черную власть и может избрать лучших своих сыновей».

Мечтал и Вахинья—грузчик оптовой фирмы «Шукла и Шукла». Сгибаясь под тяжестью мешков с кукурузной мукой, он думал: «Ничего, поживем и мы. И на моем поле зазеленеют всходы гороха и фасоли, и мои дети будут весело гоняться по лугу за бабочками и пчелками собирающими нектар». От этих мыслей он испытывал необычайный прилив сил. Глаза его сияли, он чувствовал себя великаном, способным свернуть горы.

Однако время шло, а положение Вахиньи не менялось. Учиться и получить профессию он не смог, на это нужны деньги. Воз-

[1] Опубликован на русском языке в журнале «Огонек» в 1973 г. и затем — в сборнике рассказов, выпущенном издательством «Художественная литература» в 1974 г.

вращаться в деревню тоже не было смысла — там голод и безземелье. Задавленный нищетой, разочарованный в жизни, он запил, потерял работу и в конце концов погиб.

Но эта грустная история имеет продолжение: один местный воротила и член парламента по имени Джон Джо Джеймс, узнав случайно о смерти своего бывшего служащего (одно время Вахинья работал у него в автобусном парке кондуктором, но был уволен), решил сделать широкий жест и устроить за свой счет пышные похороны. В это время в стране проходила очередная кампания по выборам в парламент, и Джеймс, вновь выдвинувший свою кандидатуру, счел полезным для себя продемонстрировать перед избирателями свою щедрость (вот, мол, как я забочусь о моих бывших служащих!).

Когда приготовления к похоронам закончились и у дома покойного собралась большая толпа любопытных, Джеймс объявил тоном благодетеля: «При жизни брат Вахинья говаривал, что хотел бы умереть в «мерседесе». Таково было его последнее желание. Так исполним же волю покойного!» С этими словами он подошел к какому-то странному на вид сооружению и торжественно сдернул с него покрывало... К изумлению и неодобрению публики, сооружение оказалось не гробом, а моделью роскошного автомобиля — точной копией «мерседес-бенца» в натуральную величину.

Эффект от этого спектакля оказался обратным тому, на который рассчитывал политикан. Его затея провалилась — вдова Вахиньи отказалась участвовать в дурацком фарсе и похоронила мужа достойно — в простом гробу и без всякой помпы.

Чем же кончилась эта история? Скандал с «погребальным «мерседесом» замяли. Джон Джо Джеймс победил-таки на парламентских выборах. Ходили слухи, что тут не обошлось без мошенничества, но кто может это доказать?

Рассказы «Погребальный «мерседес» и «Венчание на кресте», которые автор без труда, по-моему, мог бы развернуть в романы или повести,— существенный шаг в развитии новеллистики Нгуги. Новая книга писателя и его творчество в целом подтверждают, что африканская интеллигенция, живущая в условиях сохранившегося буржуазного общества, все больше «отрешается от иллюзий» и ищет не идеализированную, мифическую Африку, а путь к справедливому решению реально существующих социальных проблем.

КОНСТАНТИН ЧУГУНОВ

«НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ»

Christian Barnard (in collaboration with Siegfried Stander). The Unwanted. Cape Town, Tafelberg, 1974.

Эту книгу под названием «Нежелательные элементы» написал хирург с мировым именем, а теперь еще и писатель Кристиан Барнард из Южно-Африканской Республики.

Любой вид профессиональной человеческой деятельности способен послужить трамплином в литературу. В этом легко убедиться, раскрыв наугад литературную энциклопедию. В наши дни, когда читательские вкусы все более склоняются к документально-художественному жанру, «профессиональность» писателя в одной из сфер практической деятельности очень важна. Однако обращение профессионального врача к перу отнюдь не является прерогативой современности, оно старо, как сама литература.

И в этом нет ничего удивительного. Врачу совершенно естественно открываются тайники человеческой жизни, проникнуть в которые стремится литература. Медицинское образование получили многие писатели. Земским врачом был Чехов. Корабельным врачом служил Кронин. Медиком был Конан-Дойль, хотя, быть может, его не слишком догадливый, но симпатичный доктор Ватсон не свидетельствует об очень уж большом уважении к нему писателя.

Собирались стать врачами великие китайцы Сунь Ят-сен и Лу Синь. И оба увидели, что общество поражено недугом, справиться с которым медицина бессильна. Сунь Ят-сен стал одним из основателей революционной партии. Лу Синь посвятил себя созданию новой литературы. Даже если бы Лу Синь стал выдающимся психиатром, он, наверное, не излечил бы стольких страждущих, как он это сделал «Подлинной историей А-Кью» и «Записками сумасшедшего».

Быть может, нет ничего более трагичного, чем это бессилие медицины в обществе, враждебном человеку. «Ко мне приходит прачка с экземою рук, ломовой извозчик с грыжей, прядильщик с чахоткою; я назначаю им мази, пелоты и порошки — и неверным голосом, сам стыдясь комедии, которую разыгрываю, говорю им, что главное условие для выздоровления — это то, чтобы прачка не мочила рук, ломовой извозчик не поднимал тяжестей, а прядильщик избегал пыльных помещений... В такие минуты меня охватывает стыд за себя и за ту науку, которой я служу, за ту мелкость и убогость, с какой она осуждена проявлять себя в жизни» (Вересаев). В подобном обществе затруднены и научные исследования, которыми когда-то воспользуется врач-практик. Тот же Вересаев рассказывает, какое сопротивление вызвали опыты с вивисекцией в Англии, где в августе 1876 года был принят билль «о жестокости к животным». «Дата знаменательная,— пишет Вересаев,— как раз в это время в Болгарии свирепствовали турки, посщряемые дружественным вмешательством Англии. Неужели пытаемые в лабораториях лягушки были английским депутатам ближе и дороже, чем болгарские девушки и дети, насилуемые и избиваемые башибузуками?.. В сентябре 1899 года англичане шиканием и криками

зажимали на митинге рот Джону Морлею, протестовавшему против разбойничьего отношения Англии к Трансваалю».

Так неожиданно русский врач и писатель переносит нас в страну, где происходит действие рецензируемой книги.

Много воды утекло с тех пор. Медицинской науке не препятствуют больше предрассудки, связанные с невежеством, но медицинской практике сравнительно не так уж редко препятствуют предрассудки, связанные с политическими убеждениями, расизмом и своекорыстием. В бывшем Трансваале, то есть нынешней Южно-Африканской Республике, действуют оборудованные по последнему слову техники больницы, а наука дала миру автора этого романа — пионера пересадки сердца. Однако в стране буров, на стороне которых в 1899 году были симпатии всего мира, возникло государство, где расизм не только возведен в ранг официальной политики, но и является по существу главным принципом государственности.

...Герой романа Барнарда — Деон ван дер Риет, специалист в области сердечной хирургии — честный человек, который не может не задумываться над вопиющим контрастом между достижениями науки и техники и условиями, сложившимися в ЮАР. Эти условия, разумеется, не минуют клинику, где он работает.

Цветным врачам не разрешается лечить больных; цветные студенты должны покинуть аудиторию, когда демонстрируется белый больной. Цветную девочку после операции на сердце Деону удается положить в реанимационную палату, где лежит белый ребенок, только пригрозив директору своей отставкой. А белый ребенок — дочь Жуберта, члена парламента от правящей Националистической партии, оголтелого расиста, заслужившего кличку «кейптаунского льва».

В гостях у Деона допоздна засиделся его друг, цветной врач и ученый. Приходится вызвать такси. Но Деон совершил оплошность: он не предупредил диспетчера, что заказывает такси для цветного. Машина разворачивается и уезжает.

В такой ситуации врач и ученый, ищущий новые пути в науке, мечтающий совершить переход «от хирургии разрушительной — к созидающей», вынужден каждодневно задумываться над проблемами, далекими, на первый взгляд, от профессиональных. Но только на первый взгляд. Путь героя книги к пониманию нерасторжимости профессионального и общественного долга, к осознанию своей гражданской ответственности и составляет существо романа.

Деон в ужасе, когда «скорая помощь» привозит подвергшуюся насилию восемнадцатимесячную цветную девочку. «Если бы ты вырос в VI округе (локация для цветного населения Кейптауна.— *А. Х.*), тебя бы это так не поразило. Да это и не было бы худшим из того, что ты бы там увидел»,— говорит ему Филип Дэвидс, цветной врач, ученый-генетик. Со временем приходит понимание того, что «медицина — не что иное, как продолжение жизни. А жизнь — это мрак. Мы блуждаем в потемках. И самое большее, на что можем рассчитывать, это чиркнуть спичкой в темноте. ...Медицина станет точной и совершенной наукой только тогда, когда станет совершенной жизнь». Как тут снова не вспомнить Вересаева, заключительные слова его «Записок врача», где он на три четверти века раньше Барнарда говорит: «Да, выход в другом. Этот единственный выход — в сознании, что мы (врачи.— *А. Х.*) лишь небольшая часть одного громадного неразъединимого целого, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех».

Друг Деона профессор Дэвидс, ученый с мировым именем, подвергается ожесточенному преследованию властей за свои опыты в области генетики над субстанцией, взятой у белой женщины. Кампания в печати и в расистских медицинских кругах вызывает в памяти картины средневекового мракобесия, возможные в XX веке только в условиях фашистского варварства.

При фашистском режиме в ЮАР от человека требуется незаурядное мужество даже для того, чтобы оставаться честным. В таких условиях честность поднимается подчас до уровня подвига. Подвига, подобного тому, что совершил польский детский врач и писатель Януш Корчак, добровольно разделивший участь детей в фашистском лагере смерти.

Решение дается Деону нелегко. «Стоит ли вмешиваться? — рассуждает он.— Стоит ли делать из себя мученика? Мученичество — легкий выход, в данном случае граничащий с позой». И все же он должен вмешаться. «Жаль, что вы впутываете в это политику»,— упрекает его расист Жуберт, которому выгодно представить гражданскую позицию ученого как блажь, как непозволительную прихоть. Но Деон понимает это по-другому: «Я — врач, и этим все сказано». То есть врач,— значит, человек и гражданин.

«Я никогда не занимался политикой, я всего лишь выражал свои взгляды, на что имею полное право гражданина. Но именно этого мне и не простили,— говорит уже не герой романа, а сам Кристиан Барнард в интервью парижскому журналу «Пуэн».— Сделав впервые операцию пересадки сердца человеку... я неожиданно вывел ЮАР на первое место в мире в области сердечной хирургии. В несколько дней меня превратили в национального героя... А потом вдруг выяснилось, что «герой» в действительности совсем не такой, каким его хотели бы видеть». И герой в жизни, и герой в литературе близки к тому, чтобы удостоиться предусмотренного уголовным кодексом ЮАР титула «нежелательных элементов».

Кристиан Барнард — сам по национальности бур. Личный пример писателя и его роман, а также стихи брошенного недавно в тюремный застенок поэта Брейтона Брейтенбаха и повесть «В родную страну» Карла Схумана (оба они также буры) свидетельствуют о существовании в бурском обществе здоровых демократических сил, которые рано или поздно восторжествуют в ЮАР.

АЛЕКСЕЙ ХАМАДАН

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

«МОЯ БЕДНАЯ СТРАНА»

Так называется новый роман известного австралийского писателя Ксавье Герберта, вышедший в издательстве «Коллинз Острэлкан». Рецензент литературоведческого журнала «Минэйджин куотерли» Г. П. Хезлтайн считает это произведение большой удачей писателя.

Ксавье Герберт не сразу пришел в литературу. Свой первый роман он опубликовал лишь в возрасте тридцати шести лет. Этот роман — «Страна носорогов» — был удостоен Золотой медали Австралийского литературного общества. За последующие тридцать лет Ксавье Герберт опубликовал еще два романа и сборник рассказов.

Действие романа происходит в Северной Австралии и охватывает период в 50 лет — с 1900 по 1950 г. По словам рецензента «Минэйджин куотерли», новое произведение Ксавье Герберта «дает представление о полувековом периоде социальной, экономической и политической истории Австралии. Едва ли хоть одно значительное событие из происходивших в это время в стране,— продолжает критик, — ускользнуло от внимания автора».

Г. П. Хезлтайн пишет о «духе австралийской земли», который пронизывает роман Ксавье Герберта. Автор прекрасно знает реалии жизни австралийцев, с большим уважением относится к наследию культуры аборигенов. «Ни один белый еще не писал о феномене австралийской земли так страстно, так прочувствованно»,— отмечает рецензент.

Австралийские критики воспринимают новое произведение Ксавье Герберта как обвинительный акт против «цивилизации белого человека», которая вытеснила коренных жителей страны, уничтожила их своеобразную и неповторимую культуру.

АНГЛИЯ

НОВАЯ ПЬЕСА ЭДВАРДА БОНДА

В центре внимания театральных критиков Великобритании — последняя пьеса известного английского

Том Куртни в роли Джона Клэра, Бриджит Тернер в роли Патти, Найджил Терри в роли Дарка в пьесе Эдварда Бонда «Дурак».

(Журнал «Лиснер»)

драматурга Эдварда Бонда «Дурак», поставленная в театре «Роял корт».

Поэт и общество, поэт и насилие, поэт и ответственность перед людьми — вот основные вопросы его новой пьесы.

Действие происходит в период «огораживания» в Англии, когда крупные землевладельцы урезали у крестьян землю и забирали ее под пастбища, когда менялся привычный уклад жизни; крестьяне бежали в город, рушились семьи. Нарождалось капиталистическое общество. Как пишет критик, это было время, когда «беззаконие, коррупция, насилие стали всеобщими, когда люди перестали понимать, кто же виноват в их бедах», и история Джона Клэра, главного героя пьесы, наглядно это иллюстрирует.

Джон Клэр — крестьянский поэт.

Местные жители и землевладельцы считают его блаженным. Он ненавидит жестокость, насилие, но он не хочет быть втянутым в классовую борьбу, его дело — «сторона», он не будет вмешиваться. Он бежит в Лондон, но тоска по родным местам гонит его назад, к дому, жене, первой возлюбленной — Мэри. Однако и здесь он чувствует себя потерянным, выброшенным из жизни, раздавленным. Он слишком горд, чтобы жить на подачки, и слишком пассивен и нерешителен, чтобы примкнуть к восставшим крестьянам, которых возглавляет Мэри — олицетворение независимости и свободолюбия, духовный антагонист Джона Клэра в пьесе, на стороне которой, как замечает критик, симпатии Э. Бонда.

Драматург показывает трагичность судьбы своего героя. Внутренняя борьба, боязнь действия, разъедающая рефлексия, тяготы жизни доводят Клэра до безумия. Местный помещик отправляет Клэра в сумасшедший дом. Там, в молчании, он, поэт, проводит 23 года. Таков конец человека, который выбрал позицию стороннего наблюдателя.

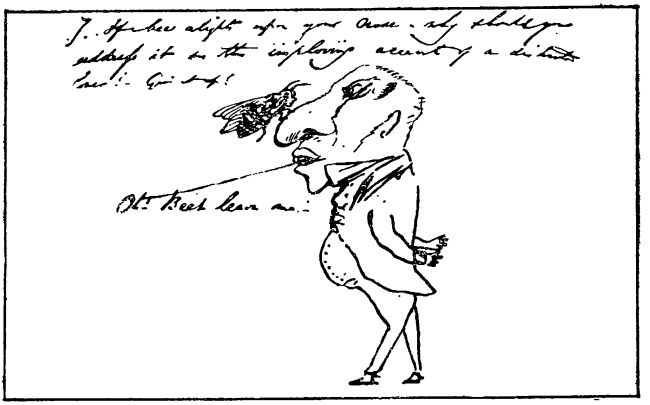


Рисунок Эдварда Лира.

Джон Элсом, обозреватель журнала «Лиснер», считает, что Эдвард Бонд, умеющий сочетать изображение широкой общественной панорамы жизни с тонким психологическим рисунком, мастерством в построении характеров, принадлежит к числу наиболее талантливых драматургов современной Великобритании.

ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК ЭДВАРДА ЛИРА

Эдварда Лира (1812—1888), блестящего мастера лимериков, маленьких стихотворений-небылиц, в Англии любят и знают не только дети, которым он в первую очередь адресовал их, но и взрослые.

Эдвард Лир был превосходным рисовальщиком, сам иллюстрировал многие свои произведения. В своих графических рисунках он отступил от строгих канонов этого жанра и с максимальной свободой использовал свою удивительную фантазию. У Лира есть последователи: Льюис Кэррол, У. М. Теккерей, Г. К. Честертон, которые также сопровождали произведения собственными рисунками.

Сейчас английские читатели имеют возможность познакомиться с четырьмя ранее не известными лимериками и рисунками Эдварда Лира. В статье, опубликованной в «Таймс литерари саплмент», Виктория Глендинг говорит о том, что Лир создал свой ни на что не похожий мир, отвергнувший все законы, порядки, приличия здравомыслящего викторианского общества. В его мире не заботятся о деньгах, наживе, процветании, не признают никаких социальных различий, не лицемерят, не боятся смерти. Здесь люди живут и радуются жизни: едят, пьют, удят рыбу, бегают, прыгают, веселятся, умирают — и все с улыбкой и шуткой.

У его героев нелепая внешность: головы то огромные, то крошечные, чуть ли не величиной с булавочную головку, а то совсем квадратные. А носы такие длинные, что приходится прибегать к помощи носильщиков. Маленькие птенцы и котята вырастают до размеров гигантов, коровы лазают по деревьям, мебель в квартирах перевернута. Но это, замечает Виктория Глендинг, не простое шутовство: Лир подчеркивает прелесть бытия.

БОЛГАРИЯ

ЮБИЛЕЙ ГЕОРГИЯ ЦАНЕВА

Все болгарские литературные издания широко отметили 80-летие одного из старейших литературоведов и литературных критиков

Болгарии академика Георгия Цанева. Литературная деятельность Георгия Цанева началась в 1922 г., при этом первой его критической работой, опубликованной в печати, была рецензия на первую книгу его друга, поэта-коммуниста Христо Смирненского «Да будет день!». Трудно назвать всех талантливых болгарских писателей, вступивших в литературу в 20—30—40-е годы, чьи первые шаги не были бы замечены и поддержаны Георгием Цаневым. В послевоенные годы Г. Цанев читал лекции в Софийском университете, был директором Института болгарской литературы, издал книги «Страницы истории болгарской литературы», «По пути реализма» и другие.

80-летие Георгия Цанева было ознаменовано торжественным собранием, организованным Союзом болгарских писателей и Институтом литературы Болгарской академии наук. На собрании было прочитано приветственное письмо юбиляру от Первого секретаря ЦК БКП и Председателя Государственного совета Болгарии Тодора Живкова. Заместитель Председателя Государственного совета Георгий Джагаров прочитал указ о присвоении Георгию Цаневу звания Героя Социалистического Труда и вручил ему высокую награду.

«Непримиримый принципиальный критик, литературный историк с богатой эрудицией, страстный борец за партийную правду, Вы — один из ярких представителей нашей марксистской критики, защитник нового художественного метода социалистического реализма, марксистско-ленинской эстетики»,— говорится в приветствии Союза болгарских писателей Георгию Цаневу.

«Септември», «Пламък», «Литературна мисъл» публикуют фрагменты из книги воспоминаний Георгия Цанева «Встреча с прошлым», над которой он сейчас работает и которая должна охватить многие события литературной и общественной жизни Болгарии вплоть до 9 сентября 1944 г.

ВЕНГРИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В канун 1976 г. в Венгрии начал выходить литературно-художественный и общественно-политический журнал «Мозговилаг» — «Мир в движении».

Пять лет тому назад под таким названием выходил литературно-критический и художественный альманах. Он завоевал большую популярность, особенно среди молодежи, и сейчас по инициативе Центрального Комитета Коммунистического союза молодежи Венгрии альманах стал журналом.

В приветствии еженедельника «Элет эш иродалом» новому журналу говорится, что «Мозговилаг» предназначен для публикации произведений молодых писателей и содействия творческому росту литературной смены.

«Хотелось бы,— пишет «Элет эш иродалом»,— чтобы журнал был верен своему назначению и действенно участвовал в духовной жизни нашего неустанно движущегося вперед мира».

Номер открывается приветствием секретаря ЦК КСМ Яноша Барбаша и известного венгерского поэта, секретаря Союза венгерских писателей Габора Гараи.

В художественном разделе журнала напечатаны произведения Петера Эштерхази, Деже Тандора, Анны Надьудвари, стихи Золтана Соколаи, Гашпара Надя и Лайоша Пинтера.

С социографическим очерком выступает Жолт Чалог. Тамаш Месарош рассказывает о современном театре. Делится своими впечатлениями о встрече писателей в Балатонберени летом 1975 г. Тамаш Тарьян.

В журнале публикуются материалы по актуальным проблемам философии, психологии творчества, о писательском мастерстве.

Главным редактором журнала назначен поэт Миклош Вереш. «Новый журнал,— отмечает еженедельник «Элет эш иродалом»,— призван служить развитию социалистической культуры».

ГДР

ПОВЕСТЬ КУРТА ДАВИДА — НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

По известной повести лауреата Национальной премии Курта Давида «Оставшаяся

Кадр из телевизионного фильма «Оставшаяся в живых». *(Газета «Нойес Дойчланд»)*

в живых» (см. «ИЛ» № 9, 1974) режиссер Кристиан Штайнке создал телевизионный фильм с участием польских актеров.

История небольшой группы Сопротивления, которая действовала в 1944 г. в немецком тылу на территории Польши, рассказ о трагической любви польской девушки и немецкого юноши, живой язык повести вызвали к ней живой интерес. «К началу работы над экранизацией книга выдержала уже пять изданий»,— пишет еженедельник «Зонntаг», поместивший на своих страницах беседу с Куртом Давидом и Кристианом Штайнке.

«Я придаю большое значение совместной работе с писателем,— сказал Кристиан Штайнке,— такое творческое содружество обогащает и режиссера и автора книги. Наглядный пример — новый телевизионный фильм «Оставшаяся в живых»... Думаю, что за этим фильмом последуют и другие телевизионные фильмы по книгам современных авторов».

Пресса Германской Демократической Республики широко откликнулась на новую работу телевидения. Отмечая прекрасную игру немецких и польских актеров, газета «Нойес Дойчланд» назвала этот фильм бесспорной удачей его создателей.

пишет Ганс Кауфман в газете «Нойес Дойчланд», отмечая хороший язык и тщательную отделку рассказов.

С присущим ему юмором, используя приемы гротеска, Кант часто рисует в них странные, неправдоподобные ситуации. Такова история старой женщины, встреченной на «ничьей земле», героини рассказа, давшего название сборнику.

«Основное в этом повествовании, как, впрочем, и во всей книге, не сюжет, а размышления,— пишет в газете «Берлинер цайтунг» Гейнц Плавиус.— Писатель размышляет о жизни и смерти, о прошлом старой женщины и о молодых, которым старики становятся в тягость... То, что на первый взгляд кажется лишенным смысла, постепенно становится осмысленным благодаря ассоциациям, воспоминаниям, чувствам...»

«Смесью серьезного, веселого, сатирического и трагикомического» называет новый сборник Германа Канта в своей рецензии газета «Нойес Дойчланд».

«Писатель поставил много вопросов, затронул много проблем,— пишет в заключение своей статьи Ганс Кауфман.— Возможно, он еще вернется к темам этих небольших произведений, когда будет работать над следующим романом».

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

Поощрительная премия издательства «Миттельдойчер ферлаг» в Галле и Литературного института им. Иоганнеса Р. Бехера вручается ежегодно за первые публикации в области художественной прозы, поэзии и эссеистики. В прошлом году этой премии были удостоены Герти Тецнер и Михаэль Франц, Тецнер — за роман «Карен В.», получивший признание читателей и критики (о нем см. «ИЛ» № 12, 1975), и Франц — за первый сборник стихов «Мы придем другими».

ГРЕЦИЯ

ПОСМЕРТНАЯ КНИГА КОСТАСА ВАРНАЛИСА

Стихотворения, составившие последний поэтический сборник лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» выдающегося греческого поэта Костаса Варналиса, были написаны в годы военной диктатуры (1967—1974).

Книга Варналиса вышла в издательстве «Кедрос» посмертно.

РАССКАЗЫ ГЕРМАНА КАНТА

«Переход границы» — так называется новый сборник рассказов Германа Канта, выпущенный издательством «Рюттен унд Лёнинг».

В книге — семь небольших произведений, темы которых взяты из современной жизни. Исключение составляет рассказ «Жизнеописание, абзац второй», посвященный прошлому. Все рассказы носят в той или иной мере автобиографический характер, написаны они от первого лица. Герои их — врач, редактор, юрист, женщина-бургомистр. «Писатель сумел создать яркие, запоминающиеся характеры»,—

Костас Варналис.

(Газета «Вима»)

«ПЯТЬ РУССКИХ КЛАССИКОВ»

Афинское издательство «Синхрони эпохи» выпустило в свет книгу Мицоса Александропулоса «Пять русских классиков» — сборник эссе о Пушкине, Гоголе, Белинском, Достоевском и Толстом. «Я хотел бы отметить,— пишет в газете «Вима» известный греческий прозаик и драматург академик Ангелос Терзакис,— что хотя внимание автора сосредоточено на этих пяти вершинах, однако освещается и вся историческая панорама во всем ее национальном своеобразии... Это особенно важно для понимания русской литературы и ее проблем».

ДРВ

30-ЛЕТИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ШИ ТХАТ»

Исполнилось 30 лет крупнейшему вьетнамскому издательству «Ши тхат» («Правда»), занимающемуся выпуском массово-политической литературы. За эти годы было издано 2600 книг тиражом около 32 миллионов экземпляров. Среди них произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, 35-томное собрание сочинений В. И. Ленина, произведения Хо Ши Мина.

ИЗРАИЛЬ

ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ

В Израиле все громче звучат голоса поэтов — евреев и арабов, выступающих против аннексионистской политики правительства, за мир и дружбу между народами.

Как сообщает прогрессивный израильский журнал «Аль-Джадид», издательство «Шахар» («Заря») в Тель-Авиве опубликовало новый сборник стихов пишущего на языке иврит поэта-коммуниста Арье Декера, в котором автор с интернационалистских позиций касается острых злободневных проблем, стоящих перед народами Израиля и всего Ближнего Востока.

Интернационализмом проникнуты и два новых сборника стихов арабских поэтов, живущих в Израиле,— «Верность» Наифа Селима и «Жалость и страх» Наима Араиди.

ИНДИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРЕССИВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Прогрессивные писатели Индии сплачивают свои ряды в борьбе против сил реакции. Об этом свидетельствуют писательские конференции, которые, как сообщает газета «Джанюр», проходили в крупнейших штатах страны: Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш.

В работе конференции прогрессивных писателей штата Мадхья-Прадеш, состоявшейся в городе Уджайне, приняло участие около двухсот прозаиков и поэтов хинди. На открытии конференции с большой речью выступил ректор местного университета известный поэт хинди Шивамангал Сингх Суман. «На новом повороте истории» — такова была тема, которой оратор посвятил свое выступление.

С приветственным словом к собравшимся обратился главный министр штата Пракашчандра Сетхи, который призвал писателей выполнить гражданский долг и посвятить свое творчество делу созидания новой Индии.

Участники конференции прослушали два основных доклада: «Роль литературы как демократического оружия в борьбе против реакции» и «Поиски простого человека в художественной литературе». Доклады вызвали оживленную дискуссию. Конференция приняла резолюцию в поддержку прогрессивных мероприятий правительства, направленных против происков правой реакции и на улучшение положения широких народных масс.

Активное участие в работе конференции принял известный исследователь литературы хинди Намвар Сингх и выдающийся писатель хинди генеральный секретарь Национальной федерации прогрессивных писателей Индии Бхишам Сахни.

В Канпуре, штат Уттар-Прадеш, также состоялась конференция прогрессивных писателей, собравшая свыше двухсот литераторов. На обсуждение был вынесен один вопрос — «Что такое современная литература». В своих выступлениях участники конференции проводили четкую грань между современной реалистической литературой, которая, отражая жизнь, надежды, чаяния и устремления простого человека, ведет борьбу против капитализма, реакции и фашизма, и литературой, которая возникла под влиянием буржуазной литературы Запада и не имеет корней в толще народной жизни.

С большим докладом, посвященным этой теме, выступил известный прозаик хинди Камалешвар. Докладчик подверг резкой критике чуждую народу литературу, распустившуюся пышным цветом в последние годы под лозунгом — «свободу творческому выражению».

В заключение докладчик призвал литераторов к бдительности перед происками реакции и смыкающихся с нею сил.

ИТАЛИЯ

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Итальянская печать восприняла как событие большого культурного значения выпуск издательством «Эйнауди» факсимильного издания знаменитого журнала «Политекнико». Первый номер «еженедельника культуры», как он значился в подзаголовке, вышел в свет 29

Фильм «Город солнца» газета «Унита» называет одним из самых интересных произведений национального телевидения. Сюжетной основой телефильма являются факты биографии выдающегося итальянского философа и писателя Томмазо Кампанеллы. Создатель фильма молодой режиссер Джанни Амелио отметил, что он не стремился к точности воссоздания исторической обстановки начала XVII века, а к тому, чтобы сказать об актуальных и сегодня проблемах, которые волновали великого утописта. На снимке: Джулио Броджи в роли Томмазо Кампанеллы.

(Газета «Унита»)

сентября 1945 г., а начиная с 1 мая 1946 г. «Политекнико» стал ежемесячным журналом и просуществовал до декабря 1947 г. Создателем и бессменным главным редактором этого журнала, оказавшего, несмотря на недолгое существование, большое влияние на послевоенную итальянскую культуру, был покойный Элио Витторини, один из лучших писателей Сопротивления, лично принимавший участие в подпольной борьбе против фашизма.

Программа «Политекнико» была обширной и смелой. Витторини удалось привлечь к сотрудничеству многих крупных писателей и ученых. Предполагалось проводить на страницах «Политекнико» большие дискуссии по вопросам литературы, философии, истории, политики, экономики, религии. Само название «Политекнико» предполагает энциклопедический характер издания. Однако тяга к «универсализму» порою приводила к недостаточной четкости в линии журнала, что вызывало острые дебаты, в которых главным оппонентом Элио Витторини выступал один из видных лидеров ИКП — Марио Аликата.

Теперь, когда прошло почти тридцать лет с момента выхода последнего номера журнала, к факсимильному изданию «Политекнико» (28 номеров еженедельника и 11 номеров ежемесячника) в Италии относятся как к драгоценному документу по истории культуры.

Критик газеты «Унита» Витторио Спинаццола посвятил этому изданию большую статью, озаглавленную «Голос «Политекнико». Душевное напряжение и надежды послевоенной итальянской культуры в журнале Витторини». Спинаццола пишет о благородстве целей этого журнала, но отмечает вместе с тем, что помещавшиеся в нем материалы были далеко не равноценными и содержали элементы эклектизма, а само стремление издателей создать культуру нового гуманизма носило отчасти абстрактный характер. Тем не менее Спинаццола выражает глубокое удовлетворение инициативой издательства «Эйнауди».

В еженедельнике ИКП «Ринашита» Джорджо Лути также пишет об исключительно важной роли «Политекнико», о самом Витторини, который не только решительно выступал против фашизма, но явно критически относился к старому либерализму и крочеанскому идеализму. «Журнал стал рупором смутно жаждущей обновления интеллигенции, которая принимала личное участие в борьбе за освобождение»,— пишет в заключение Джорджо Лути.

МАРОККО

«ВМЕСТЕ С ОРУЖИЕМ И ЛУНОЙ»

Как сообщает арабская пресса, молодой марокканский писатель Мбарек Рабиа удостоен премии Академии арабского языка в Каире за свою повесть «Вместе с оружием и луной». Повесть посвящена борьбе арабских народов с израильской агрессией в период 1967—1973 гг.

Это не первый успех Мбарека Рабиа. За свой роман «Добрые люди» он был в свое время удостоен Премии Арабского Магриба.

МОНГОЛИЯ

НА СЦЕНЕ — «ЕГОР БУЛЫЧОВ»

Государственный драматический театр МНР им. Д. Нацагдоржа осуществил постановку пьесы А. М. Горького «Егор Булычов и другие».

Газета «Утга зохиол урлаг» опубликовала рецензию на этот спектакль писателя и критика С. Дашдондога «Новый шаг».

Автор рецензии дает высокую оценку игре актеров, особенно исполнителю роли Булычова Г. Гомбосурэну, режиссуре и художественному оформлению. По его мнению, осуществление постановки этого произведения — значительное событие в театральной жизни МНР за 1975 год.

ПОЛЬША

«В СЕМЬЕ, В ОБЩЕСТВЕ, В ИСТОРИИ»

С огромным успехом идет в Польше фильм «Ночи и дни» режиссера Ежи Антчака, поставленный по роману Марии Домбровской.

Появление фильма на экране вызвало широкий отклик в польской прессе, а еженедельник «Жице Варшавы» организовал на своих страницах дискуссию «В семье, в обществе, в истории», в которой приняли участие писатели и критики.

Участники дискуссии объясняют успех фильма тем, что фильм, показывая семейные проблемы и конфликты, утверждает семью, что режиссер Ежи Антчак

Ядвига Бараньская и Ежи Биньчицкий в главных ролях в фильме «Ночи и дни».

(Журнал «Экран»)

точно уловил проблему, которая волнует общество и является в данный момент очень острой. В фильме, как и в романе, человек показан в своих ежедневных заботах, из которых складывается жизнь. И это внимание к человеку, к его нуждам делают фильм высокогуманным.

Успеху фильма способствовала, по мнению прессы, поистине блистательная игра исполнителей главных ролей Ядвиги Бараньской и Ежи Биньчицкого, за что им были присуждены премии на Втором фестивале польских художественных фильмов в Гданьске. Ядвига Бараньская знакома советскому зрителю по фильму «Графиня Кассель», где она исполняла главную роль.

Ежи Биньчицкий впервые снимается в кино. Он актер Старого театра имени Хелены Моджеевской в Кракове. Режиссер Ежи Антчак пригласил его на пробы совсем другой роли в этом фильме. Но пришел к выводу, что Биньчицкий именно тот актер, который может сыграть роль Богумила Нехчича. Как пишет рецензент журнала «Экран», Я. Бараньская и Е. Биньчицкий стали тем камертоном, который определил звучание фильма.

Как отмечает рецензент журнала «Экран», «Ночи и дни» являются несомненной удачей режиссера и других участников фильма, за который Ежи Антчаку была присуждена премия на гданьском кинофестивале.

ОРУЖИЕМ САТИРЫ И ЮМОРА

В декабре прошлого года исполнилось сорок лет со дня выхода первого номера сатирического журнала «Шпильки». Газета «Трибуна люду» взяла интервью у старейшего автора «Шпилек» Анджея Смутного, чьи стихи, фельетоны, рисунки были опубликованы в самом первом номере журнала:

«В 1935 г. Эрик Липинский и Збигнев Митцнер основали журнал, в котором предложили мне сотрудничать, на что я тут же согласился. Мне нравилось антиклерикальное, антифашистское, антиправительственное направление журнала. Надо сказать, что свою нелегкую программу мы выполняли с полной отдачей.

Вскоре в журнал пришли ведущие поэты и сатирики: Леон Пастернак, Станислав Ежи Лец, Юлиан Тувим, Константы Ильдефонс Галчинский и многие другие. С ними стали сотрудничать такие замечательные рисовальщики, как Бронислав Линке, Анджей Семашко.

Журнал покупали нарасхват, а атаки официозных журналов, препятствия, которые нам чинили власти, приносили удовлетворение— это свидетельствовало о том, что острие нашей сатиры попадало в цель. Потом началась война, «шпильковцы» ушли в подполье. Но однажды я был арестован и отправлен в лагерь.

После войны перед «Шпильками» встали новые задачи, новые проблемы: борьба со всем, что мешало нормальному развитию нового, справедливого строя. Пришли в журнал новые люди: Боровчик, Ленгрен, Флисак, Кобылинский. Сатира и сейчас продолжает быть нашим оружием в борьбе за лучшее завтра для нас всех».

«ДИРЕКТОРА»

Телевизионный фильм «Директора», как пишет известный кинокритик Станислав Гжелецкий в газете «Жице Варшавы», стал большим событием в культурной жизни Польши. В течение шести дней миллионы польских зрителей с неослабным вниманием следили за развитием действия в фильме. Этот интерес прежде всего вызван тем, что в нем представлена хроника польской жизни, фрагменты «национальной биографии», начиная с 1958 г. и кончая сегодняшним днем. Фильм повествует о большом заводе, о его директорах, которые возглавляли производство в разное время, о разном стиле руководства.

«То, что мы увидели и услышали, было не развлекательным зрелищем, а скорее отчетом, протокольной записью фактов, слов, мыслей, настроений,— пишет С. Гжелецкий. — Канвой фильма стала политическая и общественная жизнь страны, содержанием — судьбы людей, их поступки, их деятельность. Миллионы зрителей взволновала не только сама тема фильма — эта тема не нова,— а подход к этой теме. Честность и искренность — главные черты фильма «Директора». Драматизм, заключенный в фильме, это драматизм роста; в фильме отражено неустанное стремление к лучшей жизни, стремление обрести не только материальные, но и моральные ценности, установить лучшие отношения между людьми».

Критик далее говорит, что создатели этого фильма — сценаристы Александр Минковский, автор диалогов Евгениуш Кабатц, режиссер фильма Евгениуш Хмелевский — заслуживают глубокой благодарности зрителей за умение увидеть и проникнуть в самую сущность проблем, умение точно отбирать факты и слова для выражения увиденного, за чувство меры в отборе художественных средств, за умение отличить главное от второстепенного.

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПАУЛА ДЖОРДЖЕСКУ

Схваченный в дни войны ищейками Антонеску, молодой подпольщик приговорен к смерти и ожидает исполнения приговора в специально оборудованной для казней камере. Тюремный врач — садист, проявляющий особый «научный» интерес к тайнам предсмертного страха,— вручает осужденному тетрадь и предлагает ему вести дневник о том, как он провел свои последние дни. Это самый тяжкий вызов, брошенный врагом,— и коммунист принимает его.

Дневник осужденного и составляет содержание нового романа П. Джорджеску «На пороге молчания». Известный румынский критик Паул Джорджеску проявил себя в последние годы как талантливый прозаик, автор интересных психологических романов и повестей.

Твердо убежденный в том, что долг его — показать достойный пример другим, герой романа относится к своему дневнику как к последнему поединку с силами зла. Он обязан победить в этом поединке, ибо понимает, что «убийцы хотят увидеть его подавленным страхом, они хотят убедиться, что все люди трусливы и ничтожны, что, следовательно, сами они не хуже других».

Румынская критика называет подлинным писательским успехом П. Джорджеску создание образа борца-антифашиста. Главы, в которых воссоздана атмосфера подпольного движения в годы войны, написаны с удивительной достоверностью. «О годах подполья у нас написано немало,— подчеркивает рецензент «Ромыния литерарэ» В. Кристя,— но редко кому удавалось с такой острой наблюдательностью показать его размах и масштабы».

Режиссер Юлиан Миху снял фильм «Александра и ад» по одноименному роману известного прозаика Л. Фулги. Д. И. Сукяну в рецензии, напечатанной в еженедельнике «Ромыния литерарэ», отмечает, что этот фильм является «беспощадным обвинением войне».
На снимке: Виолетта Андрей и Ромео Партенис — исполнители главных ролей.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

США

«БОЙ» НОРМАНА МЕЙЛЕРА

«Роман как история, история как роман» — так определил известный писатель Норман Мейлер жанр своих последних книг «Армии ночи» (1967), «Майами и осада Чикаго» (1968, см. «ИЛ», № 1—2, 1971), «Огонь на Луне» (1971), «Святой Георгий и Крестный отец» (1972). Повествуя о примечательных событиях американской жизни — антивоенных выступлениях минувшего десятилетия, предвыборных съездах республиканцев и демократов 1968 и 1972 гг., полете «Аполлона-11»,— Мейлер не ограничивается изложением фактов и авторскими комментариями.

Стремясь выявить в каждом описываемом событии отражение больших политических, гражданских, нравственных проблем, стоящих перед американским обществом, Мейлер подробно рассказывает о собственных попытках понять глубинный смысл происходящего и истолковывает факты современной действительности США как факты своей духовной биографии. Тщательно воссозданная Мейлером-репортером хроника событий сливается со столь же тщательно изображенной Мейлером-писателем «хроникой» его этических и философских исканий; «история», оставаясь историей, становится вместе с тем и «романом». Создается своеобразная разновидность документально-художественной прозы.

Этому жанру принадлежит и вышедшая летом 1975 года книга Мейлера «Бой», где «историей» является борьба негритянских боксеров-профессионалов из США Мохаммеда Али и Джо Формэна за звание чемпиона мира в тяжелом весе, а «романом» — психологический автопортрет писателя, стремящегося уяснить для себя свое отношение к проблемам черной Америки, к расовому конфликту на его сегодняшней стадии, к негритянской культуре и всему укладу жизни черных американцев.

«Роллербол» — так называется новый фильм известного американского режиссера Нормана Джуисона, поставившего такие фильмы, как «Скрипач на крыше», «Этой душной ночью», «Иисус Христос — суперзвезда». Фильм рассказывает о спортивной жизни в капиталистическом мире в XXI веке: ценность игрока определяется здесь количеством убитых или искалеченных им противников.
На снимке: исполнитель главной роли актер Джеймс Каан.
(Журнал «Тайм»)

Рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» отмечает, что Мейлер, так же как Джек Лондон и Хемингуэй, зарекомендовал себя «подлинным поэтом ринга», психологически тонко и достоверно передав атмосферу боя, состязания, большого спорта». Симпатии Мейлера на стороне Али, но не потому, что Формэн уступает ему как боксер: оба спортсмена продемонстрировали на ринге Киншасы (Заир), где в ноябре 1974 г. проходила их встреча, огромное мужество, волю и страсть, подарив любителям бокса незабываемое зрелище.

Мейлер отдает предпочтение Али, потому что этот замечательный спортсмен за отказ воевать во Вьетнаме был в 1966 г. дисквалифицирован, долго не мог вернуться на ринг и для него победа над Формэном значила больше, чем для соперника. Али совершил подвиг, защитив не только профессиональную репутацию выдающегося боксера, но и право сохранять верность собственным убеждениям. В изображении Мейлера Али напоминает хемингуэевских героев, отвергающих всякое посягательство на их духовную свободу и готовых отважно вступить один на один в схватку с враждебной им судьбой.

Однако бокс для Мейлера — это прежде всего «еще один ключ к духовному миру черных, к миру их чувств, к их самосознанию». Бой Али и Формэна — это прямое столкновение бунтарства и конформизма, нравственного упорства и душевной надломленности, расовой гордости и приспособленчества, в которых Мейлер видит два главных начала сегодняшней негритянской жизни. Писатель стремится исследовать корни той психологии выживания любыми средствами, которая для него воплощена в Формэне, считая, что сама обычность подобной психологии — трагическое следствие американского расизма, калечащего души даже незаурядных людей. Он с горечью пишет о том, что в сознании белых американцев — и в его собственном — глубоко угнездилась предубежденность против черных, что отчужденность между черными и белыми продолжает расти и создает узел болезненных противоречий в американской жизни.

Книга Мейлера продиктована желанием разрушить те социальные, духовные, культурные, психологические барьеры, которые возведены расизмом в отношениях между белыми и черными американцами. Гуманистическое звучание книги и ее художественное своеобразие делают «Бой» одним из наиболее интересных явлений в американской прозе последнего времени.

ТУРЦИЯ

НАЗЫМ ХИКМЕТ НА СТОЛИЧНОЙ СЦЕНЕ

Новая анкарская труппа «Чагдаш сахне» («Современная сцена») открыла свой первый сезон постановкой пьесы Назыма Хикмета «Юсуф и Менофис» (в русском переводе пьеса опубликована под названием «Иосиф Прекрасный»). По отзывам прессы, молодому коллективу удалось, нисколько не отступая от ав-

торского замысла, создать своеобразное ревю, в котором тексты Священного писания органически сочетаются с захватывающими стихами самого поэта.

«Эта пьеса,— пишет стамбульский журнал «Милитан»,— одно из выдающихся произведений поэта. Но она трудна для постановки. Новый театр успешно это преодолел. Обращаясь к рабочему зрителю, он своей постановкой показал, в каком направлении намерен построить свою работу».

ФРАНЦИЯ

ПЕРВЫЙ РОМАН СИМЕНОНА

Издательство «Эдисьон д'ожурдюи» переиздало в серии «Библиографические редкости» первый литературный опыт Жоржа Сименона. Короткий, менее ста страниц, роман называется «На мосту с арками». Семнадцатилетний Жорж Сименон дал ему такой подзаголовок — «Маленький юмористический роман нравов города Льежа». Книга впервые была издана в Льеже в 1921 г. на средства автора под псевдонимом Жорж Сим. С тех пор она была совершенно забыта и даже сам автор не имел ни одного экземпляра.

«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СЧАСТЬЯ»

Этими словами начала французская певица Жюльетт Греко разговор с корреспондентом газеты «Юманите» Ги Сильвой, состоявшийся накануне концерта в Париже, которым она отметила четверть века своей сценической деятельности. На юбилейном концерте Греко исполнила песни на стихи Раймона Кено, Жака Превера, песни Жака Бреля, Жоржа Брассенса, Анри Юго. Она исполнила также две песни собственного сочинения.

Назвав свою работу двадцатью пятью годами счастья, Жюльетт Греко тут же добавила: «Двадцать пять лет волнений, труда, смеха, слез». Газеты и журналы, посвятившие много материалов юбилею одной из лучших певиц страны, подчеркивали, что жизнь Жюльетт Греко была отнюдь не легкой. Еще девочкой она вместе с матерью и сестрой, участницами Сопротивления, была арестована гитлеровцами.

Трудными были и первые шаги на эстраде, куда она пришла из драматического театра. Она принесла на эстраду свой стиль, строгий и сдержанный, стремление быть понятной и близкой людям.

Известно, что Жюльетт Греко предпочитает работе в студиях грамзаписи встречи с публикой в концертном зале. «Есть люди,— сказала она корреспонденту «Юманите»,— для которых песня это индустрия. Они выступают мало. А мы, ремесленники, выбираем публику. Это единственный способ получать вознаграждение за свой труд. Мы, может быть, меньше продаем пластинок, зато мы счастливее. Наше богатство — это зритель». На вопрос Ги Сильвы «Какое место вы отводите себе среди современников?» певица ответила: «Я хочу остаться обыкновенным солдатом. Я солдат-созидатель, каких много. Я просто колесико в сложной системе жизни. И я надеюсь с по-

Во французском городе Венсан состоялся второй Международный фестиваль кукольных театров. В нем приняли участие театры разных стран.
На снимке: кукла из спектакля по сказке Андерсена «Дикие лебеди», который показала французская труппа «Маленькие человечки». Руководит труппой Андре Блэн, отдавший кукольному театру около сорока лет.

(Еженедельник «Юманите диманш»)

Жюльетт Греко на эстраде.

(Еженедельник «Юманите диманш»)

мощью других людей, таких же колесиков, повернуть несколько маховиков. Все вместе мы можем кое-что сделать».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НА СЦЕНЕ — САМА ПОЭЗИЯ

Комедия Витезслава Незвала «Любовники из киоска», поставленная Иваном Реймонтом в Национальном театре, вызвала большой интерес у чешской публики и критики. «На сцену пришла сама Поэзия, воспевающая красоту жизни, молодость и любовь»,— писала о спектакле газета «Руде право».

Много лет назад пражские зрители уже встречались с этой комедией. В 1932 г. ее впервые поставил друг Незвала режиссер Иржи Фрейка. Но тогда она была принята далеко не единодушно. Явная антибуржуазная направленность пьесы, ее устремленность в лучшее будущее, а главное, прославление «страны свободы, где действительно правит народ», вызвало недовольство и возмущение буржуазных кругов Чехословакии и — соответственно — тогдашней официальной критики.

Передовая же часть чешского общества встретила «Любовников из киоска» с энтузиазмом, и кроме Национального театра пьеса неоднократно и с большим успехом ставилась в Брно Э. Ф. Бурианом.

Возобновленный в наши дни спектакль стал не только новой радостной встречей с удивительным поэтическим миром Незвала, но и своего рода веселым уроком «воспитания чувств». По мнению рецензента «Руде право», эта лирическая комедия «и сейчас помогает нам побеждать предрассудки, избавляться от ложных представлений и учит жить не только для себя, но и для других».

«ХИТРОУМНЫЙ ОДИССЕЙ» XX ВЕКА

Последний роман Иржи Марека «Мой дядюшка Одиссей» (издательство «Ческословенский списователь») быстро завоевал в ЧССР признательность читателей. Автор захватывает читателей исторической масштабностью повествования, напряженностью действия, остроумной, полной лукавого юмора и ядовитого сарказма манерой письма.

Книга воспроизводит жизнь различных слоев общества Австрийской империи и буржуазной Чехословакии от конца XIX века до 1939 г.— начала оккупации страны фашистской Германией.

На этом фоне развертывается карьера весьма энергичного дельца-предпринимателя Йозефа Фрайвальда, о котором повествует его племянник, неоднократно прерываемый и дополняемый самим дядюшкой.

Недоучившийся студент, светский щеголь без гроша в кармане, изобретатель бездействующего порошка от клопов и от потения ног, особоуполномоченный австрийского генерального штаба по похоронам высших офицеров в годы первой мировой войны, владелец импозантного похоронного бюро — таковы этапы бурной, полной крутых взлетов и падений жизни героя.

Подобно гомеровскому Одиссею, Йозеф Фрайвальд «хитроумен», изобретателен, активен, но он изображен автором не только как ловкий и удачливый приспособленец, но и как умный, наблюдательный и язвительный критик буржуазного общества.

Последнее назидание дядюшки Йозефа племяннику звучит как предостережение и своего рода пророчество: «То, что теперь произойдет, будет ужасным. Правда, я и сам вступал в сделки со смертью, но для тех, кто дефилирует на наших границах, смерть стала профессией. И они будут выполнять свое дело с необычайной основательностью и охотой... Приближаются гигантские похороны, эти убийцы постараются превратить весь мир в кладбище. Долгое время им удержаться не удастся, но они принесут много зла».

Высоко оценивая мастерство Марека-рассказчика, газета «Руде право» выделяет как особенно удавшиеся автору сатирические страницы романа, осмеивающие буржуазных политиков домюнхенской Чехословакии и обличающие «профессиональных убийц» фашистской Германии. Газета обращает внимание и на звучащее в романе предупреждение, что «времена, когда у этих

Татьяна Медвецка и Петр Свойтка в спектакле «Любовники из киоска».

(Газета «Руде право»)

натренированных убийц были власть и оружие, еще не стали преодоленным прошлым».

Так книга Иржи Марека, совмещая историю с современностью, заставляет ее служить сегодняшнему дню.

ШВЕЦИЯ

«СПЕКТАКЛЬ О РАБОЧИХ»

Премьера независимой театральной группы «Гётатеатр», повествующая о жизни гётеборгских рабочих-судостроителей, получила высокую оценку критики. По ее признанию, спектакль «В спецовках» свободен от скучных штампов и избитых приемов, присущих некоторым сугубо «производственным» постановкам. Напротив, он привлекает оригинальностью сценического оформления и сюжетного решения: ведущие спектакля как бы берут интервью у рабочих, домохозяек, служащих сферы социального обеспечения, у безработных, которые делятся со зрителем своими каждодневными проблемами и заботами.

Материал, почерпнутый из производственных будней, лег в основу лаконичных, полных юмора и динамики новелл.

Основная коллизия пьесы — конфликт между рабочими и администрацией предприятия, заинтересованной в увеличении прибылей за счет модернизации производственного процесса и сокращения штата. В переговорах с профсоюзными лидерами рабочие настаивают на улучшении условий труда.

«Спектакль, затрагивающий актуальные проблемы, сделанный без излишней назидательности и патетики, можно отнести к числу наиболее интересных работ прогрессивного театра Швеции»,— отмечает театральный обозреватель газеты «Ню даг».

Сцена из спектакля «В спецовках».

(Газета «Ню даг»)

◆

Авторы этого номера

ВИРДЖИЛ ТЕОДОРЕСКУ — VIRGIL TEODORESCU (род. в 1909 г.).

Румынский поэт. Председатель Союза писателей Румынии. Заместитель председателя Великого Национального собрания. Окончил филологический факультет Бухарестского университета. Начал печататься в периодике в 1932 году; участвовал в революционном движении. Первые его книги вышли в свет после освобождения Румынии. (Подробнее о нем и его творчестве см. вступление к подборке.)

Публикуемые стихотворения взяты из наиболее значительных книг В. Теодореску последнего времени: однотомник избранных стихотворений «Меха океанов» («Blănurile oceanelor», Bucureşti, 1969), сборников стихотворений «Меловой возраст» («Vîrsta cretei», Bucureşti, Editura Albatros, 1970), «Страж воздуха» («Sentinela Aerului», Bucureşti, Editura Eminescu, 1972), «Символика движения» («Heraldica mişcării», Bucureşti, Editura Eminescu, 1973), а также из периодических изданий.

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ — MESTERHÁZI LAJOS (род. в 1916 г.).

Венгерский писатель, драматург, публицист, главный редактор журнала «Будапешт», лауреат премий имени А. Йожефа и Л. Кошута. До настоящего времени вышли в свет семь сборников его рассказов, двенадцать романов, много драматических произведений, в том числе радио- и телевизионных пьес.

Творчество Л. Мештерхази хорошо знают советские читатели. В нашей стране переведены его романы «В нескольких шагах граница» («Иностранная литература» № 7, 8, 9, 1959), «Свидетельство», сборник рассказов «На озере Фертё», драмы «Люди из Будапешта» и «Одиннадцатая заповедь».

Мы предлагаем читателям новый роман Л. Мештерхази «Загадка Прометея» («A Prométheusz — rejtély». Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1973), который печатается в журнальном варианте.

Беседу Лайоша Мештерхази с Н. Т. Федоренко об этом романе см. в № 10, 1975 г.

КАРЛ РЭКОЗИ — CARL RAKOSI (род. в 1903 г.).

Американский поэт. Начал печататься в 1927 году. После выхода «Избранных стихотворений» («Selected poems») в 1941 г. длительное время ничего не публиковал. Возобновил литературную деятельность в 1965 году.

Предлагаемый цикл стихов взят из книг «Амулет» («Amulet», New York, 1967), «Предголос» («Ere-Voice», New York, 1971).

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский писатель, автор трех книг стихов и сборника прозы «Местность прошлого лета», статей о польской поэзии XVII и XX вв. Переводит английских, американских, польских поэтов. «Иностранная литература» печатала его переводы из Л. Хьюза, У. К. Уильямса, З. Херберта, Дж. Берримена и др.

ПАТРИК УАЙТ — PATRICK WHITE (род. в 1912 г.).

Австралийский писатель. Лауреат Нобелевской премии 1973 года. Родился в семье землевладельца. Окончил Кембриджский университет. Литературную деятельность начал за несколько лет до второй мировой войны, во время которой служил в разведывательном отделе английской авиации. После войны вернулся в Австралию.

Имя Патрика Уайта известно во многих, прежде всего англоязычных, странах, его относят к числу наиболее крупных современных писателей. П. Уайт — автор 12 романов, двух книг рассказов, пьес и поэтических сборников. Наиболее значительными из его произведений австралийская критика считает романы «Древо человеческое» («The tree of Man», 1955), «Восс» («Voss», 1957), «Мчащиеся в колеснице» («Riders in the Chariot», 1961), «Вивисектор» («Vivisector», 1970), сборники рассказов «Обожженные» («The Burnt Ones», 1964) и «Кокаду» («Kokadu», 1974).

Рассказ «На свалке», взятый из сборника «Обожженные», печатается по изданию 1968 года («The Burnt Ones», Ringwood, Penguin Books, 1968).

■

НОВИЧЕНКО ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1914 г.).

Советский литературовед, член-корреспондент Академии наук УССР. Автор книг: «Повесть о поэте» (1941), «Литературно-критические очерки» (1951), «Поэзия и революция» (1956), за которую ему присуждена премия АН СССР им. В. Г. Белинского, «Не иллюстрация, а открытие» (1968), «Жизнь как деяние» (1974) и др.

■

МЛЕЧИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук, автор книги «Литература и общество потребления» (1975) и ряда работ по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ.

■

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ (род. в 1919 г.).

Болгарский писатель, заслуженный деятель культуры Болгарии, лауреат Димитровской премии. Родился в крестьянской семье. Окончил лесотехнический факультет Софийского университета. Начал печататься в 1957 году. С тех пор выпустил несколько сборников рассказов, пьес, эссе и очерков, в основном посвященных Родопам, где он восемь лет работал инженером-лесоводом. Своеобразие творчества Н. Хайтова, проникнутого любовью к родной природе, снискало ему признание читателей и критики.

На русский язык переведены его сборники рассказов «Листья граба», «Дикие рассказы» («Иностранная литература» № 2, 1969), пьеса «Лодка в лесу» и др.

Очерки «Колючая роза», которые мы публикуем с небольшими сокращениями, были напечатаны в журнале «Септември» («Бодливата роза», «Септември» № 10, 1975).

■

ПЬЕР ГАМАРРА — PIERRE GAMARRA (род. в 1919 г.).

Французский писатель — поэт, прозаик, критик, журналист. Имя Пьера Гамарра хорошо знакомо советскому читателю — на русский язык переведены его романы «Дети нищеты», «Розали Брусс», «Школьный учитель», «Сирень Сен-Лазара», «Пиренейская рапсодия», «Капитан Весна», «Убийце — Гонкуровская премия» и др.

Статья «Познать и воскресить прошлое» получена редакцией в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

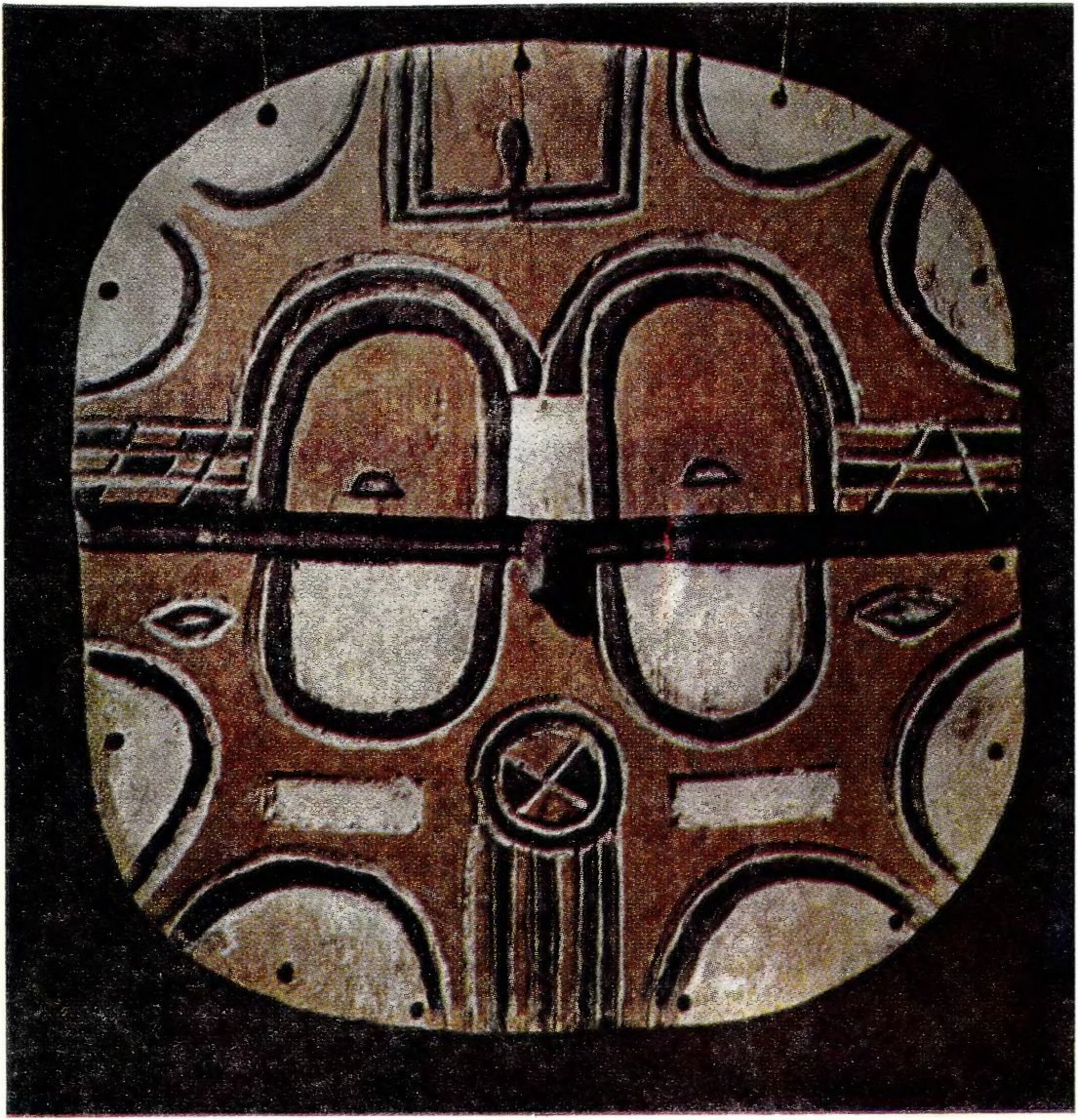
Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/II 1976 г. А 01337. Подписано к печати 10/III 1976 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 32,62
Тираж 600.000 экз. (1-й завод 1—350.000 экз.) Зак. 436.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пущкинская пл., 5.



Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394